



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 9/2013

- *Юрий Ряшенцев*
В шумной стране живых
Стихи
- *Елена Крюкова*
Dia de los muertos
Мексиканское танго
- *Сухбат Афлатуни*
Тёплое лето в Бултыхах
Повесть
- *Манана Думбадзе*
Афганистан сквозь
замочную скважину «Барона»
- *Владимир Мощенко*
Запекшаяся капелька слезы

9'2013

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.07.2013.
Подписано в печать 22.08.2013.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 3710. Цена свободная.

Дружба народов

9'2013

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ
Лев
АННИНСКИЙ
Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА
Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора

Фарит
НАГИМОВ

Ответственный секретарь

Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Левон
ХЕЧОЯН

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Юрий РЯШЕНЦЕВ. В шумной стране живых. Стихи	3
Елена КРЮКОВА. Día de los muertos. Мексиканское танго	8
Лариса МИЛЛЕР. Мы все матрёшки. Стихи	104
Сухбат АФЛАТУНИ. Тёплое лето в Бултыхах. Повесть	107
Зоя МЕЖИРОВА. Звёздный улей. Стихи	148

ПРОЗА. ДОС

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ. Время second-hand. Конец красного человека. Окончание	151
---	-----

Владас БРАЗЮНАС. Из певучей струны домотканой. Стихи. С литовского. Перевод Георгия Ефремова	193
---	-----

Публицистика

Леонид МЕДВЕДКО. Испытание катастрофами. Главы из книги	196
---	-----

Нация и мир

Манана ДУМБАДЗЕ. Афганистан сквозь замочную скважину «Барона». С грузинского. Перевод Владимира Маловичко	208
--	-----

Критика

ПОЭТ О ПОЭТЕ

Владимир МОЩЕНКО. Запекшаяся капелька слезы	234
---	-----

Культурная хроника

Нэлли АБАШИНА-МЕЛЬЦ. «Таллинн»: миссия выполняема	246
---	-----

Эхо

Третья точка. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	248
Summary	256



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

Юрий Ряшенцев

В шумной стране живых

* * *

Интересы имперского Рима от меня далеки.
Я не очень расстроен волнениями среди галлов.
Мне хватает волнений на мостиках нашей реки
и крутой перебранки родных чердаков и подвалов.
Я, конечно, порой нахожу отдаленный намек
на сюжетное сходство с закатом былых метрополий.
Вот и бронзовой конь, тот, что силы мужской между ног
был цензурой лишен, нынче попросту мерин — не боле.
Но сознание того, что я — римлянин... Как мне с ним жить?
По рождению, по паспорту, по кровяному давлению —
как мне жить, как мне быть с этим глупым сознанием, скажи,
объясни, как усталый творец объясняет творенью.

Впрочем, ты уже все объяснил, и имперская спесь
в твоём мудром учении отсутствует как таковая...
А ведь жизнь-то не вся. Да и лето не все. И не весь
этот вечер, который стоит, на сентябрь уповая.
В сентябре... Но зачем удаляться во дни сентября?
Жить ещё предстоит не последним, мне кажется, летом,
о проклятом державном величии не говоря,
и не помня его и забыть не решаясь при этом.

* * *

Я не знаю, зачем это было и было ли это вообще —
эти Крымы, Кавказы, Камчатки, Сицилии, Волги, Майорки.
Я топлю серебристую ложку в багровом домашнем борще
и слежу, как проходят секунды в не тронутой веком каморке.

За окном то ли сусли апреля, а то ли распад декабря.
То ли реки готовятся встать, то ли вскрылись замерзшие реки.

Ряшенцев Юрий Евгеньевич — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1931 г. в Ленинграде. Окончил филфак МГПИ (1954). Печатается с 1955 г. в журнале «Юность», где в 1990 г. — член редколлегии. Автор нескольких книг стихов, в т.ч. «Високосный год» (М., 1983), «Дождливый четверг» (М., 1990), «Прощание с империей» (2000), «Избранное». Известен как автор текстов песен к спектаклям «Бедная Лиза», «История лошади», кинофильмам «Три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Забытая мелодия для флейты» и др. Переводил грузинских, армянских, украинских поэтов. Президентская премия им. Булата Окуджавы (2003). Живет в Москве.

Мы куда-то гребли да гребли. И гребли-то, по-моему, зря.
Нас заждались варяги обратно, но так и не встретили греки.

Век наш прожит и прожит неплохо, особенно если учесть
всю энергию наших тиранов и верную страсть их шестерок.
И в манере пророков евангельских хочется вымолвить: несть
ни прощенья, ни мести — нам дух размышления дорог,

Дух, свободный от страсти, от чувства, от быта и жизненных пут,
что, простите, по сути своей — чепуха, ахиня, реникса.
Невозможен такой вот безбожный, безжизненный суд
на холмистых людских берегах от холодной Невы и до Стикса.

Доедай свой наваристый борщ, чтоб и дальше упрямо молчать,
чтоб не лезть к удалым сыновьям со своим обоснованным мнением,
как безумная зимняя муха, которая нынче опять
в темноту за окошком колотится с остервененьем.

★ ★ ★

Какие же затейливые бантики
на память завязала мне судьба...
Над скошенными крышами Прибалтики
идет ворон вечерняя гульба.
А уж когда вороны барражируют,
то от греха уходят ястреба.

Жил на земле, а помню небо Латвии,
его глухие блеклые тона.
Долги свои я помню неоплатные.
Что не плачу их — не моя вина.
И рад бы заплатить их да ведь некому.
— Кому я, братцы, должен?..
Тишина.

Да, с этим невеселым собеседником
все чаще говорю я в наши дни.
Мне с тишиной не хуже, чем с кассетником
той паре, что в густеющей тени
сейчас включит какой-то хит безбашенный
и отдохнет от сладостной возни.

А хвойный коврик сосняка прибрежного
так памятно пружинит под ногой.
И нынешнее море вместо прежнего
летит на берег, прежний, но — другой.
Умри от тихой страсти к бывшей родине,
захватчик, оккупант, чужак, изгой.

* * *

Деревянная длинная лестница от дома к воде...
А вода такая, какой не бывает нигде.
Ручеек, превращенный плотиной в Сенеж, в Арал...
Кабы только никто в этом мире не умирал!..

По дороге к воде можно многое разглядеть,
если только себя не считаешь царем земли.
Чья там сыть ускользает от хищника, чья там снедь?
Что за сферу не поделили в листве шмели?

Вот сейчас на сырых подмостках настанет миг,
когда шепот уже невозможен, а только — крик,
как у чайки, которая дико вопит, снуя,
может, просто от голода, а хочется думать — от бытия.

У июня еще и вторник есть, и среда.
Есть и ночь между ними, кратчайшая из ночей.
И никто не скажет, какого цвета вода,
та, в которую превратился худой ручей.

Небожители крон, обитатели диких трав,
объясните смертному, в чем он, смертный, не прав!
Этот росчерк стрижа — он уже навсегда, на века,
как простая-простая евангельская строка.

* * *

Во сне лишь... И никогда наяву...
От многого Бог упас.
Мне стыдно, что я так долго живу,
так долго... При том — без вас.
Вот дуб. На его коре борозда.
Он, видно, привык к битью.
Я, помню, гладил его... Тогда...
С мамой... В другом краю.
А это выдавшее виды авто...
Чуть-чуть бы левей — каюк!
Сейчас бы меня обругал за то,
как езжу, мой мертвый друг...

Зайдем в этот сквер, в этот сад продувной,
похожий на пьяный рай?
Литовка, когда-то любимая мной,
ответила бы «гярай!»
Как странно... Не зная, не видя, где я,
а может, и видя — вопрос,
оттуда, оттуда, из небытия,
как вняты они мне — до слез!..
А тихий летний закат так пунцов,
пунцовый закат так тих...
Дыши, полномочный посол мертвецов
в шумной стране живых.

* * *

Если глядеть с Нескучного на Москва-реку
иль за нее, на небо в вечерней сини,
с парой ворон, летящих к лихому шарiku,
пущенному с трамвайчика на стремнине,
то ощущение кровной своей причастности
к этой картине, больше — к миру и граду,
не отпускает. Вот она, сила праздности,
верящая безжалостно только взгляду.
Воздух убогих шашлычных успешно борется
с редкими вздохами лип в боковой аллее.
Вон оно, белое платье твое, разбойница,
белое, словно танец, куда белее.

Сядем за шаткий столик и спросим пива,
будем смотреть на золото в толстых кружках.
Как хорошо, как весело жить счастливо,
лишь о тебе гадая — не о подружках.

Ты-то поймешь всю призрачность места этого,
всю эту грусть и счастье Москвы закатной,
всю нелюдимость этого дня, согретого
летним лучом в отдаче его бесплатной.
Селезень тихий пруд разбивает вдребезги
и подплывает, с гордостью молодою,
с перышком синим, синим, как мост Андреевский,
в полночь летящий медленно над водою.

* * *

Привет петербургским садам от московского сквера.
Но времени нет ни черта.
Меня в Петербург привела оголтелая вера,
что знанью она не чета.
Никак не начну привыкать к петербургским потерям.
Но праздничен воздух сырой.
Чем больше мы знаем, тем меньше мы знаниям верим.
Тем легче живется порой.
Из всех телефонов, какие был должен набрать я,
лишь два я храню до сих пор.
С тех пор, как тиран обратился к нам «Сестры и братья!»
— ни братьев вокруг, ни сестер.
А дождик случайный пространство на капельки множит,
небось, чтоб казаться могло,
что, может быть, где-то, что, может, когда-то, что, может,
мне время отдаст, что взяло.
И в серых, зеленых, фисташковых, желтых фасадах
таится, не зная врагов,
меж сумрачных пятниц и бешеных сред полосатых
счастливый простор четвергов.

* * *

Размышлять о несчастной любви лучше поздней весной,
в дни, когда, как известно, крепчает инстинкт основной,
но обилие бабочек, солнца, сирени и гроз
не позволит тебе сокрушаться уж слишком всерьез.
Все влечет, отвлекает, волнует и вдруг сознаёшь,
что несчастье несчастьем, но мир так разбойно хорош,
что реальная суть рядовой и неновой беды
не затмит изумрудного света кленовой звезды.
Значит, надо подольше смотреть на звезду, и тогда
постепенно в простую печаль превратится беда,
а печаль обернется приятною грустью, и тут
уж совсем недалёко до первых счастливых минут.

Ты глядишь в остролапые дебри кленовой листвы,
все сокровища майского дня налицо, и — увы,
этот день остается одним из несчастнейших дней,
ибо, что б ты ни думал, ты думаешь только о ней...

Не поможет природа — поможет высокий наш слог.
В русской речи есть несколько слов, подводящих итог.
Вся нормальная лексика против подруги, а — за
лишь словесная шушера: дура, шалава, коза...

* * *

Холоден, но вместе и неистов
подлый нрав тоски...
Стая воробьев и стайка листьев —
наперегонки.
Прет траву стригущее орудье,
и за ним — стерня.
Всюду чужеземье, чужелюдые,
чужеречье дня.

Впрочем, этот ветер узнаваем.
только не пойму,
чем он пахнет: то ли караваем
в нежилом дому,
то ль костром, который жгут ромалы
на кривом пути...
Жизнь была щедра на ароматы,
Господи, прости.

Все в конце концов сбылось, однако.
Жалко, что не впрок...
Ляжет чужеземная собака,
как судьба, у ног.
Встанет клен, как старый польский воин,
только — скрип сука.
И прекрасен, потому что волен,
ход у гамака.

Елена Крюкова

Dia de los muertos

Мексиканское танго

Николаю Крюкову и Марте Франсес Рекамьер Баррера

Улитка, Улитка!
Ты скользкая, как поцелуй!
Ты живешь в Раковине, и Раковина прячет тебя от жадных глаз.
Тебя можно выковырять из Раковины и съесть.
Тогда ты превратишься из Улитки в человека.

А человек — гаже тебя, Улитка. Человек большая гадина.
Он убивает и ест все живое.
Он убивает себя.
Он — самоубийца, ибо не знает, что такое Смерть и Жизнь.

Ползи, Улитка, по земле, оставляй на песке мокрый след.
Влажный след. След любви.
Влажный поцелуй. Влага в глазах, слезы.
Улитка, родная! Улитка, живая! Завтра, о, завтра ты сгниешь в Раковине своей.

И люди найдут пустую Раковину на берегу.
И люди станцуют танец вокруг Раковины на берегу.
Омочат ноги в Океане. Омочат руки, груди и волосы. Поплывут.
Соленая вода Океана плеснет им в глаза, во рты. Соленые слезы земли.

Плывя под звездами, в Раковину будут трубить. Извлекать музыку из мертвой кости.
Все, что бегаёт, ползает и летает, превратится в кость. Зачем же мы любим?
Зачем же мы любим и умираем?
Ведь все умрут, о дивная, скользкая как губы в любви, теплая, горячая Улитка.
Ведь все умрут.

(песня марьячис)

Елена Крюкова окончила Московскую консерваторию и Литературный институт. Автор книг стихов и прозы, лауреат премий им. М. И. Цветаевой (2010), Кубка мира по русской поэзии (2012), литературной премии Za-Za (Германия, 2012), премии журнала «Нева» (2012). По словам Захара Прилепина, она «сумела перенести в прозу сложную метафорику и чувство мифа». Ее работы последних лет — романы «Серафим», «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Русский Париж» — привлекли внимание литературных критиков.

Пролог. Хлеб смерти

Ночь мазала лица и волосы синими, лиловыми чернилами. Звезд не видно: зачем людям звезды? Люди на земле: бегут, плывут, семят, падают, опять встают и бегут.

Идут.

Куда они идут, все эти люди?

Они идут на кладбище.

Огни вспыхивают и не гаснут. Огни бешенствуют, их золотые живые хвосты развеваются по ветру. А, это факелы! Ром глядел, как горит живой огонь: с треском, с вонью, фитили чадили и брызгали смолой. А вот и свечи, люди несут их в руках. Много свечей. Целый лес. Белый, ярко-желтый, густо-коричневый воск; дешевый парафин; нежные слабые язычки лижут черный воздух. Свечные огни подсвечивают лица снизу, сбоку, будто высвечивают изнутри.

Изнутри. Что у меня внутри?

Потроха. Сплетения кишок. Наверное, они густо-синие, фиолетовые, переливаются живой кровью, и в них, внутри, превращается в дрянь красивая и вкусная еда.

Что еще? Сердце. Живой мешок. Бьется. Кисет, полный крови. Кровь делает так: тук-тук, и я слышу этот стук. Слышу. Еще слышу.

Теплая рука сильно, еще сильнее сжала руку Рома. Он шел по кладбищенской дорожке, держал Фелисидад за руку, и их ноги, соскальзывая с каменной крошки, вязли в грязи. Недавно прошел дождь. В ноябре, здесь? Редкость, почти чудо.

Чудо Господне. А чудо всегда от Бога? Или от кого другого? Он усмехнулся. Фелисидад что-то весело говорила, ее птичий щебет долетал до его губ и щек и обжигал их. Всюду стоял шум, и Ром ничего не слышал.

Шум, гам, веселье. Странное, немыслимое, дикое веселье. Здесь, на кладбище, люди не скорбели — они веселились. И Фелисидад то и дело поднимала к нему смуглое лицо, оно было расцвечено огнями неподдельной радости, и Ром должен был разделять эту непонятную карнавальную радость, не имея на то никаких причин.

Они шли, пробирались среди людей и огней, и люди и огни все более сгущались, кучковались, роились, нависали живыми виноградными гроздьями над могилами — древними, старыми, вчерашними и свежими.

Свежие могилы заметнее всего. Свежая грязь. Свежий холм. Пахнет разрытой землей. Пахнет палыми листьями и червями.

Мраморный маленький памятник; белая плита, цвета молока. На плите лежат: пирог, торт, череп из твердого сладкого теста — калавера — со вставленными в каменное тесто, в пустые глазницы, золотыми монетами-глазами, и калака — искусно сделанный из такого же теста скелет. Скелет нынче запекли в печке, тесто жесткое, но разгрызть можно. Зубами. Живыми зубами.

Перед могильной плитой на коленях стоит маленький чернявый мальчик, он похож на черного верткого жука, жужелицу. Крутится, оглядывается, встряхивает плечами, то ручки сложит в молитвенном нарочном жесте, то вытянет лицо в лицемерной печали. Вокруг могилы, над сгорбившимся мальчонкой, стоит семейство. Семья. Все черные, иссиня-черные жесткие волосы одинаковы у мужчин и у женщин. Все смуглые жесткие, будто медные лица, похожи — один гончар навертел на круге времени эти сосуды, эти чаши.

Женщины всплескивают руками. Кричат, будто ругаются. На самом деле они кого-то хвалят. Кому-то славу кричат.

А может, проклинаят кого? Нет, непохоже.

Мужчины вынимают из сумок, из огромных черных мешков снедь. На могилу уже

навалены горы снеди. Калавера и калака уже давно погребены под слоями длинных, как палки, пирогов и маиса, гигантских тако — о, какой от них доносится превосходный грибной, мясной дух! Ром с радостью засунул бы сейчас в зубы один из этих свежеиспеченных тако. О да, они свежие. Свежие тако. Свежая могила.

Свежий, чудный запах сыра, фасоли, соленой рыбы, жареного мяса.

Мужчины продолжают вынимать из пакетов и сумок пищу. Женщины берут ее у мужчин из рук и весело раскладывают на могиле. Свечи горят. Девушки высоко поднимают их. Маленькие девушки. Здесь женщины — малютки, а девушки — куколки. Мужчины есть рослые, бравые. А вот высокую девушку редко встретишь.

Фелисидад у него тоже маленькая.

Господи, еще живая Фелисидад.

Он больно стиснул ее лапку, и она тихо вскрикнула — он почувствовал вскрик, но не услышал: так громко гомонили вокруг, а у других могил еще и пели. Пели! Это было уже совсем из рук вон. Ром оглянулся на поющих. Сдвинул брови. «Фелисидад говорит мне: у тебя брови похожи на два крохотных початка маиса. Ей в диковинку русые брови. Здесь же все как из угольной топки».

Череп из теста. Череп из расписного дерева. Череп из ваты и шелка с блестками. Череп леденцовые. Череп яблочные. Шоколадные череп. Вот стоит ребятишек поодаль, с наслаждением сосет такую шоколадную калаверу, уже почти всю проглотил, и мордочка измазана сладостью, липкостью, жизнью. Он съел смерть — и доволен!

Череп из оникса. Аметистовые пьяные, сверкающие глаза. Череп из сусального золота, а глаза под мертвым лбом горят из бирюзы, из сердоликов. Черт, да тут целая ювелирная лавка! «Это все поддельные камни. Игрушки. Забавки. Это понарошку, ты слышишь, тут все понарошку, все неправда».

Череп из гранита. Из мрамора. Мраморная калавера — на мраморной плите. Хрустальные глаза. Они горят мертво и вызывающе. Они кричат тебе: ты станешь таким же! Таким!

«И совсем скоро».

Ром наклонился к Фелисидад и попытался ей улыбнуться. Его улыбка вышла жалкая, подобострастная, будто бы он лебезил перед страшной калаверой, улещал ее, молил об отсрочке; а улыбка Фелисидад столкнулась с его улыбкой — ясная, чистая, зубки белые, один к одному, жемчужные, алмазные.

«Зубы. У нее еще есть зубы. И еще будут у нее во рту долго, долго, много лет; а потом начнут выпадать. И, если я буду жив и буду жить с ней, я это увижу».

Все яства выложила семейка на могилку? О нет, не все! Толстая, в три обхвата, как старый платан, тетка с орехово-коричневой кожей вытащила из рюкзака совершенно необъятную лепешку. Разломила, и две половинки хлеба торчали в двух поднятых над громадным животом руках, как две половинки скатившейся с черного неба безумной Луны. Запахло медом, корицей, молотым орехом, апельсиновой цедрой.

Фелисидад встала на цыпочки. Ром приблизил ухо к ее дрожащему в улыбке рту.

— *Pan de Muerto*, — почти крикнула она, а ему показалось — прошептала, так гомонили люди, как птицы, вокруг. — Ром, это сладкий хлеб, очень, очень вкусный! Попробуй!

— Я не...

Фелисидад выставила плечо вперед, будто в танце. Да она почти танцевала. О Боже, да тут все уже танцевали! Возле ближних могил, возле дальних — откуда-то появилась, возникла музыка, замелькали крохотные, как эти их девушки, гитары в руках, и люди запели, как уличные марьячис, нет, лучше — кто слаженно, кто вразнобой, кто заливая голосом черно-белый кладбищенский ночной ковер, мраморные памятники, золоченые кресты, кто наборматывая себе под нос страшную и разудалую ночную песню, будто одинокую молитву. Выбросила руку Фелисидад, вцепилась

в хлебный разлом в руке толстухи. Матерь семейства, а может, бабушка, а может, тетя, а может, подруга, а может, веселая и толстая Смерть сама, с хохотом рванула хлеб на себя; а Фелисидад — на себя; и в руках Фелисидад остался кусок хлеба, пахнущего апельсином и ночью любви.

— Мучас грасиас, донья! — крикнула Фелисидад и потрясла в воздухе куском.

Протянула Рому:

— Пробуй!

Он взял Хлеб Мертвых опасливо, как ежа.

— И что я должен делать с ним?

Фелисидад захохотала:

— Есть! Ешь! Ну!

И черные буйные, мелкокудрявые волосы, целая черная копна, безумный стог, заплясали, запрыгали у нее по плечам. И полезли, вместе с хлебом, Рому в рот.

Он кусал немыслимо вкусный хлеб, кусал, грыз, всасывал, ел, вкушал, глотал, глотал вместе со слезами, пытался улыбаться, ничего не получалось, он ел и плакал, ел и кривил рот, чтобы Фелисидад не подумала, что ему больно и плохо здесь, на этом диком чужедальнем кладбище, на этом празднике чужом, безумном, — а вокруг приплясывали, взбрасывали вверх, к ночному угольному небу, живые руки, золотые языки заполошенных огней, и пели — дико, сочно, сверкая белками диких, почти звериных, веселых глаз:

— Проходя через кладбище,
Я увидел калаверу!
Там она, пыхтя сигарой,
Распевала петенеру!

Эй, отродье, калавера!
Ты, двузубая старуха!
Вижу, как ты скачешь лихо,
Как твое набито брюхо!

— Ну что? — кричала Фелисидад. — Вкусно?!

Он утер хлебом слезы. А они все катились и катились. Проорал:

— Вкусно!

Тарасился на пляшущих возле огромного памятника из розового, с кровавыми прожилками, мрамора: под мраморным розовокрылым ангелом толстопузый кудрявый мужик держал за высоко поднятую руку молоденькую девчонку, девчонка трясла в ночи цветными, как павлиньи перья, юбками — один волан, другой, третий, а вот и нагие ноги, коричневые и худые, как у жареного цыпленка! Ноги — вверх. Руки — вверх. Пузан еще сильнее дернул девушку за руку. Ром испугался: а вдруг вывихнет? Девушка показала все зубы. Крутанулась на одной ноге, на миг превратилась в живое цветное, яркое веретено. «Ее юбки горят в ночи, как фонарь. Как красива жизнь! Как все в ней вкусно и сладко!»

Дядька с тремя подбородками и мощным пузом отпустил руку плясуньи. Мраморный ангел сурово, свирепо глядел на Рома. По спине Рома тек пот. Ноябрь, а так жарко. Здесь всегда жарко. И летом и зимой. Нет холода. Нет снега.

Фелисидад показала жестом: подними меня! Ром схватил Фелисидад поперек живота, как кошку, и приподнял ее так, чтобы ее лицо оказалось на уровне его лица. Внезапно тяжесть тела Фелисидад исчезла. «А, это она встала на край надгробья ногами».

— Коатликуэ, — выдохнула Фелисидад Рому в ухо.

— Что это?

Ее волосы опять щекотали ему подбородок, губы.

— Не что, а кто. Коатликуэ. Она. Старуха. Это богиня. Мы поедем в Теотиуакан,

и я тебе покажу ее там на фреске. Это беременная старуха. — Фелисидад вытянула над грудью руки и округлила их. Засмеялась. — С животом. Это Земля.

— Земля?

— Ну да. Земля. Земля всегда беременна.

— Кем?

— Нами.

Толстая тетка рядом со свежей могилой («нашей могилой», подумал он, вот уже и нашей) взяла с гладкого белого, как снег, мрамора надгробия две трубочки бурритос, протянула их Рому и Фелисидад. Они взяли. Фелисидад сделала смешной книксен, потом обхватила тетку шею рукой и чмокнула ее в щеку: раз, другой. Вкусно и смачно. Громко. Щелк, щелк.

Ром подумал: в третий раз поцелует — это будет по-русски, — но поцелуя было только два.

Раз, два.

Огни вокруг. Может, они возгорелись сами? Тут, на кладбище? И это не люди зажгли все свои свечи, факелы и фонари, а их мертвецы спустились сегодня с небес и вышли из-под земли, чтобы разделить с живыми радость огня, трапезы и танца?

Красивый парень, что стоял рядом с толстухой, глаз не сводил с Фелисидад. Ром понял: он стыдно краснеет, лицо горит, и это гнев и ревность. «И так всю жизнь? Если кто-то посмотрит на нее — я буду так же мучиться? И мучить ее?» Парень прищелкнул пальцами. Ром смотрел на изгиб носа, на выгиб сочных, ярко-красных, как у девушки, вкусных губ. «Это просто тонкие хрящи. И складки плоти. Плоть умрет. Сдохнет. Ляжет под землю. Сгниет. И этого красавчика закопают, а он пялится на мою девушку. На мою девушку!»

Ром дернулся, Фелисидад схватила его за локоть.

Красавчик насмешливо перевел взгляд с Фелисидад на Рома.

Открыл рот, как для поцелуя. Нагло пошевелил между зубами кончиком розового, как у кролика, языка. И запел:

— Я со смертью, жизнь спасая, как-то раз слюбился смело!

Фелисидад громко, грубо захохотала. Ром впервые видел, чтобы она так веселилась.

Еще никогда он не видел Фелисидад такой... разнузданной? Распоясавшейся? ...гордой. Счастливой и гордой.

...и веселой, веселой.

«Сейчас лопнет от смеха. Они все сумасшедшие, что на кладбище так веселятся!»

Она подхватила, громко и фальшиво, песню красавчика:

— Я теперь силен: косая от меня затяжелела!

Взмахнула бурритос, как флагом. Из хлебной трубочки вывалились куски мяса и красная фасоль, полетели в щеку Рома. Упали на плечо, испачкали рубашку. Он вытер щеку ладонью. Соленая щека. Красная кровь подливки. Как вкусно пахнет. Землей, едой, духами Фелисидад.

Он низко наклонился над головой маленькой девушки, почти девочки. Смоляные пружины волос, золотая материна сережка в коричневой раковинке уха.

— Фели, — сказал он, понимая, что хочет убежать отсюда. С праздника ужаса. С торжества скелетов. — Фели, мне худо.

Он еще не совсем хорошо говорил по-испански. Подыскивал испанские слова.

«Они поют и пляшут, а я плачу. Я дрянь. Я тряпка. Я хочу быть мужчиной. Стать мужчиной. Мы не мужчины и не женщины. Мы все скелеты. Скелеты. Все!»

— Я так сказал? Или не так? Как надо?

— Так, — черненькая головка кивнула, смуглая шейка согнулась. — Но здесь же так хорошо!

Ром с изумлением и отвращением глядел, как чернявый курчавый мальчонка,

сидя на корточках перед могилой, расколупал пальцами марципановый гробик и вынул оттуда шоколадный скелет. Отламывал пальчиками темное ребро, ступню, берцовую кость. Засовывал в рот. Рома чуть не вытошнило.

«Я тряпка. Если они это могут, то могу и я!»

Внезапно стало весело, будто бы он сидел в цирке и глядел на диких зверей, на то, как через огненный обруч прыгают львы и тигры.

Толстуха протянула Рому еще кусок *Pan de Muerto*. Он жевал, глаза стекленели, остановились, губы растягивались в улыбке, зубы работали: мололи, перетирали. «Мы едим сами себя. Сами себя».

Мужчина, похожий на черного быка («кольца в носу не хватает...»), открыл крышку термоса и разлил в маленькие бумажные стаканчики, рядом стоящие по периметру надгробия, горячее питье. Пар завивался усиками над стаканами. Мужчина-бык, вместе и торо и тореро, осторожно взял горячий стакан, поднес Рому — заботливо, нежно: так лекарство подносят больному.

— Пей, сынок! Горячий шоколад!

— Пей, — услышал он шепот Фелисидад, — пей, так надо, так... надо...

«Все в жизни надо. Пока живешь — все: надо, надо, надо. И никогда — хочу, хочу!»

Поднес прозрачный стаканчик к носу. Нюхал горячее, сладкое, терпкое. «Вот так и жизнь: трепещет, колыхается в одноразовом стакашке. И мощные жадные губы выпивают, а мощная равнодушная рука сминает стакан. И выбрасывает. И забывает. Не помнит ничего. Никогда».

Ром прихлебывал горячий шоколад и делал вид, что ему весело.

Весело! Так весело!

Фелисидад обняла его обеими руками за талию. Ее лицо уткнулось ему под ребра.

— Ты меня не обманешь. — Задрала голову. — Тебе грустно. Но ты поймешь. Идем танцевать!

Дернула его за руку. Он отшвырнул пустой стакан. Над верхней губой у него нарисовались темные шоколадные усы. Фелисидад потянула его, она тащила его за собой, как локомотив тянет мертвый, тяжелый состав. Шагнула на мрамор, он шагнул за ней.

Они оба стояли на чьей-то могиле. На ровном, белом, сахарном мраморе.

И у Фелисидад были сахарные зубы. И сахарные белки. И горящие свечные зрачки.

И вся она горела черной, сумасшедшей свечкой.

Завела руки за спину. Ром собезьянничал ее движение. Переступила ногами. Он скопировал. Она еще раз переступила маленькими, будто игрушечными ножками, пошла на него, выпятив грудь, нежную юную птичью грудку. Он попятился и засмеялся.

Наконец-то засмеялся по-настоящему.

Так они, как два петуха, перебирали ногами и то насакивали друг на друга, то отступали, и оба улыбались, и губы Рома из деревянных и соленых становились сладкими и мягкими, и он на чужой забытой могиле танцевал с Фелисидад сальсу, да, это была сальса, а он пока не знал об этом.

И все на кладбище, в ночи, вместе с ними танцевали безумную, веселую сальсу; друг с другом, с ночью, с факелами, со звездами, со смертью.

И рядом, захлебываясь весельем, играл бандонеон, и перебирал парень медные жилы старой гитары, отцовской гитары; и взхлеб, счастливо пели марьячис — о том, что лучше жизни нет ничего на свете, а придет время — лучше смерти ничего не будет; и мы обнимем ее крепко-крепко, и поцелуем, ликуя, и возьмем грубо и жарко, как черный бык по весне покрывает красную корову; да не слышал Ром, что поют,

половину слов не понимал, видел лишь горящие, огромные глаза Фелисидад, и там жизнь и смерть вместе пылали, две черных свечи.

И взмахнула Фелисидад обеими руками, и крикнула:

— Оле!

И этот поганный красавчик, гореть бы ему в аду, как тут говорят, он уже выучил это выражение, вспрыгнул на мраморный квадрат, схватил Фелисидад за талию, рванул на себя, и вот они оба уже валятся на землю с мраморного эшафота, а он стоит один, растерянный, оглядывается по сторонам, жалко улыбается и понимает: только что, сейчас, вот сейчас у него из-под носа увели, похитили, выкрали его любимую.

Он сжал кулаки.

— Эй! Ты!

Наглец уже обнимал Фелисидад за плечи. И она смеялась!

Ром поднял вверх два сжатых кулака.

Стоя в сполохах огней, на мраморном саркофаге, он походил на умалишенного боксера, забредшего на карнавал — драться, а тут танцуют, едят и поют.

Он глядел, как они танцевали! Они!

— Вы...

Он соскочил с могилы. Размахнулся. Фелисидад, танцую, все прекрасно видела.

И не остановила его.

«А что, ей любопытно...»

Не успел додумать. Не успел крикнуть. Кулак попал в чужую скулу. Чуть ниже скулы. Под глаз.

«Я первый раз...»

Он никогда в жизни не дрался.

Красавчик пошатнулся.

«Неплохо, черт...»

Падает. Нет! Удержался!

Ром не увидел подножки. Слишком темно. Ночь.

Растянулся на камне, на бумажках, на мраморной крошке, на ночной плывущей, шоколадной грязи.

Подбородок разбил. Губу.

Боль. Везде. Под ребрами. На шее. Под лопатками. На лице. На скулах.

...бил ногами.

Он слишком поздно понял — его бьют ногами.

Фелисидад орала. Люди бежали. Свечи горели и сгорали. Факелы дико трещали.

«Дикий народ. Смерть — праздник?! Зачем?!»

— Прочь! — вопила Фелисидад. — Пошел отсюда! Это мой парень!

«...это она мне или ему?»

...любовь. Сегодня с одним, завтра с другим.

Толстуха, угощавшая их бурритос, схватила красавчика за шиворот и завизжала:

— Ты! Ты предал Смерть! Ты обидел ее! И она к тебе не придет! Никогда не придет! Будешь молить — не придет!

— Мать, — хрипел красавчик, утирая с лица кровь, — мать, она приходит ко всем, что ты врешь...

Сердце в нем перекатилось, сделало кульбит, другой и остановилось. Ни удара. Ни бубна. Ни тимпанов. Ни тарелок. Ни стука костяшек пальцев по гитарной деке. Ничего. Молчание.

И в полной тишине, разлившейся по всему полоумному кладбищу, на всю ночь, раскатился порванными бусами тонкий крик Фелисидад:

— Помогите! Мой парень! Он умирает!

TOTUS TUUS

Бабушка звала его тихо и нежно, и он слышал. Играя в песочнице, вылепляя из сырого, пахнущего собачьей мочой песка куличики, он слышал ее голос. Идя в школу, со смешным ранцем на сутулой спине, везя по грязи и слякоти башмаками, что велики были, куплены на вырост, а может, он просто постеснялся крикнуть: бабушка, они мне велики! — он ее голос слышал. Сидя у себя в спальне, сгорбившись над страницами, исчерканными формулами, цифрами и символами, он слышал его.

Ее голос.

Бабушкин голос.

Она звала его, как пела.

Она пела. Она так любила петь.

Она пела, когда вставала с постели, и пела, когда мыла полы. Пела, когда шила, когда светлая, как день, или черная, как ночь, материя лезла и падала на пол из-под ее ловких рук, из-под иглы ножной швейной машинки, — а голос лился, звенел, и нога сама отбивала такт и ритм. Она пела, когда пекла в духовке пирог с яблоками или запекала курицу, и Ром втягивал изумительный запах ноздрями голодного волчонка. Пела, когда пила лекарства — лекарств у нее было очень много, целая армада склянок, пузырьков, флакончиков, коробочек, пакетиков возвышалась на столе; руки копошились в снадобьях, руки накапывали в мензурку капли, ловили прыгающие по столу таблетки, а голос жил отдельно от капель и рук, — ему не требовались лекарства, чтобы жить и выжить: он был вечен.

Бабушка тоже была вечна. И Ром был вечен.

Они оба были всегда. Всегда.

Ром был слишком маленький, чтобы помнить, как погибли его родители: а они погибли, разбились на машине, так глупо, возвращались из Москвы в родной город с чемоданами и сумками, полными всяческой вкуснятины, — тогда, давно, при другой власти, когда на улицах в праздники вывешивали на всех домах красные флаги, а во всех магазинах выстраивались длинные, как тропические змеи, очереди за колбасой, в их городе не было в досталь еды, нельзя было купить вкусную, хорошую еду к празднику, а праздник был просто замечательный — Седьмое ноября, в этот день надо было готовить холодец, натирать хрен, печь беляши — все это умела бабушка, да, и великолепно умела; но не было к столу ни сыра, ни сливочного масла, ни копченой колбаски, ни апельсинов, ни хорошего ликера и хорошего коньяка, ни других, столь же сказочных яств — за ними надо было ехать в столицу.

Вот и поехали мать и отец Рома: туда — на поезде, обратно — в машину сели, к шоферу, ну почему не дать парню подкалымить, святое дело.

Машина с родителями Рома разбилась на подъезде к городу. К сгустку искореженного металла приехали, гудя, вопя, милиция и «скорая». Дверь автомобиля разрезали автогеном. Старый «москвич» на полной скорости врезался в громадную, как гора, грузовую фуру. Шофер фуры, дрожа и плача, глядел, как из легковушки вынимают красное, белое, меховое, тряпичное, костяное: то, что минуту назад было людьми.

Шоферу налили стакан водки. Он выпил и отвернулся. А потом повернулся и опять глядел на смерть.

Бабушка стирала. Бабушка стряпала. Бабушка провожала Рома в школу. Бабушка гуляла с ним по городу, и они оба, вместе, излазили все его уголки: залезали на кремлевскую стену, и Ром чуть со стены на газон не свалился, все бы руки-ноги переломал; тряслись на гремучих желто-красных облезлых трамваях до конечных остановок, и водитель гнусавил: «Вылезайте! Чего расселись!» — и бабушка важно шла к распахнутым железным дверям вагона, крепко держа за руку внука.

После смерти двух дорогих существ обыкновенное, ничем не примечательное сердце бабушки внезапно вместило всю смерть и всю жизнь, и она часто удивлялась, как это они обе, такие разные и такие одинаково страшные, мирно и празднично в ее сердце уживаются. Спрашивала себя: как это? Спрашивала и Бога, но Он не давал ей ответа. Молилась бабушка плохо и неумело, в ее краснознаменном детстве ее не только не учили молиться — по всей стране взрывали церкви, расстреливали батюшек, и имя Господне произносилось торопливым шепотом, тревожно, боязливо, нервно, всуе.

Хотя серебряный крестик, невесть откуда взявшийся, бабушка благоговейно носила; и когда на кладбище, у разрытой могилы, среди немногих друзей кто-то один смущенно перекрестился, бабушка тайком вынула из-под батистовой кофточки крестик на тонкой черной бечеве и крепко прижала его к губам, и крест отпечатался на губах. Друзья дочери потом повели ее в дешевую пирожковую, на поминки, мужчины наливали водку в граненые стаканы, пили и плакали, и заедали пирогами с картошкой и зеленым луком, налили водки и бабушке, и она тоже выпила и заплакала. А потом запела.

И все притихли. И все ее слушали.

И все изумились голосу ее.

Ром не помнил родителей, вернее, сначала немного помнил — голос матери, волосатые жилистые руки отца, со странной татуировкой выше запястья: «TTTT», четыре буквы, страшно молчащие о неведомой тайне. Когда лица отца и матери стали стираться из памяти, а оставались только вздохи, причитания, засохшие между страниц старых книг нежности, бормотание забытых сказок на ночь, Ром помнил только эти четыре синих, расплывающихся на смуглой коже, разрезанных синими перевитыми жилами буквы, и все повторял про себя: «Тэтэтэтэ», — заговор, заклинание, посвящение.

Он так никогда и не узнал, что отец его до женитьбы на его матери был влюблен в девушку, а она купалась в реке и утонула, слишком далеко заплыла, на стремнину, и отец набил на руку этот знак, плакал и скрипел зубами, и означало это по-латыни: «TOTUS TUUS», «Всецело твой».

Totus tuus — три буквы T; а где же четвертая?

Ром еще не знал, что во времени есть провалы; в жизни есть недоказанные теоремы.

BESAME MUCHO

— Франчо, ты правда умеешь играть на гитаре, Франчо?

— Ну ты даешь! Конечно, умею!

— Ну давай, сбацай что-нибудь!

— Что?

— Такое, заводное!

Парни стояли кругом, и рядом гомонило, вспыхивало женскими юбками и молниями золотосмуглых рук уличное кафе.

Простое веселое кафе на углу шумных столичных улиц Эмильяно Сапата и Коррехидора.

Парни хотели, чтобы он сыграл музыку огненную. Чтобы он зажег. «Сейчас я вам зажгу», — подумал он зло и весело — и ударил по струнам. Так резво ударил — содрал кожу на сгибах пальцев. Сморщился и запел.

Парни, смеясь, слушали его песню, прищелкивали пальцами, подпевали. Пританцовывали. На их улице Франчо, круглый сирота, славился тем, что здорово умел

играть на гитаре и петь веселые песни. И известные, и незнакомые. Парни понимали: незнакомые — это его песни. Франчо сам сочиняет песни. Это вызывало еще большее уважение.

Он играл, и гитара вспрыгивала в его руках. Дергалась, как от ожога. Он обжигал ее ладонями. Когда гитара взлетала уж слишком высоко, Франчо ловил ее и громко ударял кулаком в деку, потом хлопал по деке ладонью: как по боку корову ли, лошадь. Одобряя, укрощая.

— Франчо, да ты марьячи!

— Настоящий марьячи!

Про него ходили слухи: жил в католическом приюте и сбежал оттуда, нагавив падре в снятую и забытую на стуле шапочку-солидео.

Две девчонки, отодвинув стаканы с недопитым молочным коктейлем, встали, оттопырив кругленькие приманчивые попки, и, слыша издали музыку, тоже щелкали пальцами и переминались с ноги на ногу, отбивая ритм.

Потом, улыбаясь, небрежно, будто бы и не к ним совсем, подошли к парням.

Через головы пялились на поющего Франчо.

— Эй! — крикнула одна девчонка и улыбнулась шире. — А неплохо!

Стояли. Слушали. Было что послушать.

Парень, стоявший напротив Франчо, играл карманным ножом. Нож блестел бешеным мальком в ладонях, взлетал и падал, и парень его ловил. Девчонки глядели: одна с презрением напускным, другая с восхищением.

Франчо спел последний куплет, брякнул по струнам и замолк. Гитара еще долго гудела. Он не клал ладонь на струны — пусть отзвучат на свободе.

Восхищенная шагнула ближе.

Еще ближе.

Закинула руку ему за шею, притянула его голову к себе и поцеловала.

Ее губы пахли молоком.

«Как у ребенка», — подумал Франчо.

Парни засвистели. Вторая девчонка, презрительно щурясь, зааплодировала.

— Спелись, пташки!

Франчо стряхнул с плеча руку девчонки.

Она все так же широко улыбалась.

— Эй, ты кто?

— Кукарача, — сказал Франчо.

— Ха, ха!

— Меня все так зовут.

Помрачнел. Брови сдвинул. Сорвал гитарный ремень с плеча, упрятал гитару в чехол. Хорошенького понемногу.

Парни столпились вокруг девчонок. Ухмылялись им. Заговаривали им зубы. Трогали за локти. Девчонки смеялись в ответ. На Франчо тут уже никто не обращал внимания. Так, поиграл музыкант на перекрестке, и никто даже деньгой не побаловал. Наглецы. «Всухую работал».

Зубы сцепил. Кулаки сжал. На губы налепил веселую улыбку.

Он забыл сказать девчонке, что его кличут не просто Кукарача.

А так: Кукарача-сирота.

И все это хрень. Сиротой он был вчера.

А завтра станет богатым и счастливым.

Богатым, счастливым и знаменитым.

И его полюбит лучшая девушка мира.

Лучшая! К примеру, такая: темнокожая мулатка с нежнейшими голубыми глазами.

Он видел такую однажды в порнофильме. Как она классно двигалась!

Жесты обезьяны, а лицо богини.

Что такое женщина? Кухня, постель, роды. Нас всех родила мать, и мы, залавливая на темной улице подгулявшую девицу, тащим ее в подъезд и ищем в ней красную дырку — вход в детство, в прошлое, в то, что было до рождения и будет после, потом.

После — чего?

Мать. Не думать. О матери думать запрещено.

Так же, как и о смерти.

Насвистывая песню Консуэло Веласкес, бессмертную «*Besame mucho*», он пошел, переваливаясь на длинных тощих ногах, как моряк на палубе в качку, побрел, потащился прочь — из этой подворотни, от этого гадкого кафе, от девчонок, подцепивших сразу хренову тучу парней, — навстречу своей собственной, и больше ничьей, музыке.

...а попросту — в другое кафе.

Запах оладий

Чтобы не думать обо всякой лишней печали, бабушка заводила песню.

Она пела, когда гладила белье; пела, когда крошила в борщ лук и чеснок; пела, когда спицы щелкали и летали в ее руках, в ее морщинистых, длинных, как виноград «дамские пальчики», коричневых, венозных пальцах; пела, когда вечерами рассматривала старые детские коллекции Рома — он мальчишкой ловил жуков и бабочек, насаживал их на булавки, потом укладывал в коробки из-под конфет на пухлую вату; а потом внезапно он, убийца маленьких живых существ, опротивел сам себе, ревел и тряс головой, и размазывал кулаками слезы по грязным щекам, и повторял: «Никогда больше! Никогда! Никогда!»

«Бабушка, спой!» — просил Ром, закончив делать уроки, и бабушка, покорно вытерев руки, уставшие от кухни, стирки и стряпни, вставала в дверном проеме и открывала высохший, с родинкой-чечевицей над верхней дрожащей губой, уже старческий рот, и оттуда вылетали юные, свежие, светлые звуки.

Она пела о краснобархатных знаменах с кистями — ими обворачивали раненую грудь далекие, скорбные солдаты забытой войны; пела о золотых рыбах, что ходят во глубине холодного озера, лежащего в горах узкой синей саблей; пела о девочках-сиротках, у них взорвали дом, и сиротки идут босиком по огромному миру и просят милостыню, и им кладут в шапку большие и маленькие деньги; пела о сердце — оно бьется-бьется, а потом в ночном небе сверкнет молния, и оно остановится — от страха ли, от радости — раз и навсегда.

Она пела ему о нежных белых цветах, о том, как сладок их запах, и что душа человека тоже имеет аромат: не каждому дано его ощутить. Только любящая душа обоняет и вдыхает любящую душу.

Бабушка всегда обрывала песню внезапно, ни с того ни с сего. Оба слушали тишину. Потом бабушка говорила: «Ромушка, я пойду пожарю тебе оладушки?»

С кухни в гостиную летел запах оладий. У бабушки никогда ничего не подгорало. Ром ел оладьи и в восторге облизывал пальцы: пять на левой руке, потом пять на правой. Все десять. Бабушка, подперев щеку сильной рукой, умиленно глядела, как он ест.

Когда Ром ложился спать — а спать они ложились всегда в одно и то же время, по часам: в двенадцать ночи, — он слышал, как бабушка тихо поет, напевает себе под нос. Слов в ночной песне не было. Кошачье мурлыканье. Нежные стоны. Колыбельная для цветов. Для тех, пахучих неведомых белых лилий любви.

Царь солнца

Ее с детства обучали древнему искусству.

Она сама не знала, как назвать то, чем она владеет; ее мать сказала ей: у нас это передается из поколения в поколение, и тебе я передам золотой огонь. При слове «золото» Милагрос вздрагивала. Ее старая мать, Инеса, дома хранила три огромные золотые маски; из настоящего золота отлиты перья, дыбом встающие вокруг владых голов; в золотых ушах мотаются золотые серьги, и золотые слепые глаза торчат из глазниц, как золотые яйца.

Три бога? Три царя?

В голодный год сеньора Инеса продала маски в музей, и ей соврали, что дорого заплатили, — а она и поверила. Зато на эти деньги они прожили кусок жизни; и ели, и пили. И даже ткани купили, и сеньора Инеса сшила одежду детям, мужу и себе.

Итак, расставшись с золотыми масками индейских вождей, что передавались в их семье из поколения в поколение, они выкрали из сундука времени лакомый кусок и съели его, как звери, как носухи едят лакомства из рук людей в виду огромных пирамид, — и счастливы они были.

Девочка Милагрос очень тосковала по золотым маскам сеньоры Инесы. Особенно она любила одну маску: серьги в мочках круглые, как автомобильные шины, лоб стесан к затылку тупым углом, в ноздре золотого носа золотое кольцо. Легкая улыбка обегала золотые губы и возвращалась внутрь золотого черепа, в прародину, в темную ночь времени, кишашую золотыми пчелами-звездами.

Сила пришла незаметно, посреди будней, обычным солнечным днем, когда Милагрос, сидя в патио, сбивала в узкогорлом деревянном сосуде сметану в масло. К ней подошла кошка, облизывалась. Милагрос протянула руку — и кошка встала на задние лапы, развела передние, будто танцевала. Милагрос покачала рукой вправо-влево — кошка нагнулась вслед за движением вправо и влево. Милагрос, смеясь, начала щелкать пальцами, как кастаньетами, отстукивая дробный веселый ритм — кошка стала прыгать в такт щелканью. Глаза кошки горели и говорили. Милагрос прочитала в глазах зверя: «Я понимаю тебя, я слушаюсь тебя, я люблю тебя. Я сделаю все, что ты хочешь».

И тут Милагрос испугалась.

«Это Сила пришла», — сказала она сама себе тихими похолодевшими губами.

С тех пор чудеса стали сопровождать Милагрос повсюду. Чудеса пропитывали повседневность, прослаивали золотым повидлом скудный, нищий пирог будней. То отец сядет за стол в разорванной на локте рубахе — а после обеда, глядь, на рукаве — аккуратный плотный шов. То сестренка занеможет, лежит, бедная, в жару, ловит воздух губами — Милагрос откроет дверь в комнату больной, дунет-плюнет, излетит из губ легкий, будто птичий, свист — и через час сестра, изумляясь выздоровлению, встает с постели, качаясь и улыбаясь, не зная, кого благодарить, — и благодарит Бога. То Инеса купит на рынке рыбу, Милагрос разрежет ее — а там, в брюхе, среди икры и кровавых потрохов — драгоценный перстень! И точь-в-точь на палец Милагрос.

«Счастлива будешь, дочка, — мурлыкала мать Инеса, расчесывая на ночь косы дочери, — и с мужем счастлива, и в детях. Вижу, все вижу! Вижу твоих дочерей. Младшей, слышишь, искусство передай, а?»

Милагрос кивала, косы ползли черными змеями с тяжелой от подступающего сна головы.

Когда ей исполнилось шестнадцать лет, ее выдали замуж за сеньора Сантьяго

Торреса, достойного мужчину, из хорошей семьи; и стали у них рождаться дети, и на время забыла Милагрос об искусстве своем и о Силе своей — некогда было.

Старые фотографии

Однажды Ром спросил бабушку: «Бабушка, а у меня ведь был дедушка?»

Бабушка долго-долго смотрела на внука. Она смотрела и не видела его. Мутные хрусталики не пропускали земной свет. «Был, а как же. Самый прекрасный дедушка в мире». Ее когда-то красивые, карие с зелеными искрами, теперь тускло-болотные глаза замерцали, заплыли слепыми слезами. Слезы медленно потекли в руслах морщин, бабушка собирала их пальцами, как мелкие ягоды.

Подняла голову к старому портрету.

С холста на Рома глядела, вниз и вкось, черноволосая красotka. Иссиня-черные волосы убраны на затылке в тяжелый пучок. Глаза летят по лицу, два черных веселых шмеля. Черный китайский халат расшит громадными яркими хризантемами — белыми, алыми, розовыми. Загорелую шею обнимает красный легкомысленный шарфик. Руки, единственные из всего остального, мастерски сработанные, намалеваны бегло и небрежно, наспех, плохо. Руки, единственные на всем молодом и сияющем полотне, — старые.

Старые дрожащие руки.

«Да. Это я».

«Ты?!»

«Это дедушка нарисовал».

Он повернулся к ней. Он бросился к ней.

«Бабушка! Бабушка!»

Он прижимался к ней изо всех сил.

«Почему ты никогда не говорила мне про дедушку? У нас есть его фотографии?»

Старые руки вытащили из шкафа холщовые самосшитые мешки. Из мешков на стол вывалились фотоснимки. Много снимков, кучи, тучи, — бабушка все трясла холщовый мешок, а фотографии все валились и валились.

Когда мешки опустели, бабушка и внук сели за стол — разглядывать прошедшую жизнь.

Их руки копошились в фотографиях. Пальцы ложились на давно мертвые лица. Глаза рассматривали давно закопанные в землю наряды, разрушенные и снесенные дома, русла ручьев, что высохли давно. Шуршала липкая бумага, мелькал черно-белый, давно отгремевший мир, и Ром увидел наконец тех, кого не видел никогда.

«Это кто?»

«Это дед твой. Красивый, правда?»

Старуха плакала безостановочно. Она не плакала очень давно. Перед ними танцевали, целовались, махали руками с борта парохода, пили вино в старинных застольях, хмурились и освещали сумрак улыбками их дорогие, любимые: ушедшие.

Слезы капали на старую фотобумагу, а Ром вытаскивал из рассыпанной колоды карт времени одно лицо за другим, одну жизнь за другой.

Бабушка замерла.

Сейчас он вытащит из колоды даму и короля. Тех, кто его родил.

Ром прочитал шепотом: «Люся, Ромка и я». Перевернул снимок.

Стоял рослый парень, смеялся во весь рот. Ямочки на щеках, тугие скулы. Щербина меж зубов. Похож на зайца. Рубаха расстегнута на груди. Рядом женщина, ему по плечо. С виду старше, но видно, что тоже счастливая. На руках держит белый

странный кокон. Вроде куколки. Да бабочка не вылетает. Все завернуто, закручено белым, плотным, атласным, штапельным, смертным.

«Люся... кто?»

Бабушка глядела на Рома незряче. Глядела и не видела.

«Это твои мама и папа, Ромушка».

Ром держал фотографию в пальцах, и пальцы дрожали.

«А где они теперь?»

И бабушка прижала руки к груди. Она так удерживала, как птицу, свое резко и сильно, кровавыми толчками, бьющееся сердце.

«Они умерли».

«Как?»

Бабушка положила руки на колени. Крепко переплела пальцы. Набрала в грудь воздуха. Ей предстояло нырнуть в песню, которую она еще не пела никогда.

«Они поехали покупать в Москву еду. Вкусную еду, нам всем! Еда, еда людская! Все мы едим еду. Все мы ее готовим. И никто не знает, какую еду будем мы есть там, куда нас пригласят в свой черед. Железная повозка везла их, везла! Слишком быстро везла! Разбилась она, разбилась. Разбились они, разбились. В алое месиво превратилась еда. Мы — лишь еда смерти, и ест она нас, причмокивает, и вкусны мы для нее. Что такое тело? Что такое душа? Душа — это продолжение тела, а тело — это продолжение души. Я хоронила их, а как — не помню! Мне все пели в уши, пели вокруг, очень громко, оглушительно, и я слух потеряла. А потом опять услышала мир. Ты у меня остался. И так я стала тебе всем, всем. Матерью тебе стала! Отцом — стала! Дедушкой — стала! Бабушкой — стала! Я одна у тебя осталась, и ты стал всем миром моим! Я так люблю тебя! Я люблю тебя так, как никто тебя больше в целом мире любить не будет! Даже девушка твоя! Даже — жена! Даже — дети твои, внуки твои! Я, я одна...»

Так пело ее ветхое, дырявое как тряпка сердце. А губы вылепили:

«Несчастье... Не спасли...»

Воздух в груди кончился. Легкие сложились гармошкой и выдохнули последний плач. Слезы высохли, будто под солнцем палящим. Внук положил фотографию родителей на заваленный мертвой жизнью стол и крепко обнял бабушку за плечи.

«Ты одна у меня. Ты моя. Я больше никого не полюблю. Я буду любить только тебя».

И бабушкино счастливое лицо взошло над поминальным столом, как яркое солнце.

И Ром сказал: «Я хочу посмотреть на звезды. Давай пойдем посмотрим на звезды?»

Ром с самого детства ходил вечерами вместе с бабушкой смотреть на звезды.

Бабушка покупала ему книги по математике, физике, астрономии, однажды у букинистов купила прекрасную старинную книгу, на обложке было вытиснено золотом: «КАМИЛЬ ФЛАММАРИОНЪ. ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМІЯ». Книжка эта, про звезды, нравилась Рому больше, чем все сказки. Он просил бабушку читать ему из нее на ночь. Бабушка послушно читала, потом пела внуку песню про звезды. И так он засыпал.

Ром вычитал из этой книжки, что астрономы наблюдают звездное небо в телескопы. «Конечно, настоящий телескоп стоит очень дорого, и нам его не купить, — сказал он, просительно заглядывая в лицо бабушки, — но можно ты мне купишь подзорную трубу? У нас хватит денежек?»

Бабушка откладывала деньги из пенсии, и за три месяца накопила на подзорную трубу. Ром торжествовал. Наступал вечер. Они тепло одевались. Осенние, зимние звездные вечера, лютый холод, лужи под хрупким хрусталем льда, черное небо рас-

пахивает врата бездонья. Бабушка плотно завязывала тесемки цигейковой шапки под подбородком Рома. Сама набрасывала на плечи необъятную шубу. Шубу ей купил еще дедушка, давным-давно. Светло-желтая, как волосы Рома, шуба, сшитая из шкурок китайской земляной выдры. Ром гладил ладошкой царскую шубу, и ему представлялось, как живые выдры бегают по берегу реки, а потом ныряют в волну. Варезки на резинках болтались, вылезая из рукавов. Бабушка в белом платке с длинными метельными кистями походила на красавицу из сказки. Ей в этом одеянии становилось сразу меньше лет, и Ром молча радовался: а может, время пойдет вспять!

Он крепко держал подзорную трубу. Боялся выронить, разбить.

Они выходили на улицу, фонари тускло и тоскливо горели над ними, лили желтое масло в черную кастрюлю зимней пустынной улицы. Бабушка прятала руки в муфту. Муфта пахла нафталином, бабушкиными духами, бабушкиной молодостью. Ром приставлял к глазу окуляр, вертел сочлененья трубы, пытаясь увидеть звезду не расплывчато, а четко и ясно. Он уже изучил, как созвездия располагаются на небесах, знал, когда на западе появится Венера, где и когда меж обледенелых ветвей загорится красный Марс.

Ром протягивал бабушке трубу: посмотри! Видно диск планеты! Превосходное увеличение!

Бабушка брала трубу осторожно, как ящерицу. Поднимала, наставляла туда, куда указывал внук.

И не видела ничего, ничего.

А говорила так:

«Внучек, как красиво! Какой красивый Марс! Он красный, да, горит как волчий глаз!»

И Ром смеялся от удовольствия. А потом спрашивал: бабушка, а ты волков живых видела?

Человек-собака

— Парень! Ты! Да!

Лохматый парень обернулся на крик и улыбнулся.

Выбитые зубы, костяная расческа.

Ноги тонут в навалах сырых, гнилых газет. Картофельные очистки, мандариновые шкурки. Вот лежит игрушечный медведь — у него один глаз глядит, а второго нет: окривел. Выкололи. Ножницами отрезали грубую мертвую нить.

И пузо медвежье выпотрошено: взрезали ножом, вытряхнули опилки.

Закончилось детство.

Жизнь началась.

— Что?

— Эй, стой, куда ты!

Кудлатый парень взбирается по горе мусора. Ему кажется: он убегает. На самом деле он судорожно корчится и бестолково карабкается, и жесты его рук похожи на беспорядочные движения лапок таракана, когда его морят и он погибает от страшного запаха смерти, выдуманной для таракана изобретательным человеком.

— Да что ты! Спятил! Я ж тебе ничего плохого не сделаю! Ты!

Бежит. Все вверх и вверх.

И растет, растет мусора гора.

— Ты! Слушай! Да говорю тебе...

Посреди свалки лезет на мусорный террикон несчастный мальчишка. Кажется, он живет здесь: он тут как свой, и одежонка у него бродяжья: портки с чужих ног, пиджак с чужого плеча. Лохмат, как девка — а кто бы его тут постриг? Парикмахеры на

свалке не открывают салоны. Жалко мальчишку. Глазки крошечные, глубоко под лбом горят, как у зверька; укусил бы, да боится.

— Да стой ты! Вот на, возьми... поешь!

Парень оглядывается, и на миг зверьи глазки просверкивают человеческим доверием. Он верит и не верит. Он хочет и не хочет подойти. Он хочет и не хочет убежать.

Стоит на пружинящей, вонючей гнили, качается.

Человек, что подзывает его, как собаку, прилично одет. Светлый костюм, подбритые усики, на груди, на цепочке, очки в черепаховой оправе висят. Может, профессор какой; а то и знатный торговец. Зачем он здесь, на свалке поганой?

Человек протягивает лохматому человеку-собаке сверток. На расстоянии, как зверь, чувствует парень, как от свертка вкусно пахнет. Еда! Человечья еда! Не отбросы!

Начинает спускаться. Будто с небес. Будто ангел. Тихо, осторожно.

И уже улыбается.

И уже тянет руку.

И уже — рядом.

Как просто, оказывается, приманить человека.

Гораздо проще, чем зверя.

Вот человек-собака рядом с человеком-человеком.

Вот человек-собака робко переворачивает руку ладонью вверх.

И так стоит, будто милостыню просит.

Как просто сейчас схватить руку, вывернуть грубым захватом, повалить его на землю. Ногой наступить на грудь. Как просто его сейчас убить.

И накормить — тоже просто.

Человек-человек кладет в лапу человека-собаки, живущего на свалке неподалеку от красивого города Мехико, завернутую в промасленную бумагу еду. Что это? Тако? Бурритос? Энчиладос? Все равно. Это пахнет очень вкусно. Слюнки текут. Слезы текут. Человек-собака благодарно берет сверток и пытается поклониться человеку-человеку. Крепко сжимает сверток в руке.

— Осторожно, мясо раздавишь, — говорит человек-человек хрипло, — там жареная курица. Ешь! На здоровье!

Человек-собака разворачивает сверток и ест. Прямо на глазах у человека-человека.

Ест жадно; пылко; страшно; стремительно.

Через минуту от курицы в ладонях остаются косточки.

Кости. Розовые и желтые кости.

Зубы перемололи жареную маленькую жизнь.

— Ты! Эй! Ты тут все время живешь, что ли?

Человек-собака глядел непонимающе.

На языке таял вкус жареного, обильно перченого птичьего мяса.

— Хочешь, пойдем со мной?

Человек-собака обрел дар речи.

— Куда?

— Ко мне домой!

Ветер шелестел обрывками газет. Куриные кости посыпались из рук. Кудлатый парень вытер жирные ладони о штаны.

— Заведете, — спросил человек-собака, — и убьете, и на органы?

Человек-человек закусил губу, чтобы не выкрикнуть лишнего.

— У меня дом большой! Семья большая! Не обидим!

— Нет уж! — пролаял пес. — Не обманешь! Я ученый!

Заплясал, замахал растопыренными пятернями:

— Я ученый! Я ученый!

Человек-человек стоял перед человеком-собакой, беспомощный, и чувствовал

себя горой мусора, на которой пляшет сальсу резкий сырой ветер, несущий с востока тучи и дождь.

— Ну и хрен с тобой!

Побрел прочь. Курица не помогла.

Обернулся.

Парень уже не плясал сальсу вместе с ветром. Стоял, рот открыл.

«Хочет меня окликнуть. И стыдится».

Человек-человек взмахнул рукой. Рука пахла жареной курицей.

— Я еще приду!

Сунул руку в карман, вынул носовой платок, тщательно вытер руки, протер золотое обручальное кольцо на смуглом толстом пальце.

Красный перец

— Фелисидад! Обедать!

— Мама, я еще немного потанцую!

С кухни доносился запах бурритос. Сложная смесь ароматов, но чуткий нос Фелисидад различал все замечательно: вот красный перец, а это белый, немного маисовых зерен, кусочки жареной курятины, лук, а как же без лука, немного мякоти агавы — для остроты, сыр кусочками, — и когда стряпаешь бурритос, он расплавится и обнимет мясо, — и что там еще?.. Ах, Господи, конечно, — мелкими ломтиками порезанный красный и желтый сладкий перец, как же без него! Бурритос можно делать всякий раз с разными начинками, здесь все зависит от фантазии кулинара.

Мать подняла голову от плиты. Стол уже накрыт. Перекатываясь на кривых ногах, к столу подбредает отец, сеньор Сантьяго, глава семейства Торрес. У него огромный живот, огромная лысая, как яйцо, голова, огромные руки, а ноги неожиданно маленькие и изогнутые, как у кавалериста. Голое, тщательно выбритое, густо-смуглое лицо с крупным крючковатым загнутым носом излучает добро. Лишь добро, и ничего больше.

Как же Милагрос повезло с муженьком! Где ж такого мужа еще сыскать! По всему Мехико будешь рыскать — не найдешь! По всему Гуанахуато, по всему Монтеррею, по всей Вильяхермосе, по всем Чиуауа, Сан-Луис-Потоси, Гвадалахаре и Пуэбле не найдешь такого супруга! Вон он, уже восседает за столом! Ждет еды! Вилкой по столешнице стучит! Ну а как же! Она-то ведь лучшая стряпуха во всем Мехико! А может, и в Мексике всей!

Господи, где эти дети?! Эти старики?! Где все, о святая Мария Гваделупская?! Невозможно так жить. Она старается, днями и ночами чахнет у плиты... а они!

— Миге-е-е-ель! Роса-а-а-а!

Тишина. Сеньора Милагрос набирает в грудь побольше воздуха.

— Пабло-о-о-о! Даниэ-э-эль! Лаура-а-а-а! Лусия-а-а-а! Эмильяно-о-о-о! — Передохнула, отбросила мокрой ладонью седую прядь со лба. — Хесу-у-ус! София-а-а-а! Хавье-е-е-ер!

Тишина. Впору рассердиться вразправду.

И тут с лестницы, со второго этажа, скатываются — цветной гомонящей, смуглой, сумасшедшей живой волной — сначала дети, потом подростки, потом взрослые — кто как горох по ступенькам, кто медленно и неторопливо, вцепляясь старой рукой в перила, — милые мои, родные, да как же вас много, да какое же счастье жить в огромной семье! Мы все плывем в нашем маленьком двухэтажном домике на окраине Мехико, как в ковчеге. И мы все любим друг друга. А как хозяйке выразить любовь свою? Чем же выразить, как не вкусным обедом?!

— Садитесь, садитесь, родные мои!

Рассаживаются. Сеньор Сантьяго Торрес с наслаждением вдыхает пар, поднимающийся от миски кукурузного супа с курицей и перцем. Старушка Лусия уже ломает хлеб в тоненьких, как щепочки, нежных пальцах. Когда-то Лусия была пианисткой. Собирала залы. Гремели оvationи. Ей подносили букеты. А теперь Лусия — всего лишь приживалка у сеньора Сантьяго: она закадычная подруга его сестры Софии, и у нее никого нет, и немощная она, и беспомощная: ну куда ей деваться? А вот и Пабло подбегает, мышцы накачанные, сам весь силач, не подступись! Пабло брат его женушки, приехал из Монтеррея, попросился немножко пожить, да так и живет. Хлеб жует. Да еще сына из Монтеррея приволок: Пако жена бросила, ребенка ему на руки кинула, — ну как тут не поможешь? Ясно, надо помочь. А эти, Эмильяно да Хесус? О, щенки приبلудные! Это ж детки его сестры покойной, царствие ей небесное, Марии Хосефы! Дом у них на побережье, да не дом, а старый нужник. Рыбу не хотят в океане ловить! Им — Мехико, видишь ли, подавай! Столицу!

И, Боже, ко всем прочим людям, истомившим, измучившим его, грызущим его хлеб и пьющим его питье, тут Хавьер; зачем он здесь? Кто он сеньору Сантьяго? Никто. Из милости его приютил. На свалке парень жил; на свалке, ясно! А человек не должен жить, как плешивая собака. Человек — это человек! И Торрес — человек. По-человечески поступил. Руку на плечо нищему положил. Сказал: идем со мной! Крыша у меня есть над головой!

Так Хавьер стал с ними жить, и лучше всех вылюдился, грязный бродяга! Любого можно отмыть. С любого грязнули — рубашку отстирать. Душу бы не запачкать, душу!

— Милагрос! М-м-м-м! Ты сегодня сама себя превзошла! Я сто лет не едал такого супа!

Половник стучит о дно кастрюли. Тарелки наливаются. Бурритос, еще шипящие, снимаются лопаточкой с гигантской сковороды и кидаются на круглое, как луна, блюдо. Тащат, тащат разные, и детские и старые, и нежные и исполосованные временем, руки еду от плиты — к столу, пустые тарелки — опять от стола — к плите. Салат, вот едет салат! Милагрос сама несет его, на высоко поднятых руках. Царствуй, владычица, это твой Рай! Видишь, как уплетают стряпню твою за обе щеки! Благодаренье Господу, у Сантьяго хорошая работа, о, только бы ему ее не потерять!

Но, хвала святой Марии Гваделупской, и дети, дети тоже помогают... свои кровные песо, заработанные, в карманах обтрепанных джинсов — приносят...

Милагрос поставила салатницу на стол. Незаметно повела рукой над столом. Будто кошку гладила. И все за столом сидящие, как по команде, разулыбались.

«Есть во мне Сила. Только я ее забыла. Да и ни к чему мне она. Надо ее передать. Пора».

— Мигель, положи, пожалуйста, Хавьеру еще один буррито! Он сам не дотянется! Роса, успокой Даниэля! За столом не капризничают! Дай ему воды!

Малыш Даниэль скорчил рожу: хватанул чилийского перца, да полным ртом. Слезы брызжут из глаз. Рот кривится в отчаянном плаче. Вой за столом, как вой сирены. Сеньор Сантьяго щелкает пальцами. Сидит за столом, а как будто танцует! Мальчишка глядит, разинув рот. Слезки высыхают. Звериный вой оборвался. А перец чили, он хоть и жгучий, да всем полезен!

Иисус-Мария, да все ли тут?! Да где ж эта девка, озорница, танцует опять перед зеркалом бесконечную сальсу свою?!

— Фелисида-а-а-а-ад!

Дверь распахивается, и по лестнице летит черный, красный вихрь. Копна черных мелкокудрявых волос трясется. Алые юбки развеваются. Стук каблучков по ступенькам — стук сердца безумной, непослушной девчонки. Что творит?! Учебу бросила — танцевать, говорит, хочу! Да все ж танцорки — проститутки!

— Мама, мамочка, прости! Я затанцевалась! Я проголодалась, как зверь! О, бурритос!

— Лучше бы на кухне мне помогла бурритос делать, дура...

Вихрем врывается за стол Фелисидад. Все оживляются, смеются, глядя на нее. Фелисидад — душа, Фелисидад — сердце! Вон как сердце бьется у девчонки, под отогнутым кружевным воротом кофточки. Грудь поднимается! Вверх-вниз, вверх-вниз. Хавьер слишком горячо глядит на смуглую девичью грудь. На золотую лапку крестика. Сеньор Сантьяго громко кашляет в кулак.

— Мать, и бурритос удались!

Мать сидит на кровати. Кровать застлана розовым одеялом, обшитым плотными кружевами. Дочь сидит у ее ног, на полу.

— Мама, ты зачем меня позвала? О школе поболтать?

Черные ресницы зубьями торчат: черные пилы крошечных гномов. Хорошенькая у нее дочка эта. Роса — та побледнее будет, камбала вяленая. А эта — заглядение.

— Фелисидад, — горло Милагрос перехватывает петлей. — Я хочу передать тебе искусство. Это тайна нашего рода. Женщины знают ее.

Мать ощутила, как напряглась и замерла дочь.

— Твоя бабка была из старого индейского рода. Ее отец и мать были индейцы. Их корни восходят к золотым ацтекам. А от них — к богу Улитке. Бог Улитка наш предок. Ты колдунья. — Она проглотила слюну. — Как и я. Как и все женщины нашего рода.

Милагрос положила руку на плечо Фелисидад.

И тут Фелисидад захохотала.

Она хохотала долго, звонко, вкусно, блестя зубами, откинув голову так, что затылок касался спины.

— Ох-ха-ха! Ах-ха-ха! Мама, ты это серьезно?! Да я думала, ты пошутила! Я-то тоже пошутила! Ах-ха-ха-ха-ха!

У Милагрос навернулись слезы на глаза. «Так я и знала! Я с ней как с равной, я по-хорошему, а она — потешаться надо мной!»

Хотела встать с кровати. Губы гневно тряслись. Фелисидад все поняла, удержала мать за руку. Крепко сцепились пальцы. Склеились смуглые руки. Теплая кровь переливалась из руки в другую.

Фелисидад, ее юные смуглые, розовые щеки. Ее белые зубы; пружинистые, влажные, черные кудри. Иссиня-черные, вороново крыло.

Она пошевелила плечами, лопатки задвигались под легкой черной тканью.

— Мама, почеши мне спинку. Да! Вот здесь! Да!

Мать корябала, скребла ногтями черный шелк. Под шелком — тело, плоть ее девочки. Роса дура. Она ей не передаст. Фелисидад все поймет. В Фелисидад — сила. Кровь горячая. Солнечная.

— Я тебя лишь об одном прошу, доченька: учись дальше! Не становись танцоркой! Танцорки... они — плохо живут! И марьячис, и танцорки — бродяги беспутные, голь перекатная! Зачем тебе это? Брось!

— Мама, ну вот уже нравоучения.

Фелисидад легко встала с пола. Подпрыгнула. Побила ногой об ногу.

Пошла к двери.

Обернулась.

— Я не верю в эти старые сказки. Но я поеду. Когда захочешь.

Вышла, копна черных волос-колосьев метнулась назад-вперед.

Мать осталась сидеть на розовой, кружевной кровати. Руки во взбухших венах в подол уронила.

Сальса в кафе Алисии

Дверь кафе на себя. С трудом подается.

Огни, бешенство огней ударяет изнутри.

Как люди, посетители выдерживают напор огня? Люди любят огонь. Они любят его издавна. Всегда. Вон пьют, едят, а на столе — толстая, как хвост носухи, свеча. Официантка несет на подносе тарелки, и в тарелках — огонь. Что горит? Еда горит?! Разве люди едят огонь?

А, это просто повар на кухне блюдо такое сделал! Блинчики с коньяком, и коньяк поджег! Горит коньяк, плавится сахарный сироп! Люди готовы жрать пламя, люди на все готовы!

Ее танец тоже огонь. Да не каждый его сожрет.

— Привет, Алисия!

Твердое, жесткое пожатие руки.

«Эта девчонка пожимает руку как мужик», — думает белобрысая, вся прокуренная-пропитая Алисия, пожимая девчонке руку в ответ, перекатывая языком из угла в угол рта пахучую, горькую, зловонную сигару.

Сигара дымится. В кафе уже полно клиентов.

— Привет, Фелисидад! Я уж думала, ты не придешь!

— Пришла! А то!

Дверь хлопает — удар по ушам. Марьячис пришли. Расселись. Один из них стул вверх ногами перевернул. Четыре ноги торчат. Фелисидад прижала ладонь к губам, хохотала беззвучно. Алисия налила из початой бутылки полстакана текилы, протянула ей.

— Выпей! Ну! Что не пьешь со мной?! Не хочешь со мной, да?!

Фелисидад весело глядела на своего марьячи-таракана. Она не знала, как его зовут. А он знал, как зовут ее. Ее здесь все окликали то и дело: «Фели, подсядь к нам!», «Фели, станцуй румбу со мной!», «Фели, у меня креветки, угощайся!» Фели то, Фели се.

— Не хочу! — Фелисидад дерзкая девчонка. За словом в карман не лезет. — И не буду!

— Ну-ну, танцорка... кого перетанцуешь...

Фелисидад выпятила грудь и трянула юбками. Она сама сшила это платье для танцев: лиф черного шелка, низ покроя «солнце», слепяще-красный, кровавый, за края юбки взяться — можно над головой руки соединить.

Хрипло, длинно вздохнула Алисия, в груди у нее заклокотало. Она запрокинула голову и отхлебнула большой глоток.

— А-а-а-ах, голубая агава, что бы людишки без тебя делали...

Фелисидад видела краем глаза: входили еще марьячис, несли с собой не гитары — трубы и барабаны. О, да сегодня тут целый оркестр! Вот уж она попляшет!

Музыка ударила внезапно. Обвалилась ледяным, грохочущим водопадом. Гитары в руках парней вибрировали, метались, тряслись. Гитары тоже танцевали. И уже танцевала, бешено, неистово плясала она — уже в круге света, на пыльном полу кафе, и глиняные плиты звенят под каблуками, и воздух ртом ловит, задыхается, как рыба на берегу океана!

Сальса. Любимая сальса! Марьячис играли сальсу, и вперед вышел, перебирая худыми ногами, этот, ее зазноба. Выпучил глаза, как рак. Близко, очень близко подобрался к ней в танце — Фелисидад слышала, через весь грохот веселой музыки, его дыхание. Жаркое, винное дыхание мужчины.

Зло ударяя скрюченными пальцами по струнам гитары, тощий марьячи запел, высоко, пронзительно, гнусаво, его голос разрезал дымный воздух кафе, как индейский нож:

— Ты, старуха, калавера!
Нынче ты спляши со мною!
Я, старуха, нынче ночью
Назову тебя женою!

Обниму тебя, косая,
Спать со мною нынче будешь!
Ты, костлявая, босая,
Кабальеро не забудешь!

И все марьячис, весь хор, дружно грянули, подняв подбородки над гудящими, пляшущими в дыму и пьяных выкриках гитарами, разевая зубастые волчьи рты, выдвигая вперед согнутые в колене ноги, и у кого-то сверкал в коричневом, как переспелый банан, уже кривой попугайский клюв золотой серьги:

— Ты, костлявая, босая,
Кавалера не забудешь!

Струны насыщали густой, цитрусовый, спиртовой воздух биением живых сердец.

Ее усатый таракан уже плясал, сплетая и расплетая безумные тощие ноги, вертя в руках гитару веретеном, вокруг нее. Он обхаживал ее. Так голубь танцует вокруг голубки. Самец и самка, ну что ж тут такого. Все в мире хотят друг друга. На время. На часок. А потом разлетаются, голуби. Фелисидад, девственница! Он чувствует это. Он знает: ты — чистая. Он не тронет тебя. Дай ему просто покуражиться. Просто повыдывать вокруг тебя пьяные вензеля, жестокие узоры.

«А может, он колдун!»

Пот ошпарил ей спину. Полил между лопатками.

— Bravo! Bravo! Bravo, Фели! Bravo, ребята!

Алисия вытащила из кармана две бумажки. Хлопнула ими об стол. Деньги вымочились в вине и жире. Алисия резко подвинула песо к Фелисидад кулаком, сдула пепел со стола: она никогда не могла стряхнуть пепел с вечной сигары в пепельницу, всегда — мимо: на юбку, на пол, в бокал с вином.

— На. Бери. Заработала. Классно пляшешь, детка. Далеко пойдешь.

Фелисидад засунула деньги за лиф.

«Бойкая. Еще нетронутая! Испортят быстро».

— Ты, — хрипло выдохнула Алисия и подалась к Фелисидад, грудью легла на стол. — Ты откуда? Откуда ты ко мне шастаешь? А? Где ты живешь?

— Как где? Здесь. В Мехико.

— Мехико большой. Ты одна? Ты богата? А может, ты чья-то дочка? Ну, крутого дядьки? Отловит он тут тебя у меня — меня пришьет!

Алисия уже везла языком.

Фелисидад накрыла смуглой ладошкой ее руку.

— Алисия, тебе не надо больше пить. У нас большая семья. Много народу. Клан, — она усмехнулась, зубы блеснули. — Мой отец держит автомойку. Вместе с моим дядей. Все? Ты довольна?

— Довольна, — Алисия точь-в-точь повторила ее улыбку, — до-воль... на...

Упала головой на стол. Посуда на столе зазвенела от удара лба о столешницу. Марьячис заиграли новую музыку. В кафе входили люди, и из кафе выходили; усатый таракан внимательно следит за Фелисидад — останется? Уйдет? Судомойка Ирена тишком подкралась к задремавшей пьяной хозяйке, запустила руку ей в карман. Таракан успел подшагнуть, дать судомойке подножку. Она растянулась животом на полу, тискивая в воровском кулаке пачку песо.

— Это наши деньги, сеньорита, — очень вежливо сказал усатый таракан, за

локоть поднимая с полу Ирену, аккуратно вынимая деньги у нее из руки. — Наши. Поняла? Запомнила? Больше так не будешь?

Ирена с ужасом глядела на нож, выдернутый усатым марьячи из кармана джинсов. Бедная судомойка таких ножей никогда не видала.

Лезвие прозрачное. Чуть розовое. Из розового, грубо обточенного камня. Все в сколах, в царапинах. Наверное, страшно острое. Страшный нож. Чуть лезвием таким по животу проведешь — все кишки наружу. Рукоять спокойно лежала в плотно сжатом кулаке Таракана. Из кулака торчал край рукояти. Он изображал оскаленную башку. Череп.

Зубы скалятся, высунут наружу каменный язык.

Горят белые хрустальные глаза. Горят в голом каменном лбу.

На странный дикий нож глядела не только Ирена.

Фелисидад, наклонившись к колену, пылко поцелованному тощим Тараканом, и якобы поправляя юбки, исподлобья жадно тоже глядела на него.

Не приговор

Неприметно, тайно, исподволь подкрался жар.

Сначала чуть болела голова. Потом начало ломить и выкручивать суставы. Потом холодный пот потек по спине, а потом горячий, и зубы забили чечетку, выступивали невнятный, безумный ритм. Зубы танцевали отдельно от тела.

А тело уже полыхало. Горело. Ярким пламенем. Невидным. Неслышным.

«Бабушка, кажется, я заболел!» — прохрипел Ром, лежа на кровати в своей спальне. Встать не было сил.

Бабушка сидела на диване, на плоской подушечке, и, вооружившись громадной лупой, читала «ОБЩЕДОСТУПНУЮ АСТРОНОМИЮ» Камиля Фламариона и разглядывала в лупу на старинных гравюрах лунные кратеры, марсианские каналы и спутники Юпитера. Она подняла тяжелую, как утюг, голову. Глаза ее слипались: ей хотелось спать. А Ром обещал ей на ночь горячего чаю, и с медом. С настоящим липовым медом. Он сам купил. Умница мальчик.

Что это с ним?

Кажется, он что-то сказал?

Старуха отложила Фламариона, заляпанную жирными пальцами лупу, тяжело разгибая спину, встала и подобрела к лежащему на кровати внуку. Он походил на распластannую рыбу камбалу. Глаза глядели и не видели. Красные белки. Губы потрескались. Кончик языка торчит между зубами.

Бабушка положила руку на лоб внука — и отдернула ее.

«А! Какой жар! Ты захворал! Ты...»

Она, суетясь и спотыкаясь, ринулась в гостиную, чтобы открыть секретер — там лежали припасенные впрок лекарства, — чуть не упала, ухватилась за край черного пианино «Красный Октябрь», затрещал серебряный ключ в заржавелом замке секретера, на руки бабушке вывалились пачки и коробочки с таинственными надписями, она шарила руками в секретере, давила таблетки, гребла к себе, к груди и животу, выгребала все, что изобрели люди для того, чтобы вылечить болезнь, а может, усугубить ее, — и наконец глаза ухватили знакомую надпись, и бабушка, чувствуя, как слабеют от страха руки и ноги, взяла лекарство в зубы, как собачка, и так, с упаковкой в голых деснах — фарфоровые ее зубки мирно покоились в чашке в буфете, — прошаркала опять в спальню.

Ром лежал. Тело разлилось, растеклось по кровати. Не тело — тесто. Горечь и огонь. Страх и боль. Он заболел!

«Я тебя вылечу, мальчик мой...»

Ром терял сознание. Жар поднимался. Лицо красное, как помидор. Веки синие. Дышал часто, по-собачьи. Бабушка пощупала ему пульс. Ее лицо вытянулось. Она увидела себя в трюмо напротив: белая, с белыми космами и белым как мел лицом, старуха сидит близ больного, и чем больной болен, не знает никто.

Она одна знает. Она.

Она, и только она его вылечит.

Доктор поднял вверх руки. Ром смотрел на него снизу вверх, лежа на больничной койке, на вдавленной глубоко, как гамак, панцирной сетке.

«Доктор, что у меня?»

Он постарался спросить это как можно спокойнее. Бесстрастной.

«У тебя-то? О Господи! А тебе легче станет, если скажу?»

Легче, кивнул Ром. Глаза его уже наполнялись слезами. Хорошо еще, лежит, может, не вытекут — стыдно.

Доктор выкрикнул мудреное название болезни. Ром глядел, как глухой.

«Понял?! А, да ты все равно не...»

А это навек? В смысле, на всю жизнь?

«Навек-навек... Короче, да, парень, с этим ты теперь будешь жить! Жить-поживать! Добра наживать! Да ну, не дрейфы! С этим делом люди до ста лет живут! Если, конечно, соблюдать все предосторожности! Ну, многого тебе нельзя будет, конечно, да! Но ты не кисни! Это ж не приговор. Ты! Слышишь! Не приговор!»

Слезы все-таки вытекли из углов глаз. Быстро, мгновенно стекли по вискам на подушку.

Больничная жесткая подушка, старое птичье перо быстро впитали соленую влагу.

Ночь благодарения

Пришла больничная ночь, единственная из ночей.

Он не забудет ее никогда. Сколько бы ни прожил на свете.

Сначала ему стало плохо. Тьма подступила незаметно, неслышно. Начались перебои, сердце стало стучать не так, как обычно: странно, быстрыми удвоенными ударами, а между ударами — паузы, провалы. Пустота.

«Еще! Еще!» — вопил хриплый голос. Он не слышал. Еще ток, и еще содрогание. Живое сотрясается, шевелится, и это всего лишь рефлекс. Сокращение мышц тела. А душа, где душа? Она ушла. Куда?

Тело не может без души. Не может.

Так что же такое тело, и почему оно обнимает, танцует и любит? Бежит ногами по земле? Бежит, бежит, задыхаясь, бежит к любви своей?!

Он же еще не любил. Он еще не любил никогда! Дай ему изведать любовь!

Кто — дай?! Кому — молитва?!

«Синусовый ритм!» — проорал опять тот же прокуренный, как у хулигана в подворотне, грубый голос. Хриплоголосый врач сломал ему два ребра и напрямую делал рукой массаж сердца. Операционная медсестра делала в обнаженное сердце укол. Длинная игла. Нагое сердце, и бьется. И люди видят, как оно бьется у человека внутри. Оплетенное сосудами, облитое кровью. Бедное. Милое. Единственное.

Если остановится — такого больше не будет никогда.

Хирург отошел от операционного поля. Махнул рукой ассистентам: зашивайте!

Стояла глубокая, земная беспросветная ночь. Фонари погашены, но вся ночь просвечена насквозь призрачным звездным светом. И еще светом снега.

Снег — самосветящаяся материя. Почти как Солнце. И звезды.

Потому что он белый, слишком белый. Если свежий, только что выпал.

Снег — свадьба земли. Снег — саван земли.

А может, родильная простыня.

Ром открыл глаза.

Он лежал, вытянутый, как в могиле, на странном узком столе, и думал так: я живой! Господи, я живой! И какое же это счастье! Господи, думал он, какое счастье жить, вдыхать воздух, он пахнет спиртом, он пахнет резиной, пахнет хлоркой и известью — недавно тут белили потолки, — пахнет горечью неведомых лекарств и немного — хлебом, а, это санитарочка забыла на подоконнике пакет с надкусанным пирожком, вот и пахнет тестом и вареной капустой. Господи, вот огромное окно, оно незашторено, и за ним звезды. Он видит их отсюда. Они горят ровно и ярко.

«Россия — зимняя страна, — пробормотали губы, — и я — зимний человек. Я переплыл зиму. Я пережил смерть. Я еще раз родился, и значит, мне теперь ничто не страшно».

Он улыбнулся этой радости. Спасибо, Господи, я излечился от страха. Это не значит, что я перестал бояться! Я буду бояться, буду пугаться! Я же живой человек! Но теперь, Господи, Ты слышишь, теперь я перестану бояться ухода, ведь это оказалось так просто — уйти. И еще я знаю, Господи: там, у Тебя, ничего нет, хоть во всех книгах и написано: там, у Тебя, что-то такое есть, ну, жизнь, вроде как ее продолжение, и человек, уйдя к Тебе, все чувствует, помнит и знает. Нет! Я теперь знаю: это не так. Там пустота ночи, полной звезд! Там холод и тишина!

Там — нет. Все — здесь и сейчас. Ты слышишь?! Здесь! И теперь!

Господи, я лежу на этом столе, как мертвый жук в картонной коробочке лежал на вате, и вдруг, проткнутый иголкой, он ожил, и расправил надкрылья, и зажужжал, и я заплакал, наблюдая рождение убитой жизни, ее возрождение, и трясущимися руками вытащил иглу из хитинового черного тела, и выбежал на улицу, и подбросил его в воздух, а раненный иглой жук бессильно свалился на землю, и еще горше плакал я, и хватал жука, и гладил его, и дышал на него, и кричал: ну оживи! оживи, пожалуйста, прошу тебя! — и жук все-таки ожил и полетел, тяжело воспарил, сумасшедше жужжа, и я видел, как растаял он в небе! Вот так же, настанет день, я раскину руки — и взлечу с этого стола, из могилы этой железной, и полечу!

И буду кричать, все время кричать: Господи, спасибо! Спасибо, Господи!

Настанет день — Ты улыбнешься, и снова возьмешь меня в руки Свои, и спрячешь сначала за пазухой Своей, как малую птичку, как седую собачку, а потом положишь Себе на ладонь, рассмотришь: драгоценные, белые кости твои, старик, Ты скажешь, драгоценные серебряные волосы твои и морщины твои! — и, как изогнутое старинное серебро, положишь меня в шкатулку Свою. Туда, где хранятся все мертвецы, самые великие сокровища Твои.

Он не понимал, почему разговаривает с Богом. Он никогда не верил в Него, тем более не говорил с Ним. Это произошло само собой. Он так не хотел. А вот так получилось.

Когда вылились все слезы — кончились восторги. И замерли все слова. Ром утих, перестал шептать и невнятно молиться. Он умиротворенно уснул, чувствуя, как медленно вливается в жилы целебное снадобье из тонкой прозрачной трубки.

Девочка и бык

Милагрос и Фелисидад поехали вместе на пирамиду. Одни.

Милагрос всегда говорила мужу, куда уезжает. Она отличалась большой честностью, даже щепетильностью; она могла скрыть что-то от домочадцев, но от Сантьяго у нее никогда не было тайн.

Но тут она ничего, ничего не сказала ему.

Из придорожных кустов выпрыгивали носухи с хитрыми узкими мордами и пушистыми полосатыми хвостами. Носухи подбегали к ним и беззастенчиво тыкались мокрыми носами им в колени и ладони: просили еды. Милагрос открывала сумку и вынимала кусочки хлеба и куриные огрызки, заботливо сложенные в мешочек. Носухи хватали снедь зубами и, вильнув хвостами, убегали с угощением за скалы, а иные косточки грызли тут же, при дороге. Крупная носуха взяла кусок хлеба в лапки. Поедала его, совсем как человек. Милагрос умиленно глядела на зверьков.

Фелисидад свистела сквозь зубы модную песенку.

Милагрос ткнула дочь пальцем в бок:

— Посмотри, какие они смешные!

— Заведи себе носуху, как кошку, мамита...

— Не мели чушь! Носуха — зверь свободный!

— Я тоже свободный зверь!

— О да, ты зверь, зверюга!

Шли дальше. Гора росла перед ними и вырастала. Сколько бы они ни шли — все далеко было до вершины.

Что происходило во тьме? Тьма была всегда. В ней горели два жалких светильника. Когда-нибудь закончится жир в плошках, и огонь догорит. Пока горит — надо успеть.

Обе женщины разделись догола. Фелисидад пыталась хихикать. Смех ломался, бился о своды пирамиды хрустальными брошенными рюмками.

Мать сказала: наши предки родом из Ацтлана, белой и золотой земли на Севере. В Ацтлане никогда не заходит солнце, ходит по кругу. На солнце в Ацтлане можно глядеть. Есть люди, что глядят на солнце и не слепнут. Я тебя научу.

Мать ничего не давала ей пить опьяняющего: Милагрос опьянила дочь дыханием, стуком каблуков, щелканьем пальцев, игрой рук перед широко открытыми глазами девушки. Фелисидад превратилась в змею и поползла по камням. Ей стало дико, страшно. Она подумала: как теперь вернусь в свое тело?

Когда Милагрос протянула к дочери руки и прошептала: «А теперь стань пантерой!» — Фелисидад опустилась на четыре лапы, выпустила когти и стала пантерой. В животе перекачивалось глухим громом рычание. Теперь уже не так страшно. Теперь — интересно. Прекрасно чувствовать сильное тело под бархатной шкурой, мощные хищные мышцы. Таких у нее не было даже в самом быстром и страстном танце.

В руках у Милагрос явилась бычья шкура. Она живо накинута на черную пантеру, и пантера опять стала дрожащей нагой девушкой. Милагрос присела на корточки, вынула из сумки высохшую пантерью лапу и острый нож. Ножом разрешила себе руку чуть ниже локтевого сгиба. Обмакнула лапу в кровь. Фелисидад стояла прямо, выпятив грудь и подтянув живот. Мать медленно рисовала на смуглом теле, в пятнах гнущего света, красные разводы, узоры и стрелы и другие, непонятные знаки.

Среди рисунков на животе Фелисидад вспыхнул один: женщина и бык.

И как только Милагрос нарисовала пантерьей лапой красного быка на смуглой девичьей коже — бык появился. Черной горой вышел из стены, из древней каменной кладки. Чтобы не закричать, Фелисидад прижала ладони ко рту.

Бык шагнул к Фелисидад, обнюхал ее. Мать всунула ей в руку нож. Фелисидад сказала бешеными глазами: мама, я не могу! «Можешь», — закрыла мать глаза. И тогда Фелисидад взмахнула ножом. Горло. Черная шкура. Жаркая кровь. Вечная смерть.

Это тоже танец, девочка, всего лишь танец, сон, бред.

Нет. Это еще жизнь. Это тоже жизнь.

Бык замычал густо, пьяно и рухнул у ее ног. Фелисидад стояла с ножом в руке и глядела на тушу. Спина ее тряслась и выгибалась. Она плакала. Мать вымазала в крови ладонь и провела всей пятерней по дочкиному лицу.

Шкура исчезла. Бык пропал. Голая стояла Фелисидад во тьме и плакала, плакала.

И бабочка нежного цвета осторожно и красиво вылетела из груди Фелисидад. Ей стало легко и приятно. Она подумала освобожденно: и это навсегда. Издалека, с другого края земли, она еле услышала истошный крик матери: «Фели! Вернись! Вернись!»

Она вернулась.

Кровавые рисунки на теле подсохли, узоры и древние буквы превратились в коричневые подтеки. На последний автобус они не успели бы все равно. Ночевали в мотеле близ пирамиды; хозяин, милости ради, взял с них совсем немного.

Чай с лимоном

Ром сказал бабушке: знаешь, я уеду в Америку.

Бабушкины руки затряслись. Губы Рома запрыгали, а хотели сложиться в улыбку. «Что случилось, Ромушка? Тебе приснился сон?» Нет, бабушка, это не сон, сказал он, стараясь, чтобы голос звучал твердо и весело, это я нашел в Америке учебу и работу.

«Как же я тебя отпущу? Как же ты меня покинешь?» — спросила бабушка беспомощно, Ром не знал, что ответить. Он знал и третий вопрос. Она не задала его, но он знал — она мысленно спрашивает его: а как же твое больное сердце?

«Бабушка, — бодро сказал Ром, — ты не бойся. Я уже не маленький. Я взрослый. Я буду следить за собой. А к тебе прилетать на каникулы. Два раза в году».

Чтобы не заплакать, Ром положил бабушке руку на толстую спину, в другую — взял ее красивую высохшую руку. И стал с ней танцевать.

Вытанцевал ее из кухни. Они втанцевали в гостиную. Тесно. Шкаф, стол, стулья мешали. Наступали друг другу на ноги. Опять смеялись. Губы кривились от смеха. Ром пел: там, та-та, та, там. Бабушка умело перебирала ногами. Они танцевали танго. Только Ром об этом не знал.

А бабушка знала. Ее глаза блестели.

Танго и фокстрот, и медленный фокстрот, и нежный вальс. Все ушло, умерло. А она осталась.

Дедушки нет. Молодого дедушки. Он так крепко, властно вел ее в танце. Совсем как Ром.

Время прошло, проскользнуло мимо, навывлет.

Ром вызвал по телефону такси. «Присядем на дорожку», — тоскливо сказала бабушка. Они оба сели на край дивана. Молчали. Он держал бабушку за руки, как девушку. Подумал: какие красивые руки, до старости. «Бабушка, я попросил Фаню Марковну следить за тобой». Спасибо, усмехнулась бабушка, это я буду следить за ней, а не она за мной.

Опять молчали. «Ну все, езжай. Машина ждет. Деньги накручивает». К черту деньги, крикнул он! Молчание рушилось и разбивалось на тысячу звезд.

Я позвоню.

Ну да, звони, я жду.

Как прилечу, позвоню сразу.

Да. Сразу.

Бабушка. Я люблю тебя.

И я тебя тоже очень люблю, Ромушка.

Бабушка. Ты только держись.

Да мне и так хорошо, Ромушка. Мне лучше всех.

Я устроюсь в Америке и тебя возьму к себе.

Ох, нет, куда же я отсюда поеду? От своих могил? Этого нельзя. Мне здесь надо быть.

Там посмотрим.

Да. Там посмотрим. Главное, чтобы тебе было хорошо. И чтобы ты не болел.

И чтобы ты не болела. Бабушка!

Он стиснул руками ее полные, теплые плечи. Она вся была из теста — из теплого сладкого, вечно всходящего теста его детства, его погибшей радости. Изюм ее глаз, снежный нож искусственных зубов, слезный блеск запавших глубоко под череп глаз, кошачье мерцание стеклянных хрусталиков в дырках зрачков, дынная корка щек, паучья сеть волос, и разлетаются, и летят, будто в комнате сильный ветер.

Ветер! Ветер! Сейчас унесет его. Далеко. Очень далеко.

Крылья из марли

Старая Лусия вязала, сидя в кресле. Она вязала всегда, бесконечно: то разноцветный полосатый носок, то длинный, как рыболовная сеть, шарф, то свитер с невероятно длинными рукавами, и никак не кончались рукава, а Лусия не спешила завершать работу, медлила. Распускала петли и перевязывала изделие. Начинала снова. Придирчиво, строго на вязание глядела.

Фелисидад любила вечерами сесть на пол, на маленькую табуреточку, у нее в ногах, и трогать вязание, и глядеть на искрение спиц, и слышать тонкий, летящий пухом от высохших тонких губ голос доньи Лусии. Музыкальные пальчики, почти скелет; нежные желтые костяные спицы. Мы все станем спицами под землей. И нами свяжут новые земляные слои. Черные свитера, коричневые шарфы для бешеной шеи огня.

— Лусия, расскажи мне.

— О чем, детка?

— О чем хочешь.

Лусия вздохнула. Вязание теплой и мягкой рекой струилось с ее колен на каменные плиты пола.

— Я уже так много прожила на свете, что у меня в голове каша из событий и приключений.

— А у тебя много приключений было?

Фелисидад взяла в руки длинный шерстяной рукав, обмотала его вокруг шеи.

— Ты имеешь в виду любовные истории?

— Ну хотя бы.

— Много. — Спицы ритмично двигались, стукались друг об дружку, шуршали. — Жизнь большая. Мужчин тоже много было.

— А почему же ты осталась одна?

— Все умерли.

Так просто. Все умерли, и все.

Холодок прошел по спине Фелисидад. Слушать рассказ расхотелось. Но губы сами спросили:

— А кого ты больше всех любила?

Губы Лусии смешно сморщились. Морщины образовали вокруг рта непонятный, тревожный узор.

— Одного музыканта. Я тогда работала в джазовом оркестре пианисткой. Я хорошо играла. Не хуже Консуэлы Веласкес, а та была превосходная пианистка.

— А он на чем играл?

— На трубе. Золотая труба. Она так блестела в свете софитов. Я не могла отвести глаз.

— И что? У вас были ночи? Много ночей?

— Я вышла за него замуж, — словно про себя, для самой себя, сказала Лусия и расправила на коленях вязание. — А потом его взяли в армию. И там убили. И все.

— Жизнь и смерть, — сказала Фелисидад, чтобы хоть что-то умное сказать после этих слов, — так всегда?

— Всегда, — шепот полетел во тьму гостиной легче птичьего пера.

— Ты его похоронила?

— Да. Мне в гробу привезли его тело. Оно уже разложилось на жаре, плохо пахло. Даже через крышку гроба доносился ужасный запах. Я, твоя тетка София и твой отец, мы похоронили его на кладбище Сан-Фернандо. А ты знаешь о том, детка, что мертвые приходят к живым?

Фелисидад молчала. Прodelа палец сквозь шерстяную ячею.

— Приходят, и еще как, — Лусия подавила вздох. — Они там живые. Надо это понять. Надо их кормить, поить, ублажать.

— Едой кормить? Человеческой?

— Не только. — Бежали, бежали вдаль костяные легкие спицы. — Они любят нашу любовь. Нашу Силу. Лучше всего отдавать им нашу Силу. Но не всегда. Время от времени. А то Сила в тебе закончится. Уйдет из тебя насовсем. К ним.

Нежный свет тек золотым ручьем от лица старой Лусии, от сухих легких рук. Много музыки щупали, осязали эти руки. А теперь они копошатся в овечьей шерсти. Дети вырастают, и дети рождаются. Детям нужны теплые кофты, теплые носки, теплые шарфы.

Хавьер присел на корточки, изогнулся и запустил руку под кровать. Пошарил там. Вытащил белое, облачное, сетчатое. Проволока просвечивала сквозь слои марли. Хавьер отряхнул марлю от пыли и приподнял ее над головой.

Крылья.

Он сам сшил, смастерил марлевые крылья. К Рождеству. Скоро Рождество, и елка, елки вспыхнут огнями по всему Мехико. А у него сюрприз. Ангельские крылья. И он — ангел. Он их наденет и полетит.

В комнатенке, где, кроме него, еще ночевал Пабло с мальчишкой Даниэлем, никого. Он один. Он может полюбоваться на крылья. И даже примерить их.

Прodel руки в проволочные петли. Крылья оказались за спиной. В маленькое треснувшее зеркало глядел Хавьер на себя, и у него становилось хорошо на душе.

Приблизил лицо к зеркалу и скорчил рожу. Показал себе язык. Беззвучно расхохотался. В улыбке не хватало шести зубов — выбили в стычке на свалке. Неужели он жил на свалке? А теперь вот живет в людском доме, среди людей. В семье. Спасибо сеньору Торресу.

Взмахнул руками. Белые крылья дрогнули.

— Я когда-нибудь отсюда на них улечу. Я ангел.

«Только никто об этом не знает».

Смотрел на свое лицо. Гримасничал. Потом застыл, блаженно руки на груди сложил. Настоящего ангела изобразил. Получилось.

«Я летал над свалками, над отбросами, и гостил во дворцах королей. Я никогда не умру. Я вижу время».

По лестнице простучали каблучки. Хавьер не успел сорвать крылья с плеч.

Дверь распахнулась, на пороге — Фелисидад. В руке у нее резиновый песик, смешная игрушка.

— Даниэль!

Увидела крылатого Хавьера и застыла.

Хавьер задрожал всем лицом. Развел руками. Беззубо, глупо улыбался.

— А я хотел... сюрприз...

— Хавьерито! Я никому не скажу!

Подбежала слишком близко; тормошила. Обнимала за плечи одной рукой. Пальцами другой нажимала на пузо резинового песика, и песик попискивал.

— Правда не скажешь?

— Правда. Какие хорошенькие! Купил?

— Сам сшил. У Лусии нитки украл!

— Ух, молодец!

Взяла песика в зубы. Обеими руками мяла марлю, глядела на просвет. Смуглое лицо, рассып смоляных пружинных волос просвечивали сквозь белую призрачную сеть.

«Она не знает главного. Я ангел. И она ангел. Мы оба ангелы. Я сошью вторую пару крыльев. Для нее. И мы оба улетим».

Взял в руки, отогнул одно крыло. Приложил марлю к лицу. Так, через марлю, придвинул лицо к Фелисидад. Она не отшатнулась. Просто засмеялась. Красиво смеялась!

И ему стало очень больно.

Хотел порвать марлю. Пальцы скрючились. Прогрызли в марле дырки, как мыши. Фелисидад выплюнула песика, игрушка упала на пол, девушка шлепнула Хавьера по рукам горячей ладонью.

— Эй! Не порть сюрприз! Это мои крылья! Это мне подарок!

— Правильно. — Раскрыл рот, и глаза круглые. — Верно! Твои! А как узнала?

— Почувствовала!

— А песика мне принесла?

— Нет. Даниэлю!

Фелисидад вертелась перед ним, хохотала над ним, завлекала, соблазняла, утекала черным ручьем. Всем телом говорила ему: да я не для тебя, юрод, дурачок со свалки.

«Да. Кто я такой? Приживал несчастный. А она, она дочь хозяина. Ей найдут хорошего жениха. Достойного. А я, я недостойн».

— Где Даниэль?

— Пако пошел с ним в зоопарк. Даниэль хотел поглядеть на носорога.

Фелисидад хотела убежать. Хавьер поймал ее за руку. Крепко пожал ее руку — и в страхе выпустил.

— Эй! Ты мне руку искалечил!

Дула на пальцы, рукой трясла. Каблуком притопывала.

— Ну, извини. Больше не буду.

Встал перед ней на колени. Марлевые крылья смешно тряслись, будто он плакал, и спина корчилась и тряслась в рыданиях.

Фелисидад положила руку ему на голову. Как королева, а я слуга, подумал он благоговейно.

Так, стоя на коленях, он и спросил ее:

— Хочешь, я расскажу тебе, как ты умрешь?

— Эй! — крикнула Фелисидад. — Замолчи!

Хавьер и не думал молчать. Слова текли из него, как сок из разрезанной агавы.

— Ты умрешь в родах. Ты родишь живого, хорошенького мальчика, а сама...

— Заткнись!

Она испугалась по-настоящему.

— Не от меня, жалко.

— Дурак!

Ее рука замахнулась. Пощечина умерла в воздухе.

Слезы текли по щекам Хавьера. Рот смеялся. Дыры в зубах чернели.

— Ты врешь! Я буду мать огромного семейства! И у меня будет лучший муж на свете!

Печальная, нищая улыбка вошла на лицо Хавьера. Вошла и надолго осталась там.

Так он стоял, глупо разведя руки, в изодранных белых прозрачных крыльях, и проволока позванивала на сквозняке, и шторы колыхались, и битое зеркало отражало пустоту распахнутой двери.

Пьян от любви

Ром не захотел идти в гостиницу. Ночной Мехико расстился перед ним, черный, вышитый огнями ковер. Лица девушек и женщин горели и качались во тьме яркими ночными цветами. Кострами горели их юбки, полосами крови — браслеты на их смуглых, и толстых и тонких руках.

Он наугад шел по улицам, и за поворотом являлись новые странные дома, он никогда не видел таких: с арками и балконами, сплошь увитыми цветами, с факелами на плоских крышах. Дома-ульи, и люди вылетали и жужжали, как золотые пчелы. Под арками, между колонн, девушки прижимались спинами к кирпичной древней кладке, выставляли из-под юбки голые коричневые колени, и мужчины подходили, и слишком близко придвигали лица к обнаженным плечам девушек. Воздух насыщался любовью, и любовь проливалась на мостовую темно-алым густым вином.

Ром шел и шел, и старинные фонари над ним швыряли в ночь медовое пьяное пламя, освещая его бредовый, будто во сне, путь. Мехико, повторял он себе, я в Мехико, это же Мексика, уже не Америка и не Россия, а совсем, совсем другая земля; и я иду по ней, и это чудо. И я сюда больше никогда не приеду.

Он завернул за поворот — и чуть не споткнулся: выпал, как сухой стручок перца из узкого деревянного ящика, на необозримую площадь, на ее гигантскую светящуюся тарелку! Почудилось — асфальт кренится под ногами, наклоняется, и он сейчас покатится и упадет. Ром засмеялся над собой и схватился за стену. Как под хмельком, а вина не пил!

Две девушки, пробежавшие мимо, сделали круглые глаза. Что-то сказали по-испански, сделали такой странный жест руками: покачали сжатыми кулаками в воздухе. Ром понял: это земля под ними слегка подалась, чуть задрожала. Землетрясение? Прислушался. Все утихло. Площадь под высокими фонарями, полная народу, гудела машинами и автобусами, о, а вот и фаэтон проехал, и вороная лошадь процокала по старой мостовой подковами. Праздничная площадь! Как это он не понял! Или здесь такой праздник каждый день?

Да, черт возьми, ночной карнавал! Как эти люди танцуют! Женщины и мужчины, обнявшись, состязались в грации и ловкости. Танец двух хищных зверей. Танец-признание, танец-прощание. Вот девочка, совсем юная, обхватила за шею седого старика. Как она на миг, на секунду любит его в этом танце! Любит его умершую молодость, погибшую горячую кровь.

У Рома запылали губы, как от перца. Он ощутил в себе жар и жажду. Сгусток пламени взорвался внутри него. Вот бы потанцевать с ними со всеми, подумал он — и тут же кто-то схватил его за руку маленькой жадной ручонкой, и потащил, поволок за собой.

Он подчинился. Маленького роста девушка, красивая нежная грудь. Глаза-

маслины под чашчобой волос, промасленных ночными ароматами черных пружин. Девчонка тряхнула головой, и кудри запрыгали по плечам. Бойкая! Она выволокла Рома в круг света, под фонарь, поймала сильную долю музыки, наступила носком вперед и углом выставила колено, потом резко крутанулась на одной ноге, и Ром догадался, обнял ее, и она отогнулась в его руках назад, и все это у них получалось в такт гордой и яркой музыке, повторяющей биение сердца.

Одного сердца? Нет, в музыке бились два. Они оба так слышали, и так танцевали. Ром словно переродился. Он уже был не он. Он был — лиана, лоза, и девушка висела на нем, как виноградная черная гроздь. И он смеялся от радости держать в руках, на коленях, на себе такую сладкую тяжесть; и внезапно девчонка превращалась в подвижную текучую ртуть, нет, в гладкую стеклянную бутылку, и из нее выливалось вино улыбки, вино смеха, вино черных следких глаз. И он ловил это вино, его струи и капли губами, зубами, глазами, руками, животом. Живот прижимался к животу, и тела, обжегшись друг о друга, отскакивали, расцеплялись, чтобы опять слиться, привариться. Жар! Жарко! Так пылают полоумные костры фонарей! Да ведь и люди — костры! Их теперь никто не потушит.

Танец заканчивался — начинался другой. Музыка не кончалась. Ночь шла и проходила. Ром танцевал с этой странной неутомимой девчонкой, забыв о гостинице, о завтрашних лекциях на симпозиуме, о том, что бабушка не отвечает на звонки. Он все забыл и помнил все. Он ничего не хотел — и он хотел всего.

И больше всего он хотел спать с этой дикой, как зверь, красивой девчонкой. Раздеть ее догола, увалить в постель, расцеловать всю, от губ до смуглого живота, и мять ее, и обнимать. Ему уже не хватало танца. Он хотел прямо из танца, обнявшись, прыгнуть с ней в любовь.

Музыка оборвалась. Часы на башне пробили ночной поздний час.

Мимо них пробежала девочка в красных гетрах, с рыжим сеттером на серебряном поводке. Девочка жевала пирожок. Сеттер тянул поводок слишком сильно. Девочка не удержалась на ногах и упала, и собака протащила ее по асфальту на животе. Пирожок выпал из детской руки, и собака вернулась, цапнула пирожок зубами и мгновенно проглотила его.

Девочка сидела на мостовой и плакала. Ей было жалко пирожок. Рыжая собака лизала ей лицо. Просила прощения.

— Слушай, ну ты и здорово танцуешь! — сказала девчонка по-испански.

Ром пожал плечами.

— Я не понимаю, прости, — сказал он по-английски.

Девчонка просияла.

— О, Иисус-Мария! Ты иностранец! А танцуешь, как мексиканец! Как такое может быть?!

Ром улыбался. Пот тек по его лицу. Он сжимал девчонкину руку изо всех сил.

Кое-что он, кажется, понял.

— Спасибо, — сказал он сначала по-английски, а потом добавил по-испански: — *Gracias*.

Девчонка запрыгала на месте, и запрыгали кудряшки у нее по плечам.

— Эй! Жаль, не могу тебя пригласить к себе домой. Отец у меня строгий! Мне запрещено мальчишек домой водить. Вообще мне многое запрещено. И ночью гулять. Но сегодня я отпросилась. Сегодня праздник. День нашей Революции. Все танцуют. — Она по слогам повторила, как для глухого: — Все-тан-цу-ют! Тебе понравилось?

Только сейчас он увидел, что она тоже вся мокрая. Пот тек с нее градом.

Ром вытащил из кармана носовой платок и, не думая, стер ее лицо, лоб, щеки, уши, шею. Коснулся кончиками пальцев ее подбородка. Ее висков. Ее губ. Она вздрогнула.

Широко стоящие глаза подплыли к нему, как две играющих черных рыбы.

— *Mi corazon*, — услышал он и вдруг понял: «Сердце мое». Руки сами протянулись, и девичья талия легла в них как раз, так удобно, как ему мечталось. Щека коснулась щеки. Щеки гладили одна другую, щеки целовались, не губы. Потом девчонка отпрянула от него. Его губы горели. Он уже очень хотел поцеловать ее. И он видел: она тоже хочет. Но он решил не спешить. Не торопить ее.

Он видел: она знает и чувствует больше, чем он.

Они быстро, крепко прижались друг к другу и отшатнулись. Она даже оттолкнула его. Это ничего не значило. Схватившись за руки, они выбежали из танцующей толпы и забежали за угол дома. Там под пальмой, под розовым инопланетным светом чудовищно огромного, как Юпитер на старинной гравюре в книжке Фламариона, фонаря, в тени длинных шуршащих пальмовых листьев, она сама обняла его. Под его губами плыл и играл ее язык, ее смеющиеся щеки, ее смешные веселые брови, похожие на двух летящих черных пчел.

— Я хочу...

Она закрыла ему рот щекой, и он поцеловал щеку. Ее пальцы щекотали ему шею, затылок. Потом — вдруг — больно пригибали его голову все ниже, ниже. Девчонка маленького роста, и ему, высокому, надо дотянуться до ее губ. Он оглянулся. Она поняла. В тумбе под пальмой росла маленькая пальмочка. Девчонка, как обезьянка, ловко вспрыгнула на тумбу.

— Вот теперь мы ростом вровень.

Он понимал. Он понял. Он даже стал чуть ниже. Теперь удобно целовать ее грудь, ее живот под ярким шелком платья. Красный шелк и зеленый шелк, да, цвета мексиканского флага. Какое горячее тело сквозь ткань!

— Хочу...

— Но отец нас убьет...

Они понимали друг друга.

— Не печалься!

Он поднял к ней лицо. Слепое от радости лицо. Глаза закрыты.

— Вижу тебя и с закрытыми глазами.

— И я тебя!

Он продел руки ей под мышки, снял ее с тумбы. Обнялись крепко.

— Мы нашли друг друга? Да?

Она поняла.

— Да, — кивнула.

Совсем близко, за углом, гремела праздничная музыка. Играли румбу.

— Знаешь нашу песню «Бесаме мучо»?

Ром погладил девчонку по черным кудрям.

— Знаю.

— А я знаю по-английски немного. Вот! Слушай!

Она протянула нараспев:

— *How do you do? How are you? Do you live in America?*

Ром смеялся. Их животы соприкасались, как в страстном танце. Пальцы переплелись.

— Что молчишь? Плохое произношение? — Она по-кошачьи фыркнула. — Ты американец?

— Нет, — сказал Ром по-русски. — Я русский.

Девчонкины брови взлетели на лоб.

— Русский?! О-о-о-о-о! Русский! Не может быть!

— Все может быть.

Он взял ее за плечи.

— Я очень тебя люблю, — сказал тихо по-английски.

— *Te amo*, — сказала девчонка по-испански.

- Как тебя зовут?
- Фелисидад. А тебя?
- Ром.

Они всю ночь гуляли по Мехико. Фелисидад держала Рома за руку, как дитя. Время от времени они останавливались и целовались: около неоновых мигающих реклам, около страшных стеклянных небоскребов, около старинных мраморных фонтанов на круглых мисках площадей, среди пляшущего народа или в безлюдных переулках. Фелисидад ловила губами губы Рома, а он ловил ее дыхание. Он чувствовал ее запах, Фелисидад пахла лавандой и немного — розой, а еще танцевальным потом, и терпким потом любви, и чуть-чуть красным перцем горчицы ее теплые, подвижные как рыбки губы.

— Ты моя красивая. Ты моя нежная.

Он говорил ей нежности, а она говорила ему:

— Смотри, какой красивый мой город! Моя страна!

Она показывала ему ночной Мехико, будто свою грудь в глубоком вырезе цветного платья. На ее шее болталась связка черных тяжелых каменных бус. Ром спросил:

— А это что за бусы? Как древние.

Она поняла, ответила:

— Я колдунья. Это не просто украшение. Это колдовское ожерелье.

Ром не понял испанского слова «колдунья». Она поняла, что он не понял. Тогда она подняла руки над головой и сказала:

— Гляди мне в глаза!

Ром заглянул ей в глаза — и медленно, и все быстрее и быстрее, стал тонуть, а потом полетел. Фелисидад крепко обняла его, и они полетели вместе. Над черным, в золотых бабочках огней, Мехико; над ближними горами; над пирамидами; над черными и желтыми песками; над пустынями; над вулканами; над выгибом земли; над землей, внезапно ставшей родной, любимой. У него занялся дух. Фелисидад обнимала его так крепко, как могла. Грудь под грудью. Лицом к лицу. Склеились. Сцепились. Ветер свистел. Волосы Фелисидад отдувал и бросал Рому на щеки, опутывал шею. Поднялись слишком высоко и стали падать. И, когда падали, Рома охватил страх. Он понял: они оба сейчас разобьются, — и не стало времени. Время исчезло. Его взяла Фелисидад. Время стало ее животом, ее руками, ее глазами.

«Она есть смерть и есть жизнь. Она моя жизнь. С ней не страшно ничего. Не страшно разбиться». Ром крепче обнял ее и еще сильнее прижал к себе. Воздух свистел и пел в ушах уже отчаянно, оглушительно.

Земля приближалась. Стремительно. Неотвратно. Он хотел запомнить миг, когда они разобьются, но кто же помнит свою смерть? Все потемнело, а потом вспыхнуло опять. Он открыл глаза. Фелисидад держала его за плечи и нежно дула ему в лицо. Отерла ему ладонями мокрый лоб.

— Теперь понял?

— Да. Понял.

Ром вошел в номер. Я пьян, сказал он себе, пьян, пьян. Я пьян от любви. Бросился на кровать. Хотел уснуть в одежде. Задремал. Вскинулся. Ток прошел от тмени до пяток. Выдернул из кармана телефон. Набрал номер. «Бабушка, ответь. Бабушка, ответь!»

Молчание. Гудки.

«Там сейчас день, можно позвонить Фане Марковне. Можно. Можно».

Как с того света, слушал тягучий, плачущий голос соседки.

— Я сама хотела вам позвонить, Ромчик! Ах, ах, ах... Горе, да, горе! Я таки

боялась вам звонить... ах... Зинаида Семеновна... Зиночка!.. сегодня ночью, да... Ах, Ромчик, душенька, вы там держитесь, да?! Если вам трудно вылететь или денег на дорогу нет — вы ничего, вы не переживайте, мы тут сами похороним! А квартиру я закрою, и ключик будет у меня, да...

«Я тут целовался с девочкой. Всю ночь. А она там умирала. Одна. Я так и знал».

Яма

Нищенский морг, похожий на деревенский нужник. Уборщица допотопной щеткой подметает грязные половицы. Со стен осыпается яичная скорлупа штукатурки. Густо покрашенная приемщица мертвых за заваленным бумагами столом говорит ему сладкие слова. Сует бумагу, и там написана стоимость смерти. Ром расплачивается, он разменял доллары в аэропорту. Догадался. Крашенная тетка жадно глядит на купюры в его слепых пальцах. За все надо платить. За гроб. За венок. За катафалк. За саван.

Она уже лежала в гробу — его бабушка, его любимая. Его бабушка и мать. Бабушка и сестра. Бабушка и дочь. Бабушка и жизнь. Бабушка и музыка. Бабушка и звезда. Он осторожно встал на колени на пыльный и грязный, как в русском вокзальном туалете, пол. Он отвык от России. Он тосковал по России. Вечная грязь, и вечная тоска, и вечная любовь. Бабушка, я так тосковал по тебе! Мне подарили любовь, и я бросил ее. Я улетел из Мехико к тебе. Зачем ты лежишь тут передо мной?

Он трогал руками и губами ее лицо, уже насквозь просвеченное небом, ждущее земли.

Лежи, шептал он, лежи и спи. Тебе надо спать. Ты очень устала. Вошел врач морга, толстый, одышливый, вытер небритое серое лицо медицинской маской. «Ну будет, будет, — бормотнул он Рому, — что уж вы так убиваетесь. Еще в церкви настоитесь на коленях. Здесь ведь у нас больница, а не церковь. За все заплатили?»

Ром встал с колен. Не глядел в лицо врачу. «Заплатил».

А потом возникло кладбище.

Оно выросло из-под земли инопланетной чашбой: деревья-кресты, мохнатые звери-могилы. Тишина ватой заложила уши. Из катафалка бодро выпрыгнули парни-носильщики, аккуратно перенесли гроб в краснокирпичную часовенку. Там уже стоял молоденький священник: усики и борода для солидности, сонный, плывущий вдаль взгляд. Зевал. Большим пальцем заталкивал ладан в кадило. Ром и ему дал денег. Пятьдесят долларов, о счастье, в заднем кармане джинсов.

Отпевание закончилось. Усатый попенек уже стоял в углу часовни, под лампадкой, и смущенно засовывал руки под рясу, будто нашаривая невидимый карман. Носильщики мрачно подошли, закрыли гроб крышкой, заколотили ее, взвалили гроб на плечи и понесли к вырытой могиле.

И Ром пошел вместе с ними.

Дошли до ямы. Ром следил, как осторожно, на крепких ремнях, гроб спустили в пасть земли. Рыжая глина обваливалась слоями. Сырая осенняя земля, ржавый суглинок. Скоро снег. Где бабушкино лицо? Он не видит его. Оно под досками, под голубым атласом, под глиной и песком. Он не увидит его никогда.

Так вот как люди хоронят людей.

Так и бабушка когда-то похоронила его родителей; и он никогда не узнал их и не узнает; и он никогда не видел их и не увидит. Верующие говорят: все узнают друг друга на небесах. Бедные! Они не знают, что небеса — это пустота, вакуум; и что раскаленные звезды напрасно пытаются обогреть всемирный лед своим бешеным огнем.

Ром согнулся, схватился руками за лоб. Парень-носильщик ткнул его локтем в бок, грубо сказал: выпить у тебя нечего? А то вот у нас есть. Другой парень протянул Рому початую бутылку. Ром припал ртом к горлышку. «Эй, — стал вырывать бутылку у него из рук носильщик, — полегче, это ж не вода». Ром глядел на этикетку: «ВОДКА». Водка или вода, какая разница? Могильщики ловко орудовали лопатами, закапывали яму. Все. Так заканчивается жизнь человека. Жизнь каждого из нас.

Он раздумялся — от водки, ветра, слез. Как жаль, что он не умеет петь так, как бабушка пела! И все же надо попробовать. Открыл рот. Вдохнул холодный воздух. Запел.

Носильщики и могильщики столпились вокруг, слушали. Тихо переговаривались. «Из консерватории пацан?» — «А кто ж его знает». — «Голос ничего. Не понять, о чем поет. По-иностранному?» — «Да хоть по-каковски. Лучше пусть поет, чем ревет». — «А еще лучше пусть спляшет». — «Чего захотел. Может, он тебе еще анекдот расскажет?»

Так пусто, незряче бормотали люди, и голос Рома звенел над свежими и старыми могилами странным тонким звоном: это звезды, сквозь сеть вечера, осыпались на выставшую ноябрьскую землю, засыпали снегом жалкий холм, память, черный чугунный крест, наспех врытый, обложенный кусками сырого тяжелого дерна.

Целовались и танцевали

Фелисидад кричала крашеной белокурой девушке на ресепшене:

— Ром! Его зовут Ром! Поглядите!

Белокурая администраторша сверху вниз глядела на Фелисидад. «За прости-тутку принимает меня».

Фелисидад ударила кулачком по столу.

Белокурая приблизила холеное лицо к Фелисидад.

— Если клиент тебе недодал десять песо, это не повод, чтобы все тут разгромить, поняла?

«Точно. Вот я уже и шлюха».

Фелисидад вздернула мордочку и тоже придвинула к надменному личику гостиничной девушки. Профиль против профиля. Птица против птицы.

— Я не шлюха, а его зовут Ром, фамилии не знаю, он русский. Ты! Прекрати кокетничать. Помогите, ну ты же человек! У него что-то случилось! — Фелисидад положила ладонь на сердце. — Я чувствую!

Белокурая стервоза прочитала правду в ее глазах.

— Русский? А! Из сто второго номера! Так он вчера ночью срочно уехал. Даже не забрал деньги. А за десять дней заплатил. Унесся как на пожар. Верно, что-то с ним стряслось. Ты только, ну-ну, без этого!

Фелисидад стояла, прижав ладони к щекам, и слезы заливали ее лицо.

Повернулась и убежала.

— Хавьер! Он улетел! Он улетел! Его больше нет! Нет со мной! Он не вернется!

Лежала на кровати животом вниз; тряслась; содрогалась; плакала так, что превращалась в вулкан, и лава слез возжигала подушки и простыни.

Хавьер стоял на коленях и гладил ее по спине. Свою Фели. Своего далекого, недостижимого ангела.

— Бесполезно плакать, — улыбался беззубый рот, — но ты все равно поплачь...

— Только одна ночь! Одна!

— Ты была с ним?

Кривая улыбка вошла на лицо Хавьера.

— Да! — Зачем наврала ему, и сама не знала. — Нет! — Испугалась, что боль причинит ему наглým этим враньем. — Мы целовались! И танцевали! И все!

— И все, — обреченно повторил Хавьер.

Она спиной почуяла: он не поверил ей.

В комнату боком протиснулась Милагрос.

— Матеръ Божья, что с тобой, дитя?

— Сеньора Милагрос, вы уйдите, уйдите. — Хавьер искривил шею, оглядываясь на изумленную мать. — Я сам! Сам ее успокою!

Милагрос махнула рукой, и Хавьер сжался, замолк, голову в плечи вобрал.

— Исчезни! Щенок! Слишком много прав взял!

Мать села на край кровати.

— Ты так не рыдала бы, если б я умерла. Что случилось? А?! Оглохла?! От плода избавилась?!

Фелисидад подскочила на кровати, как мяч. Повернулась лицом к матери. Слезы соленым кипятком брызгали, обжигали плечи, руки.

— Ты! Если б настоящая колдунья была — все бы тут же прочитала, что со мной!

Милагрос положила руки дочери на плечи. Тряска смуглого маленького тела утихла, угасла. Остались всхлипы, вздоги, набегающие волны тоски.

Милагрос торжественно поцеловала Фелисидад в потный лоб.

— Ты полюбила.

Фелисидад кивнула. Руку матери поцеловала.

А Хавьер сжался еще больше, в комок, пригнулся весь к полу, распластался на полу и на миг превратился в маленькую побитую собаку, сироту.

TE AMO

Ром мыл руки под краном; готовил сам себе еду; ел, не чувствуя вкуса. На девятый день пришли соседи, нанесли всяких продуктов, сожалеюще глядели на него, ждали застолья. Ром неумело расстелил на столе старую, с кистями, бабушкину скатерть. Выставил хрустальные рюмки. Нашлась бутылка, и не одна. Он опять пил водку, как воду, и удивлялся ее безвкусоности и тому, что она не опьяняет. Соседи пели песни, кричали о любви к бабушке, вопили: «Зинаида Семеновна-а-а-а! Пусть земля тебе будет пухо-о-о-ом!»

Он сначала слушал, а потом оглох. Перестал слышать мир и звуки в нем. Ушел к себе в спальню. Зажал уши руками. Телефон. Где телефон? Ведь она оставляла ему свой номер. Оставляла!

Цифры. Ряд цифр.

Нажимал их старательно, повторяя губами: два, пять, два, пять, пять, семь, девять, три. На обратной стороне Земли раздались протяжные, дикие гудки.

Потом тишину порвал далекий крик.

— Буэнас!

Сердце поднялось в груди и выросло огромным цветком, великаном.

Он крикнул через горы и моря:

— Фелисидад! *Te amo*!

Молчание хлестнуло в лицо прибоем. Перестал дышать.

«Черт, как сказать по-испански: я дышу тобой?!»

Он услышал ее голос.

Она неуклюже, нежно бормотала по-английски:

— Ай лав ю, ай лав ю, ай...

— *I love you too*, — сказал Ром непослушными, не своими губами.

В дверь спальни просунулась нечесаная голова пьяненького соседа.

— Роман, да куда ж ты делся-то из-за стола? Ромка, э, нет, не пойдет так дело! Ты это, внук, ты должен бабку помянуть! И еще и еще разик помянуть! Не строй из себя слабака! Ты крепкий парень вон какой! Эк вымахал! Каланча! Бабка с небес тебя, — всхлипнул и нос рукой утер, — видит... наблюдает... и, это, радуется! Ну, успехам твоим! Шутка ли — внучок в Емерику подался, живет там, хлеб жует... Ну пошли, пошли, Ромка, айда за стол! А денъжат, денъжат-то там много заколачиваешь, небось?

Ром глядел на соседа, как сквозь ледяную прозрачную скульптуру в детском парке. За окном мела белой метлой дорогу первая метель. Это был декабрь, уже злой декабрь. И злая Россия. Злая зима. Если сюда когда-нибудь он привезет Фелисидад, он купит ей добрую теплую шубку.

Представил себе зверей, с которых сдирают мех. Их же тоже убивают. И свежуют. Шкуры обдирают. И выделяют: сушат, дубят. Тихо, тихо, нельзя. Ничего нельзя. Ни плакать. Ни орать. Ни молчать. Ни кричать о любви.

— Жди меня, — выдохнули водочные губы по-английски, по-русски или по-испански, он так и не понял. — Я вернусь.

Текила и креветки

Кафе Алисии кишело людьми. Посетителей сегодня — как русской икры в тесной банке: за столиком по пять, по семь человек расселось, и все заказывают текилу, и все уже гудят: мухи, жуки, шмели! Фелисидад даже попятилась сперва, а потом весело улыбнулась сама себе и сама себе сказала: не тушуйся, Фели, это же твой шанс, какая публика сегодня!

«Какая публика сегодня, какая публика сегодня», — бились в ней эти слова, кровью в ушах, пульсом в висках, без перерыва. В ней взорвалась и заиграла кислым молодым вином кровь танцорки, актрисы. Вид полного народу рокошущего зала волновал ее. Она постукивала ножкой о ножку, каблуком об пол. Алисия, еще трезвая, чуть прихрамывая, подобрела к ней. Подмигнула.

— Ола, Фели!

— Ола, Алисия!

— Условия те же?

— Не поменяем! Собирай деньги, себе третью часть бери!

— Идет.

— Не обмани!

Она начала танцевать — и лишь через несколько особо опасных, почти цирковых па вскинула на певца глаза и поняла: это бьет по струнам и поет Кукарача.

Усатый марьячи выступил чуть вперед из полукружья хора. Облитая темно-вишневым лаком гитара бесилась, мелко дрожала в его сухих, как у мумии, цепких руках. Он обращался со струнами, как мясник с воловьими жилами: порвать? — да легко. Связать в крепкий узел? — да нет проблем.

О чем он пел? Фелисидад не могла бы сказать. Ее дело было маленькое: попадать шагом в такт, поворотом головы — в паузу или синкопу. Она ловила неводом души лишь музыку, не слова.

Последним аккордом перерезал надвое тишину. Поднял гитару над головой, будто призывая всех разделить его заклинание. Публика грохнула рукоплесканиями, шум за клубился сизым табачным дымом. Фелисидад четко поймала последний такт. Встала точка в точку с истаявшим аккордом, с последним отчаянным вскриком Кукарачи.

— Аи-и-и-и-и! Браво, Фели!

— Оле-е-е-е!

«Кричат, как на корриде». Фелисидад вытерла юбкой мокрый лоб, на миг смугло, мокро блеснули под воланами юбки ее коленки, и мужики закричали еще сильнее, выражая восторг. Купюры посыпались к ее ногам. Посланная с кухни судомойка Ирена, низко наклоняясь и выпячивая круглый как орех зад, проворно собирала рассыпанные по полу песо в сито для просеивания маисовой муки.

Фелисидад жмурилась: ее фотографировали, мелькали синие вспышки. Сидящий за ближним столиком за раскрытым ноутбуком юноша повыше поднял веб-камеру, чтобы кто-то на другом конце света увидел это чудо: окраина Мехико, заштатное кафе, и такая танцорка! Будущая знаменитость.

Она сделала крупный, широкий шаг к Кукараче и, улыбаясь, сказала ему:

— Пока не играй. И не пой. Я вспотела.

— Ты выдала всю себя сразу?

Держа в одной руке гитару, другой он схватил ее за локоть.

Она вырвала руку, топнула ножкой.

— Да просто тут жарко!

Махала рукой, как веером.

— Хочешь мяса? Алисия жарила на каминной решетке. Я угощаю. Потом еще потанцуешь.

— Мяса? — Фелисидад облизнулась, как кошка. — Чье мясо?

— Телятина. Самая нежная. Только для тебя.

Теленок. Его везли на бойню. У него в глазах стыло ожидание кончины. Он все понимал. Звери чувт смерть лучше человека. Потом его, и братьев его, таких же напуганных и обреченных, гуртом выгоняли из машины и гнали, гнали по коридорам бойни. Фелисидад увидела глаз теленка. Синий сливовый глаз. Это глядело отчаяние. Боль. Еще живая боль. Жизнь. Сейчас поднимется нож; или там убивают током? Цивилизованно?

Или что, что там делают с ними?!

— Эй! — Ее трясли за плечи. — Эй! Что с тобой?

Водой в лицо брызгали. Она открыла глаза. Сидит на стуле, и Кукарача — у ее ног, лицо бледное, мокрый платок в руках, и машет платком, и брызги летят ей в глаза и щеки.

— Ничего. — Она вскочила. — Ничего! Не надо мне твоего мяса!

Пронеслась черно-красной, шелковой кометой по гудящему залу.

Вернулась.

Глядела на Кукарачу, а Кукарача глядел на нее.

Она взбила пальцами влажные волосы, они торчком встали у нее надо лбом, поманила рукой Кукарачу и капризно, как взрослая важная дама, пронила ему в ухо:

— Хочу-у-у... текилу-у-у... и креветки!

Кукарача щелкнул по лбу спящего меж столиков мальчишку-официанта.

— Креветки и бутылку текилы, живо!

Выпивка и закуска принесены. Гул зала — как самолетный гул в ушах. Кафе Алисии сейчас взлетит, крылья накрелятся, курс на восток, куда? В Россию. В Россию, снежную страну! Черные медведи в лесах, белые — на льдинах. Как жить среди медведей?

Живет же она меж ягуаров и пантер!

Кукарача разлил текилу в стаканы. Фелисидад наблюдала, как из горла бутылки вытекает в стакан чуть желтоватая жидкость. Глотнешь — и улетишь, далеко, можешь не вернуться. «Вот напьюсь один раз — и все, и приклеюсь к бутылке, и не смогу жить без текилы, и стану как Алисия, что ни вечер, под хмельком. Отец с ума сойдет от горя!»

— Ну, — сказал Кукарача, широко улыбаясь, — давай! Осилишь?

— Хм, — сказала Фелисидад и подмигнула ему, как давеча Алисии подмигивала, — сомневаешься?

Схватила стакан и опрокинула его себе в рот разом.

Креветку жевала вместе со шкуркой, жадно высасывая сладкий йодистый сок.

Плюнула шкурку на тарелку.

— Ух ты! Как мужик!

Кукарача в открытую смеялся над ней.

Но ей почему-то было не обидно.

Ей было весело. И — все равно.

Еще креветку в рот вбросила.

— Но это все, все, — сказала она с набитым ртом, пытаюсь очистить третью креветку, — не наливай, больше не буду, все, все, все...

Кукарача сам очистил ей одну креветку, вторую, третью.

— Жирные, толстые креветки. Прекрасные. Явно из Залива. Нефтью воняют. А их тебе не жалко? Ну, как телят?

Фелисидад перевела дух. Ей становилось все жарче и счастливее. Глоток текилы, и жизнь звучит по-иному. Теперь она понимает, почему люди пьют!

Глядела на разложенные на тарелке, голые, розовые, кривые брюшки креветок.

— Нет. Их — нет. Они слишком маленькие. А телята — большие. Они как мы. Ну, глаза у них человечьи.

Переглянулись понимающе. Они уже были собутельники, а значит, сообщники. И читали мысли друг друга.

— А крокодил ведь тоже большой? И — бегемот? И медведь? И, знаешь, их мясо спокойно можно есть!

— Да. Можно. Мой отец ел мясо крокодила, — спокойно, улыбаясь, сказала она. — И мясо змеи. Налей мне, пожалуйста, еще капельку!

— Ты же сама говорила: все-все-все...

— Капельку, ты слышал!

Брызнул ей в стакан текилы. Она подняла стакан. Он поднял.

— За тебя. — Помолчал. Не опустил глаз. — Ты будешь моя. Ты уже моя.

Она держала стакан у глаз. Зеленым стеклом закрыты ее нос и рот, и он видит только ее глаза.

— Никогда.

И выпили оба; и расхохотались; и стукнули стаканами о стол; и вскочили; и снова пошли пить и танцевать.

Фелисидад не удалось убежать незаметно. Она танцевала, пока не стала задыхаться; прокралась на кухню — там уже пьяная в дым, распатланная Алисия негнущейся рукой показала ей на маисовое сито, доверху полное песо. Фелисидад потолкала деньги за лиф и в карманы юбки, жадно выпила свежесжатый апельсиновый сок из стакана, стоявшего перед сонной Алисией, утерла рот и выскользнула на темную теплую улицу с черного хода.

О, нет! Как он ее подстерег! Она же так старалась! Так хотела удрать от него!

Она все понимала — он от нее не отстанет.

Это и радовало, и льстило: в нее влюбились, как во взрослую, не понарошку! — и пугало: она видела, марьячи бешеный, и дел наделать может.

Он сделал шаг к ней. Она — от него. Как в танце.

— Стой!

Забежал вперед. Встал перед ней. Не пройти.

Повернулась, чтобы уйти.

Он снова стоял перед ней.

— Чего ты хочешь? — Выпитая текила бросилась ей в голову. — Меня?

— Тебя.

— Не получишь.

Подняла руку, снова как в танце, и он попался на эту уловку: вздернул голову, следя за движением руки, а Фелисидад ловко проскользнула у него под мышкой и побежала, понеслась по улице, только пятки засверкали!

Голос услышала за собой:

— Ну-ну! Беги-беги! Завтра сюда опять придешь!

Отбежав далеко, она сложила ладони ракушкой и крикнула на всю ночную улицу:

— Не приду!

— Другое кафе найдешь?!

— Найду!

— А я тебя найду!

— Мехико большой! Не найдешь!

Бежала, ловя ртом воздух. Очень далеко, как со звезд, слышала за собой крик. Что Кукарача кричал — уже не слышала. С увитого виноградом балкона нагнулась через перила толстая мулатка в полосатом халате, крикнула, когда Фелисидад бежала мимо:

— Ай, мучача! До чего голосистая! И ни стыда, ни совести! Среди ночи орут, как на стадионе! Дьябло!

Душа

Бабушка все видела, все.

Она стала все видеть еще тогда, когда ее привезли в больницу; по губам врачей она угадывала — они говорят, что она без сознания; и правда, она лежала тихо и мирно, не двигалась, и странно и прекрасно было видеть свое тяжелое тело сверху — ей, такой теперь легкой и бестелесной. Санитары сгрузили ее с носилок на узкую койку, подоткнули под нее простыню с черной казенной печатью и ушли. Потом пришли девушки со шприцами в нежных лилейных руках, долго искали у нее на руках истаявшие за долгую жизнь синие жилы. Когда попадали иглой, когда нет. Под кожей разливались лиловые синяки. Бабушка глядела на синяки сверху, из-под потолка, и жалела себя. Недолго. Вскоре она уже улыбалась над собой и своим бесчувствием.

Она видела, как в палату входит высокий сердитый врач, похожий статью на чемпиона-баскетболиста — огромный, рослый, а все толпятся вокруг него, лилипуты. Врач щупал ее запястье, морщился, поднимал ей веко, хлопал по щеке. Потом махал рукой обреченно: все, мол, бесполезное дело. Но губы врача шевелились, он что-то приказывал лилипутам. И сестры снова и снова тащили шприцы, и впрыскивали в неподвижное тело веселящие кровь растворы.

Она видела, как возле ее койки, где она умирала, собрались больные женщины, что лежали в палате; женщины ахали, воздевали руки, утирали полами байковых халатов глаза — они плакали, и бабушка знала: они плачут по ней. Она хотела им крикнуть из-под потолка: не плачьте, я здесь! — но у нее не было рта.

Хотела заплакать тоже, но у нее не было глаз.

Вернее, у нее были глаза; такие странные, внутренние глаза, и ими она видела все внешнее, весь мир — все моря и океаны, все горы и долины, все войны и зачатия. И Рома тоже видела: вот он стоит на площади незнакомого ей большого южного города, ну да, южного, она видела пальмы, и странные громадные цветы, и темнокожих людей с гитарами в руках; Ром стоит и обнимает смуглую маленькую девушку, очень молоденькую, почти девочку, копна пышных черных волос девчонки лезет Рому в рот, в лицо. Ром целует девчонку сначала в шею, потом в губы, и бабушка понимает: у них любовь, — и вроде бы радоваться надо, и она радуется, и так горько, что она не может им крикнуть об этом!

Внутренние глаза описали круг, обняли землю и закрылись, и на миг она перестала видеть себя. А когда открыла — увидела, как зашевелилось, ожило ее тело. Руки протянулись по одеялу, пальцы стали ощупывать одеяло, натягивать на себя, тянуть к подбородку простыню. Руки будто бы собирали на ней самой расползшихся по ее телу мелких тварей — жуков, мошек, пауков. Собирали и выкидывали. И еще и еще цепляли и цепляли невидимых червячков и бросали прочь.

А потом руки схватили простынку и потащили на себя, потащили. Лицо закрыть хотели?

Бабушка из-под потолка спустилась чуть ниже, чтобы помочь себе закрыть себя казенным одеялом. Не смогла протянуть руки. У нее не было рук.

«Что же такое я?» — удивленно спросила она себя.

«Ром», — прошептали губы старухи, мертвым поленом лежащей на кровати.

«Ром», — повторила бабушка, летающая под потолком, и в этот момент исколотые, в синяках, с обвисшей слоновьей кожей руки перестали шевелиться, упали, скатились с груди, и грудь еще поднималась, и бабушка не слышала утихающие хрипы — у нее отняли слух.

Через миг-другой и грудь подниматься перестала. Все. Тишина.

Тишина.

Нежная и вечная. Как в Раю.

Птицы спят. Звери спят. Все живое спит. Все мертвое тоже спит.

Не спят только жаркие звезды.

Тело лежало в гробу, обитом светло-голубым небесным атласом, и бабушка любовалась на себя: какая она красивая, и как она хорошо лежит, и как ей нежно и покойно! Только одно волновало ее: Ром, где же Ром? Неужели ее куда-то далеко-далеко унесут отсюда в этом длинном и жестком гробу, а Ром так и не увидит ее?

«Это не я, это мое тело, а я вот, вот», — говорила она себе — и не верила себе. Где же я настоящая, раздумывала она, где же я на самом деле, спрашивала она себя. Никто не давал ответа.

У нее нет рук, щек и губ. У нее есть только душа.

Когда она сказала сама себе: «Я душа», — все встало на свои места.

И новая, острая горечь залила ее, налила ее, пустую и легкую рюмку, до краев.

И вот он, Ром. Приехал. Прилетел.

Ром плакал — она улыбалась. Ром шел за гробом — она улыбалась. Ром ехал в катафалке на кладбище — она улыбалась. Ром бросал в могилу горсть влажной глины — она улыбалась. Что толку плакать, если смерть — это радость?

Тело — тюрьма, а смерть — свобода. Она свободна теперь. И скоро она будет свободна от горя и радости. А что станет с душой, когда закопают в землю тело?

«Я скоро это узнаю», — сказала она себе, а Ром в это время глядел, как живо, весело летают лопаты в руках могильщиков.

«Давай споем вместе!» — крикнула она Рому, и Ром услышал. Он раскрыл рот, и бабушка запела его голосом над своей могилой. Впервые на земле они пели вдвоем. Еще здесь. Еще на земле.

А потом совершилось необъяснимое. Чем больше наваливали земли в яму, тем труднее становилось дышать и глядеть. Внутренние глаза заволакивались черной пеленой, будто снова начиналась проклятая катаракта. «Будет вечная слепота?» — спросила бабушка себя — и не успела дать себе ответа: когда края ямы сровнялись с землей, глаза, которыми она, летящая, видела милый мир, закрылись, и осталось только чувство.

Одна душа осталась.

Пирамида луны

Фелисидад повезла Рома в Теночтитлан, и они взбирались сначала на пирамиду Солнца, потом на пирамиду Луны, и Ром задышался, но лез и лез все выше и выше, а ступеньки были такие высокие, и он думал: великаны были эти древние майя или там ацтеки, что ли? — а Фелисидад скакала по ступеням как коза, и сухой горячий ветер развеивал черный пиратский флаг ее волос.

На вершине пирамиды Луны, оба мокрые как мыши, они уселись на горячий камень и спустили вниз ноги, и болтали ногами. Солнце пекло затылки. Ром снял кепку и полил себе на темя минеральной водой из бутылки. Отфыркивался.

Фелисидад хохотала.

— И мне тоже!

Он исполнил ее просьбу.

Он уже хорошо понимал по-испански, а говорил еще плохо.

Капли воды в черных косах звездами горели.

— Правда, здесь небо ближе? Мои предки считали Солнце богом!

— Мои тоже.

— Поцелуй меня!

— *Por favor.*

На жаре губыплыли под губами расплавленным, горьким шоколадом.

Фелисидад потерлась щекой о щеку Рома и спросила:

— А у тебя много девушек было там? В России?

Спросила — и пожалела.

Ром понял. Пожал плечами.

— Одна.

— Так мало? Я думала, ты донжуан!

Она уже смеялась, кудри тряслись от смеха.

Он тоже засмеялся.

— Хочешь, стану им?

— О нет! — Спихватилась. — Да, да! Делай что хочешь! Перецелуйся и переспи хоть со всем Мехико! Только всегда будь со мной!

Он наклонился к ней. Сейчас губы коснутся губ. Но еще не касаются.

— Я всегда буду с тобой.

— Почему ты так побледнел?

— Все в порядке.

Вдох, выдох. Выдох, вдох. Он должен правильно дышать, чтобы боль ушла. Пот тек по вискам рекой. Он вылил себе на затылок из бутылки последнюю воду.

— Не бойся. Я еще куплю. Сейчас.

Когда спустились с пирамиды вниз — у ее подножия плясали босые люди в индейских нарядах: головы украшены цветными перьями, в руках копья, обмотанные яркими лентами, на шеях каменные бусы подпрыгивают. Пронзительная музыка, рьяные барабаны!

«Барабан бьется как сердце», — подумал Ром.

Только подумал — Фелисидад поднялась на цыпочки и прямо в сердце его поцеловала. Сквозь рубаху он почувствовал ее угольно-жаркие губы.

«Да она и вправду колдунья. Мысли читает».

Фелисидад уже танцевала рядом с пирамидой вместе с индейцами, украдкой быстро выдернула одно перо из украшения вождя. Принесла, как собака, в зубах Рому. Ром вынул перо у нее из зубов и воткнул в петлицу рубахи.

— Это поддельный вождь. Театр. Для туристов. Бутафория, — она сделала презрительный жест пальцами. — Настоящие вожди не здесь.

— А есть такие вожди?

— Есть. Их осталось мало.

— Так же, как колдунов?

Она закрыла ему рот рукой.

Взявшись за руки, они побежали к маленькой пирамиде. Она возвышалась поодаль. Опять лезли вверх, все вверх и вверх. «Пусть я умру к чертям собачьим, а наверх залезу! Я от нее не отстану!» Пока лезли вверх — им под ноги прыгали странные, забавные зверьки, похожие на огромных остромордых белок с длинными полосатыми хвостами. Когда Фелисидад и Ром садились отдохнуть на каменные ступени, зверьки бросались к ним, вставали на задние лапы, тыкались носами им в руки, царапали коготками их рюкзаки.

— Носу, — сказала Фелисидад и щелкнула ногтем по носу особо наглого зверька: он уже ловко, как человек, развязывал лапками тесемки ее рюкзака.

— Носу? Красивые!

Ром погладил странную огромную белку с полосатым хвостом.

— Они просят есть.

— У нас есть тако.

— О, ты взял с собой? Ты молодец!

Ром уже развернул пакет, отщипывал от тако кусочки. Возле него сидели носухи, умильно сложив лапы, ждали угощения. Он кормил их с ладони.

— Да ладно их баловать.

— Что, что?

— Ай! — Она махнула рукой. — Корми! Повезло им сегодня!

Он понял, засмеялся.

Все тако им скормил.

— Ну вот, — обиженно сказала Фелисидад, — ни еды, ни воды. Умрем мы с тобой здесь!

— Не умрем, — тихо и весело сказал Ром.

Ребенок утонул

Они катались в красивых крытых лодках с широкими днищами на прудах в парке Сочимилько. Лодки как домики: крыши расписные, не лодка, а домик, терем-теремок. Изнутри музыка доносится — там поют! Мальчик-гребец без весла — с шестом: отталкивается шестом ото дна, и лодка плывет вперед.

— Кто поет?

— Марьячис!

— Кто такие марьячис?

— А! Это наши певцы!

— Уличные певцы?

— Ну и что, они и на улице поют, да! И в парках поют! Но они не бродяги. Не нищие! Они — профессионалы! — Фелисидад подняла кулак над головой. — Они еще лучше, чем в опере, поют!

— Я верю.

— Хочешь, я закажу им песню? Для тебя!

— Я сам закажу!

Фелисидад сделала знак гребцу, и он подплыл к лодке, где сидел оркестрик из нескольких музыкантов и стоял и пел молоденький певец. Юноша, беря высокие ноты, прижимал руку к груди. К сердцу. Широколицый грузный седой мулат ловко перебирал струны огромной гитары. Гитара, как пышнобедрая женщина, еле умещалась у него на коленях. Второй мулат, помоложе, наверное, брат главного гитариста,

озорно вертел в руках маленькую гитару, гитарку-ребенка. Женщина с высоко взбитым коком беспорядочно завитых волос, закрыв глаза, играла на скрипке, любовно притискивая ее к подбородку. Оркестр не заглушал голоса певца — его невозможно было заглушить, так он был звонок, чист и высок. Тенор, да еще какой! Голосил вовсю. На весь пруд, на весь парк. Ром вынул из кармана купюру, свернул и бросил тенору. Тот поймал.

— Песню для моей любимой! — проорал Ром.

— Какую закажете?! — прокричал певец.

Ром вдруг вспомнил, как бабушка пела, прищелкивая пальцами: «Кто в нашем крае Чилиты не знает, она так умна и прекрасна! И вспыльчива так, и властна, что ей возражать опасно... Ай-яй-яй-яй, ну что за девчонка! На все тотчас же сыщется ответ, всегда смеется звонко!»

— Кто в нашем крае Чилиты не знает! — залихватски пропел он по-русски. Марьячи закивал головой, расплылся в улыбке. Подхватил мотив. Импровизировал, крутил и вертел мелодию на ходу. Они уже пели с Ромом на пару. Ром сочинял слова. Перед его глазами стояла бабушка: в черном, усыпанном мелкими цветочками летнем костюме вертелась перед зеркалом, щелкала пальцами, как кастаньетами, откидывала седую голову назад и широко улыбалась губами, щедро покрашенными липкой вишневой помадой. Вот беда, слов не помнил! Придумывал. Пел, что в голову взбредет! Лишь бы в ритм попасть! Лодки стояли рядом, терлись бортами, гребец уперся шестом в дно, Фелисидад хлопала в ладоши, Ром пел по-русски, марьячи по-испански, а скрипачка так взмахивала смычком, что казалось — разрежет скрипку пополам, как брус масла.

Ром осмелел и прыгнул через борт чужой лодки. Встал рядом с марьячи. Широкополое сомбреро парня било Рома по лбу. Ром разглядел серебряную вышивку — оторочку короткополой куртки, узоры на обшлагах. «Позументы», — глупо подумал он.

У всех музыкантов, у певца и у оркестрантов, на груди повязаны банты, как у породистых котов.

Старый мулат тряхнул головой, давая дирижерский знак.

— Ай-яй-яй-яй! — грянули припев марьячис.

Фелисидад послала парню в сомбреро воздушный поцелуй. Сердце Рома прокололи длинной иглой. Он не подал виду. Все так же широко разевал рот — пел. И все же Фелисидад поглядела на парня! А не на него!

«Дьявол, — подумал он. — Дьябло».

— А теперь вот это: *besa me!*

Обрадованный знакомой мелодией оркестрик грянул «Бесаме мучо». Ром протянул руку Фелисидад: прыгай, мол, через борт! Она не растерялась, руку Рома крепко ухватила, прыгнула из лодки в лодку. Скрипачка вела мелодию в ритме танго. Ром и Фелисидад под пение долгового марьячи топтались как два медвежонка, думая, что танцуют танго, на маленьком пяточке деревянного настила на корме лодки. На борту лодки красной масляной краской намалевано: «*XOCHIMILCO*», и нарисован череп и две скрещенных косточки.

— Не влезай — убьет, — пробормотал Ром.

Музыку и танец оборвал дикий, долгий, растекшийся горячим маслом по огромному пруду женский крик. Крик затих так же внезапно, как и возник. Музыканты перестали играть. Марьячи перестал петь. Все воззрились друг на друга, спрашивая друг друга глазами: что это?

— Что это? — спросила Фелисидад густой и пряный, жаркий воздух, обращаясь ни к кому — к небу, к воде.

А старый курчавый мулат ответил:

— Кто-то утонул. Думаю, ребенок. А мать кричит.

— Гребите туда!

Гребцы погрузили шесты в воду. Скоро обе лодки уже качались там, где стряслась беда. На носу особо изукрашенной лодки — здесь гуляла свадьба, и на крышу изобильно навертели цветных шелковых лент, серпантина, дешевых ожерелий и бумажных фонариков, — скрючившись, сидела женщина с коричневой, цвета коры старого дуба, кожей; волосы висят вдоль лица, щеки, грудь расцарапаны в кровь. Женщина плакала так неистово, что задохнулась и теперь хватала воздух ртом, как рыба.

— Убейте меня. Убейте меня!

— Что она кричит? — спросил Ром, холодея.

— Она кричит, — Фелисидад вскинула на Рома угли глаз, — что хочет уйти вместе с ним.

— С кем?

— С ребенком своим.

Старый мулат крепко сжал гриф гитары.

— Кто утонул?

— Мальчик.

— Маленький?

— Восемь лет.

— Святая Мария! Не успел пожить! Бедная мать!

Парень-марьячи сдернул с башки сомбреро. Сбросил куртку с серебряной вышивкой. Под курткой оказалась синяя как небо рубаша. Он перепрыгнул на лодку к несчастной матери, сел на корточки рядом с ней, обнял за плечи.

— Я знаю, о чем он ей шепчет сейчас, — сказала Фелисидад. — Он говорит: давай я буду твоим сыном. Он прав. Так и надо.

— Я бы тоже хотел стать ее сыном.

— Давай ты лучше станешь сыном моего отца.

— Твоим братом?

— Моим мужем.

Ром сжал руку Фелисидад.

Он жил в гостинице; она дома; он еще ни разу не был у нее дома; и ни разу они не оставались на ночь у него в номере.

Они оба чувствовали, что и как надо делать; знали, что всему есть свое время; и не торопили время, и не медлили. Они держали друг друга за руки, и время перетекало из руки в руку — теплая, живая кровь.

А утонувший мальчик лежал на дне пруда, и напрасно гребцы и спасатели, дюжие мужики и отважные девушки ныряли в пруд, надеясь отыскать маленькое тело. Кто-то крикнул: «Хватит! Сам всплывет!» Марьячи выпустил из объятий плачущую мать. Сбросил синюю рубашу, скинул брюки. Под одеждой оказался неожиданно красивый, заглядение. Нырнул. Долго не показывался. Ром видел, как тяжело вздохнула Фелисидад. Наконец, из водорослевой, тинной тьмы вынырнула мокрая голова.

— Я его нашел!

Марьячи подплыл к лодке и передал мальчика в руки кричащих людей. Ребенка тут же начали откачивать, поднимали за ноги и трясли, пытаясь вылить из него воду, вдували ему воздух изо рта в рот. Напрасно: мальчик был мертв.

— Плыдем обратно. На берег.

Губы Фелисидад дрожали.

— Тебе холодно?

— Мне плохо.

Ром обнял ее за плечи — так, как марьячи обнимал за плечи осиротевшую мать.

— Я согласен быть твоим мужем.

— Ты придешь ко мне домой.

— Да. Я приду к тебе домой.

Его обдало кипятком: вот чей-то дом в иной стране станет его родным домом. Почему так? Зачем так?

На корме свадебной лодки, с которой в пруд упал мальчик, стояла на коленях невеста и плакала, закрыв ладонями лицо. Край длинной фаты упал за борт, намок в темной, зеленой, лягушачьей воде.

Когда они спускались по трапу на берег, занавес на лодке, где сидел оркестрик, откинулся, и на палубу вышел усатый человек в такой же расшитой серебряной ниткой куртке, как у парня-тенора. Желваки вздувались. Кадык играл под кожей. Ненавидящим, слепым взглядом провожал Рома и Фелисидад. Закурил сигару. Не докурил. Швырнул в пруд, на плоский гладкий лист нимфеи.

ДЫМ

Когда подходили к дому Фелисидад — Ром очень волновался. Сейчас он впервые увидит ее семью. Она уже сказала ему: большое семейство, нас всех тут как кроликов в клетке полно, не пугайся.

Дернула за веревку, прозвенел колокольчик. К двери зашаркали старческие шаги.

— Сеньора Лусия!

— Ах, ах! Дитяtko! Вот она и явилась! Ну, как отдохнула у Кристи?

— Пако! (Чмок-чмок.) Даниэлито! (Чмок-чмок.) Хесус! (Чмок-чмок.) Эмильяно! (Чмок-чмок.) София, душенька! (Чмок-чмок.) А папа где? А мама?

Лица, лица, лица. У Рома зарябило в глазах. Столько народу! И всех надо обласкать. Он решил никого не обнимать отдельно, а улыбаться всем одной общей ослепительной улыбкой.

— А это кто?

Твердый сухой палец Лусии уперся в Рома. «Наставила пистолетное дуло». Фелисидад избоченилась и сложила губы трубочкой.

— Не кокетничай! Отвечай! Кавалер?

— Более чем!

— Что значит «более чем»?

Ром покраснел. «Вот я уже и красный перец».

Фелисидад взяла Рома за руку, и тут по лестнице вместе, так же как они, за руки держась, спустилась пожилая пара: он и она, оба располневшие, широкогрудые, чуть задыхаются, белые нити в смоляных волосах, он пахнет табаком, она — розовым маслом.

— Это мой жених! — громко, чтобы слышали родители, сказала Фелисидад.

И подняла руку Рома — так рефери на ринге поднимает руку победившего боксера.

Сеньора Милагрос споткнулась на последней ступеньке. Лицо Сантьяго осталось бестрепетным.

— Добро пожаловать в наш дом, сеньор, — с достоинством сказал Сантьяго.

А Милагрос от страха сделала, как горничная, неловкий книксен.

Все заговорили громко и враз, пошли к столу, кто-то взмахивал скатертью, кто-то тащил в руках гору тарелок; запахло жареным мясом, Ром видел, как женщины, старые и молодые, раскатывают на столах тесто, рядом пыхала жаром плита, а на полу близ плиты стояла древняя жаровня, и в ней, присев на корточки, мальчишка раздувал красные угли.

Сеньор Сантьяго хлопнул Рома по плечу.

— Это впервые, чтобы наша младшая дочь привела домой парня да еще назвала его женихом! Это неспроста! — Подмигнул. — Что молчишь? Язык отъел?

— Папа! Он русский! Он может забыть испанские слова! — крикнула Фелисидад, раскатывая скалкой круги теста на круглой доске.

— Вот так история! — вскричал Сантьяго и развеселился еще пуще. — Ты мне нравишься, парень! А ты хоть немного по-нашему-то умеешь?

— Говорю, — смущенно сказал Ром, — немножко.

— Ты в России живешь?! Там снег идет круглый год!

— Не круглый, — сказал Ром. — Иногда не идет. Я сейчас в Америке живу.

— А что там делаешь?

— Учусь и работаю.

— А что бледный такой? Мать! — Оборотился к Милагрос. — Надо выпить!

Ром глядел на громадный, как плот, плывущий по океану, стол, уставленный кучей неведомых яств; его ноздри ловили незнакомые запахи, уши слушали непривычную, но уже знакомую на вкус речь, а сердце билось в такт с чужими сердцами, принявшими его внутрь своего дружного хора, поющими вместе с ним то ли «Аллилуйю», то ли древнюю индейскую песнь.

Рома и Фелисидад посадили за столом вместе. Как все быстро, мгновенно, подумал он, так только в сказке бывает! Неужели они нас так быстро поняли?

«Если даже не поняли — играют хорошо. Подыгрывают дочке. Любят. Боятся, что вспылит? Стукнет дверью, убежит? Из дома уйдет? Совсем? Уедет? Со мной?»

— Не смущайся, — Фелисидад ткнула Рома локтем в бок, — ешь все, что увидишь! Не красней! Не тушуйся. Ты понравился моему отцу!

Ром сжал стакан в кулаке. Боль. Опять она.

«Уйди. Ну, уйди, прошу тебя. Приказываю тебе!»

Не уходила. Иглу в сердце воткнули и не вынимали.

— Ром! — Фелисидад вскочила за столом. — Ромито! Что с тобой?

— Фели, — крикнула сеньора Милагрос, — открой сейчас же все окна! И дверь! Пусть просквозит! Здесь очень душно! Ты ведь не так много пил, сынок?

Ему совали в губы стакан с питьем сначала сладким, потом горьким, потом с горячим, потом с холодным; холодное это была вода, и он с жадностью припал к стакану. Боль нарастала. Он изо всех сил старался не показать, что ему больно. Даже улыбнулся белыми губами.

— Фели. У меня. В рюкзаке. Найдешь. — Передохнул. — Коробку. Таблетки. Принеси.

Глотнул воздух и добавил:

— Пожалуйста.

Пока Фелисидад копошилась у него в рюкзаке, перед ним внезапно встал черный ночной небосвод, все звезды, горящие на черном ковре серебряными брошками из Гуанахуато, и вдруг брошки начали откалываться от куска черной ткани и осыпаться вниз с черноты, сыпались и сыпались, обваливались, рушились, засыпали его всего с головой, и он перестал видеть, слышать и стыдиться себя.

Очнулся на широкой кровати. Руки, ноги разбросаны. Укрыты тонкой простышкой. Простынка хорошо пахнет — надушена цветочным парфюмом. Рядом с кроватью сидит девушка. У стула резная спинка — с дыркой в форме сердечка. Девушка спит сидя. Это не Фелисидад. Но очень на нее похожа.

— А где Фелисидад? — тихо спросил Ром.

Девушка тряхнула головой и проснулась.

— Вам лучше?

— Спасибо.

— Вам стало плохо за обедом.

— Извините.
— Мы не мешали вам криками? Песнями? Мужчины напились и пели.
— Я ничего не слышал. Простите.
— Что вы все время просите прощения! — Девушка встала и потянулась, задрав к потолку локти. — Фели! Фели!
Когда вошла Фелисидад, Ром ощутил тепло внутри, будто он превратился в печку.
Фелисидад села на край кровати и взяла Рома за руку.
— Я перепугалась, — жалобно сказала она. — Что с тобой было?
— Ничего, — сказал он. — Ничего.
Она очень тихо, медленно, осторожно легла рядом с ним. Поверх одеяла.
Он боялся пошевелиться.
— А если кто-то войдет?
— Все спят. Глубокая ночь. Роса тоже спать пошла.
— Роса — это кто?
— Моя сестра. Она с тобой сидела. А я посуду мыла.
— Она на тебя похожа.
— Нисколько. Она задница.
Он улыбнулся.
— А если... — Нашел и сжал ее руку. — Отец войдет?
— Он спит с матерью. Они занимаются любовью.
Она легла грудью ему на грудь, животом — на его живот, прижала его тяжестью своего тела к матрацу.
— Одеяло мешает, — сказал Ром. — Оно мешает нам.
— Да. Мешает.
Она откатилась в сторону. Он сбросил одеяло, оно сползло с кровати на пол. Фелисидад лежала и раздевалась лежа, и он смотрел, как она раздевается. Стянула джинсы, футболку. Он сам помог ей снять короткую смешную нательную рубашечку.

Путешествие спящих

Бабушка превратилась в чувство. Она уже ничего не видела, не слышала, не думала — только чувствовала.

Ведомая чувством, она отправилась в полет — чувство летело само, оно летело впереди времени и жалкой мысли, которая умерла.

Бабушка летела над зимней землей и чувствовала, какая она холодная. Снеговые просторы — она чувствовала их под собой, они расстилались, как большие больничные простыни — дышали в нее метелями и пугали ее. Она чувствовала: земля закована в доспехи льда, и это повторялось раньше, и это повторится еще, и так будет всегда.

Зимние холодные нагромождения камней. Раньше это звалось домами или городами, она уже забыла, потому что умерли в ней мысли и слова. Острые и плоские строения из камней и железа возвышались, рушились, падали, дым клубился вокруг развалин; легкий мираж счастливых поселений она ощущала как легкое и сладкое дыхание ребенка, наевшегося воздушного зефира или шоколадных пирожных.

Огни среди каменных плит. Фонари среди железной арматуры. Свет, она чувствовала свет, его легкость, его нежность, пробивающуюся сквозь холодную твердую железную тьму. По железным рекам, расчертившим белую ледяную землю, бежали железные повозки, похожие на длинных железных гусениц. Занесенные снегом голые палки торчали на поверхности белой мертвой земли, и бабушка чувствовала их,

как что-то равнодушно-жесткое, внутри которого — сонный, теплый, спящий сок течет медленно, скорбно, еле-еле.

Земля то возвышалась, то опадала. Вдруг обрывалась, и вместо земли расстилалась водная мягая, жатая ткань, ледяная влажная рябь без конца и начала. Море. Бабушка забыла, что на земле есть вода; она чувствовала морозное дыхание зимней воды, кромку соленого ломкого льда близ берега.

Вода заканчивалась, и под ней опять пролетала земля. Острые ножи выюги разрезали ее куском забытого ржаного хлеба.

Зимняя земля была родная, она чувствовала это. Потом холод внизу сменился теплом, потом пахнуло жарой, и бабушка почувствовала: там, под ней, земля чужая, неведомая. Приятно и вольно было лететь высоко и свободно. Чувство поворачивало, куда хотело. Чувство вело ее, не напрягаясь, и это было как земной вдох и выдох, только гораздо счастливее.

Она ощутила легкий укол. Чувство, как сердце, сжалось и разжалось в ней — внутри того, что когда-то было ею. Сначала плавно парить на невидимых крыльях; потом камнем валиться вниз — скорее, быстрее, чтобы успеть. Успеть куда? Успеть зачем? К кому?

Когда внизу она почувствовала два сгустка живого человеческого тепла, чувство в ней дрогнуло, вспыхнуло факелом, а потом превратилось сначала в горечь, потом во влажную, теплую соль.

Рядом, под плывущей волной дрожащего чувства, бились и сливались два комка света и жара, образуя единый теплый шар. Он вспыхивал и гас, гас и вспыхивал опять. Бабушка приблизилась еще. Так, чтобы можно было обнять двойной горящий шар дыханием расплавленного чувства.

И она обняла. Ей удалось. Чувство, им же она пребывала, летя, накрыло бьющийся огнем шар легкими крыльями. Тепло стало одним, жар проник в жар, любовь вошла в любовь плотно, в сработанные для этих целей вечностью неразъемные пазы.

Боль. Счастье. Тьма. Пульс. Сердце. Два сердца. Теплая спина. Плечо. Объятия. Мокрая, потная кожа. Пальцы гладят висок. Губы в губы. Щека на щеке.

Ром крепче обнял Фелисидад. Отодвинул горячей рукой с ее влажного лица прядь волос.

— Фели. Нас кто-то обнимает. Я чувствую.

Фелисидад поцеловала Рома в плечо.

— Кто?

— Я не знаю. Чувствую.

Оба прислушались к тьме.

— Никого нет. Ты гредишь.

— Нет. Я чувствую.

— Это я. Это я обнимаю тебя.

И Фелисидад закинула руки Рому за шею, и поцелуи посыпались на его лицо, как внезапный дождь в горах сыплется серебряным горохом на сухую, в трещинах, красную землю.

— А когда ты теперь прилетишь? — тоскливо спросила его Фелисидад, когда они уже сидели в гостиной, посматривая на часы, и у ног Рома спящей носухой притулился его дорожный рюкзачок.

— В Новый год, — изо всех сил улыбаясь, ответил Ром.

И тут Фелисидад заревела. Слезы брызнули, она закричала и даже завывала! Обхватила Рома обеими руками, будто он был дерево; трясла, тискала, била кулачками по спине. Он гладил ее по волосам. Не косы, а черные джунгли.

— Ну что ты так... Зачем ты... Мы же не навек...

— Навек! Навек!

— Ты все время будешь со мной. Ты все время со мной.

— Вранье! Вранье!

— Почему вранье?

— Потому что там у тебя девушки! Куча девушек вокруг тебя!

Ром ловил ее руками, как бабочку. И пыльца осыпалась у него под пальцами.

Пыльца нежного, первого чувства.

— Ты обманешь меня!

— Фели, я...

Онемел. Впился пальцами в ее плечи.

Она ударила его по рукам.

— Проваливай в свою Америку! И больше никогда не прилетай! Никогда!

В дверь гостиной уже вбегали Милагрос и Роса, у обеих руки были в тесте и муке до локтей. Милагрос на ходу обтирала руки полотенцем. Сантьяго тут же толкался. Живот нес впереди себя. Бормотал: успокойтесь, дети, успокойтесь, ну разве можно так! «Милые бранятся, только тешатся», — фыркнула Роса и белыми мучными руками поправила праздничную, в честь проводов Рома и помолвки сестры, прическу.

— Не хочу тебя видеть!

— Дети, вы что... — Милагрос ринулась к Фелисидад. Тоже ловила ее, пыталась обнять, а дочь ускользала. Утекала из рук черной рекой. Билась в рыданиях: танцевала танец плача. — Дети, не ссорьтесь! Перед дорогой! Бога побойтесь!

Дочь не видела и не слышала ничего. Ревность и боль застлали ей глаза и разум.

Милагрос протянула вперед руки. Ей удалось найти глазами зрачки Фелисидад.

Зрачки в зрачки. Глаза в глаза. Душа и душа.

Пусть душа много испытавшей матери войдет в дочь и шепнет ей: брось, прекрати, все это лишнее, ненужное, мишура. Гнев людской, ревность людская — думаешь, это страсть? Это старые бумажки, это щепки, и они сгорят в печке, в камине. В жаровне, на которой жарится вечное, как небо, мясо.

— Мама... Отпусти...

Милагрос опустила ресницы.

Все молчали.

В гостиную вошел Эмильяно. Хмыкнул. Ухмыльнулся. Расхохотался.

— Ола! Что это вы все как на похоронах? Молчите? А?

Все продолжали молчать.

Сантьяго отер пот со лба и поглядел на часы.

— Пора, — жестко сказал.

— До аэропорта отсюда добрых два часа на автобусе. А если пробки, то и все три! — крикнул Эмильяно.

— Путешествие спящих, — тихо сказал Хавьер, и все услышали.

— Что, что? Что бормочешь?!

Тишина звенела громче крика.

— Мы все спим, — возвысил голос Хавьер. Покачивался на корточках, живой маятник. — Спим, и движемся во сне. И едем во сне. И летим во сне. Мы путешествуем во сне. А когда просыпаемся — все, приехали. Приехали, значит проснулись.

— Значит умерли!

Крик Фелисидад повис в воздухе белой марлей, покачался, осел на пол.

— Какая разница? — спросил Хавьер холодно. — Можешь остаться. Можешь уехать. Никакой разницы. Ты же спишь. И она спит. — Он показал пальцем на Фелисидад. — Вам всем только кажется, что вы не спите. Жизнь это сон. Однажды вы проснетесь. И я проснусь. Как будет хорошо. Счастливо.

Он передохнул. Вдруг нахмурился. Изогнул брови, закусил рот.

— Или страшно. Да, может быть, страшно. Не знаю. Спать всегда приятно. Просыпаться — неприятно. Особенно когда тебя будят... — Он поежился. — Пинками. И воняет тухлым мясом. И гнилой картошкой. И голос орет над тобой: вставай, подонок! Отброс! Что разлегся! Сейчас сожгу тебя вместе с газетами! Давай проваливай! Не то подстрелю, как койота!

Ром глядел в орущее лицо, как слепой. Глядел — и не видел. Пошел на голос, так бабочка летит на свет. Два, три шага к углу, где сидит на карачках Хавьер, как на толчке. Замер. Застыл.

— А ты! — Хавьер уже кричал в голос. — Ты! Красавец! Чистенький! Ухоженный! Богатенький! В университетах учишься! В Штатах! Знаем, сколько стоит Америка, знаем! Родители, небось, богатеи русские! Русская проклятая мафия! Весь мир захватила! Все скупил, что только можно! Скромнягой прикинулся! Зачем тебе наша девчонка?! Потому что добрая?! Безропотная?! Потому что мексиканки — во всем мире служанки, да?! Уборщицу захотел?! Прислугу?! Стряпуху бессловесную?! А сам из-за ее спины будешь гулять, да?! Ты! Чистюля! Воспитанный огурец! Маменькин сынок!

Подпрыгнул. Взвился с корточек.

Подскочил к Рому.

Ром не успел защититься. Хавьер ударил его — грубо, неловко, неумело, смешно, жалко. Кулаком по лицу. Ром шатнулся. Между виском и скулой вздувался багровый синяк. Сантьяго подшагнул к Хавьеру, взял его за шиворот, как вредного кота.

— Ах ты! Гаденыш!

— Не бейте его! — крикнул Ром.

Фелисидад через всю гостиную шла к Рому вслепую, ощупывая воздух руками. Когда она проходила под люстрой — смоляная чаша ее волос вспыхнула рыжими, алыми искрами.

— Ромито-о-о-о!

Ром поймал ее. Наконец-то поймал.

Пусть изотрется вся ее бабочкина, летучая золотая пыльца. Слишком крепко он прижимает ее к себе. Слишком властно.

Обернулся к Хавьеру. Нижняя губа Хавьера мелко, истерично тряслась.

— Я сам зарабатываю себе на жизнь, — сказал отчетливо по-английски. Потом по-испански: — Я сирота. У меня все умерли. Все. Я один. Никого нет. Никого.

— Я у тебя есть! — пронзительно крикнула Фелисидад, и у всех заложило уши.

И после молчания, внутри которого слишком громко тикали настенные часы со старинным маятником, все заговорили враз, закричали, засмеялись, заплакали.

Танго со смертью

Масатлан; и океан; и новогодний карнавал.

Устав танцевать, они отошли от толпы танцующих, забрели в маленькое кафе у кромки пляжа. Песок, розовый днем, сейчас, в свете фонарей, звезд и карнавальных огней, вспыхивал черными и синими искрами.

Ром поднял бокал с текилой. Фелисидад тоже подняла. Глянула на Рома, прищурясь, сквозь выпуклое цветное стекло. Показала Рому язык.

— Гляди, здесь елка, — кивнула она.

Прямо за ними, за их спинами, моталось огромное черное мохнатое, как медведь, дерево, не ель даже, а чудовищная хвойная гора, пахла смолой, в черных колючих волосах этой гранд-дамы путался серпантин, вспыхивали громадные лиловые и красные шары, золотые цепи свисали до полу, меж ветвей горели вперемешку электрические гирлянды и неуклюжие самодельные свечи.

Ель давила и надвигалась, от нее не уйти. Нависала. Игрушки звенели. Погребальные колокола?! Колыбельные погремушки?! На миг Рому почудилось — вот лицо бабушки среди черных веток. Бабушка стала праздничным шаром на их елке! Ее голова, ее поющий рот! О Боже, это художник так расписал новогодний шар. Нарисовал на шаре лицо, смеющиеся губы, красные брови и синие морщины.

А вот лицо Фелисидад. Волосы огнем искрятся. Мочало, солома! Загорятся сейчас! Слишком близко огонь свечи. Протянут огненный палец. Все обречено. Все назначено. Каждый Новый год. Каждая встреча. Каждые проводы.

А вот его лицо! Ну да, это он! Страшно раскачивается алый шар. Округлился в крике нарисованный рот. Из глаз летят молнии. Это гроза над океаном. Самая жуткая. В такой грозе погибают самолеты, и рыбы уходят в глубину, когда из зенита отвесно, вниз, в густо-синюю толщу воды, бьют дикие трезубые молнии, выжигая последнее зрение.

И прямо перед ними появилась старуха, и широкие костлявые плечи ее, похожие на плохо стесанные доски, были наги, как у девушки.

Старуха избоченилась, положила ладонь на бедро, откинула голову старой одинокой птицы и глянула на Рома круглым, в оправе обвислых морщин, синим бельмастым птичьим глазом.

Протянула руку — ладонью вверх.

Так стояла. Ждала.

И Фелисидад крикнула:

— Что ждешь стоишь! Не видишь, сеньора приглашает тебя!

Старуха сделала широкий шаг вперед, и Ром, сам того не желая, крепко обхватил ее за талию, ощутив под ладонью, под пальцами худые торчащие ребра.

Скелет. Танцевать танго со скелетом. Он еще никогда...

Музыка становилась громче, безвыходней. Убежать уже нельзя. Сухая старческая нога обхватила змеей его ногу. Он вздрогнул от отвращения. Перекинул тощее тело через руку, отогнул, ниже, еще ниже. Старуха вытянула вперед ногу и так застыла. А музыка вилась хороводом вокруг них, и они стали центром праздника. Все глядели на них и дивились, и примолкли, и тихо следили за ними.

Страшное, в морщинах, выпитое огромной жизнью лицо приблизилось. Сухие, цвета земли, губы, раскрывшись, придвинулись к губам Рома. Старуха хотела поцеловать его, он это видел! Разве в танце целуются старый и молодой? Разве жизнь когда-нибудь, даже на празднике, целует смерть?

В его плечи вцепились острые железные пальцы. Старуха без слов сказала ему, глазами: «Сегодня будешь со мной». Все в нем взорвалось: нет, не буду, врешь! Круглые совы глаза хохотали. Ах так, подумал он зло, крутя нищие старые мощи, подняв выше головы старую мосластую руку, да только это не я буду с тобой, а ты, ты будешь со мной. Это не ты возьмешь меня, а я возьму тебя. Я!

Обнял. Выдохнул соленый воздух ей в лицо. В желтый костяной череп. Отдулись, полетели вбок, вверх от печеного яблока щеки, паутинные нити. Старуха еще раз сделала соблазнительное ганчо. Ром сделал болео, махнул ногой между ее расставленных под узкой, с разрезом, юбкой жалких тощих ног. Жалких?! Она танцевала танго лучше всех на побережье. Эти хилые ноги, эти костлявые руки манили, тащили за собой в синеву и черноту, уводили навсегда.

— Тихо, — шепнул Ром по-русски, — тише, не напирай... Слушай, как я тебя веду...

Старуха оскалилась.

— Это я тебя веду, — ответила по-испански, задыхаясь. Рука, отдельно от нее, будто механическая, железная, поднесла к ее губам бутылку, и она жадно глотнула. — Не ошибись. Ты мой.

— Это ты моя.

Ром рванул ее за руку вбок. Музыка сделала коварный изгиб мелодии, публика дружно хлопнула в ладоши. За ними наблюдали. На них делали ставки. Кто кого перетанцует. Ром перестал думать о Фелисидад. Забыл о ней.

Затягивало черное танго. Чужие кости наступали, давили чугунно ему на бегущие прочь и вперед ноги. Он понял: пропал. Рванул! Со свистом пролетел сквозь зубы холодный воздух. Он еще вел. Он — еще — танцевал! А старуха тянула. И пропасть рядом была. Черный океан? Черный ветер? Земля, внезапно ставшая небесами?

— Не сейчас! — крикнул по-русски.

— Сейчас! — крикнула старуха.

Оглянулся. Обшарил глазами кафе.

Фелисидад не было.

Выбежал из кафе на берег, на песок.

Пальмовые листья вздрагивали.

— Фели! Фели!

Тишина.

Ветер забивал глотку. Срывал волосы, как скальп. Зачем она входит в воду?!

— Фели, остановись! Ты с ума сошла!

По колено вода. По живот. По грудь. По плечи.

— Фели! Ты утонешь в одежде!

Судорожно сбрасывал с себя джинсы, рубаху.

Уже рассекал головой тугие черные соленые волны.

На поверхности воды нефтяным пятном расплывались густые волосы Фелисидад.

Ром двумя гребками подплыл к ней, поднырнул под нее, чтобы ее тело легло на него, ему на спину. Она ударила его руками, ногами, пытаясь опять сползти в воду. Он не пускал. Плыл к берегу, гребя одной рукой; фыркал зверем, плевал соль из глотки, из зубов, ловил воздух ртом, дышал как паровоз.

— Держись!

Когда Ром вынес Фелисидад на берег на руках — она уже не кусалась и не лягалась, лежала как неживая. Он положил ее на песок. Лег рядом. Целовал ее щеки и шею. Песок тут же набился ему в губы, в зубы. Он вытер рот рубахой.

— Фели, — похлопал ее по щекам. Она не открывала глаз. — Ты зачем так?

Уже знал ответ. Незачем спрашивать было.

— Ты... — Глаза по-прежнему закрыты. — С этой...

Он рассмеялся.

Уткнулся носом ей между грудей.

— Прости меня, — сказала Фелисидад и открыла глаза.

И, когда он обнял ее крепче, веселей и отчаянней, и лег на нее, она широко открытыми глазами все смотрела, смотрела на звезды.

Кукарача

Таракан — так стали звать его с самого детства, еще когда у него не было в помине никаких усов. Усищ. «Усики, усики!» — смеялись девицы, пытаясь как можно изощренней поцеловать его, кладя ему руку сначала на ширинку, потом на щеку, пальчиком проводя по еле заметным тогда усам.

Таракан — коротко и ясно, и что тут еще добавить? Не слушаться старших. Не доучиться. Не работать там, где не хочется. Не делать то, что противно. Не... «Не» — острый топор, отрубавший с маху все ненужное. Надо уметь выбирать — он понял это

давно. Ребенком. Когда пьяный отец тыкал его рожей в тарелку с молоком, как глупого кота, и вопил над ухом: «Мяукай! Мяукай!»

Он ни разу тогда не сказал отцу: «Мяу», — и отец впал в бешенство.

Избитого до того, что внутри синюшного тела кости не ломались, а гнулись, как слепленные из сырой глины, его мать отволокла за ноги к соседке, от греха подальше.

У соседки он лежал долго. Может, неделю. Может, месяц. Он не знал.

Потом соседка прибежала с выпученными, как у жабы, глазами. Отец до смерти забил мать. Это была важная новость. Он сам встал с кровати и оделся. Соседка повела его за руку в их квартиру. Он стоял посреди единственной их комнаты, где они ютились вдвоем, и глядел на военный строй полных и пустых бутылок, стоящих и лежащих: на столе, на полу, на продавленном ветхом диване. Бутылки стояли, как солдаты-герои, и валялись, как убитые.

Среди бутылок лежала мать. Все тело матери изукрашено лиловым и красным, и алым, и синим. Может, нарядилась на карнавал? Удивительно, но отец, избивая женщину, не тронул ее лицо. Чудовищный кулак истязал плоть, но не серебряное спокойное блюдо, где стояла чистая вода души. Душа лилась из неповрежденного неподвижного лица в мир, пришедший посмотреть на дело людских рук. Смотрел и Таракан. Он понял: мать мертва, больше не встанет. Что такое тело без души? «Ее положат в землю, и сегодня же ее начнут жрать черви», — подумал он. Железные мысли ворочались под костью черепа жестко, правдиво. Он никогда не лгал ни родителям, ни соседям, ни себе. Знал: скажешь правду — или убьют, или вознесут. Третьего не дано.

У двери на балкон валялся отец. На его голой груди, под разорванной рубахой, лунно отсвечивала пустая бутылка из-под текилы. На этикетке нарисована агава. Толстые синие листья. Толстые синие губы отца. «Иисусе сладчайший, да ведь он не дышит», — услышал он рядом истеричный женский голос и зажмурился.

Таракана определили в католический детский дом. Его недолго продержали там. Он сбегал оттуда четыре раза, и каждый раз его возвращали, подключая к поискам полицию и церковь. Священник бесполезно и терпеливо беседовал с ним. Вернее, говорил падре, а Таракан слушал. С виду покорно, а губы и зубы танцевали, разевая рот изнутри нечестивым хохотом. Комнату, где жили его родители, отдали другим людям. Он пришел домой, на пороге его встретила пухлая, как дешевое тако, набитое гнилыми овощами и тухлым мясом, широколицая тетка, скорчила ему рожу, показала дулю: «Забудь этот адрес, парень!» Таракан пошарил глазами по стенам. Увидел гитару. Ее купил когда-то покойный отец. Играл неумело, некрасиво, брямкая подзаборными, скрюченными пальцами по медным струнам.

«Отдайте гитару», — попросил. Взмахнул рукой и пальцем показал. Тетка проследила за его взглядом и жестом. Он ждал всего: брани, тычка, — а она на удивление быстро, послушно шагнула к стене, сняла гитару с крючка. «Бери, черт с тобой! Твоя так твоя!»

И добавила, глядя ему в уходящую навек спину: «Глядишь, денег песней заработашь».

Таракан шел, прижимая гитару к боку, край деки врезался в ребра. Он пришел к другу, к Алехо Гонсалесу. Огромный муравейник семейства Гонсалес не слишком обрадовался гостю. Таракан сидел за столом молча, почти ничего не ел, а мать Гонсалес придирчиво глядела, что и как он берет со стола и отправляет в рот.

Идем, махнул рукой Алехо, потолковать надо. Алехо покорно поплелся за ним в патио. Там сидели на корточках, курили. «Мать запрещает мне курить», — поморщился Алехо и плюнул на сигарету, и в пальцах растер. «А петь она тебе не запрещает?» — поинтересовался Таракан.

Петь? Ты про что?
Все про то. У меня вот гитара.
Вижу.
Давай станем марьячис?
Ты что, обкурился?
Это ты дурак. Тебе что, бабки не нужны?
Бабки всем нужны.
То-то. Думай.

Алехо думал недолго. Обзвонил знакомых.

Уже через неделю их, с гитарами и звонкими юными голосами, было трое: третьего звали Федерико, и он был хромой, и индеец, и нахал, и могучий нос у него был как у воина с фресок майя в Пирамиде Улитки в Куикуилко, и курил он не табак, а пьяную травку, и в кармане он носил классный, крутейший, потрясный обсидиановый нож, и хвастался: «Этот нож мой предок в глотку врагов всаживал!», — и мог даже так: гитара на колене, одной рукой струны рвет, другой — прозрачный нож сверху подбрасывает, и каменные сколы играют как лед, алмаз.

Еще через месяц — четверо.

И у всех гитары.

Прибилась еще девушка со скрипкой; долго не проработала — Федерико и четвертый парень, Мигель, попытались трахнуть ее на пустыре, после особо удачного концерта в кафе «Акапулько». В сумках деньги, красotka рядом, пусть не совсем красotka, но и так сойдет — белые патлы вдоль лица веревками висят, скалит белые зубы, а главного нет, любовник, что ли, выбил? Как она визжала — как поросенок! Ногами воздух била! И пару раз им по штанам попала. Парни орали, сквернословили. Оба пьяны были, потому и не смогли дело довести до конца. А тут, над всей возней, и Таракан появился; и беловолосая девка завопила: «Кукарача-а-а-а!» — и перекатилась по сухой земле ближе к нему, так солдат катится прочь от воронки, от взрыва.

Из кармана у Федерико выпал его знаменитый нож, и Таракан подхватил его гибкими воровскими пальцами — и закрутил в кулаке, и взял в зубы. Шагнул к пытящим, ошалевшим. Девка свернулась перламутровой полуголой улиткой у его ног. Он подумал: сейчас землю будет целовать, о помощи молить. Размахнулся, ударил Федерико по роже. Под кожей медленно расплывался цветок синей крови. Еще раз ударил. Федерико упал виском на землю. Камень разодрал ему щеку. Он завизжал: «Попробуй ударь! Ну еще ударь!» Замолк: увидел свой нож у Таракана в зубах. Полз задом, шурша ягодицами по земле, пытился, исчезнуть пытался, истаять.

«Вставай, — сказал Таракан белой, — отряхнись, пойдем кофе попьем. Я угощаю. Ты их прости. Дурни они». Дал ей руку — как кавалер. Они попили пахнувший перцем кофе на балконе «Акапулько», белая ушла, и больше Таракан ее не видел.

А каменный нож Федерико он себе оставил. По праву победителя.

Они думали о славе ровно столько минут в день, сколько надо было, чтобы чувствовать себя здоровыми, сильными и красивыми. Слава, ты где? Подожди! Мы скоро! Слава ждала их. За углом. За поворотом. На пляже. В дешевом ресторанчике близ древней пирамиды. Допивая пульке, Таракан щурился на солнце, кулаком вытирал пот под носом и щупал в кармане обсидиановый нож.

Нож был как живой. Будто каменный младенец. Зародыш.

Что он родит? Смерть? Жизнь?

«Если баба при мне не сможет разродиться, я разрежу ей вот этим ножом брюхо», — туманно и весело думал он, заказывая еще стакан пульке, тягучего, светло-голубого, зеленого, дьявольского, пахнущего сырым гнилым мясом, сумасшедшего, из сока синей агавы, напитка его отцов, матерей, предков.

Выкидыш

Однажды вечером, когда Роса и Фелисидад перемыли грязную после ужина посуду, а старая Лусия сидела у камина и вязала свою бесконечную кофту с длинными, как чулки, рукавами, Хавьер прокрался в подсобку, где сеньор Сантьяго хранил инструменты, толь, резину, покрышки, рулоны брезента, старые палатки и велосипеды, и, пошарив под расстеленным под стеллажом со старыми газетами дырявым ковром, извлек оттуда маску.

Пес Хавьер. Беззубый.

Будешь вшивать ему зубы?

Из чего? Из иголок?

Да, хотя бы из игл сеньоры Милагрос. Знаешь, их много у нее в швейной машине. В подушечках в шкатулке на шифоньере, огромная, как дворец, шкатулка времен Изабеллы Кастильской, и там куча подушечек, обшитых атласом, и все утыканы иголками — толстыми, тонкими, длинными и короткими, как ресницы.

Как ресницы Фелисидад.

Хавьер долго и тайно мастерил башку собаки в подсобке.

Он глядел в пуговичные глаза пса, и пес глядел на него, и так они глядели друг на друга, и кто из них был живее, Хавьеру трудно было сказать. Может, это он картонный, а у пса из глотки пахнет голодом.

Вечер опустился быстро, черным платком на клетку с желтой канарейкой, питомцей седой Лусии. Лусиино вязание волочилось по полу — полосатые рукава, две шерстяных змеи. Хавьер вышел из подсобки. Маску собаки прятал за спиной. Под рубахой.

По коридору шел осторожно. Фелисидад и Роса у себя в комнате. Они не спят. Разговаривают, он слышит голоса. Фелисидад ложится поздно. И ночью встает, ее все время тошнит.

Она идет по коридору в туалет, прижимая руку ко рту. Он видел это много раз.

Спрячется за ящики с банками законсервированных сеньорой Милагрос овощей — и смотрит. Выжидает.

И вот она идет. В ночной рубашке с кружевами по подолу. Качается, лист пальмы. Личико бледное, воздух ртом ловит. Глаза полузакрыты. Пальцами щупает стенку. Ага, вот дверь. Сейчас откроет. И он услышит звуки. Ее вырвет. Она не отравилась. Он знает, что это.

Фелисидад снова в коридоре. Впалые щеки. Как она похудела. А танцы? Почему она прекратила ходить на свои танцы в свое кафе? Он знает, почему.

Он шагнул из-за ящиков с зимними припасами Милагрос. Фелисидад не успела пробежать мимо. Пес возник перед ней внезапно, вырос черной тучей. Он рычал. Луна светила сквозь стекло маленького коридорного, под потолком, окошка. Луна ударила в окно, как серебряный рыбий хвост. Страшный пес кинулся Фелисидад под ноги. Он был ростом с человека — напрасно горбился. Фелисидад присела на корточки и закрыла ладонями лицо. Рывок вырвалось из нее птицей-подранком и улетело, оставляя на полу коридора кровавые пятна.

— А! — крикнула она сквозь прижатые к лицу ладони.

Огромный пес встал на все четыре лапы. А может, упал на колени. Стальные тонкие зубы блестели в его раззявленной пасти. Он больше не лаял. Мертвые костяные пуговицы пристально глядели на плачущую Фелисидад, о чем-то просили, молили.

Фелисидад отняла одну руку от лица и схватилась ею за живот.

— А! А! А!

Пес поднял вверх свою морду. Держал лапой ее за палку — отдельно от тулови-

ща. Голова отдельно, живот отдельно. Сейчас и лапы отпадут, и лягут на пол. Фелисидад вырвало прямо на пол коридора.

Хавьер слышал, как жалобно кричит в своей спальне Фелисидад. Видел, как весь дом среди ночи поднялся на ноги; как все бегали, сустились, звонили хором по телефонам, в руках мелькали тряпки, бинты, градусники, тазы с водой, чайники, банки, грелки, как взбегали по лестницам без перил врачи с чемоданчиками в руках, где были шприцы и приборы, спасающие жизнь; как Фелисидад, на длинных носилках — такую маленькую, скрюченную от боли, как перечный стручок, выносили, тащили вниз по лестнице, на улицу, где ждала машина с красным крестом; слышал, как завели мотор, как прекратились вопли и слезы, как медленно утихало, сворачивалось кошкой в клубок растревоженное пространство глубокой, густо-черной звездной ночи.

Наступило молчание. Вернулась тьма. Во тьме медленной струйкой из-под плотно закрытой двери в хозяйскую спальню тек тонкий, нежный плач Милагрос. Так плачет кошка по утопленным котяткам; так плачет ребенок по искалеченной игрушке.

Калавера в сомбреро

— Ты знаешь, какой сегодня день?

Фелисидад стояла перед зеркалом и завязывала на затылке рассыпчатую гушину смоляных волос. Не косы, а джунгли.

— Нет.

— Сегодня *Día de los muertos*.

— *Día de los muertos*? — эхом повторил Ром.

Фелисидад обернулась от зеркала. Она всегда поворачивалась очень быстро, он не успевал уследить.

— Ну да. *Día de los muertos*. Ты понял?

— Да. Понял. Не надо объяснять.

Легкий страх заполз за пазуху и щекотал ребра тонкими пальцами.

— И что это значит? Вроде Дня поминовения?

Фелисидад подошла к нему близко-близко, и он увидел под юбкой ее маленький и круглый, как дынька канталупа, живот.

— Нет. Это круче. Это совсем круто. Знаешь, это очень древний праздник. Мы празднуем смерть.

— Что, что?!

Он ушам не верил.

Видел свое отражение в зеркале — брови взъехали на лоб, рот раскрыт удивленно, как у птенца. Сам себе в зеркале усмехнулся.

— Что слышал! Это праздник смерти!

— Смерти? Что за чушь?

Лицо бабушки, в гробу, со сложенными на груди руками, всплыло из марева и пропало.

— Не чушь. Не смей так говорить о наших обычаях! Мы с тобой пойдем на кладбище. Туда, где похоронены мои дедушка и бабушка. Это мама и папа отца. Лилиана и Бенито Торрес. А все остальные пойдут на другое кладбище. К предкам мамы Милагрос. У матери предки испанцы. Они прибыли сюда с Кортесом. Мы знаем все наше семейство до седьмого колена. А у папы — индейцы. Нет, ну они с испанцами тоже смешались. Ты знаешь что? Оденься на кладбище как на праздник. Ну! Живей! Уже вечер!

— Вечер, и куда мы в темноту попремся? — удивленно спросил Ром.

Но спорить не стал. Белая рубаша. Узкие черные джинсы. Галстук-бабочка, как у

актера. «Как у марьячи», — хмыкнула Фелисидад, галстук ему поправляя. Резкий, беглый кивок в сторону зеркала: отрази жизнь и радость, отрази! Идем на кладбище — показать смерти лицо жизни, в обмен на ее костлявую личину!

«Что я, зачем я так, это же святотатство, у них же это память предков, и это древний обычай, сказано же тебе, дурень». Встопорщил русые волосы перед зеркалом.

— Хватит в зеркало пялиться, — Фелисидад ударила его по рукам, легонько, — ты ж не девушка.

— Ну тогда ты поплясь! — захохотал Ром и подтолкнул ее к зеркалу.

Они смотрели на самих себя в зеркало, в другой мир, располагавшийся всего лишь за тонкой, тоньше волоса, стеклянной стенкой, призрачной поверхностью, поглощающей времена и звуки; зеркало на стене висело старинное, в тяжелой посеребренной раме, и сколько поколений, сколько предков Фелисидад гляделось в это стекло, зачерненное с испода отравной амальгамой? Они здесь, и они там. Зеркало. Отражение их счастья. Здесь и сейчас. Не на далеких звездах. Здесь, на смертной, влажной, черной, кровавой и грешной земле.

— Какие мы с тобой...

— Какие?

— Пара.

Еще глядели, вглядывались в себя.

— Да, мы пара. Я и не сомневался.

— Я тоже.

— Ты оделась на кладбище как на танцы.

— Там и будут танцы!

Он округлил глаза и рот.

— Ого! А не врешь?

— Я вру! Я вру!

В смешливом гневе била его по рту черной кружевной перчаткой.

— А еще что там будет? Может, и пировать будем?

— И вино пить! И текилу! И специальный хлеб есть... священный! И скелеты ореховые грызть!

— Может, и гробики шоколадные?

Он хотел подшутить, подыграть ей.

Она заскакала на месте, как черный мяч.

— И гробики шоколадные! Да! Да! Да!

Ром схватил ее за руку. Притянул к себе.

Они целовались перед зеркалом, и зеркало тьмой и серебром глубоко, то четко, то туманно и неясно, отражало их долгий и сладкий поцелуй.

Они оделись, еще покрутились перед зеркалом, еще выслушали наставления от сеньоры Милагрос, еще смачно, звучно расцеловал их в щеки Сантьяго, еще Фелисидад затолкала в сумку горячие тако и бурритос, сунула две бутылки «Риохи», а Ром только стоял у порога и приглаживал волосы, они все время топорщились, ему это надоело. Выходим! Ну же! Уже темнеет.

Милагрос шепнула Фелисидад, их щеки тепло и бархатно соприкоснулись на миг:

— Ты там... помолись за сеньору Лилиану и сеньора Бенито... хорошенько...

— Да, мама.

Фелисидад прикрыла веки. Само послушание.

И когда они перешагнули порог и вышли в вечеряющий ноябрьский день, в это безумное Первое Ноября, Рому захотелось понять, отчего ему так тревожно, темно стало.

Он вспомнил океан. Синяя, сначала теплая, потом ледяная волна страсти,

нежности, беды. Пахло бензином: по дороге, кряхтя, медленно проехала старая машина. Ром стиснул руку Фелисидад.

— Нас подвезут на кладбище, — беспечно сказала девушка.

Руку подняла. Помахала. Засмеялась.

День мертвецов, черт знает, как весело.

Кладбище распахнулось гигантским черным зевом, с золотыми полосами зубов-огней в дьявольских улыбках, с перемежающимися полосами тишины и гула, слез и взрывов смеха. Фонари и факелы. Могилы освещены круглыми, как планеты, фонарями.

Он на земле?

Нет. Он в Космосе.

Мертвые летят среди планет, комет и звезд, черная тьма и яркие вспышки, это жизнь вспыхивает и летит, чтобы разбиться; ну вот мексиканцы и создали в День своих мертвецов — для живых — подобие полета: День? Как бы не так: Фелисидад сказала ему, что подготовка к карнавалу Смерти растягивается на месяц, а сам праздник идет день, два, три, неделю — на сколько у народа хватит сил смеяться, петь, веселиться, есть и пить и поминать своих покойников.

— Калавера и калака, запомнил?

Угол рта улыбается. Ей совсем не страшно.

Сердце. Он украдкой запустил руку под рубаху, расстегнув пуговицу. Нет. Только не сейчас.

Странное дуновение. Будто бабушка дунула в лицо: так делала, когда болел.

— Что это?

— Калавера, — Фелисидад обняла ладонями свою голову, — калака! — побила себя кулаками по ребрам.

Он понял: череп и скелет.

Скелет. Череп. Как поэтично.

«Дурень, кости это же мы сами, мы из них состоим. Ну и что. Пугаться их? Мы их все равно не видим, пока живем. Они внутри нас».

Наша смерть внутри. Мы носим ее внутри себя...

«...как курица яйцо», — додумал он.

Колымага тормознула. Фелисидад и Ром выпрыгнули около мраморного белого бордюра. Он светился в темноте, будто намазанный фосфором. Факельный и фонарный свет играл с лицами, руками и нарядами жестокие шутки.

— Спасибо, Бернардо! К своим пойдешь?

— Да! Туда! — Парень выполз из машины и махнул рукой себе за спину. — К тете Хосефе, деду Диего... и к бабушке!

«Бабушка. У него тоже умерла бабушка. У нас у всех, у многих, у несчетного числа землян, умерли бабушки. А у меня нет и родителей. Зачем эти люди празднуют смерть? Их за это накажет...»

Он вовремя остановился, не додумав слово: «Бог».

«Я знаю, что в Космосе нет никакого Бога. Нет!»

Фели цапнула Рома за рукав.

— Пойдем!

Он расширил глаза. Глядел поверх ее головы.

— Что это?!

Она проследила за его глазами.

— Это? Тепантли. Раньше тепантли складывали на городских площадях. Теперь — только на кладбищах. Здесь, где наши лежат, красивое тепантли, правда ведь?

Стена из черепов. Тепантли. Она возвышалась перед малюсенькой, как цветок магнолии, кладбищенской часовней. Белая часовня, закрытые каменные лепестки.

Наверху, в пустом проеме, — колокол. Он тихо звонит. Мерные, медленные удары. Кто раскачивает его? На колокольне пусто. Никого.

Мороз легкого ужаса иглисто, мятно и страшно оцарапал спину.

Ром нарочно улыбнулся. Деланно рассмеялся.

— Не надо, — сказала Фелисидад, став вдруг серьезной, — ну что ты. Здесь все...

Она вздохнула. Искала слово.

Хорошо? Светло? Спокойно? Чисто?

— Здесь живет Бог, — просто сказала она.

И добавила:

— И все наши боги.

«Наши. Чьи? Кто хозяин богов? Майя? Мешико? Ацтеки? Бешеные захватчики-иберийцы? Как далеко уходят наши нищие, худые и костлявые ноги в почву, к корням, в толщу земли?»

Они взялись за руки и пошли в глубь кладбища. Уже синяя плотная тьма накрыла Мехико, набросила на кладбище непрозрачный густо-лиловый плат, похоронную мантилью; а в дырки кружев черной мантильи просвечивали звезды, бешеные огни, синие белки людских глаз, белые молнии взброшенных в приветствии рук. Многие тут были в белом. Белые рубашечки мальчиков, белые кружевные кофты старых почтенных дам. Белые брюки мужчин, отцов семейств, худых, заморенных работой, и толстых, это значит — зажиточных. А вот и девочки-ангелы. Они летят, ножками семят! И у каждой в руках — расписная калавера.

— О Господи, — сказал Ром, застывая на месте и крепче сжимая руку Фелисидад, — Фели, гляди!

— Что?

— Калаверы... они в сомбреро!

— Ну и что?

— Да это еще что! — Глаза бегали. Ловили незабываемое. — Гляди, тут... череп-генерал! А это, гляди! Дамочка расфуфыренная! Зубы выкрашены золотом, ух ты!

Девочка несла на шесте, высоко поднимая, странную калаверу. Костяные щеки размазаны помадой. Зубы золотые блестят. На макушке — кокетливая шляпка, усаженная бумажными розами и гвоздиками. Там, где у черепа уши — серьги висят, величиной с коньячную рюмку.

— Ну и видок, — Фелисидад фыркнула. — Шлюха!

Ром беззвучно повторил по-испански: *puta*.

— А разве...

— И шлюхи тоже умирают, Ром! Еще как умирают!

Он кивнул.

Тесно сплетясь жадными, жаркими руками, прислонившись боками, поминутно целуясь внутри вакханалии веселой Смерти, они пошли в глубь кладбища, и снизу, с земли, и сверху, с колокольни, и сбоку, в руках детей и стариков, их озаряли огни: царство огней, и они — цари в нем. Временные. На время. Все временно. Все временно. Лови момент. Лови воздух ноздрями. Завтра тебя не станет. И деревянный ящик станет твоим домом.

— Скелет — он нетленный, — важно сказала Фелисидад. — Кожа и мясо сгниют, а кости останутся. Понимаешь теперь, почему они...

Махнула рукой на цветное буйство радостно оскаленных калавер.

У каждой калаверы — своя морда: вот рыбак, вот летчик в шлеме, вот клоун в колпаке. Кто кем был при жизни — тот тем и стал после смерти.

— Да, — согласился он.

Почему-то не было противно, когда он слушал ее речь о гниющей плоти.

«Все есть процесс. Ты же ученый. Ты понимаешь: время проходит, и живое должно стать неживым, и уступить место другому живому. Иначе прервется связь

поколений. Бессмертное поколение, одно-единственное на Земле. И нет развития. И нет радости. И нет трагедии. И нет ничего. Есть вечный первичный живой бульон. Он никогда не будет мыслить. И любить».

— Калака нетленна, — повторил он и вслушался в эти слова. Они успокаивали.

«Хоть что-нибудь нетленно в этом горящем и сгорающем мире. Хоть что-то. Хоть кость. Хоть пепел».

— Они все сейчас вернулись сюда, — сказала Фелисидад и вытащила из сумки бутылку «риохи». — Открой!

Ром зубами вытащил затычку. Фелисидад смело отпила. Протянула Рому. Он выпил.

Глаза и рот превратились в огни.

Стало весело и все равно.

— Куда мы?

Брели среди могил.

Вокруг них плясали детишки, в ручонках у смуглого паренька мотался огромный, вдвое больше ребенка, позолоченный скелет — в поварском колпаке, в белом халате, к костям кисти прикручена грубой веревкой поварешка.

— К бабушке Лилиане и дедушке Бенито. Ух ты! Чем она нас угостит, предивная калака?!

Подбежала к мальчонке. Щелкнула скелет ногтем по черепу.

— Накорми нас!

Мальчик с готовностью полез в карман поварского халата, вытащил энчиладос в промасленной мятой бумаге. Протянул Фелисидад.

Она стала есть, крутить головой, как кошка, жующая вожденное мясо.

— М-м-м-м! Вкуснятина! А мы — тебя угостим!

Сунула руку в сумку.

— На бурритос!

Мальчишка запрыгал на месте, завизжал на высокой ноте.

Ром глядел, как мальчик ест бурритос, размахивая калакой, будто флагом.

— Что, плохо тебе? — Фелисидад прищурилась, оглядывала Рома, будто он внезапно стал ей чужой. — Привыкай. Это наши обычаи! А ты знаешь, кого сегодня, Первого Ноября, вспоминают? У чьих могил больше всего народу?

— Не знаю. Знаменитых... стариков?

Фелисидад расхохоталась. Кудри прыгали по плечам.

— А вот и нет! Мертвых младенцев! Грудничков усопших! Гляди!

Потянула его за руку. Он смотрел: около крошечных могилок на коленях, в ряд, стояли люди, молодые и старые, кто в черном, кто в ярких цветастых платьях и плащах; кто-то молился, сложив руки лодочкой, кто-то гладил сахарный мрамор могилы, а кто-то — высоко поднимал над головой маленькие, величиной с котенка, скелетики, махал ими в ночном воздухе, и между ребрами у иных калак позванивали привязанные за нити колокольчики.

Ночь наполнилась гулом и звоном, пахла вином и сырой землей. Здесь прошел дождь? Или люди сами поливают землю: вином, мочой, слезами, спермой, ключевой водой и терпкой текилой, а она все вбирает, все вберет, все — возьмет?

«И меня. И Фели. Да. И нас».

Фелисидад шагнула к стоявшему на коленях старику. Он так низко согнулся, втянул грудь, что плечи касались друг друга. Он напоминал куколку, из которой никогда не вылетит бабочка. Сухую, мертвую.

— О ком вы молитесь, сеньор?

Ей пришлось перекикивать хор девушек и юношей — они, сбившись в кучку, громко и фальшиво распевали неподалеку, и факелы выхватывали из мрака то острый юный локоть, то румяную щеку, то рыжий мед вьющихся по ветру волос:

— Если б мог ты бегать, мертвый,
Убежал бы без оглядки!
А не можешь — вот к могиле
Волокут тебя за пятки!

Старик поднял невидящие стеклянные глаза. Глаукомные бельма спустились низко, закрыв всю радужку. Морозные узоры затянули ясные зеркала. «Его сюда привели за руку. Чтобы не упал, не споткнулся. Побыл со своими. Черт, ему же скоро к ним... уходить! Молится, чтобы легче... перейти?»

— А, мучача! — Зашарил в воздухе высохшей рукой, пытаюсь найти, ухватить руку девушки. Фелисидад подставила ладонь, и старик жадно уцепился, подтаскивал на коленях тело ближе, еще ближе. — Я-то? О внуке молюсь. О мальчике моем сладком! Господь его взял... взял в полете!

Бормотал; улыбался; из угла рта стекала, как слеза, слюна.

— В полете? Летчиком был?

— Да... да-а-а-а! На самолете разбился!

Ром подшагнул. Встрял в разговор.

— Летчик гражданской авиации? Военный?

— Да нет... не-е-е-е-ет! Спортивный самолет. Маленький! Дельтаплан. Он не один разбился. С мальчиком! Сыном наших друзей хороших... Внуку двадцать пять, мальчику семь... жить еще не начинали... на взлете ушли... Самолетик... картонный... он над горами летел... над горами... мотор отказал... те, кто видел, говорят — они падали отвесно... отвесно... разбились в лепешку... искали руки, ноги, чтобы в гроб сложить... и похоронить...

Старик указал трясущимся пальцем на могилу.

— Оба здесь.

Фелисидад встала на колени рядом со стариком. Прямо в грязь.

«И не боится испачкаться».

— Мой внук... он хотел мальчика покатасть. Показать ему небо!

— Небо, — повторила Фелисидад.

Ром сжал кулаки. Небо! Звезды! Почему мы все туда хотим? Туда, а не в землю?!

А уходим — в землю.

Земля влажно и нежно прогибалась под ногами. Рому казалось — он бредет по первой, новорожденной почве: планета вчера родилась, и еще не остыла, и можно провалиться в тартарары, к центру земли, к ее раскаленному тяжелому ядру. Рука в руку, рука об руку. Кладбище — карнавал, кладбище — родильный дом: здесь по-иному, в иной мир рождается душа. Сердце бьется по-иному.

— Фели, — он сильнее сжал коричневую родную лапку. — А мы тут... можем помянуть?

Не сказал, кого: Фелисидад и так поняла.

Встала как вкопанная.

«Черт, дурак, зачем сказал».

Лапка сначала напряглась и отвердела, потом помягчела, поплыла растаявшей глиной.

— Можем, — тихо ответила.

Ром боялся заглянуть ей в лицо.

— А как? Как мы помянем... его?

«Наверное, это был мальчик. Да, мальчик. Да.»

— Не знаю.

Она и правда не знала.

Он должен был знать. Придумать.

И так, чтобы все было хорошо, правильно, по обычаям этого народа.

— Давай... — Горло превратилось в сухой наждак. — Давай встанем на колени вот здесь.

Показал на прогал между двумя белыми в ночи могилами.

Встали. Теплая земля свежо, радостно спружинила. Колени утонули в земле, как в прибрежном песке. Звезды иглами кололи им склоненные затылки.

— Что у тебя с собой... есть? Ну, драгоценного?

И опять она поняла.

Схватила себя за золотую цепочку на груди. Вытащила из-под блузки крестик.

— Это... бабушка Лилиана подарила... я не помню... мама говорит: бабушка на меня надела, когда я еще в колыбельке лежала...

У Рома перехватывало горло. В голове туманилось, будто он задрал голову и кружился, как безумный танцор, среди могил, и звезды крутились над ним гигантским волчком.

«Только не реветь. Все уже выплакано. Давно».

— Мертвая твоя бабушка Лилиана. Вот сейчас крестик ей и вернется. И... ему.

— Да.

— Колай!

Они оба стали руками копать мягкую черную землю, и иногда под пальцы совались острые камни, и Фелисидад тихо вскрикивала, — копали руками, не щепкой, не совком, не лопатой, и удивительно радостно, послушно разымалась под руками земля, и вот она, маленькая могила для крестика, для поминания и возвращения. Ром грязными пальцами снял у Фелисидад с шеи золото бабушки Лилианы. Поцеловал крестик. Фелисидад поцеловала тоже. Они бездумно, бессмысленно, еле удерживая внутри кипящие слезы, совершали этот обряд: такого больше не было и не будет никогда. Они все это сами придумали.

— Помолись.

— *Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo...*

— Богородице Дево, радуйся, — сказал Ром.

Именно так молилась бабушка над его кроваткой, когда он плохо засыпал, и ни сказки, ни уговоры не помогали — он плакал и звал: «Мама! Папа! Где вы! Я хочу, чтобы вы были!»

— *Santa María, Madre de Dios...*

— Ты знаешь, она тоже сына своего... отдала... на смерть... она нас понимает.

— И слышит?

Фелисидад дочитала молитву до конца. Ром подержал в грязной пригоршне золотую птичью лапку крестика. Фелисидад подсунула руки ему под живую чашу рук — и так стояли на коленях, и вместе клали в земляную яму навечный подарок бабушки Лилианы: в их первую общую могилу.

Положили. Закопали.

Земля брызгала из-под рук.

Когда закопали — легче стало.

— Будто его похоронили...

Губы Рома мерзли, а в груди горело.

Фелисидад ткнулась головой ему в грудь. Он очень крепко обнял ее.

— Да. Да!

— А ты знаешь... ну, воображаешь... — Он искал испанское слово. — Где он сейчас?

— Где?

Она переспросила, чтобы выиграть время. Она все понимала, что он хочет узнать.

— Там... в больнице... меня...

Передохнула.

— Резали ножами...

Ром сжал ее плечи.

— Не говори.

— Нет. Буду говорить.

— Ну говори.

«Так будет легче тебе».

— Врач хороший попался... он меня все время утешал: ты не плачь, не плачь только, ты красотка... он так и сказал: «красотка!»... у тебя будет еще много, много детишек... девчонок и мальчишек... с красивыми, как у тебя, мордочками... он так говорил, а в это время делал мне там, внутри, так больно, больно... и я орала, а он кричал: эй, принесите еще того-то и того-то!.. лекарства называл... я не знаю их названий... и меня кололи, все руки искололи... все искали вены...

— Нашли?

— Нашли...

Руки пахли землей. Лица — землей и солью.

— Водили внутри будто длинным ножом... я чувствовала — из меня течет кровь... много... много крови вытекло... ничего, что я тебе все это говорю?.. Тебе больно?..

— Больно. Но говори.

«Это наша общая боль».

— Мне было так больно, что я уже не могла плакать! И я вцепилась... знаешь... ногтями себе в грудь... чтобы другой болью отвлечься от того, что делают у меня внутри... и представила, что я пантера... что это зверьи когти!.. и так хорошо представила... что...

— Что?

— Стала пантерой! По-настоящему!

— Врешь! Это ты для смеху мне сейчас говоришь!

Видел: ей не до смеха.

— Да я тебе говорю! Настоящей пантерой! Живой! Я чувствовала, как у меня глаза горят! И зубы скалю! И врачу — в руку — вот-вот вцеплюсь! И руку — откушу!

Ни улыбки. Блеск слез, синие белки. В кладбищенской ночи она, как священнику на исповеди, говорит ему правду.

«Так она же колдунья. Она же говорила мне! Когда мы танцевали там, на площади, впервые...»

— Я колдунья, — кивнула Фелисидад. — Я знаю, о чем ты думаешь сейчас.

— Ну, о чем?

— О том, что я колдунья.

«Ну засмейся! Рассмейся! Иначе мы оба тут, над этой могилой с золотым твоим крестиком, сойдем с ума!»

— Да! Об этом я думал. Ты откусила руку врачу?

— Нет. — Плечи ее обмякли, повисли черные пряди вдоль щек. — Зачем? Он ведь спас мне жизнь.

— Я понимаю.

— Только он очень испугался. Лежала в кресле девушка... и вдруг лежит зверь, и черные лапы растопырены, и пасть зубастая. Он отпрыгнул... а сестры завизжали! Потом я опять превратилась в себя... и ко мне подошли... и протирали меня снаружи и внутри спиртом, потом прижигали йодом, и жгло так сильно... так... а я все думала... все думала о нем. Какой он был? Личико? Ручки? Животик? Чувствовал ли он? Мог ли...

Ром сгреб Фелисидад в охапку. Закрыл ей плачущий рот сначала щекой, как медным, раскаленным блюдцем, потом ртом, и рот наложился на рот, как расплавленный сургуч. Они запечатали поцелуем друг друга: себя, сдвоенное живое письмо в вечность, в смерть. Под ними дышала и колыхалась земля.

Встали. Побрели дальше.

Надо было найти в этом изобилии могил, лиц, игрушечных черепов и гремящих, звенящих скелетов могилу Лилианы и Бенито Торрес.

— Где они, Фели?

— Не помню. Кажется, сюда.

Между рядов факелов, между могил, превращенных в пиршественные столы, они осторожно шли, крепко обняв друг друга, поминутно останавливаясь и целуясь. Здесь, на погруженном в черное вино умалишенного праздника кладбище, он так хотел быть вместе с ней, как никогда еще.

«А ты мог бы? С нею? На могиле? Уложить ее спиной на холодный мрамор? Снять с нее юбки? А мертвецы? Что сказали бы они?»

Думал о мертвых, как о живых.

«Ничего не сказали бы. Обрадовались. Ведь они при жизни тоже любили любовь».

Наконец Фелисидад встала, прищурилась. Нагнулась, смахнула с мрамора мох, стебли травы. Ром не мог в полутьме, в сполохах красных огней прочитать надпись на могиле. Золоченые вдавленные буквы, золотые цифры. Буквы и цифры — все, что остается от человека. Имя и число. Знак.

LILIANA TORRES 1941 — 1998

BENITO TORRES 1932 — 1998

— Счастливые. Умерли в один год.

— И даже в один день. И в один час.

— Вместе?

Фелисидад смолчала. Не ответила. Вынула из сумки тряпочку, аккуратно, медленно, старательно, любовно стирала с квадратной мраморной плиты пыль, грязь, песок, комочки земли, обрывала траву, поправляла моховой бордюр, — наводила порядок. Маленькая хозяйка. Убирает последнее бабушкино жилище.

«А моя бабушка беспризорная. Бесхозная. Лежит на дальнем кладбище. Ноябрь, сейчас в России идет снег. Колючая сухая метель гуляет по дорогам. Черные сети голых ветвей ловят тучи, как серых и черных злых рыб. Глубокая вода зимы близко. И она там одна. Под землей. Под русской землей».

Позолота надписей заблестела. Мрамор блестел глянцево, как умытый. Фелисидад разогнулась и сказала:

— Да, вместе. Они разбились на самолете.

— На спортивном? Как внук... того старика?

«Какую чушь я несу».

— Нет, — она печально улыбнулась, став внезапно очень взрослой. — На большом. Настоящем. «Боинг-747». Он упал на юге Франции. Тогда писали в газетах. Мама газеты сохранила. Она держит их в черном альбоме. Такой альбом, обтянутый черным бархатом. Мама хранит его в шкафу, и ящик на ключ запирает. Они смотрят альбом вместе с папой. Потом папа весь вечер пьет текилу. Они летели в Италию. На озеро Комо. Отдохнуть. Там у них жила подруга. Старая подруга дедушки. Бабушка Лилиана даже ревновала его к этой подруге. Может, он когда-то любил ее. Во время войны. Мама рассказывала.

— А твоя бабушка родилась в войну?

— Да. Когда Гитлер напал на твою страну. А твоя бабушка что делала во время войны?

Кровь билась в висках, будто теплые ночные пушистые бабочки сели на волосы и били, били по коже крыльями, по тонкой коже, натянутой на череп-барабан.

— Моя? — Он подумал. Наморщил лоб. — Копала картошку на даче. Потом

ходила с сестрами копать противотанковые рвы. На Волге ждали немцев. А потом наступил Сталинград. Знаешь, что такое Сталинград? Вы проходили в школе?

— Ста... лин... градо? — спросила Фелисидад. Заправила за ухо черную змею пряди. — Да. Я помню. Твоя бабушка была в Сталинградо?

— Нет. — Усмешка гусеницей проползла по губам. — Если бы она там была, ее бы точно убили. Наверняка. Это был город... — Щелкнул пальцами, как кастаньетами. — Смерти. Все выжжено. Все погибли. Вместо домов — каменные скелеты. Там тоже был *Día de los muertos*.

Фелисидад села на корточки перед могилой деда и бабки. Подняла обе руки ладонями вперед. Ром чувствовал, как напряглась и стала горячей ее спина.

Словно бы два глаза мрачно глядели из-под ее лопаток, вместе сведенных под мокрой красной майкой.

«Колдует? Ворожит? Молится?»

Не спрашивал. Ждал.

Стоял сзади, как страж.

Потом догадался.

— Ты... разговариваешь с ними?

Не оглядываясь, Фелисидад кивнула; тогда Ром встал на одно колено рядом с ней, как рыцарь. Она сложила ладони вместе, и, сложенные, они походили на маленький кукурузный початок.

— Конечно. Мама меня научила этому давно. Мы, майя, все это умеем.

— Майя? Ты же испанка? Торрес?

Ее лицо во мраке пылало изнутри, плыло золотой лимонной цедрой, пахло соленой рыбой и магнолией.

— Во мне кровь майя и кровь ацтеков. Бабушка Инеса все знает про наш род.

— Бабушка... Инеса?

— Мамина мать.

— Умерла?

— Жива. Она живет в Акапулько. На океане. Мы к ней тоже поедем. Как к тете Кларе.

— Одна живет?

Фелисидад тихо рассмеялась, и ночные бабочки вспорхнули с его висков и улетели, оставив чувство легкости и печального холода.

— Разве у нас кто по одному живет? В Акапулько у нас целый клан. Инеса со своими детьми. С сыновьями. Это братья мамыны. Они с женами, там много детей. Мои кузины и кузены. Два дома народу!

В голосе звучала гордость, будто она на «отлично» сдала экзамен.

Взяла его за руку. От ее щеки пахло сливой. Зашептала:

— Я говорю с предками. Мы все говорим. Мы умеем. Надо хоть раз в году говорить с ними. Сегодня такой день, они выходят из могил. Вот мы стоим здесь, а вокруг нас ходят мертвецы. Они сегодня пляшут с нами! Пьют и едят. Это так хорошо!

Неподдельным счастьем горели ее глаза. Ром поежился. Призраки? Вы здесь?

Надо приучить себя не бояться прошлого.

Любить тех, кто ушел. Любить их не только памятью, но и наяву.

— Если я умру, ты тоже будешь говорить со мной?

Улыбка ее стала еще шире, слетела с лица серебряной слюдяной стрекозой, полетела к его губам.

— Конечно. Еще как буду. И ты со мной, если я... первая. Я научу тебя.

— Не надо! — крикнул он сдавленно.

Рядом с ними, около роскошного надгробия в виде древней пирамиды, танцевали трое подростков в индейских костюмах: перья на голове, перья вокруг бедер, в руках копья, на копьях — золотые маски.

— Надо, — Фелисидад положила руки ему на плечи. — Знаешь, это очень просто. Вдохни поглубже!

Он вздохнул.

— Закрой глаза!

Закрыл.

— Теперь слушай!

Он старался слушать вспыхивающий криками, песнями и плачем смоляной, кофейный воздух.

— Я ничего не слышу!

— Слушай и повторяй про себя: предки мои, вас люблю и помню! Предки мои, для вас нет времени и расстояния! Придите и увидите меня, как я вас вижу! Придите и услышите меня, как я слышу вас! Встаньте кругом, я в круге! Я ваше Солнце, и я вас освещаю. Вы моя ночь, и вы мои звезды! Мы братья, мы никогда не расставались и не расстанемся вовек! Ну!

Губы Рома против воли повторяли чужие слова, и они тут же становились родными. Будто бы он их всю жизнь произносил.

— Не расстанемся вовек...

За спиной будто крылья огромные, холодные широко развернулись. Он зажмурился сильнее и услышал, как вокруг него закружились, зашуршали, далеко и тоненько запели, забормотали голоса. Забились птицами в клетке неведомые звуки; в их невнятном хоре он различал голос мертвой матери, она весело кричала: «Ромушка, какой ты у меня толстенький! Весь в ямочках! В перевязочках!» — потом рядом всплыл голос глухой и хриплый, прокуренный: «А-а-ах, матушка, я с Могилева в телящем вагоне ехал, видишь, весь израненный, живого места нет, а раны-то сам перевязывал, ваты не было, под бинты солому коровью совал...» — и вдруг легкое бормотание, будто говорящие попугаи перекрикивались беззлобно: «Зиночка-корзиночка, я тебе бубликов купила! На Мытном рынке! За две копейки!» — и тут же, рядом, прямо под ногами, будто из-под земли, донеслось оглушительное, отчаянное: «Люся, держись крепче, мы разобьемся!» — и потом грохот, и потом тишина. А потом опять — голоса, голоса, голоса, накладываются друг на друга, как коржи в торте, промазываются воздухом и светом, прославляются гарью и стуком вагонных колес, гулом самолетных двигателей, взмахами довоенных вееров, дивными духами с забытыми названиями: «Красная Москва», «Метаморфозы», «Душистый ландыш», розовой рисовой пудрой, тонко порезанной сырокопченой «московской» колбаской, шелестом тяжелых, как гири, книг, пахнущих свинцом и мылом, с буквами, выдавленными в бумаге горячим свинцом, где каждое слово исчислено, разделено и взвешено; голоса поют и сталкиваются лбами, голоса подрываются на минах, голоса орут с берега на берег: «Баржа! Баржа с детьми потонула! Прячьтесь! Сейчас опять прилетят!» — и да, с запада или с востока, откуда, он не знает, идет жуткий гул бомбардировщиков, и это война, и голоса его родни звучат, прорастают сквозь войну, сквозь ее страшную, обожженную, испепеленную почву; голоса нежно шепчут, голоса повторяют слова любви, и он сначала с ужасом, потом с радостью узнает в дымах и огнях этих сбивчивых шепотом голос свой и Фелисидад: да, это они говорят, они оба, говорят, плачут, задыхаются и целуют друг друга.

«Спасибо вам... за нас», — молча сказал он голосам предков, и предки услышали его: голоса завихрились вокруг него, слепого, праздничным невесомым хороводом, и хоровод летел все быстрее, в лицо ему ударял свежий ветер, летний речной ветерок, с запахом рыбы и грибов, зимняя сахарная вьюга, больно бьющая по губам белыми веревками, сырой, валящий наземь, на серые гладкие валуны, ветер с моря, и далеко в море гудел корабль, и он сам будто плыл под водой, под землей, он был огромная живая земляная рыба, и он еще не летел сквозь толщу земли в одноместном спортивном деревянном самолете, сквозь горе и время, он плыл под землей еще

голый, еще живой, но открылись внутри него новые глаза и новые уши, и родилась в нем новая душа, способная слушать и слышать, способная иначе любить — чище, горячее и глубже, так глубоко, как вырастают в землю старые корни; так чисто, как льются на землю с небес золотые слезы угасших звезд.

Они еще долго бродили по кладбищу, и Ром постепенно пропитывался, как вином, этим странным, ужасным праздником: он ел *Pan de Muerto*, Хлеб Смерти, и вкусен он был, и хотелось жевать и глотать еще и еще; за милую душу уминал тако и бурритос, и те, что захватила Фелисидад, и чужие, что протягивали ему чьи-то незнакомые, а на самом деле родные руки; чувствовал единение с веселой публикой — теплую, жадную близость ко всем, тут гомонящим, молящимся, танцующим; о да, и танцы начались, смерть, оказывается, была не неподвижным телом во тьме гроба, а живым, веселым и отчаянным танцем — только пятки и каблуки сверкают, только волосы летят по ветру черными атласными лентами, нагло сдернутыми с погребальных венков!

Да, цветов много. Горы цветов; реки цветов. В венках и букетах, наваленных на плоские мраморные белые ящики могил, можно заблудиться, умереть. Задохнуться ароматами. Погибнуть в неге и ласке лепестков, венчиков, сумасшедше переплетенных листьев и стеблей.

Ром трогал кончиками пальцев головки ледяных хризантем, чайных роз. Цветок живет еще меньше, чем человек. Совсем короткая жизнь! Тычинка — стрелка, лепесток — секунда. Фелисидад беззастенчиво обрывала лепестки, жевала, однажды сорвала целый венчик — это была безумно, на все кладбище остро, дико и пьяняще пахнущая магнолия, торчащая сверху громадного, как спящий слоненок, букета на чьей-то, должно быть, знаменитой могиле, ибо кроме мраморной плиты и стелы, как у всех, на могиле стоял мраморный памятник — белый ангел, похожий на маленькую кудрявую девочку, — и нюхала, нюхала. Ее нос выпачкался в желтой, золотой пыльце.

«Черная бабочка, золотая пыльца. Еще летит! Не поймаешь. Моя!»

Ром тоже танцевал, да, прямо здесь, среди могил, они с Фелисидад наскакивали друг на друга, как два петуха, то сбегались, то разбегались, и это называлось сальса. Потом к Фелисидад подскочил наглый парень. Он обнял Фелисидад. Прижимал к себе. Вертел. Они вскочили на могильный мрамор и там танцевали. Ром смотрел на них снизу вверх. Мир двоился, переворачивался, делал замысловатые кульбиты. Мир, костлявый скелетик, и люди-скелеты танцуют на твоих желтых и черных костях; зря! Зачем? Бесполезен танец. Все в мире есть нетленная кость. Все скелеты. Все клацают зубами. Все только делают вид, что живые.

На самом деле все мертвецы.

Все.

Зачем же в груди палит решетку ребер красный факел?!

«Я ревную ее. Она моя. Отдай!»

Он замахнулся и ударил. Получил сдачи. Сцепились. Дрались. Не помнил себя. Память выжгло внезапно и кроваво, будто глаз — сунутым в лицо факелом; и память вытекла, как расплавленная склера, и вместо зрения плыли, заплетались в черную косу разводы крови.

Боль накрыла крышкой пустую кастрюлю тела, и вся жизнь выкипела на мощном сумасшедшем огне.

Не помнил, как упал.

Не слышал, как острый высокий крик Фелисидад разрезал черный бархат влажного, пахнущего жареным луком и мясом, помадой и духами, розами и вином, землей и горькой свежесодранной корой платана, пьяного синего, лилового воздуха:

— Помогите! Мой парень! Скорее! Он умирает!

Исчез мир.

Его спрятали в спичечную коробку — так, как Ром когда-то прятал от бабушки секреты: кнопки, гвозди, перламутровые пуговицы старых бабушкиных платьев с ароматом нафталина и лаванды.

Бедный мир. Маленький мир.

Вот он был, и его больше нет.

Как все просто.

И нет мыслей о нем; и нет воздуха его, запаха его, радости его.

Ром лежал в черной пустоте беззвучно и бездвижно, его колени слиплись и, согнутые, завалились набок, а торс был повернут вверх, он лежал лицом вверх, к бешено пляшущим вокруг огням и звездному небу.

Фелисидад на коленях, с перепутанной черной сетью волос, наклонилась над ним.

Он умирает — она понимала. Зачем здесь? Зачем среди могил? Она так не хотела!

Ее руки трогали его и убеждались: нет движения, нет дыхания. Положила голову ему на грудь, слушала. Она не слышала его сердца. Слышала только свое.

Ее сердце гулко грохотало, раскаты грома плыли над Мехико.

Волосы черными тучами плыли, неслись мимо лица, заслоняли яркую осеннюю звезду, висящую в гуще черных веток магнолии огненной ягодой.

— Ромито, — она поймала губами ускользящий воздух, — Ромито... встань...

Ускользящий ветер. Улетающий дух.

Нет! Нельзя! Все только началось! Нельзя рубить молодой бамбук! Бог Кетцалькоатль, сруби старый платан!

Ускользала жизнь и любовь, посланная ей так счастливо в ее пятнадцать лет; улетала, прощалась, — а его ребенка так и не выносила она, так и не родила.

«Проклятый Хавьер. Проклятое его пророчество. Значит, он не дурак! Он тоже обладает силой! Но я сильнее!»

Собралась. Подобралась. Кулаки сжала.

«Я пантера, и я смелый молодой зверь. Я ветер, и я лечу с океана. Я отдам свою свежую молодую кровь тому, кого люблю больше всех на свете. Ромито! Чувствуй меня!»

Вжался живот. Выгнулся хребет. В пальцах забилась кровь — горячая, разрывающая сосуды. Фелисидад положила одну руку на лицо Рома, другую — ему на сердце. Дышала: вдох-выдох, вдох-выдох.

«Дыши вместе со мной. Вместе со мной!»

Вокруг них толпились люди. Низкорослый мужчина с венком из магнолий на баранье-мощной, чернокурчавой голове крикнул зычно:

— Эй! Тут парню худо! Вызывайте врачей!

Ускользал свет. Улетал. Летела мимо густая, пряная тьма. Восторг таял и пропадал. Умирали мгновения, не достигнув цели. Фелисидад держала сердце Рома в руках и умоляла его, и целовала его, и шептала: ну, бейся же, бейся, родное, любимое, ну, я так люблю тебя, так...

— Вызвали!

— Едут!

Кладбище благоухало всеми цветами, горело и переливалось, и молниями вспыхивало, и рыдало, и смеялось, и грызло марципановые калаки, и поминало тьму прошлого, и мечтало о солнце, что взойдет завтра, — а может, не взойдет никогда.

Крепче прижать ладонь к его сердцу. Крепче. Пусть рука вонжется в кожу, в плоть. Сердце — не комок рвущегося наружу мяса. Нет. Это сгусток слез. Пламя веры. Я верю. Я верю! Живи! Живи!

Наклониться. Поцеловать. Дыхание отдать дыханию.

Волосы зашевелились змеями. Фелисидад подняла обе руки над головой. Те, кто стоял рядом и видел ее лицо — отшатнулись.

Кругами ходили руки, шли по неведомым орбитам. Из-под рук ускользала тьма. От Фелисидад стало распространяться сияние, будто бы вокруг нее стояли маленькие девочки, и у каждой в руке горела свечка, и они подсвечивали фигуру Фелисидад снизу. Оранжевые во мраке прямоугольники ладоней падали гадальными картами. Ускользало, уплывало время, и его становилось все меньше для того, чтобы вернуть, оживить.

— Дыши, — сквозь зубы вышептала Фелисидад, — черная пантера приказывает тебе...

Нет! Не приказать. Любить!

Она упала на лежащего на земле, словно бы спящего Рома. Навалилась всей тяжестью. Тяжести не было. У нее украли вес, плоть. Теперь она состояла из воздуха, из легкого ветра, из ускользающего колыхания плачущей, потерянной навек красоты.

«Так я буду плакать старухой. На его могиле. Я всегда буду приходить к ней. Ложиться на землю, на мраморную плиту, и плакать, и никогда — смеяться и танцевать. Господь Христос! Дева Мария! Господь Улитка! Змей Кетцалькоатль! Оживите мне милого моего!»

Лечь сверху, вот так. Никого и ничего не стесняться. Расстегнуть ему рубашу. Целовать его закинутую шею, его щеки, его кадык, его ключицы. Губами найти его сердце. Вот оно. Здесь. Целовать его прямо в сердце. Пусть губы прожгут кожу и кости.

Люди, стоявшие рядом, видели, как черненькая девочка обняла потерявшего сознание парня руками и ногами, как зверек, распахнула на нем рубашку и, как безумная, покрывала поцелуями его грудь.

Тот, кто дрался с ним, стоял тут же, растопырив руки, приоткрыв рот, в изумлении, жалости и печали глядя на бедную девчонку, что жила из всех сил, тормозила кавалера, клевала его быстрыми губками, как павлиниха — хлебную корку.

Под губами стукнуло. Раз, другой.

— Я, черная пантера... из моего языка в тебя течет моя кровь... солнечная кровь...

Стук, еще стук.

И взрыв!

И полились ускользающие, мгновенно высыхающие слезы. Щеки обжигали его плечи, под ладонями тлела рубаша. Убегала прочь красота, ускользала, а взамен приходила усталость, и одиноко, далеко ото всех, за россыпью белых в ночи каменных могил, плакало тихое прощание, уткнув лицо в руки и сгорбившись в нищих, старых тряпках, не в атласных нарядах. Череп! Скелет! И я тоже, Фелисидад, — череп и скелет! Но пока я жива — живо и любит сердце мое!

Сердце Рома стучало бешено и буйно. Сердце Рома танцевало безумную сальсу. У сердца выросли руки и ноги, они топали, стучали и махали, заплетались и расплетались и застывали, как под землей перевитые корни.

Фелисидад лежала на нем. Он — под ней.

Кладбище впервые видело такую любовь.

И кладбище выдохнуло: *bien*, ребята, я тоже люблю вас.

— Скорая помощь! Скорая помощь! — кричали, приплясывая, мальчишки, крутя в воздухе сыплющие холодные искры бенгальские огни.

От белой с красным крестом машины, вставшей поодаль, за деревьями, уже бежали к Фелисидад и Рому врачи с черными квадратными чемоданами, санитары с носилками, с железяками и стекляшками в вытянутых руках.

— Скорей! Скорей! А то они сейчас умрут! — кричали мальчишки и вертели бенгальскими огнями.

Когда врачи добежали до них, Фелисидад ничего не видела, не слышала. Лежала на Роме и обнимала его. Врачи отрывали ее от него, оттаскивали, задирали ей рукав, игла входила под кожу бережно и нежно, и текло, ускользало сумасшедшее сладкое лекарство, несущее покой, дарящее радость, — а бенгальские огни сгорели, и мальчишки зажгли новые.

Ром открыл глаза. Сердце стучало в нем так громко, что он оглох на миг.

Ему казалось: из груди вот-вот ударит вверх красный фонтан, под напором ударов разорвется тонкая, жалкая кожа.

— Опоздали! Опоздали! Ожил! — кричали мальчишки и кувыркались в цветах, среди могил.

Мальчик в красных шортах, с черной челкой, подошел и положил Рому на грудь недоеденную шоколадную калаку.

— Вкусная, — сказал мальчик и подмигнул Рому. — Ты извини, я немного отъел.

На груди Рома лежала половина шоколадного скелета. Череп, грудь и руки. Ноги уже съедены. Темный шоколад таял от тепла тела, пачкал рубаху.

— *Gracias*.

Ром в ответ подмигнул ему.

Фелисидад, без чувств, усадили на могильную плиту, подносили к носу ватку с нашатырем.

Ром сам сел на земле. Изумленно следил, как угрюмый доктор в зеленом балахоне делает ему укол. Шоколадный скелетик свалился в траву.

— В амбулаторию! Живо!

Врач махнул рукой. Санитары подскочили с носилками.

«И понесут, как во гробе».

Ром встал, на удивление легко.

— Я никуда не поеду! Спасибо!

— Что вы! Вы с ума сошли! Ложитесь на носилки!

— Я не лягу. Я здоров!

— В машину! В госпиталь! Там вам сделают кардиограмму. И тогда посмотрим, чего вы стоите с вашей храбростью!

Рому почудилось: был бы в руке доктора нож — отрезал бы Рому голову.

— Нет, честно, со мной все хорошо.

Он поискал глазами Фелисидад. Увидел. В мраморном гнезде — лохматая гневная птица. Смуглый клюв, пламенные глаза. Вот птица превратилась в ловкого ягуара и прыгнула навстречу ему.

— Ромито! Жив!

Обернулась к врачам. Зубы блестели. Волосы вокруг головы черной короной вставали.

— Никуда не поедem!

Обняла крепко. Он ее обнял.

Мальчишки плясали и пели:

— Опоздали! Опоздали!

И люди вокруг рукоплескали парню и девчонке, что отлично разыграли погребальный спектакль, притворились мертвыми, а потом обнимались и миловались тут, не хуже, чем в спальне. Вот пройдохи! Вот смельчаки!

И кидали люди на мрамор, на землю сырую, к ногам бойкой мучачи и бледного русоволосого парня деньги, в награду им, дерзким любовникам: монеты и купюры, и летели песо, опадали осенними листьями, и ускользала красота кладбищенской огнеглазой ночи, и утекало черным вином время, отпущенное людям на земле.

Охотник и зверь

Кафе Алисии встретило их кудрявым табачным дымом, вскриками, разлитым по столам вином, гитарным щекотливым перебором. Они не нашли ничего лучшего, как продолжить ночь *Día de los muertos* в кафе, где танцевала Фелисидад.

Белобрысая Алисия увидела их издали. Вышла из-за барной стойки. Тоже покачиваясь, хромая, переваливаясь с ноги на ногу, еле удерживаясь на высоких каблуках, ловя воздух скрюченными пальцами, подошла к ним.

— Миленькие мои! Душеньки! — возвысила хриплый голос, стала похожа на хохлатку, пытающуюся мотнуть старым гребешком перед молодым петушком. — Какими же ветрами! Почтили Алисию! Не забыли!

Фелисидад осторожно прикоснулась губами к одной щеке Алисии, к другой.

— А это кто с тобой? Твой новый? Что бледненький такой? Как некормленный?

Фелисидад показала Алисии кулак и прошипела:

— Не новый! Мы уже давно! Заткнись, он понимает по-испански!

Алисия сделала круглые глаза. Поваяло перегаром и сладкими густыми духами.

— Что, иностранец?

Они вошли в кафе все четверо — Кукарача, Мигель, Федерико, Алехо. Не вихлялись. Не заигрывали с публикой глазами и жестами. Гитары за спинами, в чехлах, и уже освобождают их от кожи и брезента. На стулья кладут.

Кукарача взял в руки гитару и, наигрывая чепуху, разминая пальцы, крупными хищными шагами подошел к столу влюбленных.

— Ола, Фели.

— Ола, Кукарача.

Старалась держать себя в руках. Улыбаться.

Табачный дым тек и ускользал навсегда.

— Станцуешь? А я подпою.

Брякнул всеми пальцами по струнам. Гитара загудела мощно, отчаянно.

Фелисидад слушала, как тает дымом звук.

— Да.

— Но прежде чем ты начнешь танцевать, я вышвырну отсюда твоего парня. Он мне не нравится.

Ром резко повернул голову.

Встал за столом.

Бокал с коктейлем заскользил по столу, упал, питье вылилось на пол, запахло пьяной вишней, коньяком, жженым сахаром.

— Ты мне тоже не нравишься.

Голос не дрожал.

После того, как он умер и воскрес, ему ничто не было страшно.

Фелисидад вскочила и стала между ними. Лицо ее распустилось веселой смуглой розой. Улыбка мерцала, то загоралась, то гасла.

— Дураки. Прекратите. Кукарача! Играй!

Таракан взмахнул рукой и жестко, зло ударил по струнам гитары. Тотчас зазвенели еще три. Музыка забилась, как в тисках, пытаясь вырваться на волю. Пронзительный тонкий голос, тенор — это запел Алехо — прострелил насквозь тягучий синий дым, пробил тела людей, беспечно отдохавших, потягивавших вино, текилу и коктейли. Воздух мгновенно заискрился, забился между лиц и рук.

Фелисидад побледнела. Закусила губу. Медлить нельзя было. Она выбежала на середину зала. Марьячис били по струнам, Алехо стонал и выл, вот вступил резкий, звериный голос Кукарачи, и все хорошо слышали слова новой песни:

— Я вышел на охоту, пантера!
Я охочусь на тебя, пантера!
Сегодня холодный вечер и темная ночь.
Я славню поохочусь на тебя, пантера!

Пальцы мяли и крутили струны. Пальцы старались извлечь музыку для потехи и улады, а получалось — для слез и отчаяния.

Кукарача с размаху бросил гитару на пол, она простонала всеми струнами. Он схватил танцующую Фелисидад за талию, подбросил ее вверх, она и пикнуть не успела, как уже лежала у него на плече. Оглушительно свистнув и дав знак марьячис: «Играйте дальше и пойте!» — он двумя широкими прыжками перелетел зал, толкнул дверь на кухню. Судомойка Ирена выронила из рук поднос: он шмякнулся на пол, стаканы, бокалы, рюмки и тарелки покатались на пол, разбились с морозным звонким треском.

Ром больше не видел ничего. Тьма залепила ему глаза. Во тьме, незрячий, он вышел вон из-за стола, пошел, протянув вперед руки, натываясь на столики, на чужие локти и плечи, на хлопок рубаш, на трикотаж маек. Падали бутылки, и вытекала из них пьяная жидкость, которой люди утешались и в горе и в радости. Переступали ноги, и шел Ром вперед, все вперед и вперед, не зная, где из проклятого кафе выход. Чье-то тело преградило ему дорогу, как если б он был река, поток.

— Ты! — Женская рука схватила его за ухо, за ворот рубашки, трясла, трепала. — Ты, очнись! Ну и что, девчонку увели! Не сахарная! Не растает!

Вусмерть пьяная Алисия качалась перед ним туманной насмешливой тенью. Сигарета падала на пол из угла ее рта, сползла сначала на плечо, потом на грудь, она вскрикнула от ожога, ловила сигарету пальцами, не поймала, зло раздавила на полу носком истоптанной туфли.

СНЯТЬ КОЛГОТКИ

Кукарача вынес Фелисидад из машины на руках.

— Не притворяйся, что ты без сознания. Это тебе не поможет.

Фелисидад дернулась в его руках, но он держал крепко.

— Я же говорил, что будешь моя! А еще артачилась!

— Пока не твоя.

Она плюнула ему в лицо. Он рассмеялся.

— Люблю злых. Ах, пантера!

Сизая улитка плевок ползла по небритой щеке.

Взбежал по лестнице. Слепая от ненависти Фелисидад не видела ничего. Что за дом, что за берлога? Она даже не успела испугаться, так ярость отвердила ей мышцы, заострила волю.

Ее бросили на безногий диван. Жалкая каморка. Стены изрисованы аэрографом. Позорные надписи, грубое порно. Это — жилище? Конура собачья.

— Ты не Таракан. Ты койот.

Диванные пружины под ней заскрипели. Она хотела встать — чужая нога пинком отправила ее обратно.

— Это так ты меня любишь?!

Захохотала.

— А ты не робкого десятка! Тебе правда пятнадцать?

— Шестнадцать.

Она потрогала серьгу в мочке: вырвет или скусит, с такого станет.

— Люблю таких свеженьких курочек!

— Кукарача...

— Что Кукарача?

— Сядь рядом.

Она хлопнула ладонью по увечному дивану.

Он опешил. Сел послушно. Всмотривался в ее лицо, как в старую, на свалке найденную фотографию.

— Ты напоминаешь мне покойную мать.

Слова цедились из него по капле, их горечь была искренней.

— Она давно умерла?

— Я был ребенком.

— Отчего? Болела?

— Если бы. — Как от вснутой огнем внутрь, по-индейски, сигареты, в больном вздохе открылся, покривился рот. — Ее забили насмерть.

— Кто?

— Мой отец.

— Ты тоже забьешь меня насмерть?

Он молчал.

— После того, как изнасилуешь меня?

Он молчал.

Возьми меня в руки. Ощути меня. Я не прошу тебя меня пожалеть. Но я хочу, чтобы ты понял и узнал меня, живую. Ведь каждый живой человек из чего-то такого важного сложен. Что нельзя рассказать словами. А только — обнять, и почувствовать. Ну вот. Так. Ты погоди, не сдергивай колготки. Мы с тобой еще успеем это сделать. Правда, успеем! Ты только слушай. Я родилась нежеланным ребенком, мама меня не хотела, потому что недавно родила Росу и еще кормила ее грудью. А тут я зародилась, и пузо опять, мать сильно расстроилась. А отец сказал: не дам травить плод, ты мне родишь это дитя, пусть нам чертовски трудно будет, родишь! Мои родители небогатые, совсем небогатые. Папа держит авторемонтную мастерскую. Хотя он учился в университете. Но не окончил, бросил. Потому что на маме женился. Они женились по любви. Мама Росу любила, слаще всех кормила, а меня шлепала. Однажды так наорала на меня — жуть! Я стояла в кроватке, еще младенец, смутно я это помню, вцепилась ручонками в деревянные прутья. Никак не хотела ложиться спать. А время позднее. И мать устала, измоталась. Роса орет, я ору, отец голодный с работы пришел, на кухне все громит! Ну мать и подскочила ко мне, размахнулась, и как влепит мне пощечину, мне, младенчику! И как заорет! В аэропорту «Бенито Хуарес» слышно было, так заорала на меня! У меня от этого крика уши заложило. И перед глазами — мрак. Оглохла, ослепла. Ножки трясутся. Хныкаю, и, слепая, тихо опускаюсь на подушки, коленки подкосились. Скрючилась. В угол кроватки забилась. Дрожу. Мать испугалась сильно. Меня гладила, обнимала. Я чувствовала, как на меня, на мой лоб и темечко, льются ее слезы. Они обжигали меня. А я не хотела плакать. Не могла. У меня все дрожало внутри. И вся я там, внутри, была сухая, пустая и твердая.

Ты правда все это помнишь?

Да. Помню. Я очень рано себя стала помнить. Помню даже то, что было до меня. Ну, как будто то, что было с другими людьми, а будто б это все было со мной. Когда я маме стала об этом рассказывать, она сказала: тебе передался дар от бабушки Инесы, а Инесе — от прабабушки Росарии, а ей — от праматери нашей, ее имя только мама знает, она мне не говорит, кто это. Праматерь была из рода, где смешались семьи ацтеков и семьи майя. Мама стала учить меня колдовать. Я сначала смеялась.

Не хотела. Мы ездили на пирамиду. Там моя душа вышла из тела, и я увидела сверху всю свою жизнь.

И что твоя жизнь? Я в ней тебя изнасиловал?

Мне не все картины показали. Да я и не хотела все видеть. Увидишь всю жизнь — и неинтересно жить будет. Говорят, что мы на земле гости; а я не так чувствую. Знаешь, мне кажется, мы, в своем теле, на земле именно дома, в доме родном. И он у нас один. И его тоже могут разрушить... ну, как настоящий дом: взорвать, расстрелять... как во время войны... испоганить всяко. Сжечь... как дом бабушки Лилианы. А бабушка Лилиана была заколдована на огонь. Огонь ее преследовал. То на ней во время венчания свадебное платье загорится. То лодка запылала, на которой они с дедушкой Бенито плавали по озеру в парке Сочимилько. Лодка в огне, они оба в воду прыгнули! Плывут, и хохочут и плачут! И марьячис, что им в лодке песни пели, тоже в воду попрыгали! То вот дом сгорел. И в сундуках в том доме сгорели все родовые драгоценности бабушки Лилианы. Я видела их. Такие красивые! Хризолитовые кулоны... колечки с алмазами... атласные покрывала... индейские полосатые шапки, для обряда жертвоприношений богу Кетцалькоатлю, сыну Коатликуэ... ну, людей мы уже в жертву не приносим, только зерна, маис, деревянные дудочки, пестротканые ковры... Все сгорело, а бабушка Лилиана смеется: опустелой легче уходить с земли! Так она и ушла с земли — не на земле умерла, а в воздухе. Опять настиг ее огонь. Знаешь, она летела с дедушкой в самолете в Европу, а самолет взорвался! Они оба погибли в пламени. Обломки самолета на землю упали. Их тел не нашли. Может, Пернатый Змей взял их к себе на небо? Или Дева Мария?

У тебя каша в голове. Кетцалькоатль, Христос, Мария. Я не верю ни в каких богов. Это все костыли. Человек выдумал богов для себя, чтобы не ходить без подпорки, если больной и хромой. Кто смелый — смотрит жизни в глаза. Прямо в рожу глядит. Не прячется. Ну, хватит болтать. Давай. Я уже не могу. Он штаны порвет.

Стой. погоди! Ты торопишься. Не спеши. Люди всегда спешат. Я знаю. Всем всего хочется скорее. Ты все сделаешь, и тебе будет печально. И ты меня возненавидишь. Сразу, как все кончится. Не торопись! Не...

Хватит. Довольно. Ты заболтала меня. У тебя язык без костей. Раздевайся! А то всю одежду на тебе порву.

Я не хочу раздеваться. Мне холодно. Зуб на зуб не попадает. Давай так. Я просто сниму трусы. И спущу колготки. И все.

Ишь, хитрая! Я хочу щупать твою грудь. Я люблю кусать груди девчонок. Как зверь становлюсь. Могу всю ночь напролет, и по многу раз. Ты от меня в восторге будешь. Что кислая такая? Будто тебя лимоном накормили!

Гляди, я задрала юбку. И живот мой голый. Неужели тебе надо, чтобы я непременно вся голая была?

Дура. Ох, дура. Гляди, я уже голый. Пока ты тут трепалась, я разделся. А тебе и дела нет. Пощупай, какой он горячий. И твердый. Поцелуй его. Возьми его в рот. Ты умеешь это? Если не умеешь — научу. Буду говорить, а ты делай.

Кукарача! Кукарача! Пожалуйста! Ну, пожалуйста! Не надо!

Дьявол! Надо! Все надо! Всегда надо! Это же кайф! Это — жизнь! Ну!

Я ненавижу тебя. Я — не буду с тобой!

Ах, ты так?! Гадина. Гадина! Дрянь! Драться! Ты мне щеку расцарапала!

Я тебе глаз вырву!

А я тебе — руки сломаю! И — безрукую — оттреплю!

Пусти! Таракан...

Вот так! Вот так! Вот так! И еще так! И так! И так! И...

...почему ты молчишь? Не молчи. Ну говори! Говори же что-нибудь! Ты что, сдохла, что ли?! Не притворяйся! Я из-за тебя в тюрьму не загремлю! Нет! И не надейся! Ты же не девица! Ты баба! Настоящая баба, в шестнадцать лет! Не морочь мне яйца!

...ну что, ну что, ну что ты, ну что...

...идiotка, хватит держаться за живот и реветь, он же у тебя не жемчужный... не алмазный...

...что притихла?! Что задумала?!

...ну спи, спи... я больше тебя не трону...

...ты дрянь.

...ты такая красивая, слушай... у меня красивее девчонки не было... никого красивей тебя не трахал...

...ты, слышишь, что ты как мертвая, не пугай меня...

Кукарача уснул. Фелисидад поняла, что он уснул. Она притворилась спящей, и он поверил. Очень осторожно она встала, натянула трусы и колготки, застегнула лиф и крючки на юбке, пятилась к двери. За дверью слышались голоса.

Она перекинула ноги через балконные перила. Всунула носки между каменных жердей. Руками держалась за холодный камень. Луна светила прямо в лицо. Земля была рядом и далеко.

Черт, черт, а девчонка-то где?!

Торопливые шаги. Беготня. Ругательства.

В то время, как распахнулась, отлетела со звоном, — и разбилось стекло, — балконная дверь, Фелисидад прыгнула вниз.

Ей повезло. В свежеспаханном газоне возвышался куст азалии. Она еще цвела. Лиловые, алые цветы, запах свежего белья, лимонной цедры. Фелисидад упала прямо в куст, и ветки разодрали ей лиф, процарапали щеки и шею. Обняв азалию, обдирая кожу о ломающиеся ветви, она сползала вниз, на землю. Только бы не увидели. Здесь темно. И, может быть, у них нет карманных фонариков.

Врешь! Есть!

Тонкие голубые лучи уже шарили по газону, по асфальту, выискивая, ощупывая. Фелисидад метнулась вбок от круга света. Поползла по газону; перекатилась с боку на бок, когда луч уже почти воткнулся в нее. Откатилась. Успела.

Вскочила и побежала — другого выхода не было, да она и не искала.

Сверху, с балкона, посыпались, как зерна вареного маиса, ругательства и проклятия. Ей казалось, она отбежала далеко. Но за ней уже гремели шаги, и ноги били, били в барабан земли. В ее черную, натянутую на дикий подземный огонь кожу.

Черная пантера

Кукарача бежал широко, грамотно, хорошим и крупным, выверенным шагом. Рядом с ним мельтешили, перебирали ногами, бестолково взмахивали руками Алехо и Мигель; Федерико отстал, он был погрузнее, потолще и задыхался. Четверо парней, неужели они не догонят одну девку!

Фелисидад летела прямо, будто по начерченной мелом на асфальте стреле. Битое стекло вонзилось в ногу. Она не заметила ни раны, ни боли.

Парни настигали.

Она оглянулась через плечо на бегу — далеко ли, догоняют ли — и, увидев их уже близко и услышав дикое, звериное сопение за спиной, внезапно повернула за угол.

Одинокий фонарь освещал пустую улицу. Поздний час. Час перед рассветом.

— Дьявол! — завопил Федерико, жирной уткой шлепая за убежавшей вперед тройцей. — Ушла!

— Сюда! — крикнул Кукарача и повернул за Фелисидад.

В мертво-синем фонарном свете он видел черно-алый всплеск ее юбки.

«Это смерть», — сказала она себе.

И странный, нездешний голос прозвенел над ней медным, густым старым коло-
колом:

«СТАНЬ СМЕРТЬЮ ДЛЯ НИХ. СТАНЬ. ТЫ СМОЖЕШЬ».

Фелисидад встала резко, взмахнув руками над головой, чтобы не упасть, и сразу, мгновенно, повернулась лицом, грудью к бегущим парням.

Так, с поднятыми руками, она пошла на них.

Кукарача встал. Чуть не споткнулся. Ноги вросли в асфальт. Волосы поднялись дыбом, превратились в огромную костяную расческу, в дикий ирокез.

Федерико неловко зацепил ногой за ногу, пошатнулся и свалился. Упал, как шар, как пробитый мяч. Возил ногами и руками по мостовой.

Алехо и Мигель еще пробежали по инерции два-три шага. Остановились. Алехо присел на корточки. Ноги у него подкосились. Он присвистнул, и губы дрожали, еле сложились для свиста. Мигель заслонился рукой, как от вспышки света. Попятился.

— Драть маму вашу во все дырки, — прошептал он изумленно.

Прямо на них, застывших от ужаса, шла, медленно переступая черными бархатными лапами по мостовой, черная пантера.

— Ты! Не балуй...

Пантера и не собиралась веселиться. Она шла к ним медленно и серьезно, и все ее гибкое, изящное тело шелково переливалось сгибами черно-синей, иззелена-синей, как вороново крыло, шерсти с чуть заметным коричневым подпушком, словно говоря: стойте, стойте так, не шевелитесь, вы мои прекрасные, вы моя лучшая добыча.

— Кукарача, что это?!

Пронзительный крик Алехо разорвал Кукараче уши. Он зажал уши ладонями. Так, с прижатыми к ушам руками, и стоял, глядя, как медленно, важно подходит к нему его смерть.

Кукарача облизнул губы и выставил вперед руки.

«Бежать?! Куда?!»

Глаза стрельнули вбок, вверх.

На карнизе сидел голубь, чистил перышки.

— Ты мне снишься! — надсадно крикнул.

Пантера сделала еще шаг.

И еще.

И тогда он понял.

Федерико зверь настиг первым. Миновав Алехо, Мигеля и Кукарачу, пантера прыгнула бесшумно и неуловимо и вцепилась зубами в горло ползущего по асфальту, кричащего парня. Все было кончено сразу. Алехо оловянными глазами глядел на лужу крови, расплывающуюся по серому асфальту красным гигантским маком.

Федерико даже не хрипел. Дернул два раза ногами и затих.

— Мигель! Беги! — крикнул Алехо, с налитым кровью лицом, выкатив глаза, как вареный рак.

«Не один я вижу ее. Они тоже видят».

— Черт! — крикнул Алехо и странно качнулся. — Черт! Черт!

Кукарача видел, как зверь круглой, с маленькими изящными ушками, черно-бархатной головой толкнул Алехо под колени, и Алехо свалился на мостовую, отчаянно отмахиваясь от зверя руками и ногами.

Пантера легко и красиво подмяла Алехо под себя. Навалилась на него грудью, животом. Тяжелые лапы раскорячились, закогтили лоб Алехо, щеку. Впились глубоко под кожу, в мякоть, в кость. Медленно вела пантера лапу вниз, по щеке, стаскивая с Алехо скальп, и он вопил ужасающе, нутжно. Так вопят женщины в тяжелых родах.

— А! А-а-а! Кукарача-а-а-а!

«Я игрушка в Праздник Мертвых. Я смешная калавера. Я скоро стану калакой. И игрушечная, бархатная пантера, сшитая к празднику маленькой девчонкой, откроет суконную алую пасть и сожрет меня, схрупают с потрохами».

Он видел, как катается по асфальту разодранный напололам мощными когтями Алехо, как вытекает сгустком красного и желтого его бесполезный, убитый глаз, мотаясь на ниточке, на обрывке нерва. Видел, как зверь плавно, достойно и гордо поворачивается, оставив умирающего человека, предоставив его самому себе и своей дикой муке, и делает мягкий, балетный, нежный шаг к Мигелю. Мигель уже не орал. Низко пригнувшись, он сделал попытку сорваться с места и убежать.

Рывок человека!

Прыжок зверя.

Не уйти.

Мигель не сдавался. Он боролся! Зверь и человек схватились, кто кого. Мигель вытянул вперед руки — и, безоружный, душил пантеру бессильными руками. Мышцы надулись. Жилы стали стальными, по ним медленно текла густая железная кровь. Время остановилось, капало с желтых зубов зверя медленной слюной. Кукарача видел: Мигель обречен. Зверь выгнул голову, вцепился зубами в кисть руки Мигеля. Заорав, Мигель выпустил шею пантеры, и она мягко и властно, одной лапой легко перекатила человека со спины на живот. Мигель разбросал в стороны руки и ноги, изобразив на мостовой крест мученика св. Андрея Первозванного. Пантера скосила желто-зеленый, цвета лайма, глаз. Легко и ласково наклонилась, легла на Мигеля сверху, — как влюбленная женщина ложится на партнера. Прежде чем раскрыть пасть для последнего укуса, медленно, насмешливо и нежно провела мордой, пушистым маленьким подбородком снизу вверх — по плечу, по шее, по затылку. Облизала человека. Как новорожденного кутенка.

Кукарача видел, как разевается пасть. И верно, язык у нее фланелевый, винный, суконный! А зубы, должно быть, фарфоровые. Совсем не страшные. Все это только детский сон, мультик на улице, встроенный в стену новомодного билдинга огромный ночной экран. Сейчас кончится фильм. Надо досмотреть последние кадры. Зубы пантеры выблеснули десятком липипутых ножей в голубом лунном свете фонаря.

Глаз налился внезапным, последним бешенством, фосфорным сладострастием мести, наказания. Пасть разинулась еще шире, толстые лапы крепче прижали к земле дергающееся тело жалкого человечка, превратив его в ресторанное блюдо, в цыпленка табака. Зубы сомкнулись на затылке Мигеля, перекусывая нервы, дробя позвонки, перемалывая хрящи и кости. Зубы и язык ощущали истекающее теплой соленой кровью мясо, грызли, терзали, высасывали, крошили.

Наслаждались.

Или просто — делали свою работу?

Пантера подняла голову от залитой кровью жертвы.

Желтые наглые, спокойные глаза зверя.

Черные ночные глаза человека, налитые ужасом и ненавистью.

Как близко!

Кукарача медленно, очень медленно поднял обсидиановый нож.

Над холкой зверя.

Над всей своей жизнью.

В жизни была только музыка.

Больше не было ничего.

Обсидиановый нож блеснул злой улыбкой. Прищуром в ночи.

Нож смеялся, и нож глядел.

Нож стал человеком.

Или зверем?

Глаза зверя сказали: «Мы, все трое, одно. Человек, нож, зверь. Ты напрасно стараешься. Мы никогда не убьем друг друга. Мы убьем только себя».

Он не видел своих волос, но знал, что седеет.

Перекинул нож из руки в руку. Оскалился, повторив ее оскал.

Мах ножом! Перед этими проклятыми желтыми глазами!

«Я выколоу ей глаза. Почему она не прыгает?! Почему я еще жив?!»

Прыгнула. Совсем близко Кукарача увидел вспышку зубов в красной пасти. Вблизи они были не желтые — так чудилось в фонарном свете, — а белые, почти голубые, синие. Звездные. Костяные звезды. Острая смерть. Вот сейчас.

Лапы ударили в плечи. Он медленно, будто нехотя, падал на спину и наконец упал. Зверь встал над ним, лежащим. Лег на него. Он стал задыхаться. Руки сами обняли шею пантеры.

Нож все еще зажат в руке. Каменная рукоять. Каменное лезвие.

Бессильный удар. Не удар, а судорога. Лезвие поранило пантеру. По черной шерсти потекла черная кровь. Рык, злой, короткий. Морда склонилась. Зубы вонзились в плечо. Усы над ноздрями задрожали. Кукарача прохрипел:

— Врешь... кричать не стану...

Еще удар ножом. Еще полоса крови по шерстяному боку.

— Ты, кошка, дрянь, я тебя...

Тень метнулась от фонарного столба. Перерезала дорогу. Гигантским черным цветком, шевелящейся черной медузой легла на коробки-дома, на кривые балконы. Обрела плоть. Упала на колени перед пантерой и Кукарачей.

— Фели! Ты!

Тень, ставшая человеком, глядела сверху вниз на девочку в изорванном платье с красным лифом, лежащую ничком на парне. По спине, по рукам девочки текла кровь из глубоких порезов. И у парня из прокушенного плеча изобильно, щедро и радостно кровь струилась, расплываясь вишневым соком по грязному асфальту.

ИНДЕЙСКИЙ НОЖ

Руки схватили Фелисидад за плечи. Оторвали от марьячи. Перевернули Фелисидад на спину.

Ром не заметил, как с асфальта медленно поднялся марьячи.

Не увидел, как взлетел нож.

— А-а! Что ты...

Лезвие мягко, глубоко вошло чуть выше ключицы. Кукарача метил в сердце. Промаяхнулся.

Нож скользнул вверх и вбок, от ключицы к плечу. Тело Рома медленно, медленно, как во сне, оседало на землю, оплывало горячей свечой, падало, заваливалось набок, плыло, и руки взмахивали, разрезая тугой воздух.

— Что ты... — Изо рта толчком выплеснулась яркая кровь. — Ты...

— Я тебя убью!

Тело Рома превратилось в сгусток медной проволоки и жгуче, бредово, тягуче раскрутилось, виток за витком, вверх, с земли, навстречу Кукараче.

— Это я тебя убью!

Стояли друг против друга.

И девочка, в крови, лежала на дороге.

На пустой сонной каменной дороге. Без машин. Без людей. Без лошадей. Без жизни.

И лежали рядом с ними, и поблизости, и поодаль трое мертвых: Алехо, Федерико и Мигель.

Они были мертвы или прикидывались?

Никто не знал.

А может, их тела сшили из тряпок и набили ватой, и вместо ртов у них расстегнутые «молнии», и серебряный замок на лоскутном шаре лица блестит каплей стекающей слюны. И можно подойти к тряпичным куклам и ножом взрезать им животы, и медленно, полоску за полоской, вытащить из разрезов поролон, и марлю, и вату, и старые рваные газеты. Разбросать кукольные кишки по искрящемуся в лучах Луны асфальту. Вцепиться в глаза-пуговицы и оторвать их. Пусть повиснут на нитках.

Кровь текла, гранатовый сок, клюквенный кислый нектар, темно-алое, чернотелое терпкое вино, «риоха», «салинас».

Уличный пес подбежал к лежащему на дороге Мигелю. Обнюхал его. Лизнул рану. Зарычал. Сунулся к Федерико. Вцепился зубами в толстую неподвижную руку, затряс, заворчал. Припал на лапы. Распрямился. Сделал стойку на Алехо. Но к нему не кинулся — рванулся к Фелисидад.

И сел рядом с ней. И морду вверх задрал. И завыл.

И парень шел и шатался, и заплетал ногами, и кусал губы, и лицо его, бледно-мучнистое, все исцарапано было, будто в рывках, в оспинах, в ямах. Зубы скалил — не хуже пса.

Присел рядом с Фелисидад. Рядом с собакой.

Пес выл и выл, задрал морду вверх, закрыв глаза.

Нос пса масляно блестел, испачканный кровью. Или вином. Или клюквенным соком.

Лохматый парень потрясенно потрогал бездвижную Фелисидад, глядящую застывшими глазами в высокую черноту неба.

— Сеньорита, — сказал парень. — Фелисита. Любовь моя!

И ресницы Фелисидад качнулись воробыными крыльями.

Глаза ее стали видеть. Она повела глазами влево, вправо. Поглядела прямо перед собой, вверх. Увидела лицо парня. На ее щеках вспрыгнули две ямочки. Она силилась улыбнуться.

— Хавьер, — сказала она, и ее голос отделился от нее и поплыл в воздухе, чужой и странный. — Ты что тут делаешь?

Ром сделал шаг к Кукараче.

— Таракан проклятый!

Протянул руки.

Кукарача полоснул по ним ножом.

Каменное лезвие поранило Рому ладони.

Раненый, с красными липкими руками, он все равно шел на Таракана, двигался, знал: он не упадет, — чувствовал: рана не смертельна. «Я успею. Он вооружен, а я голый, но я смогу!»

Силы вырвались из груди вместе с выдохом. Ром упал на Фелисидад, крест-накрест. Их тела образовали живой крест. Хавьер, с собачьей мохнатой головой, с песьим лицом, рот раззявлен, язык горит и исходит слюной, крепко держал Кукарачу за кисти рук, набычился, буравил глаза глазами.

— Ты! Что натворил!

Кукарача сплюнул. Он весь мелко трясся.

— Это не я! Это она!

— Кто?!

— Пантера!

Кивнул на Фелисидад. Руки Фелисидад обнимали шею Рома. Губы шептали, что — не разобрать. Пес тоже лег на асфальт, рядом с влюбленными, положил морду на колено Фелисидад.

— Какая еще пантера, мать отдубасить твою?!

— Где... где...

Глаза Кукарачи метались. Он вертел головой. Сделал попытку высвободиться. Хавьер держал крепко. Тоскливо посмотрел Кукарача на лунный блеск далеко откатившегося ножа.

— Ты с ума сошел, — сказал Хавьер.

Кукарача поглядел в лицо Хавьера — и обомлел.

Вместо лица Хавьера на него смотрела морда пса.

Лохматая шерсть. Алые зрачки. Чуть подрагивает вздернутая губа над лунными клыками.

— Ты! Вон пошел!

Кукарача изловчился и пнул пса ногой в лохматый грязный бок.

Руки, кто держит его руки?!

Может, это Ром встал и опять вцепился мертвой хваткой ему в запястья?!

Искал глазами. Шарил по земле. Никого. Никого. Ни собаки. Ни девчонки. Ни чужака, ее хахаля. Никого! Ничего!

— Ничего, — глухо, пусто вылепили губы, будто свистнули в крохотную глиняную свистульку.

Пес зарычал.

— Провались, пес, — стараясь говорить холодно и надменно, произнес Кукарача, а душа уже ушла в пятки и изнутри колола их длинными иглами последнего страха. — Сгинь. Ты мне видишься. Ты снишься мне! Я! Сейчас! Проснись!

Он понимал: секунда — и пес изловчится, сделает последнее усилие, оттолкнется задними лапами от искристого, алмазного асфальта, подпрыгнет вверх, и веселые мощные зубы клацнут у него на горле, и все кончится разом. «Я слишком

много сегодня у Алисии выпил текилы», — подумал он, а перед глазами вдруг отвесно, как срез скалы в горах, встала напоследок картина: отец над мертвой матерью, и мать щедро испещрена письменами царапин, ожогов и гематом, синяки образуют на ее теле, на нагих полных плечах, обнаженной груди, лице, шее, бедрах невероятную, скорбную вязь, подобную древним письмам майя, найденным людьми на тайных гробницах в золотых снаружи и черных внутри пирамидах; мать лежала лицом вверх, как давеча Фелисидад, бессмысленно и беспомощно, уже никогда не встанет, а отец низко наклонялся над ней, будто разбросанные по полу спички собирал, нагибался ниже, ниже, еще ниже, и закрывал уродливое лицо руками, и пытался задавить в себе рыдания, так давят в грозном пьяном кулаке спелый мандарин или зеленый лайм, и плакал, плакал, плакал, и вместо слез по морщинистому, как старый мятый сапог, лицу текила текла.

Классная «Риоха»

— Фели! Ты ранена!

— Ром! Ранен!

Они ощупывали лица и раны друг друга.

— Я перевяжу!

Фелисидад ухватила себя за подол юбки и с силой рванула. Ткань с хрустом разлезлась под ее пальцами. Одна оборка, вторая. Еще взять в зубы и разделить надвое. Тогда будет совсем как бинт.

— Сядь. Подними руку!

Ром поднял руку, будто салютовал на параде. Фелисидад быстро и умело, как заправская медичка, перевязывала рану.

— Она только с виду страшная. Хорошо, он ударил вверх! Сухожилия не задел? Пошевели рукой! Покрути! Что тут было?

— На тебя напали, и я дрался.

— Кто напал?

— Пес знает.

— А почему мы ничего не помним?

— Пьяные были.

— А где мы напились-то?!

— В кафе у Алисии.

— И кто нас так порезал, Санта Мария?!

— Пес с ними. Они все убежали. Не догонишь.

— Что за игрушки!

— Это не игрушки. Все серьезно.

Светает. Тают звезды. Наливается синим соком агавы пыльное небо.

Фелисидад глядит на красные лужи на сером асфальте.

— Что это, Ром?

Показывает на кровь.

И он опять врет, и не краснеет, и губы кривятся в усмешке:

— Вино ребята пили. Разлили. Красная «риоха». Я пробовал. С ними. Они угощали.

Фелисидад вздыхает.

— А я в это время где была?

— Ты? Танцевала. Здесь, рядом! На террасе кафе! Тебя мальчик угостил марципановой калакой!

— А!

Кивает. Делает вид, что верит.

— День мертвых закончился, — говорит Ром.

— Ночь мертвых, скорее, — отвечает Фелисидад.

Глаза их — последние звезды. Бедра и руки играющими рыбами плывут в уходящей ночи.

— Домой надо. Мама будет волноваться! Как мы пойдем? Я не знаю, где мы! Мехико такой большой! Я никогда не была в этих местах!

И тут из-за угла выкатилось ландо. Красавица в крупносетчатой черной вуали кокетливо сидела в повозке, и крутил усы толстый кучер, косясь на подгулявших девицу и паренька, раскрашенных с головы до ног пятнами сурика и киновари.

— Ну, как поспраждновали, молодежь? — возопил кучер. — Садись, подвезу! Энрике предлагает только один раз!

Красавица томно закатила глаза. Нарисованные брови дрогнули. Дама вытащила из-за пазухи веер, развернула его, и взмахи черных страусиных перьев растревожили сухой воздух, и волны сладких и пряных духов поплыли от фарфорового точеного личика на Рома и Фелисидад, вызывая в памяти умершие давно на сломанных и сожженных праздничных столах пироги, погибшие тосты, разбитые бокалы с дорогим вином, рассыпанные жемчужные ожерелья, рваные края старинных коричневых фотоснимков — сепия, сажа, сиена жженная, туманный негатив, ободранная за долгие века серебряная амальгама на исподе треснувших зеркал, съеденная молью бархатная обшивка семейного альбома, нежные лепестки засохшей лилии, найденной в древней книге, где еще не разгаданы смертные, живые индейские, доколумбовы письма.

Они ехали по утреннему Мехико, и Ром держал руку Фелисидад в своей руке.

«Только не разрешать ей думать. Вспоминать. Этого нельзя».

— Вас как зовут? — спросила Фелисидад даму под вуалью.

Женщина тонко и длинно улыбалась, ее изогнутые губы тоже застыли, как нарисованные на выгибе китайского фарфора.

Фелисидад отвернулась от нее. Фыркнула.

— Не хочешь говорить — не надо... цаца...

— Я знаю, как ее зовут, — сказал Ром.

— Ух ты! Ты что, знаком с ней? — Фелисидад подозрительно сощурилась. Закусила губу. — А ну, признавайся, где с ней танцевал! А может, и...

— Ее зовут Фелисидад, — сказал Ром.

— Что ты мелешь!

Кровь медленно подсыхала на коже, поверх шелковой повязки. Фелисидад смущенно посмотрела на свои ноги. Юбка заметно укоротилась. Красавица усмехнулась накрашенными губами. Глядела на их выкрашенные сумасшедшей красной краской руки, ноги, плечи. Кучер погонял лошадей.

Ландо медленно ехало по Мехико, и солнце вставало, и Луна, пугаясь, исчезала за тучей, и выходили на улицы первые работники, спешили делать дело, глядели на часы, напевали, курили, бросали окурки в урны и прямо на асфальт, семенили старушки за молоком и булками, ибо одна за другой уже открывались молочные лавки и булочные, где так сладко, вкусно пахло свежесвепеченным хлебом, и из распахнутых дверей кофеен тонко тек запах свежесмолотого кофе, и нежно глядел Ром на Фелисидад, пожимая ей руку, и это было прекрасней всего — жить и сознавать, что все впереди.

Конец света

Ландо остановилось около дома Торрес. Кучер протянул руку, Ром положил в грубую толстую ладонь купюру. Дама обмахнулась веером, закрыла лицо, поверх пушистых черных перьев соленым морским блеском, плеском темной теплой волны светились ее большие, широко, по-коровьи расставленные глаза.

Ром спрыгнул первым, подал Фелисидад руку. Солнце било им в глаза. Холодное утро, ледяной озноб. Ни теплой куртки, ни легкой шубки. Днем разогреет — впору сомбреро надевать!

— Ну что, стучим?

— У нас все время открыто!

Фелисидад горделиво ударила ладонью по двери, и та распахнулась.

Ром оглянулся. Ландо медленно катило прочь по солнечной дороге. Чуть покачивалось. Пружинило на рессорах. Таяли, расплывались в пространстве сепия и серебро. Бронзовые под утренним солнцем, голые платаны мерзли, смущались своей наготы.

— Папа!

Сеньор Сантьяго спускался по лестнице. Увидел дочку — брови взъехали аж на затылок.

— Святая Мария Гваделупская, девочка моя, что это с тобой?!

Фелисидад кинулась отцу на шею. Целовала бурно, тысячекратно, как после долгой разлуки. Коричневое, с тремя подбородками, лицо Сантьяго таяло, как глыба шоколада, под дождем поцелуев.

— Папа, не бойся, это ерунда! Это все заживет! Мы...

Сантьяго воззрился на Рома, стоящего рядом. Ром постарался не опустить глаз, выдержать взгляд.

— Сеньор Сантьяго, мы попали в историю.

— Вижу! Это ты виноват?! Паскудник!

Рука занеслась для пощечины. Фелисидад повисла у отца на шее.

— Нет! Папа! Не надо! Нельзя! Ром не виноват! Ром — меня спас!

— Спас? Это меняет дело! Рассказывай! Только всю правду!

— Сеньор, — Ром ближе шагнул к Сантьяго, — пожалуйста, не спрашивайте ее сейчас ни о чем. Прошу вас. Это важно. Поймите.

И Сантьяго, как ни странно, сразу понял.

Он сразу все понял, и объяснять было не надо. Ни к чему. Он провел Рома и Фелисидад в ванную комнату, сам напустил в ванну шумную горячую воду, сам раздел дочку, взял под мышки, аккуратно перенес в лохань, окунул, ощущал под скользящими, дрожащими ладонями, как ежится ее спина, как покрываются гусиной кожей предплечья и ляжки. Сам тщательно намыливал губку, сам тер ее грязное, израненное тело, оттирал, осторожно обходя зияющие раны и порезы. Фелисидад ойкала и плакала, и обхватывала себя руками за плечи, и выпирали из-под смуглого шелка кожи игральные кости позвонков. Ром стоял тут же, смотрел, медленно стаскивал с себя испятнанные кровью джинсы. Перед глазами у него плыли и лопались цветные, детские мыльные пузыри. Он слышал, как Сантьяго бормочет, причитает: «Фели, Фели, что я матери скажу, хорошо, она еще спит, надо же срочно в больницу, гляди, какие глубокие раны, и кровоточат, ах, ты, Господи Иисусе», — а Фелисидад то всхлипывает, то хихикает тихонько, когда отец осторожно, вздрагивая сердцем и губами, водит ей намыленной губкой под мышкой и по фарфоровым, глиняным ключицам.

Подхватив Фелисидад под лопатки и под колени, Сантьяго вытащил ее из ванны и приказал Рому вскинутым подбородком: лезь! И Ром полез. Даже воду после

купания Фелисидад не стал спускать. Тепло обняло его, закружило, как в танце. Он чуть не потерял сознание от блаженства. Сантьяго вышел из ванной с дочерью на руках, а Ром еще целый час сидел в ванне, оживая, отогреваясь, ловя пахучий мыльный воздух ртом, окуная в горячую грязную, родную воду руки. Повязка, сделанная Фелисидад из оборок ее юбки, намочла и отяжелела, и рану щипало мыло. Плевать, подумал он, все равно нас обоих отвезут в госпиталь.

Только он успел подумать об этом, как потерял сознание. Очнулся в темноте, тесноте и тряске. Он лежал на жестком, обтянутом кожей сиденье, а рядом с ним сидела Фелисидад. Через маленькое, будто кукольное, оконце он увидел затылки — шофера и Сантьяго.

— Что это? — спросил он Фелисидад и нашел ее руку.

— *Urgencias*, — тихо ответила Фелисидад. — Скорая помощь.

Он закрыл глаза. Тепло перетекало из пальцев в пальцы. Он понял: сейчас опять будут врачи, только не русские, а мексиканские, и такие же капельницы, и такие же шприцы, и такие же скальпели, и все точно такое же. Только язык другой.

Сколько же языков на свете, скажи мне, хотел спросить он Фелисидад, и не успел, опять перестал видеть мир, черная бычья шкура накрыла его с головой, и он ощутил себя будто внутри пирамиды, а потом мощная струя нездешнего ветра выбросила его из тьмы в пустоту, и звезды прокололи его тысячью игл, а густое, как мед, лекарство не вливалось в жилы, все шприцы тускло мерцали, пустые.

Через стеклянную дверь он видел — в палате напротив все женщины спали. Тихо и мирно. Сложив руки поверх одеял. Идиллия, благодать. Сейчас он войдет и всех перебудит. Надо сделать так, чтобы они не проснулись.

Толкнул дверь. Фелисидад лежала на койке ближе всех к двери. Немедленно, будто ждала его, открыла глаза. Черные солнца ее глаз! Черные лучи ресниц! Ром встал на колени перед койкой Фелисидад и нежно, еле касаясь губами, поцеловал ее милые, любимые глаза. Одно солнце и другое.

— Ты пришел, — сказала она бесслышно.

— Фели, я видел сон.

Он взял ее руку и поцеловал смуглую ладошку.

— Какой? Когда?

Ром сел на пол около койки Фелисидад. Держал ее за руку.

— Я видел будущее. У нас с тобой родился сын.

— Как здорово, — шепнула Фелисидад и до боли сжала руку Рома.

— Сын. Красивый здоровый мальчик. Он рос бойким и здоровым. У него никогда не болело сердце. Такой смугленький, крепенький, кудрявый. И тут...

— Что ты замолк?

— Я видел во сне войну.

— Войну?

Фелисидад замерла.

Она хотела запретить Рому: «Не надо, об этом не говорят», — но не посмела.

— Война. Это было очень страшно. Я все видел. Взрывы. Огромный огонь. Ослепляет. Вместо людей — тени. Куски тел лежат на тротуаре, как... хлеб, что обмакнули в вино. Думаешь, все, вот он, конец света. О нем так много говорили, так все боялись его, и вот он пришел. Вот она, гибель всех и всего. Бред, и шепчешь себе: быть не может, и все — на самом деле. Знаешь, как это во сне бывает? Хочешь проснуться — и не можешь. Знаешь, что это сон, и...

— Знаю.

Она дышала тяжело. Ее смуглое личико покрылось каплями пота.

— Бомбы падают. Все горит. Руины. Я задыхаюсь в пыли. Зову тебя. Но ты

молчишь. Я знаю — ты под завалами. Под этими камнями! Но твоего голоса нет. И тебя нет. И я кричу.

По его лицу тоже тек пот.

— Не надо! — шепотом крикнула Фелисидад.

Ром не слышал.

— И почему-то мать, моя мертвая мать, которую я не знал совсем, я вырос без нее, она умерла, погибла в автокатастрофе, когда я был маленький, очень маленький, моя мама, да, да, я видел ее, я понял, что это она, мама моя, спасает нашего сына, внука своего, от взрывов. От смерти.

— Как... спасает?

— Просто. Самолет летит, чтобы сбросить бомбу. А сын наш — вот он, передо мной. У моих ног. Малютка. И ногу мою обнимает. Жмет. А мама наклоняется быстро и хватается за него. И поднимает на руки. И бежит с ним! Бежит! Я кричу: мама, ты куда! Ты сейчас умрешь! В тебя снаряд попадет! Ты сгоришь! А она оборачивается на бегу... и так странно, прекрасно... улыбается мне. Ослепительно улыбается! Во весь рот!

Фелисидад круглыми ямами глаз, всей кожей, каждым пальчиком и каждым волоском впитывала, всасывала страшную сказку.

— Я вижу, как она бежит. Мелькают в пыли ее пятки. Она крепко прижимает к себе нашего сына. Закрывает его головой. Шеей. Грудью. Руками. Рукавами. Всей плотью. Всей жизнью! Бежит все быстрее, быстрее! А в нее бьет огонь. Огненные реки с неба. Огонь ударяет в ее следы. Спереди. Сзади. А ее не может поразить. А мальчик, наш сын, плачет. Я слышу издали его плач. Слышу его, понимаешь?!

Фелисидад все сильнее сжимала его руку.

По ее смуглым щекам медленно текли золотые ручьи слез.

— И вдруг они оба будто проваливаются под землю. И там, где моя мать бежала, громадная черная яма. Я бегу к этой яме. Задыхаюсь. Добегаю. А там не просто яма, а лестница вниз. Бегу вниз по лестнице! И попадаю в огромный подвал. Там сидят люди. Они пережидают налет. У них у всех белые, синие лица. Как мертвые. А у моей мамы лицо живое. Розовое. И у нашего сына живое. Мать держит его у груди и гладит по черным кудрявым волосам. И целует, целует.

Слезы затекали в приоткрытый рот Фелисидад, стекали по тонкой ее шейке.

— И что... потом? Кончилась война?

Ром вытер пот с лица ладонью.

— Кончилась. А как же. Все войны кончаются. И эта кончилась. И вот наш сын вырос. И знаешь, кем он стал?

— Кем?

Фелисидад дрожала, как на морозе.

— Астронавтом. Он очень любил звезды. Он с детства любил глядеть на звездное небо. Знал, где восходят все звезды и планеты: алмазная Венера, красный Марс, яркий цветной Сириус, желтый Юпитер, синяя Вега. Он выучился на астронавта и полетел в космос. Он хотел увидеть звезды близко. Он полетел на Марс. В составе международной экспедиции. И эта экспедиция вернулась. На Землю. Вернулся корабль. И он вернулся.

— Наш сын?

— Да. И в огромном дворце, я видел это, устраивают торжественный прием. Зал будто бы отделан черным и зеленым мрамором. Или лабрадором. Синие искры в камне вспыхивают. Как звездное небо. Встречают астронавтов. Прием в их честь. Президенты, владыки, высокие персоны. Высший свет Земли. Так красиво! Накрытые столы. На столах чего только нет! Я таких яств живьем никогда не видел. Красота... неопишущая. Астронавты, что с Марса прилетели, в ряд стоят посреди зала. Все в черных костюмах и белых рубашках. И наш сын среди них. Такой красавец!

— Красавец, — эхом повторили соленые губы Фелисидад.

— И я его вижу. Близко. Вот как тебя. Потому что близко стою. Рядом. И вдруг...

— Что — вдруг?

— Из толпы гостей выходит женщина. Полная, грузная. Пожилая. Даже старая. Еле плывет по залу. Важная дама. В длинном, до полу платье. Платье искрится, переливается, тоже все в блесках, в звездах. Такая ткань, не знаю, как по-испански...

— Парча.

— Да, парча. Идет знатная старуха. Все вперед и вперед. Важно идет, гордо. Голову откинула. Седые волосы на затылке в пучок уложены. Воротничок у платья белый, снежно-белый, отглаженный. Морщинистые руки без колец. И в ушах серег нет. Идет без украшений. Только глаза горят. Черные. Как у тебя. Идет. Медленно, торжественно... Плывет. Как царица.

— Да...

— И подходит к нашему сыну. И наш сын глядит на нее. И узнает ее. И бросается этой старой женщине на грудь. Обнимает ее... крепко-крепко... сильно-сильно. Головой прижимается к ней. И я слышу, я ведь рядом стою, как он шепчет: как хорошо, что ты пришла. Я ждал тебя. Я знаю тебя. Я узнал тебя!

Вместо лица Фелисидад над больничной койкой всходила полная золотая Луна, залитая узорами, разводами тоски и печали, любви и надежды.

— Узнал? Кто это был? Кто она была?... эта старуха...

— Моя бабушка, — сказал Ром еле слышно.

Фелисидад обернула мокрую Луну лица к крестовине окна.

Полосы белых бинтов на ее руках и плечах напоминали перекрестья снега, наметенного в оврагах и лощинах, на холмах и в полях его далекой земли.

Поглядели на Рома, сквозь Рома, в утраченное время, плывущие черными рыбами, невидящие жаркие глаза.

— А как его звали? Ты запомнил?

— Кого?

— Нашего сына, — шепнула Фелисидад, закрыла глаза, и улыбка обожгла ее зареванное лицо.

Горячий живот

Их выписали из госпиталя, когда все раны зарубцевались и им сняли все швы. Меченые теперь, ребята, шутил седой веселый доктор, грубо щупая свежее натяжение тканей, говорят, шрамы украшают мужчину, да и женщину тоже! И подмигивал Фелисидад, а Ром ревновал.

Сеньор Сантьяго привез их домой на машине, предварительно украсив ее цветами. Фелисидад покраснела и шепнула Рому: свадьбы нет, а машина вся в цветах! Ром нахмурился: когда свадьба будет, цветов будет еще больше. Ты какие любишь, спросил он Фелисидад? И Фелисидад задумалась. Долго думала и со вздохом сказала: не знаю, может быть, белые розы? Добавила: и еще магнолии. «Они так сильно пахнут!»

Ночью Фелисидад босыми ногами прошлепала по полу коридора, пробежала в спальню Милагрос. Старые супруги сегодня спали отдельно — совместная ночь все реже манила, все чаще казалась роскошным праздником, к которому надо тяжело и основательно готовиться.

Милагрос не успела охнуть, как Фелисидад юркнула к ней под одеяло.

— Прокралась в постель все-таки, озорница, — беззлобно заворчала Милагрос и чмокнула Фелисидад в лоб. — Что бродишь среди ночи?

— Мама, — Фелисидад взяла руку матери, разогнула ладонь и стала водить

пальцем по ладони, очерчивая кривые линии, русла высохших рек, — я хочу тебе сказать...

— Ну что? Говори. Учиться тебе надо! Бросай свои танцы!

Фелисидад вздыхала. Покрывала легкими поцелуями ладони матери.

— А то натанцуешься — не только порежут, но и голову снесут!

Кружева ночной сорочки поднимались на высокой груди Милагрос, будто громадная белая бабочка ритмично взмахивала прозрачными крыльями. Она дышала хрипло, уже по-старчески.

— Мама, — сказала Фелисидад очень тихо, — я беременна.

Милагрос разулыбалась, выпростала другую руку из-под одеяла, потрепала Фелисидад по распущенным смоляным косам.

— Ах ты, моя птичка! Залетела все-таки! Поздравляю!

Деловито осведомилась:

— Ром — знает?

Глаза Фелисидад смотрели в одну точку. Она что-то видела вдали. То, чего не видела и никогда не могла увидеть мать.

— Нет.

— Так почему? Скажи! Ведь это счастье! Особенно после того, как...

Милагрос умолкла, не желая напоминать дочке о выкидыше.

— Я не знаю, от кого ребенок.

Сеньора Милагрос онемела. Челюсть ее отвалилась. Так лежала минуту, другую.

— Так ты шлюха?! Я всегда говорила, что ты шлюха! Станешь шлюхой!

Брови Фелисидад сошлись в черную нить.

— Как ты могла! Где!

Милагрос возвысила голос. Привстала на постели. Занесла над дочерью кулак.

Фелисидад лежала и глядела в одну точку.

Кулак опустился.

Ресницы задрожали.

— Какая же ты колдунья, мама, если ты не видишь... не сумела увидеть...

Вслед за ресницами задрожала вся Милагрос. Колыхалась грудь, дергались пятки, тряслись изрезанные морщинами руки.

— Говори!

— А что говорить. Мама, мы две колдуньи. Ты сама учила меня. Ты видишь. Ну, увидь. Пожалуйста. Мне трудно сказать об этом.

Милагрос зажмурилась. Фелисидад положила ей ладонь на глаза. Видела, как разлепились пересохшие губы матери, и блеснули золотые вставные зубы.

— Ты... тебя...

— Да. Я чудом осталась жива. Меня Ром нашел.

— Ром...

— У меня крови не пришли. Вот уже десять дней.

Когда Фелисидад отняла ладонь от лица матери, глаза Милагрос горели глубоким и ясным, спокойным светом, как две свечи в руках принявшего исповедь священника.

— Все равно радоваться надо, — упрямо сказала она.

— Я и радуюсь.

— Все равно Рому надо сказать.

— Я скажу.

— Не бойся! Скажи! Все равно! Какая разница! Лишь бы родить!

Фелисидад под одеялом положила себе руку на живот. Живот был горячий и мягкий. Как всегда. Нисколько не выпирал. Еще рано. Там жила жизнь. Она чувствовала ее. Так птица, распевая на стрехе, зимой чует весну.

Милагрос села в подушках и протянула к Фелисидад руки. Дочь бросилась ей на шею. Обнялись крепко, как перед долгой разлукой. Каждый день жизни — встреча, каждая ночь — разлука. И никто не знает, что с нами станет утром.

Призраки

Горит фонарь. Горит белым тюремным, слепящим светом. Все видно в таком пронзительном свете.

Не видать того, кто медленно, тихо идет вдоль стены.

Идет человек, держит гитару в руке. Вот остановился. Хочет курить. Сунул руку в карман. Черный квадрат на стене — пачка сигарет в руке. Закурил. Тень от дыма вьется черными длинными нитями. Прозрачными. Призрачными.

Не оборачивайся. Ты никого не увидишь.

Стоит, курит. Кидает наземь окурок. Прижимает гитару, как женщину, к боку. Ты одна у него осталась, гитара. Наверное, это бедный уличный марьячи, и не заработал сегодня ничего. Так, на банку пива и на пакет сушеных анчоусов, чтоб не сдохнуть от одиночества в жалкой, забитой до потолка старыми газетами, пустыми бутылками, клопиной мансарде. Он придет в мансарду и ночь напролет будет глядеть телевизор. Кажется, в Африке убили тирана. А в Азии — еще одного. На экране будет он видеть, как солдаты втыкают штыки в беззащитные человеческие тела. Эти люди владели странами и народами. Они трупы. Кто они теперь? А завтра он будет труп. Кому нужны его страстные песни?

Все? Покурил? Иди.

Стронулась с места тень. Поплыла. Расступился океан ночи.

До следующего, после площади, перекрестка ты, призрак, точно не захочешь курить.

В пачке осталось три сигареты.

Тебе, тень, хватит до дома.

А дома лежит еще пачка. На полу. Под диваном. Диван похож на ягуара. Весь в старых, засохших коричневых пятнах. Он купил диван с рук, по дешевке, по объявлению в газете. Устал спать на полу на тощем матрасе. Купил, а диван пятнистый. Весь кровью заляпан. Смотрел, смотрел на диван и вдруг все понял. Здесь его отец убил его мать. И после этого он стал призраком. Призрак марьячи поет и плачет. И пляшет. Сквозь дымную кожу призрака видна калака. Когда наступает День мертвых, призрак ходит по кафе и ресторанам и поет, поет красивые песни. Его молодые люди не видят. Деньги ему не кидают. Его видят лишь старики, и жалеют, и бросают ему монету дрожащей рукой. И слышат, как тихо звенят кости калаки. И шепчут что-то ржавыми губами: может, благословляют.

Пьют и курят, курят и пьют. Бестелесному разве курево нужно? А питье? Пей, Алисия, ласточка, на том-то свете не дадут! Она плюнула в пепельницу окурок, истончившийся до величины ногтя, с отпечатком ее дикой красной кровавой помады, вздохнула прерывисто, как дитя после плача. Забыла. Забыла, как этого звали, толстяка. Небось спрятался, хитрец, за спины и головы, сигары дорогие курит, плывет по ее кафе смолистым, пальмовым дымом.

А, Фидель! Вот как его звали. Нет, вру. Фернандо. Кажется, Фернандо, ну да!

Пьяна ты совсем, мать, сказала себе Алисия скорее довольно, чем осуждающе, пьяна ты уже в дым, и дым — напарник твой, тангеро. Станцуем с дымом танго? Кто с одинокой пьяной бабой, хозяйкой кафе, сегодня станцует?! Приз получит!

Тряхнула белыми космами Алисия, еще покачалась на каблуках. Выгнула руку ладонью вверх: зазывала. Публика за столами молчала. Пила. Курила. Шепталась. Флиртowała. Смеялась. Обнималась. Дралась. Заказывала блюда и напитки. Сыпала пепел в пепельницы, на пол и на голые колени девиц. Жила. Дышала.

Может, я уже призрак, хотела гневно, на весь зал, крикнуть Алисия, может, я уже умерла?! Врете! Я жива и здорова! И я заплатила за аренду! И ко мне не придут

кредиторы! И в моем кафе всегда самая лучшая, хоть и дешевая, текила и самые лучшие креветки, с Залива! А по праздникам и русская красная икра бывает! *Caviar*! Я заказываю ее в русском ресторане «Колобок»!

Да! Вспомнила, как звали жирного марьячи: Федерико!

Эй, Федерико, ты здесь?! Здесь ты! Не прикидывайся! Не прячься! Выйди! Не изображай из себя призрака! Не вейся табачным дымом, ты!

Что ты надрываешься, дура Алисия, заткни фонтан, ты что, не знаешь, не помнишь совсем, его же убили, в ножевой стычке на углу Эмильяно Сапата и Коррехидора, в газетах же писали! Убили, и что?! И что?! И что?!

Я этими газетами, с некрологом, заставила судомойку мою, Ирену, обклеить все стены на кухне! Вместо обоев! И так сойдет!

А здесь, в зале, я велю Ирене повесить золотую маску ацтекского Царя Солнца. Огромную такую маску! Великанскую! Я сама на аукционе куплю! Ну и что, что дорого стоит! На хорошую вещь денег не жалко! Ах, не хватит, говорите? Тогда куплю подделку. Позолоченную! Какая разница! Лишь бы блестело! Копия?! Все в жизни копия. Детки — копия родителей. Любовь — копия любви. Все повторяется, вы не заметили разве?! Мы повторяем все, что было до нас. Мы — самих себя повторяем! И ничего нового нет под старой Луной! Ничего! Ничего! И я, Алисия ваша, пью все ту же текилу, что делали тысячу лет назад! И люблюсь все так же, как все бабы до меня, задирая ноги и вопя во всю глотку! И меня так же, как всех и всегда, положат в гроб и закопают. Черт! Уж пусть лучше сожгут! Пепел, это как-то привычно. Бог, кури на здоровье наш прах! Самый вкусный табак на свете!

Родня

Встретила бабушка Рома в небе бабушку Фелисидад, Лилиану Торрес; бабушка протянула к ней невидимые руки, окликнула ее неслышным голосом, и Лилиана увидела ее и улыбнулась ей.

«Я знаю тебя, душа, — сказала Лилиана Торрес, — моя внучка любит твоего внука».

«Больше жизни», — подтвердила бабушка.

«А правда, моя внучка очень красивая? Ты видела ее сверху, летая над Мехико?»

«Правда, — ответила бабушка, — твоя внучка очень красивая, красивее всех девушек в мире».

Лилиана довольно улыбнулась, и душа бабушки увидела нежную улыбку другой души.

«А правда, мой внук лучше всех парней в мире?» — еле слышно спросила бабушка, смущаясь своего дерзкого вопроса, ибо в нем таился ответ.

И Лилиана Торрес ответила:

«Правда, святая правда».

«А правда, что наши с тобой внуки — пара?»

И так ответила седая Лилиана Торрес, разбившаяся на самолете, не долетевшая до красивого, как крупный бриллиант, итальянского озера Комо:

«Конечно, сеньора Зинаида, они пара, настоящая пара. Лучшая пара в мире».

Душа превратилась в порыв ветра. Душа взволновалась.

Хотела заплакать душа от восторга и печали, но не смогла.

И спросила тогда:

«А откуда ты знаешь мое имя, Лилиана Торрес?»

«Оттуда же, откуда и ты мое».

Поблизости от старухи Лилианы Торрес бабушка видела множество летящих в воздухе фигур. Прозрачные, похожие не метельные вихри тела сшибались, сталкива-

лись, обнимались и разъединялись, улыбались плачущими лицами, скалили зубы голых калавер, сияли еще живыми слезными глазами, разрывали кольца крепко сплетенных рук и ног, падали и опять поднимались, и многих бабушка узнавала в лицо: мертвые родичи Фелисидад Торрес летели рядом с ней, обступали ее, водили вокруг нее в небесах, как вокруг новогодней елки, вьюжные хороводы. Свист ветра! Ширь неба! Седая сеньора Лилиана Торрес на миг замешкалась, слепо и неловко подалась вперед, будто хотела обнять бабушку. И бабушка к ней полетела по холодной, обитой звездной парчой пустоте.

Душа хотела душу обнять.

Налетел ветер. Свились в клубок души, тела, снега. Нахлынули океанские воды. Снизу, из-под земли, восстала волна огня. Пасть пантеры раскрылась. Запели, распутив синие хвосты, павлины в маленьких золотых коронах на крошечных головах. Закачались на морозе березы. Над пирамидой Луны зажглась Луна. Керосиновая лампа, при ее свете можно читать древние книги. Разбирать забытые символы и говорящие знаки.

Обнять! Прижать к груди! Мы же родня!

...не смогла.

«Общедоступная астрономия»

Под сводами здания аэропорта «Бенито Хуарес» разносились гулкие голоса: объявляли прибытие и отлет. На табло вспыхивали имена городов. Людской муравейник жил и копошился, народ тащил чемоданы и телеги, толкал коляски, волок на спине битком набитые рюкзаки — люди отправлялись вдаль со своим скарбом, и своя ноша не тянула, не давила. Ром, оглядываясь, подумал: как хорошо, что у меня маленький и легкий рюкзак.

Он остановился и взял Фелисидад за плечи. Она заглянула ему в глаза.

Так стояли, глядели друг на друга.

«Сколько можно так простоять? Час? Год? Всю жизнь?»

— Я бы мог стоять так всю жизнь.

Фелисидад обвила руками его шею.

— Я тоже.

Она изо всех сил старалась не плакать.

Ром уже прошел регистрацию на рейс, и они стояли у стойки, и вот-вот, через несколько минут, объявят посадку, и он опять уйдет — по граниту, по коридорам, по земле и по воздуху, истает, улетит.

— Ромито. Я хочу сказать тебе.

— Что?

Он обнял ее. Так стояли, тесно обнявшись.

— Я жду ребенка.

Внутри нее вспыхнули стыд и радость. Пролетело черное от налившейся крови лицо Кукарачи. Пролетела музыка, опажнула диким крылом. Выплыло, закачалось лицо Рома, и Фелисидад зажмурилась — так сильно, ясно сияло оно.

— Правда?

— Правда.

— Что ж ты раньше не сказала?

— Я хотела сейчас. На прощание.

Ром покрыл ее лицо поцелуями.

— Но мы же не прощаемся! *Mi corazon!*

— *Mi corazon.*

Кто отец — Ром или Кукарача? Кукарача или Ром? Это неважно, сказала мать.

Да она и сама знает: неважно. Важно то, что родится ребенок. И дай ей Бог выносить, не скинуть его.

— Только носи осторожней, — сказал Ром. — Чтобы все было о'кей.

— Да. Все будет о'кей.

— Не смотри ни на что страшное. Ужасики по телевизору не смотри.

— Я их вообще не смотрю. Пошли они.

— Не ругайся. Он должен слышать только ласковые слова. Говори с ним ласково.

— Да. Я уже говорю.

Сцепили руки. Быстро дышали, будтоплыли, и воздуха не хватало.

— Наш сын, — сказал Ром, и горло перехватило. — Вот он. Пришел.

— Еще придет. Еще ждать.

— Да. Подождем.

Людской гул доносился издалека, из-под облаков.

— Ты ешь только все самое вкусное. Самое-пресамое. Фруктов побольше ешь.

Соки пей.

— Я и так пью. Я соки люблю.

— В зоопарк не ходи. На крокодилов не гляди.

— А на лошадей — можно?

— Можно. Лошади красивые. Тебе надо глядеть на все красивое.

— Ты говоришь как моя бабушка Инеса. Когда мама была беременна Мигелем, бабушка кричала ей: «Милагрос, смотри день и ночь на портрет Изабеллы Кастильской! Это радует ребенка!» И совала ей в руки репродукцию. Из старого журнала.

Она засмеялась. Ром засмеялся тоже.

Над их головами разнесся потусторонний, темный гул. Будто летел из глубины черных небес истребитель. Гул обратился в слова, они сыпались сверху, как бомбы, и разрывались под ногами, перед глазами.

«Посадка на рейс Мехико — Лондон — Москва! Посадка...»

Ром сгреб Фелисидад в охапку. Последний раз обнять. Вот так поцеловать. Так, так и еще так. Она закрыла глаза. Поцеловать ее в глаза. Губы плывут, язык плывет, милое лицо плывет мимо, ускользает, уплывает. Океан плещет, захлестывает. Океан слез. Океан времени. Он полетит над океаном. Он вернется.

— Милая моя, моя милая...

— Милый мой. Прощай.

— Береги себя.

— Ты тоже береги себя.

— Наш сын...

Шаги зашуршали, зазвенели, застучали. Колеса снялись с места и покатались. Люди стронулись, перемещаясь, убегая, удирая, исчезая, чтобы вновь появиться, из брюха железной птицы, на другом конце земли.

— *Te amo.*

— *Te amo.*

Они оторвались друг от друга, Ром дернулся, будто ударенный током, нелепо взмахнул руками и побежал, будто за ним гнались. Потом остановился, повернулся, искал глазами Фелисидад. Она стояла, прижав одну руку к груди, другую к животу, такая маленькая, крошечная черненькая птичка, с разметанными по плечам дегтярно-черными волосами, и Рому показалось — черное густое вино стекает с ее головы ей на плечи. Он улыбнулся и еще выше вскинул руки над толпой. Над всеми бегущими, спешащими людьми. Над миром, подарившим друг друга им. «Все, что было, — все сказка. Будем готовы к правде! Будем!»

Когда самолет, огромный аэробус, разогнался и взмыл в ночное небо и поднялся, тяжело заваливаясь на бок, над Мехико, Ром выглянул в иллюминатор и увидел внизу, далеко под собой, звезды. Карту звездного неба. Вот Орион с Бетельгейзе и

Ригелем, с троицей звезд на косо висящем поясе. Вот слепящий зрачки Сириус, осьминог с разноцветными щупальцами, и тянутся лучи сквозь черноту, переливаются, играют. Вот Процион и Альтаир. Он видел Вегу и мрачно-алый Антарес, горящий глаз Сатурна и кирпичный Марс, далеко ввысь закинутый ковш Большой Медведицы, помнил все имена звезд ковша — и шептал арабские медно звенящие слова: Дубхэ, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш. Вспомнил, что над Мицаром есть еще Алькор; и различил его, порадовавшись зрению. Зачем черный круг звездного неба лежит под ним, под самолетом?

Самолет резко забрал вверх, пилот рванул штурвал на себя, тошнота и тьма вынырнули изнутри и застлали глаза. Ром догадался: это огни Мехико внизу, а вовсе не звезды. Там, внизу, среди огней, едет к себе домой маленькая девочка Фелисидад, и ей всего лишь шестнадцать лет. А она уже прожила целую жизнь. И он вместе с ней.

И еще одну — проживут?

«Мы проживем вместе еще тысячу жизней», — жестко сказал себе Ром.

Услышал голос над собой:

— Вам плохо, сеньор? Многие с трудом переживают взлет. Вам принести воды? Лекарство?

Ром вскинул глаза на хорошенькую стюардессу. Она спросила это по-испански, сделала вежливую паузу и произнесла то же самое по-английски.

— Спасибо, — ответил по-английски Ром, — воды, пожалуй.

Самолет набирал высоту; задрал нос, стал крениться на правый бок. Железная машина показалась Рому огромным океанским больным животным, не знающим, куда деваться от боли и тоски, — и вот оно выбрасывается на берег, на гибельную сушу, и задыхается от земного воздуха, и закрываются глаза. Крен увеличивался. Огни в иллюминаторе встали отвесно, Ром захотел уцепиться за подлокотники кресла — и не смог. Он все еще был пристегнут к креслу ремнями безопасности. Самолет валился и валился на бок, двигатели гудели беспощадно, красивенькая стюардесса, как циркачка, шла по ковровой дорожке, балансируя, чтобы не упасть, с подносом в кукольных ручках. Сейчас бы не воды, а коньяка, подумал Ром, и тошнота нахлынула новой волной. Боль, а вот и ты, как давно тебя не было.

Боль явилась не тихо и неуверенно, а нагло и торжественно, во всей красе. Разлилась из сердца по телу. Он опьянел от боли, и коньяка не надо, и текилы. Почему такая сильная боль? Такой не было никогда. Может быть, это особенная боль? И она не только ему принадлежит?

Он догадался, пусть поздно: эта боль — за всех. Боль сердца всегда за всех. Человек думает — ах, болит у него сердце, болит ножка, болит ручка, и это он сам, драгоценный и неповторимый, страдает! Нет: это в нем болит другой, это в нем страдает чужой. Мучается — далекий. Счастлив тот, кто объемлет всю боль земли, все страдания людей: ныне живущих, умерших и будущих. Что такое время, как не собрание болей, перемежающихся радостями?

За всех, да, за всех! Я знаю — у вас у всех болит! Вы все боитесь и дрожите, как я! И вам всем так же невыносимо больно, как мне! Что мне сделать, милые мои, любимые люди, для вас?! Как мне избавить вас от этой боли?! Я ничего не могу сделать для вас, кроме того, что любить вас, только смело, плача и смеясь, и глядя вам в лицо, в ваши лица, искаженные болью и страхом, любить, любить вас. Любить! Вот оно, счастье. И всю жизнь — любить! И по смерти — любить!

Боль росла и ширилась, и расширяла изнутри грудную клетку, и грудь Рома становилась странной полостью, безбрежной Вселенной, конечной, но безграничной: в какую сторону ни покатаешься внутри полого шара — везде боль и свет, свет и боль. А может боль стать радостью? Конечно! Бесконечной радостью! Разве какой другой

человек на земле сподобился вот так, в одно мгновение, ощутить боль за всех — и радость за всех!

Земля в круглом иллюминаторе вдруг оказалась сверху, как гигантская снятая шляпа. Раздался звон стекла: выпал поднос из рук стюардессы, покатались между кресел бутылки и стаканы. Ром глубоко вдохнул воздух. «Боль, я люблю тебя. Радость, я люблю тебя», — сказал он молча всем людям, что терпели его боль вместе с ним и внимательно, тихо слушали его.

«Может, мы летим на Север? В ледяную, золотую страну Ацтлан? Туда, где никогда не заходит солнце? Фели, ты умеешь смотреть на солнце? Ты говорила — ты умеешь!»

Лицо Фели, жгучеглазое, цвета смуглого манго, возникло и закачалось перед ним, и хрипло, чуть слышно, так, чтобы только она одна слышала его, он медленно сказал ей, и звуки цедились капля по капле, медом, горячим воском:

— *TOTUS TUUS*.

А потом тихо, тихо спросил, и не знал, себя или ее:

— А где же четвертая буква «Т»?

Железный морской зверь валился набок, переворачивался кверху брюхом, выпрыгивал из черного огненного пространства на берег новой жизни.

— Фели! Я люблю тебя!

— Фели, я люблю тебя, — гундосо повторил рядом с ним странный лохматый парень. К спине парня были привязаны два самодельных ангельских крыла, сработанных из кусков марли и скрученной медной проволоки. Парень по-птичьи встряхнул крыльями, присел возле кресла Рома и взял его за руку.

— Не бойся, старик, — сказал кудлатый ангел Рому и оскалил беззубые десны. — Так всегда при взлете. А при посадке еще хуже. Но ты не дрейфь. А знаешь, звезды испытывают боль, прямо как люди. Я теперь летаю между звезд и все про них знаю. Ты пожалей их. Они тоже живые. Все живое. Все!

Ром кивнул. Рука беззубого ангела была живая и горячая. Все было по-настоящему, в этих картонных, нарисованных небесах. Он покосился и увидел: на коленях у соседа слева лежала старинная книжка. Обложка показалась ему знакомой. Родной. Он прищурился и прочитал: «КАМИЛЬ ФЛАММАРИОНЪ. ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМИЯ».

Не будет никакого конца света, да, не будет, а может, это он и есть? И он не узнает его в лицо? Все священные, старые книги об этом писали; и жрецы об этом лили кровь из-под священных ножей; и быки об этом мычали; и ягуары рычали; и все битвы об этом звенели всеми мечами, стреляли орудиями всеми, — а толку? Человек не верит в смерть. Не верит в конец света. Слишком это больно — думать о том, что уйдешь навсегда. Колдовство конца — ничто перед колдовством начала. Змея не кусает свой хвост, и раковина размыкает спираль.

Между созвездий вспыхнули звезды рук, и звезды ног, и звезды губ, и поднялась над глазами марлевая повязка, и прозревшие под ножом острого ледяного ветра глаза засияли тепло и любовно, и в новом звездном рисунке Ром узнал бабушку. Бабушка летела среди звезд, раскинув мерцающие прозрачные руки, и Ром подумал: бабушка моя, ты похорошела, тебе идет жить между звезд, и скажи, шепни только, — это совсем не страшно, быть мертвым?

Люди и звезды, звезды и люди, какая между вами разница, да никакой, подумал он светло и счастливо, и боль в его груди преодолела сама себя, и вышла наружу из тела, и он засмеялся, глядя на парня с крыльями из марли, и парень смеялся вместе с ним, и Ром узнал его, и выкрикнул:

— Хавьер!

— Я не Хавьер, — сказал парень.

— А кто ты?!

Надо было успеть выслушать имя. И запомнить.

— Я? Эмильяно, Эрнесто, Джон, Степан, Шарль, Константин, Фридрих, Чеслав, Гарри, Андрей, Жюль, Эдвард, Лучано, Ингвар, Олег, Зорро, Радомысл, Хосейн, Сурья, Анри...

— Стой! Я понял!

— Александр, Сантьяго, Рафаэль, Джереми, Ипполит, Григорий, Паоло, Серджио, Антон, Рамамурти, Рустам, Велло...

— Я понял! Замолчи!

И, когда самолет проколол носом черную твердь и вышел с испода земли и неба, с их шелковой черной изнанки, в густое и сплошное торжество праздничных, сверкающих огней, а разбитая посуда, все склянки с газированной водой, коньяком и соком взлетели, вернулись, невредимые, на пьяный поднос в руках старательной девушки-стюардессы, равновесие его сердца восстановилось, и он услышал нежный, будто детский, голос:

— Это Хавьер. Не верь ему. Он всех нас обманул и убежал на небо. Теперь он мой подарок. Он мой ангел. Я люблю им играть. У него есть еще маленький пес. Он очень пушистый. Он совсем не кусается. Я понарошку твякаю на него, а потом глажу его. У него фланелевый красный язык и смешной кожаный нос. И глаза из пуговиц. Ангел Хавьер мне сам его сшил. Будешь играть вместе с нами?

Маленькая чернокожая девочка стояла в проходе между креслами и смотрела на Рома. В руках она держала игрушечную собаку. Помахала собакой, и у собаки затрясся хвост, потом язык в раззявленной пасти.

Ром протянул руку. Девочка протянула собаку.

Им обоим не хватило еле заметного зазора, нескольких глотков воздуха, пары мгновений, чтобы дотянуться.

* * *

Бог Улитка родил мир.

Потом он построил себе дом, чтобы в нем жить.

И никогда не умирать.

Для бессмертия он построил себе дом —

его люди называли пирамидой.

Первые пирамиды повторяли тело самого бога Улитки.

Они были Раковинами.

Раковина повторяла не только тело бога.

Раковина повторяла время.

Время нанизывалось на веретено внутри Раковины и текло по спирали.

Раковина повторяла звезды.

Далеко в небе звезды закручивались в огромные спирали,

и медленно плыли громадные звездные Раковины

в лютот, ледяном безмолвии мира.

Раковина повторяла кровь.

Никто не знал, а только колдуны знали —

кровь зверей и человека состоит из крохотных красных спиралей,

и они летят в горячем потоке,

летят, чтобы однажды вылиться из тела, растаять, сгнить во чреве земли.

Раковина повторяла сердце.
Сердце внутри человека жило и билось в форме Раковины;
и, когда жрец рассекал обсидиановым ножом-уицтли грудь жертвы,
и запускал руку под кровавые ребра,
и выдирал из человеческой груди живой бьющийся комок —
он повторял Раковину бога Улитки,
дожди приносящую, урожай приносящую, любовь приносящую.

Раковина повторяла Землю,
ибо была кругла подобно Земле.
Раковина повторяла Луну.
Белой Раковиной катилась Луна в ужасе ночи.
Раковина повторяла Океан:
она шумела, если прислонить ее к уху, так же, как он.
Раковина повторяла женский живот —
из него же и все рождено, из него все и стало быть,
в него же, в земляной живот, в живот Земли-Матери, все и вернется.

Раковина молчала о жизни, и Раковина пела о смерти.
Так было записано письменами науа
в старинных книгах из телячьей кожи.
В книгах рода Тонатиу и рода Улитки.
Так было спето индейцами племени Мешико
в ярких, страстных песнях своих.

(песня марьячис)

Лариса Миллер

Мы все матрёшки

* * *

Всё время забываю вас спросить —
Меня не слишком трудно выносить?
Моих стихов немыслимую груду,
Мою готовность к празднику и чуду,
Стремленье тайну видеть здесь и там
И следовать за нею по пятам,
Её рифмуя днями и ночами
Из года в год с тенями и лучами?
Не отвечайте. Вижу по глазам:
Мои стихи вам на душу бальзам.
Не затопить бы только вас бальзамом,
Потоком вещей слов о самом-самом.

* * *

Давай отложим всё, что можно отложить,
И даже, что нельзя, давай отложим тоже.
Сегодня вся земля — одно большое ложе,
Застеленное так, чтоб нас заморозить.
На то и снегопад, чтоб было мягко спать,
На то и снегопад, чтоб мы на чистом, белом
Забыли обо всём, и неотложным делом
Считали дивный шанс в перинах утопать.

* * *

А хорошо бы жить в траве
Или в бездонной синеве,
Иль в речке светлой тихоструйной,
Но толку что, коль в дикой, буйной
Стране, не помнящей родни,
Навек прописаны они.

* * *

Вермееру

А можно обходиться малым:
Одним мостом, одним каналом,
Одной рекой, одним окном.
Увидеть можно и в одном
Окне весь мир, хотя дорожка
Всего одна видна в окошко.
Но и на ней, но и на ней
Танцует множество теней,
Теней, лучей, небесных пятен,
Внушая: мир невероятен.

* * *

Всё время время отнимают —
Беда, отчаянье одно.
Неужто же не понимают,
Что людям дорого оно,
Что надо изменить порядки —
Чтоб никаких календарей,
Что наступать нельзя на пятки
И приговаривать: «Скорей!»,
А надо складывать в копилку
Любой прожитый день и час
Иль рисовать их под копирку,
Чтоб был неистощим запас.

* * *

Мы все матрёшки, все с секретом,
До срока спрятанным внутри.
Ну а точнее, мы все с приветом.
Что с виду в норме — не смотри.
И вообще гляди-ка мимо
Своих любимых чад, Господь.
Ведь чадо, что Тобой любимо,
Такую может чушь молоть,
Такое учудить готово
Над ближним и самим собой,
Что непонятно как Ты снова
Нам полог даришь голубой,
Его позолотив с востока,
Чтоб нам оттенки показать,
Вместо того, чтоб нас жестоко
И справедливо наказать.

Мы все матрёшки, все с секретом,
Что в нас живёт зимой и летом,
И этим интересны мы
Как летом, так и средь зимы.
Непредсказуемы, опасны,
А временами так прекрасны,
Что в пору нам всё-всё простить
И чудом света окрестить.

* * *

Ну что добавить в эту бочку?
Как что? Конечно, каплю мёда:
Стихов удавшуюся строчку,
Слова: «Чудесная погода!».

Ну что добавить в ад крошечный,
Который без конца и края?
Как что? Смешной глазок скворешни,
Улыбку, то бишь каплю рая.

Сухбат Афлатуни

Тёплое лето в Бултыхах

Повесть

Во второй вечер сразу проблемы с брюхом.
Всю косметичку встрясла. Потом целую ночь таблетки из-под себя выгребала. А папа спал на раскладушке, как тогда.
Проснулись с мамой одновременно, ночь, сосны.
— Лен... Как твой живот? Что молчишь? А?
— Нормально, мам. Спи.
Проснулась, все еще дрыхнут. Умылась, губки нарисовала.
Вышла. Тишина...
Бултыхи!
Солнце только встало, ходит кошка, кис-кис. Кис-кис, дура! Убежала.
Хорошо как, Господи. Подошла к сосне, поковыряла.
Главное, все из головы выкинуть, что вертится. А то всю ночь снились строительные дела, сметы, техобоснования, объясняла каким-то отморозкам, что колонны должны здесь быть дорического ордера. Дорического, придурки! А они такие лыбятся, духи дарят.
Тихо, аж в ушах звенит. Спуститься к озеру. Какая красотень, а?
Ничего здесь не изменилось. Деревья, цветочки. Кошка опять, сучка, прибежала. И запахи — травы, хвои. Посидела на скамейке.
На завтрак рисовая кашечка такая, йогурт. Девушка котлеты еще несет. Нет, мне не надо. Не надо, по-русски говорю же. А папа записался на фитобочку.
— Ты сам, — мама ему, — как фитобочка.
И хлоп его по животу.
Папочка напряженно улыбается. Сказать маме, что не надо.
После завтрака ходили на белок.
В тот раз тоже куча белок была. Это уже их внуки.
— Правнуки... — Леник достает орешки. — Или пра-пра-правнуки.
— Пра-пра-пра-пра... — дразню и трюсь щекой об его куртку.

Заходим, папа телек смотрит. На экране мое лицо.
Мама на него набросилась, выключили.
Хотела ведь, чтобы номер без телека, как тогда. Специально тот же самый номер договорилась. Ну как же! Мамочка чуть голодовку не объявила. Телек у нее свет в окошке.

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) родился и живет в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского государственного университета. Поэт, прозаик, критик. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат Русской премии (2005, 2011) за произведения, опубликованные в «ДН», лауреат молодежной премии «Триумф» (2006).

Вечером ходили по Тропе Здоровья. Какой-то пипл в красных трусах делает шашлык. И на меня то так, то сяк. Шашлык ему, что ли, скучно? Опять смотрит, цирк бесплатный нашел. Лет на десять меня младше, наверное. Или на двенадцать, карма моя. Ну вот что за глупость в голову лезет, а?

После обеда с Леником далеко в рощу, река узкая, быстрая, и ни одной рожи. Только пасечника по пути. А вот и наше место. Скидываю шмотки.

— Лень, надо было его, это, про мед спросить. Дураки.

— Я кончился, а ты жива... И ветер, жалуясь и плача...

Читает.

— Раскачивает лес и дачу...

В воду! Визжим, брызгаемся. Я без лифчика. Как тогда, в детстве.

Ленька отплыл, вылез. Отряхивается, изображая мокрого пса. А мне не холодно совсем. Только левую грудь течением чуть относит, как поплавок. Волосы заколола, чтоб не лезли, а все равно лезут.

— Ленька! Лепсер-Попсер!

— А!

— Почитай еще!

— А?!

— Еще!

А облака такие, что дождь. И как будто ничего не было. Никаких двадцати шести лет.

На ужин салат из свеклы. У всех красные губы.

— Семейка вампиров, — говорю.

— Вампиры чеснок не едят, — вставляет Леник.

А у самого, между прочим, самые красные.

После ужина гуляли к озеру.

Закат, краски, плакать хочется! А мамочка все время в своем репертуаре дергалась. То ей ветер, то сережку потеряла.

А папа с Ленькой вели отлично. Попытались о политике, но я на них посмотрела. Зато мамочка все со своей сережкой.

— Мамочка, расслабься и посмотри, какой закат!

Обняла ее даже:

— Я тебе сто таких сережек куплю!

— Да уж, купишь! Особенно теперь...

— Ты чего-то сказала?

— Ой, да нет, ничего. Холодно чего-то! Замерзла я. Нога замерзла.

Ведь договаривались же! Весь закат своей сережкой обосрала. В номере, конечно, ее нашла, целовала ее полчаса: «Ах ты моя сволочь!».

Гена работает на лодочной станции. Гена. Тот, красные шорты. Мистер Красные шорты. Катамаранами заведует, лодками. Там же и спасатель.

— Спас кого-нибудь?

Улыбается. И не на пятнадцать лет младше, а всего на десять. Шашлыки на заказ делает. Сидим возле воды, пиво пьем. Налей мне еще. Бульк-бульк. Так себе пиво.

— Со знакомством, — говорит.

Ну, со знакомством, ладно. Хорошо вокруг, и вид ничего, сосны такие, только вот мошки. Еще одна! Кусаются, как собаки.

— А я привык.

Ну да, ну да. Местный, кожа — не прокусишь. Смотрю на его кожу.

Нет, не из местных. Назвал город, откуда. Но я как раз комара хлопнула. Вот такого жирного!

Положил пустую баклажку, капнул пеной на штаны. Сегодня мы в синих трениках. Итак, значит, Гена. Гена-Гена-Гена. Ген у нас еще не было. И не будет.

Мама с утра сбежала уже в церковь. Вернулась довольная такая, светлая. Вытащила целый пакет крыжовника. Тысячу лет его не ела! Вот так живешь, а столько всего вокруг не ешь. Пошла в ванную, мыть.

А тогда здесь церкви не было. И мама ни во что не верила. И папочка. Верил в науку, до сих пор «Наука и жизнь» на даче стопками валяется, в мышиных кашках.

А я верила в вампира. Ленка из лагеря привез целый сюжет. Укрывалась с головой. А вдруг вампира сможет сбросить с меня одеяло? А? Что тогда, а?

— Лен! Ты что там, уснула с крыжовником? Или мылом его моешь?

— Ага, шампунем!

Выключаю воду. Смотрю в зеркало. Два седых волоса. И вот еще один.

Генка очень смешной. При ходьбе щеки трясутся. Как хомяк, говорю ему.

Это плохо. Серьезно. Если какой-то мужик начинает мне казаться смешным — то это все, картина Репина, не успеваешь даже тормознуть. Машина вбок, в кювет и вверх колесами.

Сидим под старыми соснами. Он из Владикавказа.

Задираю голову. Как в кино, стволы вверх, как пальмы, перспективное сокращение.

— Да, красиво, — говорит. — По тебе муравей.

Еще говорит, что многие тут обратили на нас внимание. Что мы одеваемся странно.

Звонил Коваленок. Я же просила, что ж такое!

Не выдержала, сунула мобильный папе. Сама на балкончик. Сажу на плетенке, руки ледяные, папа мычит Коваленку фигню какую-то, бе-ме.

Врываюсь, выхватываю трубку. Говорю спокойным тоном:

— Я же просила, по всем вопросам — с Казимировым!

Через десять минут — Казимиров. «Елена, все в порядке, я все объяснил».

Объяснил! Сказала, буду искать другого адвоката.

Не прямо, а дала понять.

Ну вот и башка. А-а. Куда опять анальгин? В косметичке целая аптека, а как нужно, так одни презервативы и уголь активированный.

Влезла под одеяло, задернула шторы. Голова! А!

Приперся Леник, навонял кремом от загара.

Ходит по комнате... туда, сюда...

Наклонился:

— Отдыхаешь?

— Подыхаю.

— Помочь что-то?

— Чтоб скорее подохла?.. Ну, воды принеси.

Уходит в ванную.

Рожает он там эту воду, что ли?

— Голову приподними.

Приподнимаю. Не разлепляя век. Губы касаются теплого и мягкого. Мокрого.

Пью. Осторожно. Стараясь не касаться губами его кожи.

Принес мне воду в ладонях, как тогда.

Снился Коттедж. Запретила думать о нем, теперь назло будет сниться.
Даже обставить не успела. И в спальне еще был ремонт, краску закупила, обои.
И хорошо, что продала. Все у меня еще будет. И коттедж еще лучше. И машина —
не эта развалюха, одно название «джип». И мужик нормальный, а не «живая мебель».
Вороны что-то раскаркались.

— Что это у тебя?

Леник показывает на мое запястье.

— Укус.

— Какой?

— Комариный!

Розовый полумесяц. Впилась зубами, вчера. Когда сон вспомнила. Про коттеджик.

— Комар, случайно, не в красных шортах был?

— Нет, — говорю, — не в красных!

Отелло, на фиг.

Выплыли почти на середину озера. Генка на веслах.

— Вот здесь. Вода спокойная. Может, повезет.

Вода. Облака в воде. Ничего не вижу.

Нет, что-то темное. Это?

Гена смешно качает головой: не там, а во-он там.

— В позапрошлом меньше воды было. Каланча почти из воды торчала.

Я смотрю. Кажется, вижу.

— А если нырнуть, то хорошо видно.

— Я и так вижу.

Ничего не вижу. Только небо. Опускаюсь затылком на доску, солнце сквозь веки.

— А я нырну, — сообщает.

— Стой!

Быстро встаю и бросаюсь в воду.

Лед! Не брызги, а льдинки взлетают.

Ка-а-айф.

Но не ныряю. Зачем мне эта каланча?

Зачем мне затопленный город?

Зачем этот со смешными щеками? Зачем?

— Гена!

Подгребают на лодке, помогает залезть.

Мокрые волосы ползут по мне как змеи.

Зубы тук-тук-тук. Гена мне бренди, «на», запасливый... Как белка...

Б-б-белка... Чуть не откусываю горлышко, так стучат вот.

Отогреваюсь под его курткой.

— Возвращаемся. Может, сейчас там у тебя тонет, а мы тут...

Генка послушно гребет назад.

Кладет весла, поворачивается и целует.

Я не отталкиваю.

Скоро это все кончится.

Скоро у меня ничего не будет. Ничего, одна черная дверь.

«Папа, смотри, по мне мурашик ползет!»

Папа из-за газеты: «Убей».

Убивать не хотелось. Хотелось, чтобы на него посмотрели. То есть, на меня. Он
же по мне ползет. Мамочка вылезла из воды: «Холодно сегодня». Вся в каплях и

мурашках, и водой пахнет. Подошла к папе, легла рядом. Папа отложил газеты, подпер голову ладонью. Какой он красивый, когда газеты не читает.

«А где котлетки?» — спрашивает мамочка.

Папа мотнул головой в сторону кустов облепихи.

«Окунешься еще, Станиславич?»

«Потом», — папа погладил маму по мокрым волосам.

Когда мама их намочит, они вьются, как вьюнок.

Мама пошла в кусты доставать котлеты. Главное, чтобы не укололась!

На песке рядом след от ее купальника.

Я хотела рассказать ей про муравья, но он уполз. Всю себя обсмотрела, даже пятку проверила.

«Мам, котлету дай!» — спускается с валунов Леник.

Ему одиннадцать лет, и он все время голодный. Вчера после зарядки он показывал бицепсы и заставлял трогать.

— Дожидаются вас!

Кто, где?

— В Храме Воздуха. Приезжая.

Стою, в висках стучит. Что делать, поперлась в Храм.

Здр-р-авствуйте, я ваша тетя! Сидит!

Сумку обхватила, волосы в пучок, очки эти ее.

— Ты, Леночка, прости! Не выдержала я!

Ну, все. Раз «Леночка», значит, сейчас гадость какая-нибудь.

— Верни его мне!

Молчу. На пол смотрю.

— Ничего у меня кроме него, нет! И если...

Срач в беседке. Вчера был пикник, бабы полночи песни орали, колбаса под скамейкой и огурец.

А наш монолог все длится.

Верни, верни. Его, его.

Слушаю, огурец пинаю.

Когда-то я это выдерживала. Почти полгода у нее жила, когда из дома ушла.

Нет, мы уже не плачем. И не рыдаем. Слезки вытерли, перешли к оплате за электричество.

— Ада Сергеевна!

Она не слышит, у нее еще трубы текут. Что? Да, о болезнях-то мы не поговорили! Теперь о болезнях. Болезни. Там, тут и поясничка на погоду.

— Ада Сергеевна! — дубль два. — Вы сюда на поезде, прямо двое суток ехали?

— А на чем же еще, дорогой ты мой человек? Машин-то у меня нет... Где он?

— В город на экскурсию уехали.

Сочиняю по ходу пьесы. Что делать! Так я папу на тарелочке ей и принесла.

— А когда приедет? Я готова ждать.

— Не надо, Ада Сергеевна. Вы и так нарушили условие.

Солнце выглядывает. Пинаю огурец.

Достаю из сумки пачку. Хорошо, догадалась захватить. Зная целевую группу.

Ада Сергеевна смотрит красными глазами на пачку.

— Мне на него бы только издали... У меня такие предчувствия были. Даже не представляешь!

— Он вас постоянно вспоминает, — отсчитываю купюры. — Пятнадцать, шестнадцать...

— Мне еще билетик пришлось брать с переплатой, и лекарство ему привезла. И вот, подожди, шарфик. Потрогай, какой приятный. Нежный, правда?

Да, очень, очень приятный, повеситься на таком хорошо. Девятнадцать, двадцать.

— Прости меня, не усидела дома, — прячет деньги. — Представила себе, как он тут, без меня. Предчувствия. Две ночи не спала, такие сны были.

Обнимает меня. Целую желтую, невкусную щеку. Жалко ее. И папе тоже ее жалко. На жалости у них все и держится. На соплях вот этих, хоть бы высморкалась.

— А знаешь, Леночка, тебе бы хорошо заняться йогой. Она все снимает.

Отвела ее до автостанции. Лучше бы до вокзала, а то еще слезет и опять со своими предчувствиями припрется. Но до вокзала не могла, в четыре с Леником идем в лес за грибами. А Гену пока отправила в отпуск. Отдохните, товарищ мацо.

После обеда мама с папой пошли на рынок. Мы с Леником в карты, нам без взрослых карты не разрешали, но мы просто играли, если просто, то можно же. Потом Леник сказал, что они ему надоели и предложил играть в новое:

«Давай, ты будешь мама, я — папа».

«Как в дочки-матери?»

«Нет, по-настоящему играть, как в жизни. Я — папа, муж, а ты — жена».

Я спросила, почему не наоборот, я ведь похожа на папу, и вообще папина дочка. А он на маму, и волосы мамины, вьются, когда водой намочит.

Леник сказал, что важно не кто похож, а кто будущий мужчина:

«Ты не можешь стать папой, даже когда совсем вырастешь. Даже если очень захочешь».

Странно, мне казалось, когда вырасту, я стану старой и скоро умру, как баба Лида. И все будут плакать, кушать рис с изюмом и песни вокруг меня петь. А про детей еще не думала, еще дети какие-то.

«Когда я вырасту, детей уже не будет, а будет... коммунизм... Ну давай еще в карты!»

Леник придвинулся и поцеловал меня в губы.

Его губы были мокрыми и кислыми.

«Мне посуду надо идти мыть», — сказала я, облизывая.

«Какую посуду?»

«Ну, посуду... Мы же играем, я — жена... Посуду!»

«Хорошо. Помой и приходи быстрее.»

«А ты газетку почитай. На».

Леник послушно развернул «газетку».

Я подошла к раковине.

«Ой, сколько посуды грязной!»

Взяла мыльницу и стала мыть ее, будто это тарелка. Губы немного болели. Неужели так папа с мамой целуются? Нет, конечно, по-другому! Они же не играют, у них все по-правдашнему, по-настоящему, как в кино.

«Помыла? Идем, доиграем».

Леник смотрит, как я мыльницу мою. Набираю в нее водичку и выливаю. Набираю и выливаю. Уже почти чистая.

«Ленка! Ленька!» — кричат с улицы папа с мамой.

Вернулись!

«Только ничего им не рассказывай! Клянись страшной клятвой!» — говорит Леник шепотом.

Я быстро клянусь страшной клятвой и бегу во двор.

Писали, что я была любовницей мэра. Что спала с директором бассейна. Еще с кем-то. А в те полгода у меня вообще никого не было. Ноль. Одна работа.

Один раз Антон пришел, к Лешке. Он тогда еще приходил. Отец типа. Общаться. Брал его гулять, мороженое, пирожное, «плюеженое». Или футбол сидели, по телеку.

И тот раз пришел. Открыла, смотрю на него, а он куртку снимает. И запах такой знакомый, сигарет его, рубашки. На руки его смотрю, и чувствую, что... А зачем мне это нужно? Ни ему, ни мне. Смотрю на его руки. Зачем? Зачем в одну и ту же разбитую чашку?

Ладно, мне пора идти, говорю. Лешка выбежал, еще пять лет было: «Мам, ты куда?» Надо, сынуля. По делам. Дай поцелую. Не скучайте без меня, мальчики. Чао-чао. Сумку на плечо и по ступенькам быстренько. Стою такая у подъезда, и думаю куда. Поперлась в парк, мороженое взяла, сижу такая. Подполз один бандерлог в дубленочке, скрасить мое одиночество, спасибо, мое одиночество и так разноцветно дальше некуда, гуляй дальше. А дубленочка у тебя ничего, с мордой не повезло тебе только, урод.

Леник научился нырять и очень гордится. Теперь учит меня.

«А там, — показывает на середину озера, — затопленный город».

«Атлантида?»

«Да, наверное, она».

Мама сидит в новом зеленом купальнике и соломенной шляпке. Подбегаю к ней, лезу в полотенце.

«Мамочка, расскажи, как я родилась!»

«Жарко тогда было...» Это она всегда говорит, а других секретов не рассказывает. На обед — борщ.

Леник выпил одну воду, капусту и мясо в горку сдвинул. Папа его поругал: «Аристократ!» Аристократ — плохое слово. Приличное, но плохое. Были раньше такие люди, пили только кровь, потом революция их всех арестовала. Поэтому и называли — аристократы. А я все съела. Мама, я не аристократ, да, мам?

Везу ее обратно из театра. Дождь, а она там, конечно, забыла свой зонт, пришлось бегать. Потом какой-то кретин припарковал свой «мерс». Ни туда, ни сюда, еле выползли.

Едем молча. Кирова молча, Алексеевский. На Алексеевском пробка, ползем, как черепахи, все молча, молча.

«Ну?» — не выдерживаю.

«Не похож».

Ну вот кто бы сомневался!

«Мам... Ты его последний раз когда видела, сколько ему было?»

Молчит.

«Двадцать три», — отвечаю за нее. «А сейчас бы ему уже...»

Поджимает губы. Для нее он все еще в пеленках. На горшочке, а-а.

«Лен».

«А?»

«Зачем тебе это?»

«Что — это?»

«Взяла бы Лешку и поехала с ним по-нормальному в Бултыхи эти».

«С Лешкой я никуда не поеду».

Торможу. Стоим на краю дороги. Дождь по крыше.

«Так и будем стоять?» — спрашивает.

«Так и будем», — говорю и откидываюсь назад.

А папа согласился быстро.

Насчет Леника, конечно, не сразу привык. Это, говорит, что-то в духе олигархов, такие фантазии. Но согласился. Только просил, чтобы сама с Адой Сергеевной это,

того... А то у нее давление и кораблики перед глазами плывут. Ладно. Для Ады Сергеевны у меня всегда золотой ключик есть.

Ада Сергеевна долго плачет. Слушает меня и плачет.

Некоторым бабам, я замечала, старость идет. Из них классные старухи получают. Внуков к отложениям своим прижмут, и давай Маршака им, настольные игры, третье-десятое. Моя бывшая свекровь, чтоб далеко не ходить.

Аде Сергеевне старость не идет. Болтается на ней, как вот это идиотское платье.

Ада Сергеевна говорит, как ей сейчас тяжело. Говорит, что кругом растут цены. Загибает пальцы со своими ногтями. Просветить ее, что ли? Что вещь такая есть. «Маникюр» называется, не слыхали?

А когда-то рассказывала мне о Ван Гогe. Об архитектуре. Французскому пыталась. Же мапель Элен.

За ее спиной варится суп. Она берет деньги. «Только чтобы Коленька не знал!»

Достает с холодильника газету с кроссвордом. Спрашивает у меня строительные термины. Они вчера отгадывали, «с Коленькой».

Начинает наводить порядок на столе.

В коридоре сталкиваюсь с рыжим мальчиком, пришел к ней изучать французский.

Ах вы, вишенки, черешенки,
Ах вы, выжиги и грешники,
Ах вы, ягодки-смягодки...

Леник играет на гитаре мамину любимую. Под Розенбаума. Мама осторожно подпевает, у нее нет слуха. У папы есть, но слушает молча. В молодости играл на баяне.

— Ах вы, ягодки-смягодки, — подпевает мама.

У мамы красивый, теплый голос. Она только после ванной, в косынке. Кладу голову ей на плечо. Плечо сладко пахнет шампунем.

— А теперь, — объявляет Леник, — «Бричмула!».

Комната у нее на Кожедуба.

Мама на диване, все пахнет корвалолом, собираюсь уходить. Еще один идиотский разговор, провожу пальцем по книжной полке, палец обрастает серым пушком. Сколько раз предлагала ей женщину недорого — убираться. И пыль, и ковры. Как же, «сама»! Сама!

«Лен, а что тебе с Лешкой не поехать в эти... если так уж туда хочешь?»

«Чтобы он мне весь отдых там обосрал?»

«Странные у вас отношения, сердце кровью обливается.»

«А сама ты сколько с Лешкой выдерживаешь? На три дня его тогда взяла, а утром уже: забирай! не могу, неуправляемый!»

«Тише... Мне и так с сердцем...»

Отворачивается к стене. Просит еще пару дней подумать.

Спускаюсь.

Лешка сидит в машине. С английского его забирала, по вторникам. Боюсь, чтобы один ездил. Сидит, эсэмэсится, урод.

«Че так долго?»

«Бабушке с сердцем...»

И опять в свой мобильный.

Приехали, ставлю машину. Поднимаемся с пакетами, в «супер» заехали. Их величество милостиво согласились один у меня взять.

«Чувствуешь... запах?» — останавливаюсь.

Дверь была вымазана дегтем, вся.
Какая? Такая. Наша. Наша дверь.
За пролет еще эту вонь. Села на ступеньку, достала мобильный, тук-пук Коваленку.

Лешка стоит белый, молчит.
Тут же пакеты из «супера», апельсины, сосиски, чеки. Бананы.
Ночью был гром, и я проснулась. Лил дождь. Мама спала. Леника не было.
Осторожно поднялась. Сквозь стекло увидела Леника на балкончике.

Стоял в одних трусиках, задрал голову.
Выбежала к нему. Заходи, ты че, дурак, заболеешь!
Заглянула к нему в лицо.
«Леник... это ты?»

Он плакал. Просто плакал.
Он дожидался, пока пойдет дождь. И чтобы сильный, с молнией. Подставлял под ливень лицо и только тогда плакал. Чтобы никто не мог понять. А в другое, обычное время не разрешал себе. Терпел, накапливал. Запоминал, о чем ему нужно будет плакать. И плакал об этом, когда дождь.

Я тоже захотела так. Встала рядом. Не получилось. По лицу только капли дождя, слизывала их. Надо будет попробовать, когда накоплю. Так плакать гораздо интересней. Дождь перестал. Мы спрятались в ванной и вытирались полотенцем с красными рыбками.

Ходили все в лес. Я фотографировала ягоды. Траву. Маму. Отдельно, и с папой. Леника с сыроежкой.

Папа галантно поддерживал маму, а мы с Леником бесились, как придурки.
Потом сели у ручья. Мама мочила ноги, а папа о грибах все.
Леник ковырял мох.
Низкое солнце светило нам в спины. У мамы осветились волосы, золотистое облако. Другое, маленькое, зажглось вокруг папиной головы. Нимбы!
Стала снимать. На снимках это не получилось.
А вот Леник с сыроежкой вышел. И где папа маму через ручей переводит.
Вернусь, размещу у себя. Если успею только.

Молния. Я, задрал голову, на балкончике.
Льет. Ледяная слизь. Мне все равно. Меня нет.
«Че тут стоишь?» — Лешка открывает дверь.
Гремит близко, над крышей.
«На, Ба звонит».
Сует мобильный. Смотрит. Вылитый Антон.
Прижимаю к уху.
«Лен... ты слышишь меня? Я согласна».
Что-то мычу.
«Ради тебя, поняла? Ты слышишь? Согласна в эти Бултыхи. Выключи там у себя воду, не слышно. В Бултыхи, говорю, слышишь, поняла? Купаешься, что ли?»
Да, я слышу, мама.
Просто меня нет, мама.
Есть черное небо, мама. Черная дверь, уже приезжали, составили протокол. Черная идиотская майка на Лешке, с черепом.
«Мам, а то платье у тебя осталось?..»
«Какое еще платье?»

Я проснулась утром и засмеялась. Тихо, чтобы не разбудить. Мамочка еще спит. И Леник спит с открытым ртом.

Через два дня у меня день рождения. Папочка приготовит мой любимый шашлык. Он уже договорился в столовой про оборудование. Мама наденет мое любимое платье. Она обещала, что отдаст его мне, когда вырасту.

Про подарок даже не думаю. Все время стараюсь о нем не думать.

Мы все летние по дню рождения. Леник в июне, я в июле, папочка в августе.

Одна мама, бедная, в феврале.

Мне становится жалко ее, я подползаю и целую ее. Мама приоткрыла глаза, зевнула, прижала меня. Так и лежим, в гнездышке. Леник тоже проснулся. Но мы его в наше с мамой гнездышко не впустили. Я не впустила. Кыш! Кыш! Пусть сам себе вьет.

«Лен...»

Темнота, запах корвалола, нафталина, вещей.

Поворачиваюсь к ней. На полу старые чемоданы.

«Зачем тебе театр этот?»

Она смотрит на меня.

«Мам, а зачем тебе был этот театр?»

Я поднимаюсь и хожу между чемоданами.

«У папы уже была тогда женщина». Останавливаюсь. «И ты это знала. А Леник...»

«Вот ты о чем...»

Знаю, что она скажет. Что пыталась сохранить семью. Всеми силами. Руками и ногами.

«Я пыталась сохранить семью... Что улыбаешься-то?»

«Тебе показалось», — уничтожаю улыбку. «Ну и как, сохранила?»

«А ты все эти годы ждала, да? Для мести? Ну, мсти теперь родной матери, давай... Антона своего замстила, теперь меня давай».

«Кого я замстила? Я, что ли, от него налево ходила?.. Я вообще никому не хочу мстить. Я — хочу вырваться — из этого — ада».

«Не кричи...»

Продолжаем перебирать старые вещи.

Уже нашли клетчатую папину рубашку, в которой он был в то лето. Хотя мамочка уверяла, что когда он ушел, выбросила все его вещи. Мамин шелковый платок. Даже полотенце с рыбками.

«С рыбками! С рыбками!» — кружусь с ним по комнате.

«Сумасшедшая...»

Солнечное утро. Завтракаем.

Налили чай. Всем столам — в пакетиках, а нам заварка. Предупредила их, чтобы не пакетики, тогда, в то лето, пакетиков этих долбанных еще не придумали. И стаканы, обязательно стаканы. Чтобы любоваться, как тает рафинад.

— Хорошая сегодня погода, — говорит мама. — Теплая.

Папа задумчиво мажет масло.

На нем клетчатая рубашка.

Сажу, смотрю, как тает сахар. Болтаю ногами под столом.

«Не болтай!» — говорит мамочка.

Я продолжаю болтать.

«Не слышала, что ли?» — спрашивает Леник.

Вот предатель. Ему-то что мои ноги? До тебя не достают, и радуйся.

И продолжаю болтать. Но не так сильно. Трудно их сразу остановить, они же живые.

Леник под столом сжимает мою коленку.

И улыбается.

Я со всей силой пинаю его.

Но попадаю почему-то в мамочку...

Меня не берут на озеро. Меня оставляют в номере.

Подумаешь, озеро!

Мне туда и не хотелось. Надоела уже эта вода. Каждый день озеро, озеро, уже плавать тошнит. Сажу в номере, как аристократ. Болтаю ногами. Вспоминаю, как играли с Леником в мужа и жену. Теперь точно все расскажу. И мамочке, и папочке, и Клавдии еще Сергеевне, и бабушке в Ростов на открытке напишу, теперь держись!

Все утро Лешка снова конкретно пил кровь. Даже не хочу рассказывать. Тролля родила на свою голову. Проглотила кофе, покидала в раковину. Хотела душ, ладно, вечером. Только чтобы его рожу сейчас не видеть.

Начинаешь с кем-то про детей, у всех одно и то же. Живут со своими, как с инопланетянами. Языка не понимают, только «дай» и все.

Сунцовой нашей дочь так вообще выдала! Вичка начала ей то-се, а дочь такая: «Мам, ну че ты понимаешь? Ты вообще не жила в наше время!»

Вичка прискакала припухшая: «Лен, представь, а!» Посидели, коньяк допили, с днюхи оставался. У Вички какой-то вариант на горизонте нарисовался, с мужем она уже давно только общая жилплощадь.

«Мам!»

Мы готовимся спать. Мама мажется кремом. Папа с Леником играют внизу в шахматы. Шахматы огромные и очень тяжелые, из-за этого я проиграла, когда мы в них с папой, и с Леником.

«Мамочка!»

«Что? Зубы чистила?»

«Мам, Леник меня...»

Сказать? Не сказать?

«...заставлял посуду мыть!»

«Какую посуду? Иди, зубы чисть!»

«Мам, ну мы играли так!»

«Ну и как, — мама завинчивает крышечку крема, — вымыла?»

«Да... всю мыльницу...»

Мама целует меня. Потом смазывает меня от комаров, руки, спинку. Я иду чистить зубы и разглядываю в зеркало язык.

Про то, что Леник целовал, так и не сказала.

Но если он меня еще раз поцелует, то уж держись! Я про тебя такое расскажу, что даже сам не знаешь.

«Думаете, они вас там не достанут, в Бултыхах?»

Сажу у Коваленка, перед отъездом.

«Ладно, поезжайте. Может, повезет».

Закурил.

«Что — повезет?»

«Случай из практики: у меня знакомый один был, общались по рыбалке. Ну, а значит врачи ему — диагноз. Какой? Вот такой».

«И что?»

«Плюнул. С таким диагнозом не от болезни умирают. А от лечения».

Подвигает пепельницу. Я смотрю на его ногти.

«Уехал к матери в деревню. Все бросил. Семью, любовницу, даже работу. И в деревню. И все прошло. Диагноз — как рукой».

Молчит.

«Потом все равно спился. Судьба. Так что езжайте. Если что подозрительное, сами знаете».

«Мам, а если вдруг мне в нос заползет паук?»

Мы идем на завтрак, папа с Леником, как всегда, убежали вперед.

Мама не слышит меня, о чем-то думает.

Она стала часто о чем-то думать. Идет и молчит.

После завтрака кидали с Леником камни в озеро, кто дальше.

Потом на песке Леник рассказывал Шерлока Холмса.

Можно спросить про паука у Леника, но он станет издеваться. Он всегда издевается, когда его спрашиваешь. Можно маму, но надо дожидаться, когда она ни о чем не думает.

«Не хочешь слушать, так и скажи!» — Леник поднимается, с него сыплется мокрый песок.

«Хочу! Рассказывай! Ну, рассказывай. Я хочу!»

Но Леник уже бежит к воде. Быстро не может, там скользкие камни.

Леник кому-то машет рукой. К нему подплывает парень на катамаране. Это Александр Данилов, его новый друг.

Тоже подружусь с кем-нибудь взрослым, назло Ленику. Еще обзавидуется.

Пришли мама с папой. Я ухожу играть на валуны и нахожу там десять копеек!

Сильный ветер. Сосны скрипят. Натягиваю куртку, кеды, выхожу.

Мама отрывается от газеты.

— Слышишь, Лен. Китайцы что опять... Средство изобрели бессмертия, вот, почитай потом... Далеко собралась?

В коридоре Леник набирает из кулера. Делаю ему ручкой. Чао.

Хочу побыть одна, одна с ветром, с озером.

Купающихся ноль. Вообще никого. Ветер, сосны шумят. Господи, какой кайф!

Бегом к пляжу. Волны. Подпрыгиваю. Еще. Еще.

Меня никто не видит. Никто!

Останавливаюсь, резко поворачиваюсь.

Исчезает...

Гена возится с ключами. Я стою позади, уставившись, как дура, в его спину.

Заходим. Сразу лезет.

— Подожди, — притормаживаю.

Да, та самая радиорубка. Та самая.

Сажусь на топчан. Солнце, пыль. Солнечный круг.

Нас с Леником один раз пустили сюда в то лето.

Музыкой тогда заведовал дядечка по фамилии Ленин. «Левин», поправляла мама. «Нет, Ленин!» Даже ругались. Лепсер, как всегда, лез нас мирить. Папочке, как всегда, было до лампочки. На танцплощадку пришел один раз, потанцевал с мамой и дезертировал.

Магнитофон с бобинами. Выцветший плакат «Бони Эм», зеленоватые лица.

Генка застыл, майку наполовину стянул. Ну и долго ты так стоять будешь, чудо мое?

«Купание в крови».

«У бассейна снесло крышу».

«Поплавали!»

«Кровавое воскресенье».

«Бассейн-на-крови».

«Кто ответит за наших детей?!»

— А вчера... показалось... что за мной следят...

Генка открывает глаза и снова закрывает:

— У тебя красивые волосы.
 — Наушники сними, тетеря! Следили за мной вчера. У озера.
 Вытаскивает наушники, кладет рядом на подушку.
 Сажусь на топчане. Смотрю на свои руки.
 А если в колонию, будет возможность, хотя бы ногти? (Не думать... Не думать...)
 Хотя бы ногти в порядке держать, Господи!

Танцплощадка все еще жива.
 Тетки в кофтах пляшут под Леонтьева. «Куда уехал цирк, он был еще вчера».
 Одна подпрыгивает, и все на меня. Узнала, наверное. Ну да, сколько всего про меня.
 Музыка кончилась. Тетки расходятся.
 Выходит баба культорганизатор в берете. Королевский жест рукой:
 — Ва-анечка, прошу вас.
 Хромой Ванечка тащит стенд. На нем портрет. Лицо с глазами и ртом, но без носа.
 — Приглашаются мужчины!
 С завязанными глазами прилепить нос в нужное место. Нос на магните.
 Что-то месячные задерживаются. В последнее время часто опаздывать стали,
 из-за стресса.
 — А где наши мужчины? Не вижу активности!

В то воскресенье я проснулась до будильника.
 Размяла пальчики, для улучшения утренней мозговой деятельности. Раз, два.
 Встала, отключила мобилу. Ванная. Лицо, зубы, душ. Опять Лешкины носки на стиралке! Говорила ж придурку, суй в машину. Присела, полистала журналчик, смыла.
 Причесалась, сняла со щетки волосы. Два седых. Позвонить Мане в салон. Еще одни носки! Устала уже с его носками воевать.

Надо еще одну женщину взять, на постоянно. Жалко Раиса не может. У меня не двадцать рук.

Спустилась в тренажерку. Раз-два, раз-два. Как Лешку загнать сюда? Соплей растет.

А я — каждое утро. Чтоб к сорока в тумбочку не превратиться, как мама, давно, кстати, ей не звонила.

Ходьба на месте. Бег на месте. Снова ходьба на месте. Уф! Попа устала.

Снова душ. Контрастный. У! А!

Ха-ла-тик. Вот так.

И наверх.

Когда уже этот ремонт кончится? Сапожник без сапог. Для других дворцы, а себе два месяца одну спальню не могу.

Кофе! Кофе!

Какой будем сегодня? Нет, капучино у нас был вчера.

Лешка выползает на кухню. Лохматый, опухший.

Доброго утра от их величества не услышишь.

«Ты еще долго тут? Мне плита нужна!»

«Иди пока умойся, плита».

«А можно отвечать на вопросы нормально?»

Уходит. Плита ему, блин. Сейчас еще бум-бум врубит.

Нет, тихо. Умывается? Как же! В зомби свои засел.

Сегодня мы будем варить в турке.

Когда это происходит? Наверное, когда ставлю турку на самый маленький красный кружок. Плита новая, чистенькая, поцеловать хочется.

В бассейне полно народу. «Группа здоровья». Утренний абонемент со скидкой.

Плюс жара. Купальные шапочки. Розовые, синенькие, белые. Без шапочек не пускают. «Мама, посмотри, как я ныряю!»

Звук взрыва.

Кто-то говорил, что слышал взрыв. Следаки вначале будут это копать.

Звук. Сильный. Глыба потолка отделяется и... как в замедленной съемке.

Кофе закипает.

Бросаем гвоздику. Вот так. Немного соли. Немного сахарку. Слышали еще рецепт — обмазать перед варкой турку зубцом чеснока. Надо попробовать. Правда, пальцы будут вонять. Ай-ай-ай! Чуть не выбежало. Ставлю рядом, пусть слегка осядет. Потом снова на плиту. Так вкуснее.

Мобильник был отключен.

Узнала днем, когда примчался зеленый Саныч: «Сидишь? Телек включай!»

Фрагмент купола. Моего купола. Купола, который я строила.

Стояли перед телевизором.

На экране бегают люди. Камера лезла к самому бассейну. Красная вода, ошметки конструкций. «Идут спасательные работы».

Сюжет кончился, пошли другие новости. Мы все еще стоим.

Отыскала на кресле пульт. Нажала.

Все исчезло.

«Шестьсот восемьдесят девять», — сказала женщина.

«Не квакай», — сказал мужчина.

«Я не квакаю. Я говорю. Шестьсот восемьдесят девять».

«Нет, ты — квакаешь».

Они прошли.

Мы с Лешкой снова стоим у нашего прежнего подъезда.

Коттедж продала, надо же на что-то жить. «Аркадию» тоже пришлось. И заказов полгода никаких. Одна мелочь. Хоть фирму закрывай. Не дождутся.

«Как ты стоишь? Не сутулься!» — говорю Лешке.

С мамой на скамейке-качелях. Туда-сюда. Туда. Сюда.

Вечер, солнце за озером. Мамочка какую-то очередную хрень вяжет.

Из главного корпуса доносится свадьба. Бум-бум. Где зимний сад. Бум-бум. Бум.

Днем приехала черная кишка, выполз жених. Куча теток с ногами из фильма ужасов, все в мини.

Качели. Туда-сюда. Солнце почти село.

Из зала голос ведущей:

— А вот и наша невеста! Плечики творожные — ручки пирожные!

Туда-сюда.

— Что смеешься? — мама достает пакет.

— Паука вспомнила.

— Какого?

— В то лето. Что в нос паук заползет во сне.

Мама не слушает. Думает о чем-то.

Складывает свое барахло в пакет:

— Ну что, наигрались там в шахматы?

Идем за папой с Леником. Шахматы те же, что и тогда. Кажутся сейчас меньше. И пешки одной нет, вместо нее баклажка от шампуня.

— А вот и наш жених! Семье — добытчик, жене — не обидчик! Похлопаем жениху!

Бум-бум. Бум.

Саныча нашли в ванной.

Жена с дачи, а дверь взломана. Через неделю после моей двери. Пролежал в ванне дня два. Коваленок сказал, сперва тяжелым, потом утопили. Недавно ванну новую поставил фильдеперсовую, гордый ходил.

«У вас с ним ничего не было?»

Коваленок подвозит меня с кладбища. Я тогда неделю не могла за руль сесть.

«А почему у нас должно было что-то быть? У него своя Света, моложе меня».

Поглядываю в зеркальце. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Все, надо выходить из штопора, подкраситься.

«У меня принцип, — говорю. — Женатых не трогать».

Коваленок щурится на солнце. Надевает черные очки.

Мамочка о чем-то разговаривает на берегу с папой.

«Мама, я ныряю, смотри!»

И ныряю. Я под водой! Рядом опускается Леник.

Ловит мою ладонь. Всплываем вместе.

Недалеко на надувном матрасе тетка плавает, с соседнего столика.

«Леня, Лена, вылезайте на берег», — кричит мама. «Вон губы уже синие!»

Как она оттуда видит наши губы? Смотрю на губы Леника. Начинаю его брызгать. Брызгать!.. А!.. Вот тебе! А! Нет! Нет...

То, что он мне не совсем родной, я узнаю только через пять лет.

Свидетельство об усыновлении.

Старые метрики Леника.

Отцом там значится другой.

Не наш папа.

Долго стою перед тумбой и читаю.

Мама заходит в комнату — и все понимает.

Прижимается щекой к двери.

Я отвожу от нее глаза, смотрю на стену.

На стене фотография, где мы вчетвером. На пляже, в Бултыхах.

«Фотографируемся, товарищи! Фотографируемся на память».

Фотограф Альберт ступает по песку. Майка в виде газеты. Недавно была автолавка, папа хотел такую Ленику, но мама сказала, один раз постираешь — и в мусорку.

Альберт ставит стул, прикрепляет стенд с фотографиями. На фотографиях — люди на пляже, девушки.

«Цветная фотография на финской бумаге. Высылается заказным письмом».

Альберт скидывает сандалии и ковыряет большим пальцем песок.

Его маленькое королевство — на втором этаже главного корпуса. В королевстве стоит чучело оленя, с которым можно сфоткаться на фоне леса. Лес состоит из стенда с фотографией деревьев и одного настоящего срубленного дерева с чучелом совы. Срубленное дерево иногда падает, и чучело скачет вниз по ступенькам. Все это Альберт берет каждое лето на прокат из местного музея, где работает его тетя.

Взрослые сажают на оленя детей, сами становятся рядом. Глаза у оленя стеклянные.

«Сейчас будет птичка», — говорит Альберт.

Иногда на танцплощадке он фотографирует танцы и викторины.

Сегодня он пришел на пляж, снял сандалии и стал ковырять песок.

«А знаете, что?» — папа весело оглядывает нас.

Он только что вылез из воды, капли стекают по его смуглой коже и горят в волосах.

Через пять минут мы выстраиваемся у озера и щуримся от солнца.

«Сейчас будет птичка!»

Мокрый голубь садится на подоконник.

Серый, серый, серый дождь.

«Мам!»

«А?»

«Ты его любила?»

«Отца?»

«Нет — того».

«Любила когда-то. Из армии дождалась, как дура. А когда стало ясно, что я с Ленькой...»

У нас с Леником разные отцы.

Мы не родные.

У нас с Леником разные отцы.

Разные.

Разные.

Господи, неужели я когда-нибудь привыкну?

Подношу к лицу ладонь и кусаю ее. Еще сильнее.

«Птица там, что ли?» — говорит мама.

«Птица».

«А давай-ка сегодня пирог с капустой испечем, у меня еще тесто осталось».

Красный след на коже.

Снова радиорубка.

Я сижу у Генки на коленях. У него мягкие ноги, как подушки. Рядом его друг Арс, музорганизатор, в обтягивающем трико, было бы что там обтягивать.

— Оскар Строк. Ансамбль «Ялла». Трио «Меридиан».

Арс выкладывает пыльные диски.

Я чихаю и чуть не скатываюсь с Генкиных колен. Удерживает. Сам посадил.

Отбираем музыку для моего дня рождения. То, что гоняли тогда, двадцать шесть лет назад.

— Был еще Ян Френкель, — говорю.

— Откуда ты все помнишь? — смотрит Арс.

Когда мы с ним перешли на «ты»?

Ты помнишь, плыли в вышине. И вдруг ла-ла-ла две звезды. Генка сопит в мое ухо. В то лето, мы с ним подсчитали, он был как раз зачат.

«Господи, ну какая же я дура... Какая же я дура...»

«Мам, — подползаю к ней, — мам, ты чего?»

«А ты что не спишь?!»

«Не сплю».

«Спи, давай. Глазки... и на бочок».

«Мам, а что ты сейчас говорила?»

«Ничего».

«А я слышала. А почему ты себя так называла?»

«Слышала — и слышала. Ложись на бочок и это. Вон, Леник уже без задних».

На подоконнике, в Лениковской общаге, вспоминаем эту ночь.

Через пятнадцать лет. Глотаем ледяной кефир.

Леник тоже тогда не спал. Тоже слышал, как мама плакала.

Слышал и сильнее сжимал веки.

Такая у него привычка. Когда что-то не нравилось ему, или пугало. Закрывал глаза и с силой сжимал веки.

Как я сейчас.

Сужу на горячих Генкиных коленях и с силой сжимаю.

Я послушно ложусь на бочок. Мама гладит мои волосы:

«Хоть ты такой душой не будь...»

Не буду, мамочка. Честное ленинское, не буду...

Через год после Бултыхов они разошлись. Папа иногда приходил. Посидит, помолчит. Мама ему чай, конфеты. И тоже молчит. Я зайду. Здравсте — здравсте. Леника уже не было, уже учился в Москве, в «Щуке».

«Выросла», — каждый раз говорит папа. «Большая уже».

Мама вытирает руки о фартук.

Виляя бедрами, с гордым видом прохожу через кухню. На столе мои любимые пирожные буше, которые принес папа. Пусть сам ест. Мне совсем не нравится его новая стрижка.

...обрушилась крыша бассейна старт сколько людей находилось в тот момент в здании установить очень сложно спасатели представители городской администрации пресса все называют разные цифры на место прибыли более ста спасателей спасатели используют гидравлические кусачки бензоре́зы отбойные молотки и другие средства малой механизации...

Боялась, они мне будут сниться.

Эти пятнадцать.

Я знала, что я не виновата. Перепроверили с Санычем все чертежи, расчеты. Плюс экспертиза. Первая, конечно. Вторая уже была понятно какая.

Боровиков Михаил. Устюжан Виолетта. Хачиев Максим. Баскаков Андрей Валентинович...

Не снились.

В первые ночи мне вообще ничего не снилось.

Бессонница, торчала в сети, глотала кофе и отрубалась в одежде. Крепко закрыть глаза. Еще крепче.

Утром не могла подняться. Сквозь вату слышала, как Лешка уходит в школу. Дверь распахнет: «Мам, деньги!».

Накрывалась от него подушкой.

«Если вы в своей квартире — лягте на пол, три-четыре...»

В семь тридцать во всем дом-отдыхе включается хриплый голос.

Физручка Лира Михална с красным лицом и огромной попой ходит по площадке. «Веселей, товарищи отдыхающие!» Спускаются по ступенькам, выстраиваются рядами, приседают, машут руками и бегают вокруг маленького серебристого Орджоникидзе.

Я смотрела из окна, как они бегают. Впереди Михална, за ней остальные. Вставали возле Храма Воздуха, от которого всегда воняло мочой, и делали приседания.

После ужина Лира Михална приглашала всех в актовый зал. Рассказывала о прежних хозяевах усадьбы, пускала по рядам портреты с размытыми лицами, «оленьки», «коленьки»... Потом надевала шаль и устраивала вечер поэзии. Под конец вечера исполняла по просьбам романс про ветер в терновнике. А утром снова бегала, как заведенная, вокруг клумбы с памятником. «Раз-два. Раз-два. Веселей, веселей!»

А еще она была дом-отдыховской гадалкой.

Это было тайной, которую сообщали всем новеньким.

И мама пригласила ее. Нас с папой усала дышать воздухом. Папа с Леником стали играть в свои шахматы, я постояла, испачкала платье об стену, пошла на танцплощадку. Танцы еще не начались, и я вернулась.

Мама сидела со странным лицом. Лира Михална складывала карты.

«Да не волнуйтесь вы! Карты только прогнозируют, остальное в ваших руках. И приходите утречком на зарядку».

Вернулись папа с Леником, о чем-то стали рассказывать.

Мама обняла Леника и прижала к себе.

«Мам, а меня!» — ходила я вокруг. «Меня обними! Ты меня уже два дня не обнимала!»

Вначале в бассейне искали кавказский след. Народ обрадовался, сразу «кавказцы» на заборах, то-се.

Кавказцев у нас почти нет. В начале девяностых были, как везде. Погалдели, поторговали, исчезли. Теперь? Таджики, узбеки. Как везде.

Кого-то уже избили. Из них, этих. Засняли на камеру, выложили в сети.

И в бассейне искали кавказский след. Почти уже нашли.

И вот тут под нашим Кашеем Бессменным качнулось кресло.

Кавказский след сразу потеряли.

В день, когда Кашеев слетел, мне позвонили из прокуратуры.

«С вами говорит Алексей Коваленок...»

«А детей у них не было...»

Темно. Я хочу включить свет, но страшно вставать.

«Лень, включи. По-жа-алуйста.»

Мы лежим в темноте. Мама с папой ушли на взрослый фильм. По потолку ползают голубоватые пятна.

«Это нельзя рассказывать при свете», — говорит Леник могильным шепотом.

Я хочу прижаться к нему. Вдруг Леник — это не мой Леник, а кто-то другой?

Но кто? Инопланетян?

Да, Инопланетян. Который прилетел на Землю убивать из лазера советских людей, особенно девочек.

Отворачиваюсь к стенке, чтобы не видеть его светящееся лицо.

«Так вот, детей у этих короля с королевой не было...»

Я хочу спросить, почему у них не было детей. Может, они никогда не целовались? Или просто не знали, что нужно целоваться по-специальному? Я сама только недавно узнала. А они жили так давно — еще не было ни газет, ни радио, ни самолетов.

Но я не спрашиваю. Я даже боюсь посмотреть на Леника. Только чуть-чуть повернусь... Вот так... Нет, нет, это не Леник! Точно. У Леника другой нос, а у этого... к которому я сейчас прижалась, носа совсем нет — какой-то обрубок! Как у самого настоящего мертвеца!

«И тогда они встретили в темном переулке старуху. Она была старой и очень страшной, потому что у нее вот отсюда торчал зуб. Но они так хотели детей, что спросили, что им нужно делать, чтобы получились дети. И она захохотала им в лицо и сказала своим голосом: "Разденьтесь до трусов, поцелуйтесь и съешьте это яблоко!" И достала из кармана своего черного плаща красное-красное яблоко! И от этого у них родилась принцесса».

На обед куриные отбивные. Между столами бродит тетка в трико: «Все отдыхающие каждое утро на оздоровительную разминку и поклонение солнцу».

Видела я это их поклонение. Бегают вокруг клумбы с георгинами, потом приседают. Тетка скучным голосом кричит: «Солнце. Воздух. Земля. Космическая энергия». Все повторяют и машут руками. Надо будет спросить ее о Лире Михалне, умерла уже, наверное.

А после обеда папу прорвало. Доказывал Ленику, что столицу нужно перенести из Москвы. Стоят возле шахмат и спорят.

— Умные люди все уже рассчитали, — говорит папа. — Столицу нужно перенести в Новгород.

— Какой, Нижний?

— Великий.

— Почему в Новгород?

— А куда еще? Древний город, с историей. Это — раз. Нельзя переносить туда, где ничего не связано... Все там есть. Кремль есть, потрясающий. Софийский собор, красота. И положение географическое — как раз между Москвой и Питером.

— Граница слишком близко.

— А у Москвы — не близко? Ночь на поезде и уже Украина, другое государство. Главное, Москва перенаселена. Не город, а антропогенная катастрофа. Потом в номере тебе цифры покажу.

— Но зачем переносить на север?

— Так глобальное потепление! Ну что, подпишешься?

— Надо подумать.

— Ну, думай. Сейчас не думать надо. Спасать, пока есть что. А ты, Елена Прекрасная, что молчишь?

Я подхожу к ним, притягиваю к себе и обнимаю обоих.

У танцплощадки заметила Гену. Стоял с какими-то мужиками. Хотела помахать. Мужики подозрительные. И он с ними.

Стою такая, соображаю. С одной стороны, голову помыла, а с другой — эти мужики.

Пока соображала, увидел. Оставил этих, подбежал, привет — привет. Стоим.

— У тебя день рождения послезавтра?

— После послезавтра. А что? Какие идеи?

— Идеи... Разные. Ну, я пойду.

— Кто это с тобой?

— Да так. Я пойду.

И лыбится, как козел. Ну, иди, иди. Чего стоишь-то? Иди, топай давай.

— Я тебе позвоню, — говорит.

— Куда «позвоню»? Мобильный отключен!

Полночи потом не спала.

Мужики эти перед глазами, и суд предстоящий, и Саныч, и все...

— Ле-ен! Чего не спишь?

— Сплю, мам!

Встала, нашарила мобильник. Отключенный все эти дни, после того звонка. И со своих клятву взяла, что звонилки вырубят.

Вышла на балкончик, села на холодный стул. Врубила, стала смотреть принятые. Одно от Адочки. «Как там Коленька? Видела сон, волнуясь. Приходили устанавливать счетчик». Сны она, блин, видит. Всех еще переживет.

От Лешки ничего. Ну да, кайфует там сейчас, со своими ролевыми, что ему мать? Плюнуть и растереть.

И от Генки ничего. Все просмотрела. Ничего.

Еще от Коваленка, свежая. «Лена, когда назад? Обо всем подозрительном сообщай».

Верчу в руках мобильный. Генка. Мужики.

Чушь, просто нервы.

Последний раз я видела Леника в девяносто шестом.

Из общаги его выгнали, в театре не работал. Просился осветителем, не взяли. «У осветителя не должны трястись руки.»

Шли с ним по Мясницкой.

«Посмотри, разве они трясутся? Трясутся? Что молчишь?»

Жил в подсобке, черные стены, проволока. Было поздно, осталась там ночевать.

«Кефир будешь?» — Леник искал что-то под столом, гремел банками. «Есть кефир».

Я помотала головой. Представила себе этот кефир. Потом курили, он — свое, я — свое.

«Жизнь еще не кончилась», — я достала зажигалку.

Чай крепкий, сна не было. Лежала не раздеваясь, и рассказывала ему, как он восстановится в театр, зашьется, станет известным, приедет к нам на лето. И мы все поедем отдыхать. Слышишь? Ну, а почему не в Бултыхи? Они еще, наверное, существуют.

«Существуют», — Леник сел на своем топчане. Посидел немного, снова лег и накрылся с головой.

Потом мы не виделись года два. Потом... Суп с котом. Он уже жил непонятно где. Подвал, запах сырости, и еще запах чего-то. «Чем пахнет, Лепс?» Проснулась ночью, побродила в темноте, голова гудит, нашла Леника возле газовой плиты, глядел на пламя и курил. На огне шипела кастрюля, шел запах. Мне стало не по себе, я спросила, что он готовит. Он молчал. Я повторила вопрос.

«Суп с котом».

Поднял крышку.

Потом я час мерзла возле метро, ждала открытия. Рядом курила путанка, поглядывала на меня.

Когда я убегала, он сказал, что пошутил. В кастрюле плавала кошачья голова. Может, показалось. Может, надо было остаться? Ну, осталась бы, и что?

Сидела в пустом вагоне, путанка спала рядышком. Тупо глядела в схему московского метро. «Жизнь только начинается».

Через год у меня уже был английский. Потом два года у турков, потом уже была своя фирма. Своя строительная фирма. Свое кафе, «Аркадия». Два года в десятке самых состоятельных женщин города. Пока не рухнул бассейн.

Воскресенье, утро. Мы идем в церковь.

— Не беги, мам!

То еле шевелится, то третью космическую врубила.

Церковь недалеко. Ноги вялые. Нет уж, раз решили. Потом на рынок. Крыжовник. Мама яйца еще хочет, вот такие они тут, говорит, а цены — не поверишь.

— Служба уже началась, — опять понеслась галопом.

— Ну не по билетам же!

Церковь новая; мама сует мне платочек из сумки.

После обеда играли на берегу с Леником в родинки. Считали их друг на друге. Я победила, я вообще чемпион по родинкам. Лепс обиделся и ушел купаться. Специально далеко уплыл, чтобы я думала, что он утонул, и бегала по берегу, как в прошлый раз. А я и не думала бегать. Еще раз пересчитала родинки и пошла в корпус. Если он утонет, мне больше будет жалко маму, потому что она его очень любит, а я его еще сильнее люблю. Пока шла и слезы вытирала, он меня догнал и пошел рядом мокрый, будто ничего и не было. И сланцы хлюпают.

«Лень... А ты веришь в вампиру?»

«В чего?»

«Ну, в вампиру эту, которую рассказывал?»

Он смотрит на меня.

Резко дергает меня за руку:

«Бежим!»

Несемся мимо шахмат, кино, клумбы, Орджоникидзе, чуть не сбиваем Альберта, через Храм Воздуха.

«Ты чего... Ты куда?» — пытаюсь вырвать руку.

Забегает за забор, останавливается. Сердце стучит, темно и воняет чем-то.

«Ленька, ты че?»

Его лицо начинает меняться. Глаза делаются огромными.

«Я не Леня. Я...»

Я визжу.

Кусты раздвигаются, появляется физиономия Альберта.

«Дети, вы тут что делаете?»

Я машу на него, шепотом:

«Уходите, пожалуйста! Мы тут в инопланетяна играем!»

«А... Это который с другой планеты пришел?»

«Из другой вселенной! Ну, пожалуйста!»

«Скажи папе, Альберт сделал фотографию, пальчики оближешь, пусть заберет».

Уходит.

Стоим с Леником, смотрим друг на друга.

Мама взяла меня за локоть и подвела к нужному столику.

Я стала зажигать и ставить. От платочка чесалась голова.

Одна... Вторая...

Пятнадцать свечек. За тех самых.

Я не виновата. Не виновата. Господи, Ты же знаешь, две ночи сидели с Саньчем, перепроверяли, две бутылки коньяка выдули, документы — не подкопаешься.

Двенадцать... Тринадцать.

Если меня посадят... Или что-то со мной сделают. Вас это уже не спасет, а у меня жизнь только начинается. Хорошо горят. Остаются еще две. Может, за Саньча? Он крещеный был, на похоронах молодой батюшка приходил, приятный такой.

Пока соображаю, окно распаивается.

Нет!

Я проснулась счастливой и взрослой.

Сегодня мне девять лет. Это целое событие в жизни.

Мама уже встала и куда-то сходила.

Я слышала, когда еще не совсем проснулась. Лежала с закрытыми глазами, а сама слушала, как они будут готовиться, хотя в туалет хотелось, а мама говорит, терпеть нельзя, прыщики будут.

Ну ладно, так и быть, открываю глаза. Солнце! Мама стоит в моем любимом платье и ставит в воду цветы. Это мне? Какое счастье!

«С днем рождения!»

И все меня целуют. И Леник. Я прижимаюсь к нему. Он краснеет, какой глупый.

«Подождите», — говорю строго. «Сейчас я должна обязательно умыться!»

«Умывайся! Только быстрее, завтрак прозеваем».

Нет, нет! Только не опоздать на завтрак! Только не опоздать!

В ванной никаких букетов и украшений нет, но все равно все какое-то праздничное, приподнятое: и мыло, и полотенце. Сажусь на унитаз, болтаю ногами. Потом смотрю на грудь. Кажется, немножко выросла. Или нет? Мама говорит, что...

«Ле-на!»

Ой, господи, еще зубы! Еще эти дурацкие зубы! А они там шепчутся, я же слышу! Быстро глотаю пасту и выбегаю из ванной:

«А вот и я!»

— Представляешь, все сразу погасли. Все свечи, которые ставила.

Лодка мягко отталкивается от берега.

Гена на веслах, рядом букет. Красиво, только обертка скрипит. Вода солнечная, зеленая. А меня все озноб. Не могу.

— Выбрось из головы.

— Понимаешь — все. Если бы хоть одна осталась. Ну хоть бы одна.

— Глотнешь?

— Давай... Гадость какая. Где ты его берешь?

— Вернемся, я у себя пиво приготовил, рыбку.

— Ген, я серьезно. Это не шиза, понимаешь. Всю колотит. Меня будут судить, понимаешь, как преступницу. Или грохнут до суда просто, как моего зама. Что ты молчишь? И еще...

— Что?

— Нет, ничего. Так... Что ты так странно смотришь?

Отворачиваюсь, чтобы не видеть его. Наверное, нервы, бессонная ночь. Утром рвало, вообще никуда не хотела плыть.

— Дай еще хлебнуть...

Проплываем островок Тайвань. Здесь всегда кто-то рыбачит, удочки торчат. А сегодня пусто.

Недостроенная вилла местного олигарха. Начал строить, и посадили. Башня торчит, собака лает. Дохлая рыба вверх животом плывет. Солнце греет, бренди в ушах шумит, глаза закрываются. Темнота. Распахивается окно, гаснут свечи.

Счастье продолжается!

Вначале мы всей семьей завтракали. Завтрак был вкуснее, наверное, это папа договорился. Компот — настоящий деликатес, даже пить жалко. И нельзя добавки попросить, или можно, пап?

Папа пошел добывать добавку. Я же именинница. А Леник сказал, что я обнагле-ла от своего дня рождения. Завидует. Вот уже папа гордо возвращается с компотом, и показываю Ленику язык, чтобы не воображал.

Леник смотрит на меня, потом вдруг берет нож.

Не обычный, столовский, которым ничего не разрежешь, а такой...

И смотрит, и лицо у него сразу другое. А мама с папой ничего не замечают, папа про футбол свой, мама сахар мешает. Мама! Мамочка! Не слышит. Шепчу: «Леник, миленький, не надо... Леник, ты же мой родной братик, не надо!..»

...Труп был найден в озере на вторые сутки вначале жертве были нанесены множественные ножевые раны женщина оказала сопротивление затем была утопле-на ведется следствие.

— Ген...

Не знаю, сколько спала. Холодно, зубы стучат. И запах крови, не могу. Откуда? Солнце ушло, все серое. Уже на середине озера.

Краем глаза замечая, блеснуло что-то на дне лодки.

Нож!

Нож. Нож. Тот самый. Быстро смотрю на Генку. Чтобы он не заметил.

Молчит, смотрит.

Понятно. Господи, какая я дура! Поверила... Кому поверила?

До берега далеко, нет... Схватить нож, броситься на него? Пока не ждет.

Или ждет? Ждет. Главное, не смотреть на него. Не смотреть.

— Гена... Ген!

Молчит. Не смотреть. Только не смотреть.

— Гена, я все поняла. Слышишь, я все поняла.

Молчит.

— Сколько они тебе за меня... А? Говори. Гена, я не виновата. Ну не молчи... Ни в чем! Ни в чем, все пере... проверили. А у меня сын...

Молчит. Или в воду? Не доплыву. Время потянуть! Может лодка... хоть какая-нибудь, Господи!

Нет. Никого.

Чувствую спиной, как он наклоняется.

Все.

— Лен, гляди, какая чайка прикольная!

И наушники из ушей достает.

Улыбается. Один мне протягивает:

— Хочешь? Арс переписал, что ты отобрала. Классные такие... «Ты помнишь, плыли в вышине-е...» Ты, че с тобой? Лена! Лена, ты че?

— Бренди еще хочешь?

Накрыл меня курткой.

Помотала головой. Погладила его щеку:

— Хомяк...

Еще трясет.

Пристроился рядом. Небо в лицо.

— Спинку вот здесь погладь... Да. Нет, выше. Хорошо. Отпускает. Так там еще... в бутылке?

— Ну. Дать?

— Нет, не надо. Не злишься, что их выбросила?

— Наушники?... Ладно. Старые уже были.

— Ген... Это уже не спинка...

Вода не холодная. Солнце. Пожарная вышка под водой. Все прозрачно, как мягкое стекло. Церковь, луковка в тине, крест, все шевелится. Мелкие рыбы.

Кажется, что внизу идут люди. Гена говорит, только раз в год здесь такая вода.

— Вода, — Генка вытирает меня, волосы, руки, — я читал, она как человек. Чувствует, соображает... Живое существо, короче.

Подгребаем к недостроенной вилле. Крыша в черепице. Окна пустые. По берегу носится овчарка.

— Это Герда, — говорит Гена. — Наши ее иногда подкармливают, а то сдохла бы.

— «Наши»?

— Ну. Серега, Саныч. Спасатели. Ты их тогда видела... Герда! Герда!

Швыряет на берег сверток. Вот откуда кровью воняло, из свертка. Собака бросается к нему, тощая, с отвисшими сосками.

— Подплывем к берегу?

Генка мотает головой:

— Не подпускает. Охраняет. Этот ее олигарх уже два года сидит. Жена, топ-модель местная, уже к другому, а эта сучка все ждет его.

Герда возится со свертком, мотает его по траве.

— А кувшинки при нем тут посадили. Нож дай.

Плеск воды. Плывет рядом, срезает.

— На, держи...

Мокрые желтые цветы. Мокрая рыжая шерсть на Генкиной груди.

— Ген, не надо желтые.

— Почему?

Кладет мне на колени еще порцию, с них капает.

— Потому что.

Притягиваю его мокрую голову к себе.

Леник стоит на берегу, губы сжаты.

«Ты где была?»

«На катамаране... Потом на речке.»

«Почему не предупредила?!»

«Потому что я сказала, что на озеро.»

«На озеро! Мы весь пляж уже...»

«Я не одна была, я со взрослыми, меня твой друг покатал, мы тебя тоже хотели взять, а тебя не было!»

«Пошли! Отцу это расскажешь.»

«Так нечестно! Тебя Данилов катал, а меня нельзя?»

«Пока ты там каталась, человек утонул! На моторке.»

«Не каталась я ни на какой моторке! Отпусти.»

«А нам сказали, что тебя там видели, там ребенок был!»

Мы идем по пляжу. На нас все смотрят. Вылезает из воды музорганизатор: «Нашли?».

«Видишь? Перед всеми нас опозорила.»

«Леник... Пожалуйста, скажи, что я сама нашлась! Что сама!»

В соснах белеет «скорая помощь». Вокруг нее люди. В машину затаскивают носилки. Мы останавливаемся.

Возле машины стоит Лира Михална и объясняет, как все случилось. Он закрутил руль и заснул посреди озера. Проснулся, забыл что закрутил, и включил мотор. Лодка начала крутиться, его выбросило, а потом еще и лодка по нему проехала.

«Идиот», — заканчивает Лира Михална.

Задняя дверца захлопывается.

Машина трогается с места.

Старый дедушка Коль был веселый король.

Громко крикнул он свите своей:

— Эй, налейте нам кубки,

Да набейте нам трубки,

Да зовите моих скрипачей, трубочей,

Да зовите моих скрипачей!

Королевский замок весь в огнях.

Играют музыканты, на подносах разносят кушанья, соки, компоты. Придворные, рыцари, дамы. Все танцуют.

Но лица у них очень грустные.

С тех пор как принцессе исполнилось шестнадцать лет, каждое утро кого-то в замке находили зарезанным, и без крови.

Вначале не знали, кто такими вещами занимается. Не думали, что это принцесса, которую все любили и постоянно делали ей разные сюрпризы. Поэтому все только друг друга спрашивали: «А вы, случайно, не знаете, кто по ночам кровь пьет?» «Нет, не знаем...»

Тогда поставили дежурных, а те смотрят, принцесса ночью выходит из своей принцессинной комнаты и идет такая деловая. А утром, пожалуйста, — еще один труп. Тогда дежурные пошли и сказали королю и королеве. Но король с королевой их даже не слушали. Еще и наорали на дежурных. «Наша дочка — кисонька, золотко и пятерочница, а будете еще ябедничать, сразу вас казним, потом не обижайтесь».

А сами каждое утро стригли принцессе ногти, потому что ногти у нее росли со скоростью света, и вот они сами видят под ногтем каплю крови. А принцесса такая говорит: «А это я в носу нечаянно ковыряла!». Но король с королевой уже все поняли, откуда капля, и стали на ночь принцессу закрывать. Днем она же нормальная, гуляет, танцует, как человек, а ночью — вампира, и объяснять ей бесполезно, совести ни

капельки нет. Стали ее закрывать на вот такой замок. А она на него только смеется, она и через закрытую дверь проходит, она же нечистая сила.

Тогда одна добрая фея королю с королевой говорит: «Вы ключ снаружи в замочной скважине оставляйте. А если что, ударьте ее по левому плечу, и она умрет». Королева говорит: «Нет, не могу, это я сама виновата, я так ее избаловала, все ей разрешала, а она не виновата!» Фея говорит: «Ну смотрите, я вас, как родителей, предупредила». И улетела. А вампира уже всех и в замке, и в королевстве убила, даже короля. Осталась только королева. И еще один слуга с дочкой, они вампире прислуживали, причесывали ее золотистые кудри и за продуктами ходили. Тогда вампира взяла и королеву тоже зарезала: плевать, говорит, что это родная мамочка, и захохотала. А королева при смерти позвала слугу и сказала ему и про ключ, чтобы из двери не вынимал, и про плечо. И умерла. Слуга быстро похоронил королеву, крестик поставил и пошел по своим делам. А тут уже ночь наступила, темнота, ни одного огонька, людей же кругом нет. Слуга вампиру закрыл, дочку тоже спать уложил, прочел ей сказку и сел картошку чистить. И смотрит на дверь, как принцесса выкручиваться будет. И еще чеснок, весь, какой в королевстве был, притащил на кухню. И вот часы бьют полночь, и ключ начинает медленно, медленно...

И мальчик, что играет на волынке,
И девочка, что свой плетет венок...

Леник задирает голову и смотрит в небо.

Небо белесое. Погода будет меняться. Завтра мы уезжаем.

На голове у него венок. Сплела ему, пока шли. Дай, надену. А лицо у него какое-то желтое.

— Лень... Куда это мы пришли?

— Тебе здесь не нравится?

Тропа Здоровья давно кончилась.

Сосна поваленная. Сажусь, со шнурками разбираюсь.

— В кроссовку что-то попало.

Вытряхиваю, смотрю на Леника. Он уже не читает стихи.

— Лень, что у тебя лицо такое?

— Лицо? Какое? Нормальное.

— Что там про девочку закончилось?

— Какую?

— «Какую?» Которая венок.

— Да... не знаю.

— Сплела и ушла, да?.. Ну, что с тобой?

— Голова болит.

— А если на нас сейчас нападут волки, ты меня защитишь?

— Волки? Нет тут никаких волков.

— Фу, как скучно.

Беру его ладонь. Лед!

— Ты что?

— Хочу согреть.

Звук мобильного.

Вырывает руку, я чуть не падаю.

— Лепс, ты что — не отключил?!

— Подожди...

Быстро читает эсэмэску, нажимает...

— Отключил, успокойся!

Садится рядом на ствол. На лбу капли пота.

Кладет мне ладонь на колено.

— Ладно, Лепс, загулялись. Возвращаться пора.

Пытается удержать.

— Не надо. Ты мне что-то хотел сообщить?

— Когда?

— Сейчас.

— Хотел.

— Ну так сообщай.

— Слушай, а ты не устаешь?

— От чего?

— «Пошли!» «Говори!» «Садись!» «Ложись!»

— «Ложись» я тебе не говорила.

— Мне — нет.

— А... А мы, значит, Отелло?

Молчит.

— Не дождался окончания контракта? Мог бы пару дней потерпеть.

— А я контракта не нарушаю. Я тебе это все как брат говорю.

Как брат. Ну-ну. Снимаю с него венок. Верчу в руках.

Бросаю в сторону.

— Разжаловала?

— Завял просто.

Треплю его по затылку:

— Пошли, Отеллушка, новый сплету. Если сцен ревности не будешь.

— Ревности... Лен, а вот если честно, зачем он тебе?

— Кто?

— Мистер Красные трусы.

— А тебе — что?

— Он же — во... — Постучал по лбу, чмокая губами. — Спроси его, когда книгу в последний раз держал.

— Это ты мне тоже как брат говоришь?

— Нет. Уже не как брат.

— Отпусти, мне больно... Да клешни какие-то!

— Просто я тебе подхожу больше.

Ну вот, приехали.

В театры я вообще не хожу, особенно в Молодежку. Еще в Драматический, понимаю, туда хоть элита наша сраная ходит. А Молодежный только на билетах держится, которые среди школ распространяют.

А тут им что-то перепало по федеральной программе, на реконструкцию. Им, и филармонии. Филармонии пожирнее, туда сразу и очередь типа тендер: и Минасянов, и «Веста», и вся честная компания. А на Молодежку что? Возни много, здание старое, дешевле снести и копию сляпать, как с бывшим Госбанком на Ленинской. Ладно. Мне что? Заказов почти нет, из-за бассейна. Ну и Саныч еще. Работал у него там кто-то. Давай, Елена Николавна. Ладно, договорились, поехали посмотреть. Саныч еще всю дорогу кашлял, с гриппом. В сторону, говорю, кашляй, закашлял уже меня всю.

Приехали. Сарай-сараем, но что-то кольнуло. Классом нас сюда водили, сейчас вспомню. «Спящая красавица»? Поднимаемся на второй, директор такой на встречу, ладошку потную сует. Кабинетик такой, ничего. Мебель, картинка. Ну, давайте, пойдем, посмотрим. Стал по развалюхе экскурсию проводить. Зал посмотрели, примерки. С Санычем только переглядываемся, такая кругом задница. «Осторожно, тут у нас пол разобран!»

И тут я увидела его.

Вышел откуда-то из темноты, в сером свитере. Я чуть не крикнула.

«Аскольдов! — Директор на него, — почему вы вчера не были? Знаете, что Владимир Маркович говорил о вас? Вам уже передали?»

Для нас старался, типа начальник же.

«Кто это?» — дождалась, когда отошли, когда он остался за спиной, в сером свитере.

«А вы не знаете? Аскольдов, наша восходящая звезда. Всего год у нас, уже блистательно сыграл Чиполлино. Вы не видели? Не ходите? Зря. Поет под гитару, стихи пишет. Сейчас Владимир Маркович дал ему Трубадура, да, да, "Бременских" решили, премьеры на носу. Но дисциплина наше больное, да. Я вам пригласительные пошлю».

Через неделю я сидела во втором ряду на «Бременских».

Лешке предложила, давай вместе. Сейчас-з. Ну и сиди, раз «уже не маленький»; ужин в микроволновке, чао-какао.

Играли неплохо. Но следила только за ним. За Трубадуром. Лев Аскольдов. Аскольдов. Остальные, принцесса там... А Король точно под нашего мэра работал, Кашеева. И голос, и все. Дети, конечно, не поняли, и взрослые не все. Ну, некоторые посмеялись, похлопали. Разбойники тоже ничего, живые такие.

Но это так, боковым зрением. Я глядела на Трубадура. Иногда так становился похож, что закрывала глаза. Крепко, как ты меня учил. Все нормально. Если у разных там, Ленина, Гитлера, могут быть двойники... «Ничего на свете лучше не-е-ту, чем бродить друзьям по белу све-е-ту!»

Через три дня мы сидели с ним в «Аркадии». Пили кофе. Я излагала свой проект. Нет, не реконструкции. Проект «Бултыхи».

«Ты согласен?»

«Надо подумать».

...Ключ медленно стал поворачиваться.

И остановился.

«Эй, вы там, откройте! Я кому говорю!»

Слуга стоял, не шелохнувшись.

Потом медленно сел.

«Откройте же, я приказываю!»

«Днем приказывать будете, ваше высочество! А ночью вы уж меня слушайтесь».

«Что? Что ты говоришь? Да как ты смеешь?»

«Да уж смею, ваше высочество. Сидите себе смирно и не фулюганьте. А утречком я вас, так и быть, отопру. А может — и не отопру».

«Отопри! Отопри, мерзавец, подлец, урод!»

«Сейчас, разбежался!»

«Отопри... Я отдам тебе все сокровища!»

«А зачем мне твои сокровища, если вы меня тут же своим ноготком: чик! И пык. Сидите уж и глупостей не говорите. А сокровища я и без вас взять могу. И мантию, и шмантию, и корону. И вообще королем тут могу стать. А что? Завтра с утра пораньше и взойду на трон. Только подданных надо будет пригласить. И королеву...»

Из-за двери донеслись странные звуки.

Слуга прислушался. Погладил дверь.

«Да я бы тебя, вампирушка, взял... С собой ты не дурна и королевской крови. Но с такими привычками, сама понимаешь, какая ты невеста».

«Стоп, стоп, стоп!» — Александр Маркович поднимается, сморкается в платок.

«Лева, золотой, опять отсебятинка? Опять. Ну и когда мы роль будем знать?»

Я сижу в полупустом зале.

Репетиция затягивается. Договорились, что заеду в три, и обедать. В «Аркадию»? Нет, в «Аркадию» надоело. Или в грузинский? Смотрю на время. Полчетвертого.

После той, первой встречи в «Аркадии» мы встречались еще два раза.

Первый раз пришел мокрый, в дождь, сказал, что подумал и не может. Не может. Посидели, попили кофе. Рассказывал о театре. Что рассказывал? Что «Бременских музыкантов» они называют «Беременскими», — как их ставят, артистки косяком в декрет. Прошлый раз забеременели Принцесса и Собака, еще и Атаманша, от которой такой подляны вообще не ждали...

Я слушала весь этот треп, сыпала сахар в пустую чашку. Сказала, что жаль. Может, он еще подумает? Может, не устраивает оплата? Устраивает? Так в чем дело, товарищ Трубадур? Подвезла его до Лесной, где он снимал хату, выскочил в дождь, дверцу плохо захлопнул. Глядела, как он бежит под дождем. На следующий день звонит, просит о встрече. Сидим в «Аркадии». Просит заказать ему martini. Пьет. Говорит, что согласен. И еще martini, пожалуйста.

Сегодня я принесла ему семейные альбомы. Один из дома, другой потихоньку у мамы. Он попросил, для вхождения в образ. Сажу, держу на коленях. Листаю. Молодая мама. Папа со мной. Мы все на пляже в Бултыхах. Наша свадьба с Антоном, это можно не показывать.

Наконец, актеров отпускают. Прячу альбом, поднимаюсь. Ну, и где мы? Был, исчез. Слышу сзади шепотом: «Привет, сестричка»... Вздрагиваю. Ленкин голос, интонации, все.

Поваленная сосна.

— Ладно, Лень, — снимаю с себя его руки. — Не надо.

— Сказать, почему я согласился на это все?

— Ну, скажи.

Знаю, что скажет. Его проблемы. Моя совесть чиста, намеков я не давала. Если что-то себе нафантазировал, сам виноват. Он — мой брат. И будет моим братом. Еще три дня. Три счастливых дня. Как договаривались. Инцест по сценарию не предусмотрен.

— А Гена у тебя по сценарию был предусмотрен, да? Он тоже кого-то изображает?

— Послушай, Лепс... Мне вообще-то достаточно лет, чтобы...

— Ага, достаточно. Вот и потянуло на молодняк.

— А вот хамить не нужно.

— А кто тебе сказал, что...

— Не нужно, говорю, хамить. Это мое личное дело, с кем я и вообще. Тоже мог бы себе найти здесь, пожалуйста. Я бы никакой ревности тебе не устраивала.

— А у меня с этим вообще никогда проблем не было.

— Вот и рада за тебя. Что так смотришь?

— Но амеба же! Просто амеба.

— Насчет второй части спорить не буду.

— Какой второй части? А... Хм. Ну если у тебя такие скромные запросы. Ну, о-о-чень скромные.

— Ой, а ты откуда знаешь, какие у меня?

— Да видел.

— Что-что?

— Проехали.

— Нет уж, скажи. И что ж такое ты видел?

— Проехали, говорю.

— Нет уж, раз начал...

— Проехали, следующая станция «Новые Жопки».

— Что — ты — видел?

— Отпусти... На озере... В бинокль. Как вы в лодке. Довольно примитивно.

Мне становится смешно.

Сразу представила. Мы с Генкой. И этот придурок недоделанный с биноклем.

— Что смеешься?

— Да так...

Сажусь на траву. Порыв ветра.

Садится рядом, прижимается. Господи, как похож все-таки.

Кладу голову ему на плечо.

Небо вспыхивает.

— Бежим! — вскакиваю, хватаю его за руку. — Сейчас ливанет! Тикаем... Ленька!

Удар грома.

— Солнце!

Группка в спортивных костюмах послушно поднимает руки.

— Воздух!

Все машут руками.

Солнца нет. И воздух сырой, бр-р.

— Космическая энергия! Приди к нам, космическая энергия!

— Иду, иду... Иду, мам.

Отхожу от окна.

— Давай, — мама возится с дорожной сумкой, — помоги мне с молнией.

До двенадцати ноль-ноль надо освободить номер.

На завтрак сырники со сметаной.

Котлеты с гречкой. Котлеты не надо. «На дорогу надо поесть», — мама подвигает мне тарелку.

Мама с папой пошли в номер, а мы с Леником искали на прощание белок. Спустились к озеру.

— Нынче ветрено, и волны с перехлестом... — читает Леник. — Скоро — осень, все изменится в округе.

Да, скоро все изменится.

Очень скоро. Вернемся, надо будет срочно на УЗИ. Хотя и так ясно. Картина Репина «Не ждали». Она же — «Приплыли». Почиститься, разгрести дела в офисе, поговорить с Казимировым. И ждать суда.

— Пойду в номер. — Леник зеваает. — Родителям помочь надо.

На горизонте появляется Гена. Понятно. Встреча боевых друзей на Эльбе.

Леник засовывает ладони в карманы треников и гордо удаляется.

— Привет! — Генка хватается меня за руку, мнет ладонь. — Что это он убежал?

— Не знаю. Тебе, наверное, обрадовался.

— Станный он, этот, твой. Ребята говорили, я еще тебе хотел сказать, ходит, что-то следит. За нами, за тобой. Наши хотели с ним поговорить, нет, чисто поговорить, я сказал, что не надо, это ее брат. Он тебе брат ведь?

— А что?

— Не похожи.

— У нас отцы разные.

И матери, мой милый. Но тебе это знать не обязательно.

Вспоминаю, как бежали вчера с Леником под ливнем. Вымокли как собаки. Вернулись, а горячую воду отключили, душа нет. Грелись феном.

— Сегодня уезжаете?

Киваю.

— Лена...

— Что?

На озере волны. Кусты облепили, катамаран на цепи качается.

«Чем там кончилось, Лень? Ну, скажи, чем?»

Льет дождь. Лежим. Ленка рядом, с мокрой головой. Мама с папой в фойе, там телевизор, взрослые.

«Ленечка, ну что там было? Ты всегда расскажешь до интересного, и бросаешь!»

«Потому что ты дурацкие вопросы задаешь».

«Какие я дурацкие вопросы?»

«На балконе».

На балконе мы были недолго. Леник сказал, что должен постоять под дождем. Я попросилась с ним. Было темно, мокро и щекотно, дождь был теплым. Что я его спросила? Ничего не спросила. Один вопрос задала, и все. Специально выдумывает, чтобы не рассказывать.

«Лень, ну что там эта вампира сделала?»

«Ничего».

«Совсем? Она больше не выходила из двери? Так и сидела до пенсии, да?»

Леник хмыкает, но молчит.

«А я знаю, — подвигаясь к нему, — она исправилась. Исправилась?»

«Вампиры не могут исправиться», — говорит Леник, берет мою руку и притягивает к своей голове. «Потрогай, мокрая еще?»

«Мокрая. А почему не могут исправиться? Они что... Они как фашисты, да?»

«Они хуже!» — Леник вытирает голову. «Фашисты никогда не бывают бессмертными. Вообще! Сбросить на них бомбу, и все. И танками, и пулеметами их: та-та-та! Ложись!»

Хватает подушку, швыряет в меня.

Ах, так! Ну, держись...

«Чур, я за красных!» — бросаю подушку обратно.

«Вы — за красных обезьян! А мы за красных офицеров! Ба-бах!»

«Ай, отпусти! Ну больно!»

«А ты... не щекотайся! Глупая красная обезьяна... ты... нарушаешь правила!»

Мы барахтаемся на ковре.

Лицо Леника становится серьезным.

Поднимается, садится на кровать:

«Ладно... Ложись и слушай, только молча... Вампира, она тогда...»

Я быстро ложусь и крепко закрываю глаза, чтобы было страшнее. Натягиваю одеяло.

«Вампира... она там сидела, за дверью. Ей хотелось крови... Ей так хотелось крови! И она скрежетала своими острыми зубами. А слуга уже ложился спать. И тут...»

Нет, с закрытыми слишком страшно. И дышать под одеялом неудобно.

«И тут из спальни выбежала — маленькая, маленькая девочка!»

«Кто?!»

«Дочка слуги».

«Ой, зачем?! В туалет, да? Вот дура! Не могла потерпеть!»

«Значит, не могла.»

«А я бы дотерпела. Нужно волю в себе воспитывать.»

«А она — не могла, понятно? И вообще она была маленькая, поэтому выбежала... И нечаянно задела ключ!»

«Тот самый?»

«Да, который торчал в двери. И вот ключ выпал. Ба-бах! Дверь открылась, и из нее выходит... вампира! Схватила девочку и мгновенно выпила из нее всю кровь.»

Леник кусает подушку: «О, как вкусно! Какая теплая кровь!»

Я быстро натягиваю одеяло.
Слышу, как страшно стучит сердце и что-то булькает в животе.
«Лень, а слуга? Он что, бросил родную дочку? Он убежал?»
«Нет. Он просто не успел. Он вскочил, а вампира уже дочку раз, и в сторону! И на него с зубами бросилась! "О, мне не хватило, мне надо еще, еще..."»
«Беги, дурак! Беги, что стоишь?!»
«Ты че — беги? Она знаешь? Она же как метеор! Вжиу! Вжиу! И тогда он вспомнил, и — бабах!»
«Что?»
«Как ей по левому плечу!»
«Ай-и... Ты че, совсем?! Больно же, дурак!»
Отворачиваюсь, плачу.
Подползает сзади:
«Ну, хочешь, на, меня ударь».
«Возьму и ударю...»
«А-а!.. Я сказал ударь, а не пни! Уродина! Все, больше тебе никаких историй не буду до конца жизни.»
«Ну и не надо! Я сама вырасту и все в книжках прочитаю.»
«А в книжках про это нету!»
«А я в кино пойду и попрошу, чтобы специально такой фильм сняли!»
«Ага, они тебя прямо послушают».
«А вот и послушают!»
Молчим. Дождь перестает.
Где-то еще падают капли.
«Ленка, спишь?»
«Нет».
«Будешь печенье, у меня с ужина...»
«Да. А она умерла?»
«Кто?»
«Вампира».
«Ну да. Он же ее по левому плечу».
«Жалко», — жую печенье.
«Кого? Вампиру?»
«Не. Что все так кончилось».
«Ты что, это еще не конец».
«Она что, только притворилась?» — перестаю жевать.
«Нет. Она точно умерла. Только крикнула "О-о, майн гот!" И на пол. Слуга их на тележку, ее и дочку, и на кладбище. Могилки рядом выкопал. Дочке крест поставил, а вампире просто холмик и буквы такие: "Собаке — собачья смерть!"»
«И один в королевстве остался?»
«Ну да, а ты что думала? Ходит по королевству, а кругом только могилы, скелетики разные...»
«Лень, а ты трусики себе сейчас зачем снял?»
«А ты что, подглядываешь?.. Ничего не снял! Вот... потрогай»
«Нет-нет, я не подглядываю... Ну что там слуга сделал?»
«Слуга? Ну вот, ходил, ходил. Туда пойдет, сюда. Одна только радость — на кладбище прийти и цветочки положить».
«Розы, да? Белые?»
«А из могилы принцессы, она же рядом, все время ноготь рос. Огромный! Хотел его спилить, два дня пилил, пилил, а ноготь только сильнее. И вот он как-то пришел с цветами и поскользнулся. И на ноготь напоролся. "А!..А!"»
Леник бросается на спинку кровати, дергается и скатывается на пол.

«И повис на ногте, и умер. А из-под земли такой хохот: ха, ха, ха!»

Лежим, молчим.

По стеклам течет дождь.

Снова начинаем говорить, только шепотом.

«Я же сказала, что она живая, притворилась».

«Нет, она была мертвая. Просто... у нее такая психология».

«И это конец уже?»

«Да.»

«Лень... А если я сама умру, ты меня...»

В коридоре слышны голоса родителей.

Ленька убегает на свою кровать.

Через двадцать лет Леник исчезнет. В Москве, а может, и не в Москве. Розыск ничего не даст. Последние данные из наркодиспансера. Мама подает его имя за здоровье. Говорит, видела его во сне, шестилетнего, он куда-то ехал на своем велосипеде.

Взяла на втором видеозапись дня рождения. Поставила, пока собираемся.

Виды Бултыхов.

Озеро.

Храм Воздуха.

Главный корпус. «Пусть бегут неуклюже». Зимний сад. Стол, пластмассовые стулья. Просила нормальные, деревянные, деревянных нет. Крупным планом салаты. Оливье, винегрет, тертая морковь с сыром под майонезом.

Я проматываю вперед: забегает, дергаясь, мама в своем платье, за ней папа, начинают приплясывать вокруг стола. Я стою во главе стола, лыблюсь и подсакиваю. Врывается Леник с букетом белых роз, размахивает им.

— Ну сделай уж нормально, — проходит за спиной мама.

Хорошо. Нажимаю. Семейка сразу перестает дергаться и чинно рассаживается за столом. «А тебе салатика?» «Нет, мне рыбки.» «Ну, скажи, Станиславич.» Папа поправляет галстук.

— Ой, гримасничает как... Актер!

— Мам, если не нравится... Я вообще хотела это промотать.

— Мне тогда еще говорили, — возится с сумкой, — что он вылитый Андрей Миронов.

— А что плохого? Хороший актер.

— Ну да, хороший. Только легкомысленный.

Папочка на экране уже договорил тост. Поднимает рюмку: «Ну, за нашу Леночку! За нашу Елену Прекрасную!»

Вещи собраны.

До отъезда еще пара часов. Заглядываю к Ольге Ивановне, директору. Она у себя, на первом. Благодарю ее, все было замечательно.

— Ну я рада. Приезжайте еще. Так, чтобы... отдохнуть. В сауну сходить, массажик. Ко Дню города мы тренажерный зал открываем.

— Мы и так прекрасно отдохнули.

— Да-а.

И улыбочка под Мону Лизу. Это она насчет Генки улыбается. Плевать, мы и не скрывались.

— А вообще, — поднимается из-за стола, — у нас большие планы, я даже хотела с вами немного посоветоваться... Да вы насчет выезда не волнуйтесь, можете хоть до вечера.

Черные колготки и светлые туфли. Бр-р.

— За семь часов доедете, если дорога нормальная. Хоть пообедайте на дорожку, я скажу, вам раньше накроют... Да что вы, это подарок от фирмы. Только пять минуток, дело одно...

Вернулась, наши уже на чемоданах, день рождения смотрят. Леник дымит на балкончике.

— Ну что, Ленуся, — папа поднимается, — боевая готовность номер один? Айн, цвай, полицай?

— Нам еще обед накроют в час. Мам, да ты сиди!

— А что «сиди»? Зачем за обед еще платить? Я чего бутерброды старалась как дура?

— Обед бесплатный. А бутерброды не пропадут.

— Правильно, — говорит папа. — Я бы сейчас парочку. А, мать?

— Ой, Станиславич, тебе бы только «парочку» всегда!

Я гляжу в окно. С Генкой попрощались утром по-дурацки. Даже не попрощались. Сказал, что еще придет. Ну и где ты, счастье мое? Чудо в перьях.

— Лен, погляди, как мы с отцом выплясываем.

Я смотрю на экран. «Ты помнишь, плыли в вышине...»

— И вдруг погасли две звезды, — подпевает мама. — Куда я эти бутерброды... А, вот вы где! «Что это были — я и ты!»

Танцы заканчиваются, начинаются воспоминания. Я на экране: «Мама, а что от того лета тебе запомнилось?» Мама, глядя куда-то вверх, играя бусами: «Ой, ну так сложно сразу сказать. Время другое. Сейчас люди похолодали, только в церкви где-то теплота осталась. И ты была еще совсем... Тогда на озеро кататься убежала, к нам бегут: "Там девочка от моторной лодки погибла, наверное, ваша", у нас с отцом чуть инфаркта не было. Помнишь, папочка?» Папа что-то мычит, рот занят.

Я снова смотрю в окно, пусто. Где же он?

Спустилась к озеру. И здесь его нет. Ветер. Натянула капюшон. Прошла мимо облепихи. Здесь мы с ним. Господи, выкинуть из головы. Стереть. Все стереть. Вы хотите переместить файл «Генка.doc» в корзину? ДА. НЕТ.

Нажимаем ДА.

Ветка облепихи.

На пляже пусто. Подхожу к воде, мочу пальцы.

Беру камешек, бросаю. Позвонить ему, что ли?

— Ле-на!

Вздрагиваю.

Нет. Это Леник сверху.

Пора к машине.

Сажусь за руль.

Отвыкла уже за эти. Висюлька. Запах. Леник рядом усаживается.

— Пристегнись, а то пищать будет.

— Ничего не забыли?

— Ну, спасибо этому дому!

— Лен, — мама трогает за плечо, — Лен, подожди, на дорожку помолюсь.

Шевелит губами.

А мне о чем молиться?

Надо было позвонить все-таки этому уроду. Спасатель гребаный.

Какой-то мужик странный из ворот выглядывает. Чего ему надо? Прячется.

— Ну, с Богом!

Поехали. Ворота уменьшаются в боковом стекле.

Выезжаем на дорогу.

Леник кладет мне ладонь на колени.

Мотаю головой.

— Убери.

— Не плачь, девчонка.

Убирает.

Сворачиваю, торможу у церкви, спрыгиваю:

— Подождите минут десять.

Мама тыркается в заднюю:

— Леночка, я тоже...

— Я быстро.

— А платок есть? На голову?

Подхожу, быстро крещусь.

Главное, чтоб открыто. Открыто. И где свечи продают.

— Пятнадцать.

— Каких?

— Этих.

— У вас тут не хватает.

— Вот еще возьмите.

Нахожу тот самый столик. Который прошлый раз.

Одна. Вторая...

Чтоб это дебильное окно только не раскрылось.

Подходит женщина со шваброй:

— Ух, сколько свечей...

Нет, все нормально.

Все нормально, Господи. Просто я не совсем в форме. Не знаю, правильно поставила? Спасибо Тебе за это лето. Все было очень хорошо, просто классно, Господи. Что? Пожелания? Если тебе интересно... Тебе, правда, это интересно? Хочу жить. Просто жить, Господи, и быть счастливой. Просто жить и быть счастливой. Жить и быть счастливой. Вот и все. Целую, твоя Лена.

Сообщение отправлено.

Едем.

Эсэмэска пикнула, от Коваленка. Спрашивает: еще не вернулась?

— Ленусь, хочешь семечки?

— Не, мам.

Тошнит меня от этих ваших семечек.

— А бутербродик? Один?

— Вода есть?

— На.

— Это спрайт.

— Я думала, ты спрайт просишь.

— Я воду.

— А он, знаешь, как лимонад. Ты помнишь, как лимонад любила?

— Я компот любила. Воды обычной можно?

— И лимонад тоже. Подожди, вот твоя вода. «Священный источник», надо было еще пару бутылок. Тут в составе серебро и еще что-то, врут, как всегда. Кто еще будет пить, поднимай руки.

Что-то мама веселая. Ловлю в зеркальце ее лицо. Накрасилась. Что это с ней?

- Лен, а что ты так в церкви долго, — мама заканчивает шуршать пакетами. — Мы уже за тобой идти собирались. Десять минут, десять минут...
- Встретила там. Помнишь, Лиру Михалну, физручку?
- Какую? Подожди... Гадалку эту?
- Да. Полы там моет.
- Ой! Да ты что! Надо же, сколько лет, ей тогда уже было за очень. А что меня не позвала? Помню, конечно. Конечно, помню. Лира Михална, такая... А ты ее как узнала, ты ж маленькая была?
- По голосу. Голос у нее.
- Ой, да, прокуренный. Как запоет утром по динамику!
- Лидусь, это Высоцкий пел, — говорит папа.
- Высоцкий? А мне помнится, что сама, она ж самодеятельница такая была... А теперь вот, значит, уверовала. Ну и правильно, уже и возраст такой. А ведь мне тогда правду нагадала, и про тебя, Коль, слышишь, всю твою подноготную. А о чем вы с ней разговаривали?
- Да ни о чем. О чем они в церкви... Исповедайся, то-се.
- И я тебе то же самое. Хочешь, как приедем, сразу отцу Андрею позвоню?
- Мам, оставь меня в покое.
- А что «в покое»? Ты сама вон из церкви в слезах пришла.
- Да в каких слезах?
- Вот в таких. И отец видел, правда? Что глаза у тебя на мокром месте были.
- Мама, я повторяю, оставь меня в покое.
- Да и пожалуйста, я тебя вообще... Если б ты сама в покое была. Полгода уже током бьешь! Уже сама даже своих слез не видишь.
- Я последний раз очень прошу...
- Сердце кровью обливается! Кто у тебя еще близкие? Кто еще тебе так, как мы? Поехали сюда с тобой, все твои фантазии на задних лапках исполняли!
- Лидусь, не отвлекай ее за рулем...
- Ничего страшного, пап. Давайте все выскажемся. Кто еще хочет свои пять копеек вставить, пожалуйста!
- Лен...
- Пожалуйста! Нет желающих? Тогда, давайте, я скажу.
- Николай, дай мне сумку, там валидол!
- Лен, мать пожалей!
- А ты ее сам очень жалел тогда? Когда уходил? Когда так дверью хлопнул?
- Ну зачем так?
- Затем... В общем, дорогие мои и хорошие... Всем вам большое спасибо. Но спектакль закончился. Все. Всем спасибо.
- Лена, зачем в конце все портить?
- Почему «портить»? Сыграли все неплохо, особенно наша приглашенная звезда, Лев Аскольдов, поаплодируем! Ну, аплодируем, громче! Ну громче же!
- Лена!
- Господи...
- Чуть не врезаюсь, машину заносит влево...
- На, попей еще.
- Мотаю головой.
- Пустое поле, лес вдаль, машины проносятся.
- Подходит мама:
- На, кофту накинь.
- Как сердце? — спрашиваю.

— А насчет нас с мамой, — говорит папа, — мы тут решили попробовать снова объединиться.

Я смотрю на них:

— А как...

— Мы с Адой давно уже как кошка с собакой.

Вот, значит, почему тогда приперлась. «Шарфик! Шарфик!» Бедная.

— А что раньше не сказали?

— Сами только вчера решили.

Проезжает грузовик. Автобус. Вспоминаю Гену. Он бы меня сейчас коньяком своим поганым напоил, и все было бы хорошо.

— Ну что, ты как, Леночка? Может, поедem уже? Ты в состоянии?

— В состоянии.

Сажусь за руль. Леник все сидел здесь, в мобильном копался.

Кладет мне ладонь на колено.

— Пристегнись, плакает.

Пристегивается, не убирая ладони. Ладно, пусть. Мне уже все равно.

Мама спит у папы на плече. Папа тоже посапывает. Вот нервная система, супер.

Еще одна эсэмэска. От Коваленка.

— Может, прибавишь скорость? — Леник смотрит.

— Ты тоже заметил?

— Уже минут пять сигналил.

Смотрю в боковое. «Жигуль» обшарпанный.

Снова мигает.

Прибавляю скорости, отрываемся.

«Жигуленок» исчезает.

Темнеет.

Леник шепотом:

— Лена, надо поговорить.

— А зачем?

Гладит меня по щеке, шее.

— Граждане пассажиры, не отвлекайте водителя... И тут — не надо... Хочешь, чтобы я во что-то врезалась, да? Ну не надо здесь. Родители же, ну...

Ну что с этими его руками делать? Ладно, сажу, терплю.

— Лен... Еще прибавь.

— Что?

— Догоняют.

— Может, остановимся?

— Нет, не надо. Это, наверное... которые нас в Бултыхах пасли.

— Думаешь, это...

— Я же специально, говорю, все время за тобой ходил.

— Так. Если ты хочешь, чтоб оторвались, убери руки. Вот так.

Блин!

Железнодорожный переезд, шлагбаум, торможу.

— О-х...

Родители открывают глаза. Леня смотрит в потолок.

«Жигуленок» тормозит сзади.

Дверца распаивается, выскакивают какие-то мужики.

Из «жигуленка» почти вываливается Генка. Голова в бинтах.

Бегут к нам, волоча Генку.

Генка машет букетом роз в забинтованных руках.

Долго ищу ключи.

Нащупываю, вытаскиваю. Падают. Руки трясутся.

Поднимаю. Смотрю на дверь. Нет, ничем не обмазана. Чистая.

— Ну вот и дома...

Вожусь с замком.

Нет, изнутри. Лешка, значит, уже приехал.

Звоню, шаги за дверью.

Стоит заспанный.

— Привет! На, сумку возьми...

— Привет, мам.

Что это с ним, уже года три «мама» не говорил. Берет у меня сумку.

— Что стоишь? Иди, отнеси, в комнату мне.

Сейчас выдаст что-нибудь свое фирменное.

Нет, идет, относит. Молча.

— Леш... Все нормально?

— Что?

— Хорошо съездил?

— Супер. Я тебе тоже сбросил.

Что «сбросил»? Фотки. Стягиваю куртку, кеду пытаюсь ногой снять.

— А что мне не звонил?

— А у нас мобильные, по правилам, собрали, мы же крестоносцы, я тебе эсэмэску сбросил.

— Эсэмэску? Да... — прохожу по коридору, на кухню. — Слушай, а что у нас так чисто, а? Сына, ты что, сам... убрался?

— Не, это Лена. А я ей помогал.

— Какая... Лена?

— Из 11-го «Б». Моя девушка. Я ее в лесу от дракона защитил.

— А, от дракона... Понятно.

— Ну, это по игре, короче, такие правила.

— Не, я поняла. Ты ее спас от дракона, и она пришла и вылизала нам всю хату...

— Мам, что с тобой? Она очень хорошая. И у нас серьезные отношения.

— Ты с ней... Вы с ней уже...

— Нет! Мама, я же сказал, у нас с ней серьезные отношения.

— Леш, повтори, пожалуйста.

— Что серьезные?

— Нет, как ты меня назвал.

— Как? Мама.

— Повтори вот это.

— Мама. Мама... Еще?

— Не забывай меня так называть, ладно?

Старый дедушка Коль был веселый король.

Громко крикнул он свите своей:

— Эй, налейте нам кубки,

Да набейте нам трубки,

Да зовите моих скрипачей, трубачей,

Да зовите моих скрипачей!

Принцесса хватает Короля за парик и макает в торт.

По залу ползет запах пены для бритья. Публика хлопает.

— Лев Аскольдов? — в фойе дожидается человек в форме. — Пройдемте.

Уменьшающееся здание театра в заднем стекле машины.

Были скрипки в руках у его скрипачей,
Были трубы у всех трубачей,
И пилили они, и трубили они,
До утра не смыкая очей.

Старый дедушка Коль был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да гоните моих скрипачей, трубачей,
Да гоните моих скрипачей!

Вот и полтора года пролетело. Даже больше.

Вот эта, да, вот эта за левым столиком, это я. Узнали хоть? Ну вот, рукой помахала.

Говорят, поправилась, понятно отчего. Но что мне идет. Правда? Да ладно!

Да, специально пришла пораньше, от «строгого режима» отдохнуть.

Ну что рассказать?

С Геннадием Михалычем мы все-таки расписались. Да, вот колечко... Мне тоже показалось, когда выбирали. Вдвоем ходили.

Девочка у нас родилась, Катенька. Да, та самая, которую из Бултыхов «привезла». Копия Геннадий, вот такие щеки. Честно сказать, колебалась. Суд на носу, фирму закрывать надо. И на тебе бонус в виде токсикоза. Целые дни с «белым другом». Генка настоял. И Лешка. Да, Лешка. Зашла к нему такая после УЗИ. «Сына, ты уже взрослый, в январе пятнадцать, поэтому с тобой уже напрямую советуюсь. Ты готов, что у тебя сестренка родится, и Гена к нам переедет? Я сама не знаю, готова я или нет, суд на носу и с бизнесом сам знаешь, какая жопа. Скажешь, чтоб я сделала аборт, пойду и сделаю».

Ну вот так и сказала. А у него такая истерика фонтаном, не ожидала даже. Поревела с ним за компанию, Генка приехал, сопلي нам утирал. Он Генку сразу зауважал, когда узнал, что тот пацана спас, ну, в тот день, когда я из Бултыхов... Лешка, пока я ходила, боялся, «мама», «мамочка», посуду три раза за собой вымыл. Лена эта его тоже приходила, что-то помогала там, блондиночка такая. Они потом расплевались, сейчас у нас уже другая мадемуазель, еще не видела, только по телефону, когда мобильник терял: «Мо-о-жно Алексея?» Ну, мо-ожно. Тоже, говорит, серьезные отношения.

Сейчас... эсэмэска пришла. МЫ ПРОСНУЛИСЬ.

При.. Прис... Есть.

МОЛОДЦЫ! ПРИСТУПАЙТЕ К ПЛАНУ Z.

Это у нас с Геной шифр, он сейчас с Катькой, пока я здесь на встрече. Я ему записку прилепила, что делать, «План Z». Обычно мама приходит, а тут у нее церковь, Лешка на английский ускакал. Так что Геннадий Михалыч сейчас один с Катькой, папашка.

Думаю иногда, конечно. Мысли, говорю, разные. Может, не надо было за него. И разница, и образования у него толком ноль, хорошо, заставила на вождение, разъезжает сейчас на джипе. Вспоминаю иногда, что этот актер великий о нем... Что «примитивный». Ну, примитивный. Сама же просила тогда просто счастья, кушайте, что заказывали.

Сейчас, эсэмэска. Ну что у них там? А... Это не от них, это от нее.

Я В ПРОБКЕ ОПОЗДАЮ ИЗВ...

А я ее предупреждала, что пробки будут. Сейчас, отвечу ей.

На суде... Это я еще не сказала? На суде меня почти оправдали. Я уже с пузом

убедительным была, даже то, что они мне накрутили, амнистия, освободили прямо из зала, Генка меня увез, я еще по дороге на него наорала на радостях.

Потом еще один суд был... Нет, девушка, я еще не выбрала. Хорошо, сок пока принесите, вот этот.

На чем я остановилась? Забыла из-за этой... Да, насчет родителей. Они съехались, как в машине сказали. Адочка ко мне приезжала в истерике биться. А потом через месяц отец к ней за вещами ездил, ну и привет. Мама по потолку бегают, я — туда, к этой мадам. И там его тоже нет, и к маме не вернулся. Снял однокомнатную на Чехова, ездили к нему туда с Генкой. Посидели, выпили, я не пила. Все, говорит, устал от всех этих женщин. Я Генке своему в бок, ты не слушай, тебе рано такие вещи. Так что теперь папочка у нас один, утром бегают, а для души у него Новгород, мы туда столицу переносим. С новгородцами своими постоянно, подписи собирают. Зимой туда ездил, его там встречали, с мэром фоткался. Короче, ушел в деятельность, а мама вся поседела, но держится, с Катькой иногда сидит.

Этот вот жил у нее полгода, актер заслуженный. Вот вообще не ожидала. «Мамой» стал ее называть, любовь такая. А потом его, прямо из театра.

Да, это вообще было самое... Генка говорил, что типа чувствовал. Ну и я чувствовала. Вон, Генку даже подозревала, тогда, на лодке. А тут все, и показания уже на него были, на этого Аскольдова. Сама, главное, своими руками. Вот почему он тогда согласился. И еще такой типа влюбленный, а сам был у них наводчик. Это между кашеевскими, прежнего мэра и нового, разборки шли. Бассейн просто карта в игре. Там других людей убирали, причем тихо. А мы, то есть нас должны были как отвлекающий маневр. Саньча и меня, и чтобы шуму много, телевидения. Меня, Коваленок сказал, в последний момент отменили, разговор пошел, что Кашея вернут. Это когда этот меня в лес завел, я так потом вспоминать стала, а еще эсэмэску получил. А должны были тяжеленьким и в озеро, один там показания дал, что план был. Это я сейчас весело рассказываю, а тогда как узнала, все молоко сгорело, я же грудью кормить старалась.

Ну, его и взяли. Прямо после спектакля, я еще не знала, как матери это преподнести. Насочиняла, что его срочно в Москву. Она не поверила, конечно, из церкви теперь не вылезает. Я с ней тоже иногда хожу, к отцу Андрею. Это ее духовник, а мы с ним просто общаемся. Катьку он крестил, фотки покажу потом, прикольные.

Ну что она там, в этой пробке? Уже пятнадцать минут здесь торчу.

Эсэмэска от нее. Нет, от Генки.

МЫ ПОКАКАЛИ!

Отвечаю: УРА!

— Привет, сестренка.

— Господи...

Стоит.

— Ё-моё, чуть заикой... Каким...

Улыбается.

Только этого не хватало. Показалось даже, что настоящий Леник.

— Ну, садись, — отодвигаю меню, — только у меня сейчас встреча.

— А я думал, ты меня ждешь.

— Ага, встречаю. Извини, оркестр не позвала.

А может, вправду Леник? Откуда... Этот.

Генке, что ли эсэмэснуть? Ладно, сама разберусь.

Садится, постарел. Курточка, зуба одного нет.

— Есть будешь?

— Да здесь все пафосное такое. Ты мне лучше на улице купи, покажу где.

— Ты где сейчас?

— А нигде. Знаешь такое место?

— Бывала.

— Ну вот. Выпустили меня.

Просто страшно на Леника стал похож, когда я его тогда последний раз в Москве видела. Кладет ладонь мне на руку.

— Руки убери.

— Лен, ты меня хотя бы выслушай.

— Хорошо, — откидываюсь, спина вся мокрая, — только по существу. Говори. Сколько они тебе заплатили? Что вы собирались со мной сделать? Просто утопить? Или расчленишь вначале? Давай.

— Когда я тебя тогда еще увидел, я понял, что ты мне нужна.

— Это не по существу.

— Как раз это — по существу.

— А потом они вышли на тебя, и ты согласился.

— И я согласился. Чтобы спасти тебя.

— Спасти?

Снова эта с блокнотиком:

— Извиняюсь, будете заказывать?

Он поворачивается:

— А мартини у вас есть? — И на меня. — Тысячу лет не пил мартини. С того раза.

Я киваю, девушка рисует в блокнотике, уходит.

— Другого выхода не было, сестренка. Я все тогда обдумал. Мозги им крутил. Убедительно крутил. Я же актер.

Берет мою ладонь, смотрит на кольцо:

— Ты счастлива?

Вот прицепился. Надо убрать ладонь...

— Ладно, я пойду, — кладет. — У тебя встреча?

— Подожди, вон мартини несут. Да, встреча. Ольгу Иванну помнишь, директора Бултыхов?

— А, эта...

Изобразил.

Похоже. Не выдержала, улыбнулась:

— Ага, самая. Короче, хочет там все реконструировать. Усадьбу, все.

— Как наш театр?

— А что ваш театр? Над вашим театром «Веста» поработала, радуйтесь теперь.

Я по-другому все предлагала.

— Был сегодня там. С Маркычем, потом...

Пьет мартини.

— И что потом?

— Суп с котом.

— И что собираешься делать?

— Искать. Актер ни на какие роли не требуется? Могу сыграть брата или...

— Или?..

— Не можешь немного одолжить? — поднимается. — Как устроюсь, отдам.

— Куда ты устроишься?

— Ну, пока Дедом Морозом, а там посмотрим. Есть идеи.

— Леник... Лева!

— Да?

— Только честно. Не колешься?

— Нет. Ты не волнуйся, я верну.

Застегивает куртку. Наклоняется, целует в щеку.

— Пока, сестренка. Не кашляй. Не забывай, мы с тобой еще должны в Арктику.

Смотрю, как идет между столиков.
Выходит, проходит мимо окна.
Ловлю себя на том, что глажу пальцем место поцелуя.

«Ленька! Лень! Смотри, я какой гриб нашла!»
Подбегаю к нему:
«Смотри, какой большой!»
Леник строго смотрит на гриб:
«Что радуешься? Ядовитый.»
«Сам ты ядовитый! Смотри, какая шапочка. Это сыроежка».
«Сри-бери-ежка.»
Лежим на траве, отдыхаем. Рядом сосна поваленная. Муравьи щекочутся.
«Лень!»

Тишина.
Приподнимаюсь на локте:
«Леня...»
Он лежит, болтает ногой:
«Я не Леня».
Подползаю:
«Ты инопланетян опять, да? Лень, я серьезно, три-три — вне игры!»
«Я — человек. Но меня зовут не Леня».
«Я сказала, не играю...»
«А я честно. Меня из детского дома взяли».
«Ну Ле-онька...»
«Я не придумываю. Честное пионерское.»
Поднимает руку, делает салют.
«А мои настоящие родители были полярники.»
«Честно-честно?»

«Да. Фамилия у них, фамилия была — Джонсон. И они были американцы, просто в детстве в СССР приехали. Выросли здесь и полюбили друг друга на всю жизнь. А потом... погибли. Понимаешь? Оба погибли. Корабль на льдину натолкнулся, и спасли только детей, на вертолете. И всех — в детский дом, и меня».

«Лень, а меня тоже в детском доме взяли?»

«Нет, тебя родили. А вот меня знаешь, как по-настоящему? Марсель. Запомни-ла? Марсель Джонсон. Красиво, правда? Только никому не говори. Клянешься? Клянись клятвой рыцарей Северной Звезды.»

«А это как?»

«Просто скажи: клянусь клятвой рыцарей Северной Звезды. Но это очень страшная. Одна девочка поклялась, а потом проболталась, и на нее самолет упал. Даже косточек от нее не нашли... Нет, я этих маму с папой тоже люблю. Но они, конечно, не полярники.»

«Да, особенно мама...»

«Поэтому, когда вырасту, стану полярником, уже решил. А ты будешь моей женой. Ты же мне не настоящая сестра. И поедем в Арктику, будем исследовать северное сияние. Согласна?»

«Но только чтобы без поцелуев и чтобы ты в маминой комнате спал!»

С пригорка спускается мама:

«Они здесь! Ну что, грибнички, богато грибов набрали?»

Мы вскакиваем и бежим к ней наперегонки.

Зоя Межирова

Звёздный улей

Из пропавшей тетради

От слепых наплываний твоих...

Владимир Набоков «К России»

Я хочу к своим улицам,
Прочь, домой, —
Там мне будет казаться,
Что все со мной, —

В дни, распавшиеся на осколки,
Вспять,
Даже если
В единое не собрать.

Пошатнулась со скрипом
Земная ось.
Вместе были всегда мы.
Теперь мы врозь.

И родной язык
Вокруг не звучит.
И чужая речь
На губах горчит.

Но далёких улиц
Несчётный рой
Приближает к сердцу
Наплыв слепой —

Это нежная вечная
Сила земли
Окликает
Из тихой своей дали.

Там остался светлый
Навеки прах,
Две сосны в изголовье,
Церковь в ногах.

А за окнами лист
По саду летит,
И пропавший пёс
У дверей грустит.

Там мечты
Несбывшиеся легки.
Телефон разбитый,
Друзей звонки.

Только там
Был каждый самим собой.
Мир потерянный мой.
Плач бесслезный мой.

* * *

Мариуле

Себя миражами потчуя,
Приправив будни слезами,
Она поджарая гончая
С фиалковыми глазами.

Ей знаться б с Иствудом, Ньюманом,
Но дни из другого теста.
И в ритме жёстко продуманном
Себе не находит места.

Февральских дождей истерика.
Под ними тропа чужая.
Не Питер вокруг — Америка,
Лелея и угрожая.

Реальность, душе невнятную,
Нащупывая вслепую,
Дорогой её надсадною
Горяя или ликуя,

Не американка — русская,
Таит под улыбкой стоны.
То вспыхнет огнём, то тусклая.
А лик почти что иконный.

Пройдась по судьбе потравую,
И всей красотой пылая,
Летит поджарой легавою
Из грёз, из адского рая.

Любовью, только одной любовью...

В госпитале Святой Марии,
В католическом госпитале Невады,
Не спросив, зачем я в ней и откуда,
И платы не запросив надлежащей,
Мне подали без раздумий помощь,
Поскольку просительницей явилась,
Безропотно, лишь одной Любовью,
Не взяв в расчет ничего иного.

В этих просторах тугих и жестких,
Не дающих ни в чём никому поблажки,
Мне избавленья не полагалось, —
И на него городские власти
Наложили коротким росчерком вето.

И вот окраина городская,
Тупик парковки под жарким ветром.
И госпиталь грузный Святой Марии.
Доминиканских сестёр скольжение
По длинным медленным коридорам,
Где у конторки за поворотом
Всё выслушали, ушей не замкнули,
Оттого, что имя Её в название
И у входа крест Его на граните,
И виден издали отовсюду
В городе, где казино в пустыне,
И нету запахов у растений.

Фонд католической церкви Невады
В те дни платил за мои визиты.
И вопрос о вероисповеданье
Не прозвучал под сводом крещатым
Тесного офиса за окошком,
Куда я пришла со своей бедою.

Распятие строгое в кабинете.
Над койкой. И в комнате ожидания.

Любовью, только одной Любовью,
Одной Любовью...

Светлана Алексиевич

Время second-hand

Конец красного человека

Часть вторая

Обаяние пустоты

Из уличного шума и разговоров на кухне (2002—2012)

О прошлом

— Ельцинские девяностые... Как мы их вспоминаем? Это: счастливое время... сумасшедшее десятилетие... страшные годы... время мечтательной демократии... гибельные девяностые... время просто золотое... время саморазоблачения... злые и подлые времена... яркое время... агрессивное... бурное... мое это было время... не мое!!!

— Профукали мы девяностые! Такой шанс, какой у нас был тогда, не скоро повторится. И ведь как все хорошо начиналось в девяносто первом! Никогда не забуду лица людей, с которыми я стоял у Белого дома. Мы победили, мы были сильными. Нам хотелось жить. Мы наслаждались свободой. Но сейчас... сейчас я иначе об этом думаю... Какие мы были до отвращения наивные! Храбрые, честные и наивные. Мы думали, что колбаса вырастает из свободы. Во всем, что случилось потом, и мы виноваты... Ельцин, конечно, несет ответственность, но мы тоже...

Я думаю, что все началось с октября. С октября девяносто третьего... «Кровавый октябрь», «черный октябрь», «ГКЧП-2»... Так его называют... Пол-России рвалось вперед, а пол-России тянуло назад. В серый социализм. В проклятый совок. Советская власть не сдавалась. «Красный» парламент отказался подчиняться президенту. Я так это тогда понимал... Наша дворничиха, приехавшая откуда-то из-под Твери, которой мы с женой не раз помогали деньгами, отдали всю мебель, когда делали в квартире ремонт — в то утро, когда все началось, увидела у меня значок с Ельциным и вместо «Доброе утро!» злорадно сказала: «Скоро вам, буржуям, конец будет», — и отвернулась. Я не ожидал. Откуда у нее ко мне такая ненависть? За что? Обстановка — как в девяносто первом... По телевизору увидел: горит Белый дом, стреляют танки... Трассирующие пули в небе... Штурм телевизионного центра «Останкино»... Генерал Макашов в черном берете кричал: «Больше не будет ни мэров, ни сэров, ни херов». И ненависть... ненависть... Запахло гражданской войной. Кровью. Из Белого дома генерал Руцкой откровенно призывал к войне: «Летчики! Братья! Поднимайте самолеты! Бомбите Кремль! Там банда!» Как-то мгновенно город наполнился военной техникой. Непонятными людьми в камуфляжной форме. И тогда Егор Гайдар обратился к «москвичам, всем россиянам, которым дороги демократия и свобода»...

Все как в девяносто первом... Мы пришли... я пришел... Там были тысячи людей... Помню, что я куда-то бежал вместе со всеми. Споткнулся. Упал на плакат «За Россию — без буржуев!». Сразу представил себе, что нас ждет, если генерал Макашов победит... Увидел раненого молодого парня, он не мог идти, потащил его на себе. «Ты за кого, — спросил он, — за Ельцина или за Макашова?» Он был за Макашова... Значит, враги. «Да пошел ты!» — послал его матом. А что еще? Быстро мы разделились опять на «белых» и «красных». Возле «скорой» лежали десятки раненых... У всех у них, это почему-то мне четко запомнилось, были стоптанные ботинки, все это были простые люди. Бедные люди. У меня там кто-то еще раз спросил: «Кого ты притащил — он наш или не наш?» «Не наших» брали в последнюю очередь, они лежали на асфальте и истекали кровью... «Вы что? Сумасшедшие!» — «Так это же наши враги?» Что-то произошло за эти два дня с людьми... вообще, что-то в воздухе поменялось. Рядом со мной были совсем другие люди, мало похожие на тех, с кем я стоял у Белого дома два года назад. В руках заточки из арматуры... настоящие автоматы, их раздавали с грузовика... Война! Все серьезно. Возле телефонной будки складывали убитых... И тут стоптанные ботинки... А недалеко от Белого дома — работали кафе, там, как обычно, пили пиво. Зеваки висели на балконах и наблюдали за происходящим, как в театре. И тут же... На моих глазах из Белого дома двое мужчин выносили на руках телевизор, из карманов курток торчали телефонные трубки... Мародеров кто-то весело отстреливал сверху. Наверное, снайперы. Или в человека попадут, или в телевизор... На улицах все время слышались выстрелы... (*Замолкает.*) Когда все кончилось и я вернулся домой, узнал: убили сына нашей соседки. Парню двадцать лет. Он был по другую сторону баррикад... Одно дело, когда мы спорили с ними на кухне, а другое — стрелять... Как это получилось? Я этого не хотел... Потому что в толпе... Толпа — это чудовище, человек в толпе это совсем не тот человек, с которым ты сидел на кухне и разговаривал. Пил водку, пил чай. Я уже больше никуда не пойду и сыновей не пушу... (*Молчит.*) Я не знаю, что это было: мы защищали свободу или участвовали в военном перевороте? Сейчас у меня сомнения... Сотни людей погибли... Их никто не вспоминает, кроме родных. «Горе строящему на крови...» (*Молчит.*) А если бы победил генерал Макашов? Крови было бы еще больше. Россия обрушилась бы. Ответов у меня нет... Я верил Ельцину до девяносто третьего года...

Тогда мои сыновья были маленькие, но они уже давно выросли. Один даже женат. Я несколько раз... да... делал попытки... Хотел им рассказать о девяносто первом... о девяносто третьем... Им это уже неинтересно. Пустые глаза. У них только один вопрос: «Папа, почему ты не разбогател в девяностые, когда это было легко?». Мол, только безрукие и глупые не разбогатели. Дебильные предки... кухонные импотенты... Бегали по митингам. Нюхали воздух свободы, когда умные люди нефть и газ делили...

— Русский человек — он увлекающийся. Когда-то он был увлечен идеями коммунизма, яростно, с религиозным фанатизмом воплощал их в жизнь, потом устал, разочаровался. И решил отречься от старого мира, отряхнув его прах со своих ног. Так это по-русски — начинать с разбитого корыта. И снова нас дурманят новые, как нам кажется, идеи. Вперед — к победе капитализма! Скоро будем жить как на Западе! Розовые мечтания...

— Жить стало лучше.

— Но некоторым в тысячу раз стало лучше.

— Мне пятьдесят лет... Я стараюсь быть не совком. Это у меня плохо получается. Работаю у частного предпринимателя и ненавижу его. Не согласна с дележкой жирного пирога — СССР, с «прихватазацией». Не люблю богатых. Кичатся по телевизору своими дворцами, винными погребами... Пусть хоть в золотых ваннах, наполненных грудным молоком, купаются. Мне это зачем показывать? Я не умею рядом с ними

жить. Обидно. Стыдно. И я уже не изменюсь. Я слишком долго жила при социализме. Сегодня жить стало лучше, но противнее.

— Удивляюсь, как много еще страдальцев по советской власти.

— А чего дискутировать с совками? Надо подождать, пока они перемрут, и сделать все по-своему. Первым делом выбросить мумию Ленина из мавзолея. Что за азиатчина! Мумия лежит, как проклятие над нами... Порча...

— Спокойно, товарищ. Вы знаете, сейчас намного лучше говорят об СССР, чем двадцать лет назад. Я недавно была на могиле Сталина, там горы цветов. Красных гвоздик.

— Убили черт знает сколько людей, но у нас была великая эпоха.

— Мне не нравится то, что сейчас, я не в восторге. Но и в «совок» не хочу. Не рвусь в прошлое. К сожалению, хорошего ничего не могу вспомнить.

— А я хочу назад. Мне не нужна советская колбаса, мне нужна страна, в которой человек был человеком. Раньше говорили «простые люди», а сейчас «простонародье». Чувствуете разницу?

— Я вырос в диссидентской семье... На диссидентской кухне... Мои родители были знакомы с Сахаровым, распространяли самиздат. Вместе с ними я прочитал Василия Гроссмана, Евгению Гинзбург, Довлатова... Слушал «Свободу». И в девяносто первом я, конечно, стоял в цепи вокруг Белого дома, готов был пожертвовать жизнью, чтобы не вернулся коммунизм. Среди моих друзей не было коммунистов. Коммунизм у нас был связан с террором, с ГУЛАГом. С клеткой. Мы думали, что он мертв. Навсегда мертв. Прошло двадцать лет... Захожу в комнату сына — и вижу: у него на столе лежит «Капитал» Маркса, на книжной полке — «Моя жизнь» Троцкого... Не верю своим глазам! Маркс возвращается? Это что — кошмар? Сон или явь? Сын учится в университете, у него много друзей, я стал прислушиваться к их разговорам. Пьют чай на кухне и спорят о «Манифесте коммунистической партии»... Марксизм снова в законе, в тренде, в бренде. Они носят футболки с портретами Че Гевары и Ленина. *(В отчаянии.)* Ничего не проросло. Все было напрасно.

— Для разрядки вот вам анекдот... Революция. В одном углу церкви пьют, гуляют красноармейцы, а в другом — их кони жуют овес и мочатся. Дьячок бежит к настоятелю: «Батюшка, что они творят в святом храме?» — «Это не страшно. Постоят и уйдут. Страшно будет, когда их внуки вырастут». Вот они выросли...

— У нас один выход — вернуться к социализму, но только к православному социализму. Россия не может жить без Христа. У русского человека счастье никогда не было связано с большими деньгами. Этим и отличается «русская идея» от «американской мечты».

— России нужна не демократия, а монархия. Сильный и справедливый царь. И первым законным претендентом на престол является Глава Российского Императорского Дома Великая княгиня Мария Владимировна, а затем — ее потомки.

— Березовский принца Гарри предлагал...

— Монархия — бред! Дряхлая старина!

— Неверующее сердце слабо и неосновательно перед грехом. Русский народ обновится исканием правды Божией.

— Перестройка мне нравилась только тогда, когда она начиналась. Если бы кто-нибудь нам сказал тогда, что президентом страны станет подполковник КГБ...

— Мы были не готовы к свободе...

— Свобода, равенство, братство... Кровищи эти слова пролили — океан.

— Демократия! — смешное слово в России. Путин-демократ — самый короткий анекдот.

— За эти двадцать лет мы много чего про себя узнали. Открыли. Узнали о том, что Сталин — наш тайный герой. Вышли десятки книг и фильмов о Сталине. Люди читают, смотрят. Спорят. Полстраны мечтает о Сталине... Если полстраны мечтает о Сталине, то он обязательно появится, можете не сомневаться. Вытащили из ада всех зловещих мертвецов: Берию, Ежова... О Берии стали писать, что он был талантливый администратор, хотят реабилитировать, потому что под его руководством создали русскую атомную бомбу...

— Долой чекистов!

— Кто следующий — новый Горбачев или новый Сталин? Или свастика начнет-ся? «Зиг Хайль!» Россия поднялась с колен. Опасный момент, потому что Россию нельзя было так долго унижать.

О настоящем

— Путинские нулевые... Какие они? Тучные... серые... brutальные... чекистские... гламурные... стабильные... державные... православные...

— Россия всегда была, есть и будет империей. Мы не просто большая страна, мы отдельная русская цивилизация. У нас свой путь.

— Запад и сейчас боится России...

— Вот наши природные богатства нужны всем, и особенно — Европе. Откройте энциклопедию: по запасам нефти седьмое, а газа — у нас первое место в Европе. Одно из первых мест по запасам железной руды, уранового сырья, олова, меди, никеля, кобальта... И алмаза, и золота, и серебра, и платины... Владеем всей таблицей Менделеева. Мне один француз так и заявил: а почему это все вам принадлежит, земля же общая?

— Все-таки я империалист, да. Я хочу жить в империи. Путин — мой президент! Либералом теперь стыдно называться, как недавно стыдно было называться коммунистом. Мужики возле пивного ларька могут и морду набить.

— Ненавижу Ельцина! Мы ему верили, а он повел нас совсем в неизвестном направлении. Ни в какой демократический рай мы не попали. А попали туда, где еще страшнее, чем было.

— Дело не в Ельцине и не в Путине, а в том, что мы — рабы. Рабская душонка! Рабская кровь! Посмотришь на «нового русского»... Он из «бентли» вылезает, у него деньги из карманов сыплутся, а он раб. Наверху сидит пахан: «Пошли все в стойло!» И все пойдут.

— Я слышал по телевизору... «У тебя есть миллиард? — спросил господин Полонский. — Нет?! Тогда пошел ты в жопу!» Я из тех, кого господин олигарх послал в жопу. Обычная семья: отец спился, мать в детском садике за копейки вкалывает. Мы для них говно, навоз. Я хожу на разные тусовки. К патриотам, националистам... Слушаю. Придет время, и кто-нибудь обязательно даст мне в руки винтовку. И я возьму.

— Капитализм у нас не приживается. Чужд нам дух капитализма. Дальше Москвы он не распространился. Климат не тот. И человек не тот. Русский человек не рациональный, не меркантильный, может рубашку последнюю отдать, но иногда украдет. Он стихийный и больше созерцатель, чем деятель, способен довольствоваться малым. Накопительство не его идеал, ему скучно копить. В нем очень обострено чувство справедливости. Народ — большевик. А еще русский человек не хочет просто жить, он хочет жить для чего-то. Он хочет участвовать в великом деле. У нас скорее найдешь святого, чем честного и успешного. Читайте русскую классику...

— Почему, когда наши люди уезжают за границу, они там нормально вписываются в капиталистическую жизнь? А дома все любят поговорить о «суверенной демократии», об отдельной русской цивилизации и о том, что «в русской жизни нет основы для капитализма».

— У нас капитализм неправильный...

— Оставьте надежды на другой капитализм...

— В России капитализм как бы есть, а капиталистов нет. Нет новых Демидовых, Морозовых... Русские олигархи — это не капиталисты, а просто воры. Ну какие могут быть капиталисты из бывших коммунистов и комсомольцев? Мне Ходорковского не жалко. Пусть сидит на нарах. Жалко только, что он один там сидит. Должен же кто-то ответить за то, что я пережил в девяностые. Обобрали до нитки. Сделали безработным. Капиталистические революционеры: Гайдар, железный Винни-Пух... рыжий Чубайс... Ставили эксперименты на живых людях, как естествоиспытатели...

— Ездил в деревню к матери. Соседи рассказали как кто-то поджег ночью усадьбу фермера. Люди спаслись, сгорели животные. Деревня пила на радостях два дня. А вы говорите: капитализм... У нас при капитализме живут социалистические люди...

— При социализме мне обещали, что места под солнцем хватит всем. Теперь говорят другое: жить надо по законам Дарвина, тогда у нас будет изобилие. Изобилие для сильных. А я — из слабых. Я — не борец... У меня была схема, я привыкла жить по схеме: школа, институт, семья. Копим с мужем на кооперативную квартиру, после квартиры — на машину... Схему сломали. Нас бросили в капитализм... По образованию я инженер, работала в проектной институте, его еще называли «женский институт», потому что там были одни женщины. Сидишь и складываешь целый день бумажки, я любила, чтобы аккуратно, стопочкой. Так бы и просидела всю жизнь. А тут начались сокращения... Не трогали мужчин, их было мало, и матерей-одиночек, и тех, кому до пенсии остался год или два. Вывесили списки, я увидела свою фамилию... Как жить дальше? Растерялась. Меня жить по Дарвину не учили.

Долгое время надеялась, что найду работу по специальности. Я была идеалистка в том смысле, что не знала своего места в жизни, свою цену. Мне до сих пор не хватает девочек из моего отдела, именно девчонок, нашего трепы. Работа у нас была на втором плане, а на первом — общение, этот задушевный треп. Раз в три дня мы пили чай, ну и каждая рассказывала о своем. Отмечали все праздники, все дни рождения... А сейчас... Хожу на биржу труда. Безрезультатно. Требуются маляры, штукатуры... Моя подруга, мы вместе в институте учились, она убирает дом у одной бизнесвумен, собаку выводит... Прислуга. Первое время плакала от унижения, а сейчас привыкла. А я не могу.

— Голосуй за коммунистов — это круто.

— Все-таки нормальному человеку сталинистов не понять. Сто лет России коту под хвост, а они: слава советским людоедам!

— Русские коммунисты уже давно не коммунисты. Частная собственность, которую они признали, и коммунистическая идея несовместимы. Я могу сказать о них, как Маркс говорил о своих последователях: «Я знаю только одно, что я не марксист». А еще лучше выразился Гейне: «Я сеял драконов, а пожал блох».

— Коммунизм — будущее человечества. Альтернативы нет.

— На воротах Соловецкого лагеря висел большевистский лозунг: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Один из рецептов спасения человечества.

— Никакого желания идти на улицу и делать что-то. Лучше ничего не делать. Ни добра, ни зла. То, что сегодня — добро, завтра окажется — злом.

— Самые страшные люди — это идеалисты...

— Я люблю Родину, но жить тут не буду. Я не смогу тут быть такой счастливой, как я хочу.

— Может, я дура... Но я не хочу уезжать, хотя могу.

— И я не уеду. В России веселее жить. Этого драйва нет в Европе.

— Лучше любить нашу Родину издали...

— Сегодня стыдно быть русским...

— Наши родители жили в стране победителей, а мы в стране, проигравшей «холодную войну». Гордиться нечем!

— Валишь не собираюсь... У меня тут бизнес. Я могу точно сказать, что нормально жить в России можно, не надо только лезть в политику. Все эти митинги за свободу слова, против гомофобов — мне по барабану...

— Все говорят о революции... Вон Рублевка опустела... Богатые бегут, капиталы уводят за границу. Закрывают свои дворцы на ключ, полно объявлений: «Продаю...». Чувствуют, что народ решительно настроен. А никто ничего добровольно не отдаст. Тогда заговорят «калашниковы»...

— Одни орут «Россия — за Путина!», а другие — «Россия без Путина!».

— А что будет, когда нефть подешевеет или станет совсем не нужной?

— 7 мая 2012 года. По телевизору показывают: торжественный кортеж Путина едет в Кремль на инаугурацию по совершенно пустому городу. Ни людей, ни машин. Образцовая зачистка. Тысячи полицейских, военных и бойцов ОМОНа дежурят у выходов из метро и возле подъездов. Очищенная от москвичей и вечных московских пробок столица. Мертвый город.

Царь-то ненастоящий!

О будущем

Сто двадцать лет назад Достоевский закончил «Братьев Карамазовых». Там он писал о вечных «русских мальчиках», которые всегда толкуют «о мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца».

Призрак революции опять гуляет по России. 10 декабря 2011 года — сотысячный митинг на Болотной площади. С тех пор протестные выступления не прекращаются. О чем же толкуют «русские мальчики» сегодня? Что выберут на этот раз?

— Я хожу на митинги, потому что хватит держать нас за лохов. Верните выборы, гады! Первый раз на Болотной площади собралось сто тысяч, никто не ожидал, что придет столько людей. Терпели, терпели, и в какой-то момент ложь и беспредел зашкалили: все — хватит! Все смотрят выпуски новостей или читают новости в интернете. Говорят о политике. Быть в оппозиции стало модно. Но я боюсь... Я боюсь, что мы все трепачи... Постоим на площади, покричим и вернемся к своим компа и будем сидеть в интернете. Останется только одно: «Как мы славно потусили!». Уже я с этим столкнулся: надо было к очередному митингу нарисовать плакаты, разнести листовки — все быстро рассосались...

— Я раньше была далека от политики. Мне хватало работы и семьи, я считала, что по улицам ходить бесполезно. Меня больше привлекала теория малых дел: я работала в хосписе, летом, когда горели леса под Москвой, возила продукты и вещи погорельцам. Разный опыт был... А мама все время сидела у телевизора. И ее, видно, достало это вранье и ворье с чекистским прошлым, она все мне пересказывала. Мы

пошли на первый митинг вместе, а маме моей семьдесят пять лет. Она — актриса. Купили на всякий случай цветы. Не будут же стрелять в людей с цветами!

— Я родился уже не в СССР. Если мне что-то не нравится, я выхожу на улицу и протестую. А не болтаю об этом на кухне перед сном.

— Я боюсь революции... Знаю: будет русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но отсиживаться дома уже стыдно. Мне не нужен «новый СССР», «обновленный СССР», «истинный СССР». Со мной нельзя так, что мы, мол, тут сели вдвоем и решили: сегодня — он президент, а завтра — я. Пипл схавает. Мы — не быдло, мы — народ. На митингах я вижу тех, кого никогда раньше там не видел: закаленные в борьбе шестидесятники-семидесятники и много студентов, а недавно им было наплевать на то, что там, в зомбоящике, нам втюхивают... И дамы в норковых шубках, и молодые ребята, которые приехали на митинг на «мерседесах». Недавно их увлекали деньги, вещи, комфорт, но оказалось, что этого мало. Им этого уже не хватает. Как и мне. Идут не голодные, а сытые. Плакаты... народное творчество... «Путин, уйди сам!», «Я не голосовал за этих сволочей, я голосовал за других сволочей!». Мне понравился плакат «Вы нас даже не представляете». Мы не собирались штурмом брать Кремль, мы хотели сказать, кто мы. Уходили и скандировали: «Мы еще вернемся».

— Я — человек советский, я всего боюсь. Еще десять лет назад я ни за что бы не вышла на площадь. А сейчас ни одного митинга не пропускаю. Была на проспекте Сахарова и на Новом Арбате. И на Белом кольце. Учусь быть свободной. Я не хочу умереть такой, какая я сейчас — советской. Вычерпываю из себя свою советскость ведрами...

— Я хожу на митинги, потому что туда ходит мой муж...

— Я — человек немолодой. Хочу еще пожить в России без Путина.

— Достали евреи, чекисты, гомосексуалисты...

— Я — левый. Я убежден: мирным путем ничего нельзя добиться. Я жажду крови! Без крови у нас большие дела не делаются. Зачем мы выходим? Я стою и жду, когда мы пойдем на Кремль. Это уже не игры. Кремль давно надо было брать, а не ходить и орать. Дайте команду взять вилы и ломик! Я жду.

— Я вместе с друзьями... Мне семнадцать лет. Что я знаю о Путине? Я знаю, что он дзюдоист, получил восьмой дан по дзюдо. И, кажется, это все, что я о нем знаю...

— Я не Че Гевара, я трусиха, но я ни одного митинга не пропустила. Хочу жить в стране, за которую мне не стыдно.

— У меня характер такой, что я должна быть на баррикадах. Меня так воспитали. Мой отец добровольцем поехал на ликвидацию последствий землетрясения в Спитаке. Из-за этого рано умер. Инфаркт. С детства я живу не с папой, а с фотографией папы. Идти или не идти — каждый сам должен решить. Мой отец сам поехал... а мог не ехать... Подруга тоже хотела пойти со мной на Болотную площадь, потом позвонила: «Понимаешь, у меня маленький ребенок». А у меня старенькая мама. Я ухожу, она сосет валидол. Но я все равно иду...

— Хочу, чтобы дети мною гордились...

— Мне это нужно для самоуважения...

— Надо попытаться что-то сделать...

— Я верю в революцию... Революция — это долгая и упорная работа. В 1905 году первая русская революция закончилась провалом и разгромом. А через двенадцать лет — в 1917 году рвануло так, что разнесло царский режим вдребезги. Будет и у нас своя революция!

— Я иду на митинг, а ты?

— Я лично устал от девяносто первого... от девяносто третьего... Не хочу больше революций! Во-первых, революции редко бывают бархатными, а во-вторых, у меня

есть опыт: даже если мы победим, будет как в девяносто первом. Эйфория быстро кончится. Поле боя достанется мародерам. Придут гусинские, березовские, абрамовичи...

— Я против антипутинских митингов. Движуха в основном в столице. Москва и Петербург за оппозицию, а провинция за Путина. Мы что, плохо живем? Разве мы живем не лучше, чем раньше? Страшно это потерять. Все помнят, как пострадали в девяностые. Никому неохота опять сломать все нахер и кровью залить.

— Я не фанат путинского режима. Надоел «царек», хотим сменяемых руководителей. Перемены, конечно, нужны, но не революция. И когда швыряют асфальтом в полицию, мне тоже не нравится...

— Все проплатил Госдеп. Западные кукловоды. Один раз по их рецептам мы сделали перестройку, и что из этого вышло? Нас погрузили в такую яму! Я хожу не на эти митинги, а на митинги за Путина! За сильную Россию!

— За последние двадцать лет картинка несколько раз полностью менялась. А результат? «Путин, уходи! Путин, уходи!» — очередная мантра. Я не хожу на эти спектакли. Ну, уйдет Путин. И сядет на трон новый самодержец. Как воровали, так и будут воровать. Останутся заплеванные подъезды, брошенные старики, циничные чиновники и наглые гаишники... и дать взятку будет считаться нормальным... Какой смысл менять правительство, если мы сами не меняемся? Ни в какую демократию у нас я не верю. Восточная страна... Феодализм... Попы вместо интеллектуалов...

— Не люблю толпу... Стадо... Толпа никогда ничего не решает, решают личности. Власть постаралась, чтобы наверху не было ярких личностей. У оппозиции нет ни Сахарова, ни Ельцина. Не родила «снежная» революция своих героев. Где программа? Что делать собираются? Походят, покричат... И тот же Немцов... Навальный... пишут в твиттере, что поехали на каникулы на Мальдивы или в Таиланд. Любуются Парижем. Представьте себе, что Ленин в семнадцатом году поехал после очередной демонстрации в Италию или покататься на лыжах в Альпах...

— Я не хожу на митинги и не хожу голосовать. Я не питаю иллюзий...

— А вы в курсе, что кроме вас есть еще Россия? До Сахалина... Так вот она не желает никаких революций — ни «оранжевой», ни «розовой», ни «снежной». Хватит революций! Оставьте Родину в покое!

— Мне плевать на то, что будет завтра...

— Я не хочу идти в одной колонне с коммунистами и националистами... с нациками... Вы бы пошли на марш с Ку-клукс-кланом в балахонах и с крестами? Какую бы замечательную цель этот марш ни имел. Мы о разной России мечтаем.

— Не хожу... Боюсь, что дадут дубинкой по голове...

— Надо молиться, а не на митинги ходить. Господь послал нам Путина...

— Мне не нравятся революционные флаги за окном. Я за эволюцию... за строительство...

— Не хожу... И не буду оправдываться, что не хожу на политические шоу. Дешевые понты — эти митинги. Надо самому жить, как учил Солженицын, не по лжи. Без этого мы ни на миллиметр не продвинемся. Будем ходить по кругу.

— Люблю Родину и так...

— Я выключил государство из зоны своих интересов. Мои приоритеты — семья, друзья и мой бизнес. Понятно объяснил?

— А ты не враг народа, гражданин?

— Что-то обязательно произойдет. И скоро. Пока еще не революция, но запах озона ощущается. Все ждут: кто, где, когда?

— Я только жить нормально начал. Дайте пожить!

— Спит Россия. Не мечтайте.

Из главы «Десять историй без интерьера»

Об одиночестве, которое очень похоже на счастье

Алиса З-лер — менеджер по рекламе, 35 лет

Ездила в Петербург за другой историей, а вернулась с этой. Разговорились в поезде с попутчицей...

— У меня подруга покончила с собой... Сильная, успешная. Много поклонников, друзей. Все мы были в шоке. Самоубийство — что это? Трусость или сильный ход? Радикальный план, крик о помощи или самопожертвование? Выход... ловушка... казнь... Я хочу... Я могу рассказать вам, почему я этого не сделаю...

Любовь? Этот вариант я даже не обсуждаю... Я не против всего этого красивого, блестящего и звенящего, но вы первая за десять лет, наверное, кто при мне произнес это слово. Двадцать первый век — деньги, секс и два ствола, а вы о каких-то чувствах... Все впервые дорвались до денег... Не было у меня желания скорее выйти замуж, нарожать детей, я всегда хотела сделать карьеру, это на первом месте. Я ценю себя, свое время и свою жизнь. И откуда вы взяли, что мужчины ищут любовь? Любофф... Мужчины считают, что женщина — дичь, боевой трофей, жертва, а они — охотники. Правила отработаны веками. А женщины ищут принца не на белом коне, а на золотом мешке. Принца неопределенного возраста... Пусть будет «папочка»... Ну и что? Миром правит бабло! Но я не жертва, я сама охотница...

Десять лет назад я приехала в Москву... Я была бешеная, я была активная, я сказала себе: я рождена для того, чтобы быть счастливой, страдают слабые люди, скромность — украшение слабых. Приехала я из Ростова... Мои родители работают в школе: папа — химик, мама — учитель русского языка и литературы. Поженились они студентами, у папы имелся один приличный костюм, но куча идей в запасе, и тогда этого было достаточно, чтобы вскружить девушке голову. До сих пор они любят вспоминать, что долго обходились одним комплектом постельного белья, одной подушкой и одними домашними тапочками. Ночи напролет читали друг другу Пастернака. Наизусть! С милым рай и в шалаше! «До первых заморозков», — смеялась я. «У тебя нет фантазии», — обижалась мама. У нас была нормальная советская семья: утром — гречка или макароны со сливочным маслом, апельсины один раз в году — на Новый год. Я даже помню их запах. Не сейчас, а тогда... это был запах какой-то другой... красивой жизни... Отпуск летом — на Черном море. Ездили в Сочи «дикарями», жили все в одной комнате — девять метров. Но чем-то же гордились... чем-то очень гордились... Гордились любимыми книжками, которые доставали из-под полы, по великому благу, а еще — радость! — контрамарки (мамина подруга работала в театре) на премьеры. Театр! Вечная тема для разговоров в приличной компании... Сейчас пишут: советский лагерь, коммунистическое гетто. Любоедский мир. Страшного я не помню... Я помню, что он был наивный, тот мир, очень наивный и нелепый. Я всегда знала, что я так жить не буду! Не желаю! Меня за это чуть из школы не выперли. Ой! Ну да... рожденные в СССР — это диагноз... Клеймо! У нас были уроки домоводства, мальчиков почему-то учили водить автомобиль, а девочек — жарить котлеты, и эти проклятые котлеты у меня всегда подгорали. Учительница, она же наша «классная», стала меня воспитывать: «Ты ничего не умеешь! Выйдешь замуж, и как ты будешь кормить своего мужа?» Я отреагировала тут же: «Я не собираюсь жарить котлеты. У меня будет домработница». Восемьдесят седьмой год... мне тринадцать лет... Какой капитализм, какая домработница?! Еще социализм всюю! Родителей вызвали к директору школы, меня пропесочили на общем собрании в классе, на совете школьной дружины. Хотели из пионеров исключить. Пионерия,

комсомол — это было серьезно. Я даже плакала... Хотя у меня никогда не было рифм в голове, одни формулы... никаких рифм... Когда я оставалась дома одна, я надевала мамино платье, туфли и садилась на диван. Читала «Анну Каренину». Светские балы, слуги, аксельбанты... любовные встречи... Все нравилось до того момента, как Анна бросилась под поезд: зачем? Красивая, богатая... Из-за любви? Даже Толстой меня не убеждал... Западные романы нравились больше, там мне нравились стервы, красивые стервы, из-за которых мужчины стрелялись, мучались. Валялись у ног. В семнадцать лет я последний раз плакала из-за неразделенной любви — всю ночь в ванной комнате с включенным краном. Мама утешала стихами Пастернака... Запомнила: «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство». Не люблю свое детство и юность не люблю, все время ждала, когда они кончатся. Грызла гранит науки, занималась в тренажерном зале. Всех быстрее, всех выше, всех сильнее! В доме крутили кассеты с песнями Окуджавы: «Возьмемся за руки, друзья...» Нет! Не мой идеал.

В Москву... Москва! Я ее всегда слышу как соперницу, с первой минуты она вызывала во мне спортивную злость. Мой город! Бешеный ритм — кайф! Размах — по моим крыльям! В кармане было двести «зеленых» и немного «деревянных». Все! Лихие девяностые... Родителям давно не платили зарплату. Нищета! Папа каждый день уговаривал себя и нас с мамой: «Надо потерпеть. Подождать. Я верю Гайдару». До сознания таких людей, как мои родители, еще не доходило, что начался капитализм. Русский капитализм... молодой и толстокожий, тот самый, который рухнул в 1917 году... (*Задумалась.*) Понимают ли они это сейчас? Трудно ответить... В одном я уверена: капитализм мои родители не заказывали. Без вариантов. Мой это заказ, таких, как я, тех, кто не захотел оставаться в клетке. Молодых, сильных. Для нас капитализм — это интересно... авантурное приключение, риск... Это не только деньги. Господин доллар! Сейчас я вам выдам свой секрет! Мне о капитализме, современном капитализме — не романы Драйзера — больше нравится читать, чем о ГУЛАГе и советском дефиците. О стукачах. Ой! Ой! Ах, святое затронула. С родителями я об этом и заикнуться не могу. Ни слова. Что вы! Мой папа остался советским романтиком. В августе девяносто первого... Путч! По телевизору с утра — балет «Лебединое озеро»... и танки в Москве, как в Африке... И папа, а с ним еще человек семь, все его друзья, они прямо с работы рванули в столицу. Революцию поддержать! Я сидела у телевизора... Запомнила Ельцина на танке. Рушилась империя... Пусть рушится... Ждали папу, как с войны, — вернулся он героем! Я думаю, что он до сих пор этим живет. Через энное количество лет я понимаю, что это — самое главное, что было в его жизни. Как у нашего дедушки... Тот всю жизнь рассказывал, как они били немцев под Сталинградом. После империи папе жить скучно и неинтересно, ему нечем жить. В основном, они разочарованы... Его поколение... У них чувство двойного поражения: сама коммунистическая идея потерпела крах, и то, что после нее получилось, им тоже непонятно, они это не принимают. Другого они хотели, если капитализма, то с человеческим лицом и обаятельной улыбкой. Не их это мир. Чужестранный. Но это мой мир! Мой! Я счастлива, что советских людей я вижу только на Девятое мая... (*Молчит.*)

Ехала я в столицу автостопом — так дешевле, и чем больше смотрела в окно, тем злее становилась, я уже знала, что из Москвы не вернусь. Ни за какие коврижки! По обе стороны базар... Торговали чайными сервизами, гвоздями, куклами — людям платили товаром. Можно было утюги или сковородки поменять на колбасу (на мясокомбинатах рассчитывались колбасой), на конфеты, сахар. Возле одной автобусной будки сидела толстая тетка, обвешанная, как лентами с патронами, детскими игрушками. Мультик! В Москве лил дождь, но я все равно пошла на Красную площадь, чтобы увидеть купола Василия Блаженного и Кремлевскую стену — эта мощь, сила, и я здесь! В самом сердце! Я шла и хромала, перед отъездом сломала в тренажерном

зале мизинец на ноге, но я была на высоких каблуках и в своем лучшем платье. Конечно, судьба — это везение, карта, но у меня есть чутье, и я знаю, чего хочу. Вселенная ничего не дает просто так... задаром... На — тебе! И — тебе! Надо очень хотеть. Я хотела! Мама привозила только домашние пирожки и рассказывала, как они с папой ходят на митинги демократов. А по талонам в месяц на человека давали: два килограмма крупы, по одному килограмму мяса и двести граммов масла. Очереди, очереди, очереди и номера на ладонях. Мне не нравится слово «совок»! Мои родители — не «совки», они — романтики! Дошколята в нормальной жизни. Я их не понимаю, но я их люблю! Шла по жизни одна... в одиночку... в шоколаде не была... И мне есть за что себя любить! Без репетиторов, без денег и протекции я поступила в МГУ. На факультет журналистики... На первом курсе влюбился в меня однокурсник и спросил: «А ты влюблена?» — На что я ответила: «Я влюблена в себя». Я всего добилась сама. Сама! С однокурсниками было неинтересно, на лекциях скучно. Учили советские преподаватели по советским учебникам. А вокруг кипела уже несоветская жизнь — диковинная, сумасшедшая! Появились первые бэушные иномарки — восторг! Первый «Макдональдс» на Пушкинской... Польская косметика... и страшный слух, что она — для покойников... Первая реклама на телевидении — рекламировался турецкий чай. Все раньше было серое, а тут — яркие цвета, броские вывески. Всего хотелось! Все можно было получить! Ты мог быть кем хочешь: брокером, киллером, геєм... Девяностые годы... для меня благословенные... незабываемые... Время завлабов, бандитов и авантюристов! Советскими оставались только вещи, а люди уже с другой программой в голове... Будешь крутиться и вертеться — и ты получишь все. Какой Ленин? Какой Сталин? Это уже позади, перед тобой открывается офигенная жизнь: ты можешь увидеть весь мир, жить в прекрасной квартире, кататься на роскошной машине, есть на обед слонятину... У России разбежались глаза... Улицы и тусовки учили быстрее, и я перевелась на заочное отделение. Нашла работу в газете. Жизнь нравилась мне с самого утра.

Я смотрела вверх... на высокую лестницу жизни... Я не мечтала, чтобы меня трахали в подъездах или в саунах и за это водили по дорогим ресторанам. У меня было много поклонников... На ровесников я не обращала внимания, с ними я могла дружить, ходить вместе в библиотеку. Несерьезно и безопасно. А нравились мне мужчины постарше и успешные, уже состоявшиеся. С ними было интересно, смешно и полезно. А на меня... (*Смеется.*) На мне долго стояло клеймо — девочки из хорошей семьи, из дома, где много книг, главный в доме — книжный шкаф, и на меня обращали внимание писатели и художники. Непризнанные гении. Но я не собиралась посвятить свою жизнь гению, которого признают после его жизни и будут нежно любить потомки. А потом все эти разговоры, надоевшие мне еще дома: о коммунизме, о смысле жизни, о счастье для других... о Солженицыне и Сахарове... Нет, это были герои не моего романа, а герои моей мамы. Тех, кто читал и мечтал летать, как чеховская чайка, сменили те, кто не читал, но мог летать. Весь прежний джентльменский набор выпал в осадок: самиздат, разговоры шепотом на кухне. Какой позор — наши танки были в Праге! Да они уже были в Москве! Кого этим удивишь? Вместо стихов самиздата — кольцо с бриллиантом, дорогие лейблы одежд... Революция желаний! Хотений! Мне нравились... я люблю чиновников и бизнесменов... Меня вдохновлял их словарь: офшоры, откаты, бартеры. Сетевой маркетинг, креативный подход... В редакции на планерках редактор говорил: «Нужны капиталисты. Помогаем Ельцину и гайдаровскому правительству делать капиталистов. Срочно!» Я была молодая... красивая... Меня посылали брать интервью у этих капиталистов: как они стали богатыми? Как заработали первый миллион? Социалистические люди превращались в капиталистических? Надо было это описать... Почему-то именно миллион покорял воображение. Заработать миллион! Мы привыкли, что русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Чего же он хочет? А он всегда хочет

одного: чтобы кто-то другой не стал богатым. Богаче, чем он. Малиновые пиджаки, золотые цепи... Это из кино... из телесериалов... Те, кого я встречала: с железной логикой и железной хваткой. Системное мышление. Все учили английский. Менеджмент. Академики и аспиранты уезжали из страны... физики и лирики... А эти... новые герои... они никуда не хотели уезжать, им нравилось жить в России. Это был их час! Их шанс! Они хотели быть богатыми, они всего хотели. Всего!

И тут я встретила его... Я думаю, что я любила этого человека. Звучит как откровение... Да? (*Смеется.*) Он был старше меня на двадцать лет, у него семья и двое сыновей. Ревнивая жена. Жизнь под микроскопом... Но мы сходили друг от друга с ума, такой порыв и взвод, что он признавался: утром, чтобы не заплакать на работе, он принимал две таблетки тазепама. Я тоже совершала сумасшедшие поступки, только что с парашютом не прыгала. Это все было... так бывает... конфетно-букетный период... Еще не важно, кто кого обманывает, кто за кем охотится и кто чего хочет. Я была маленькая, двадцать два года... Я влюбилась... влюбилась... Теперь я понимаю, что любовь — это своего рода бизнес, у каждого свой риск. Будь готова к новой комбинации... Всегда! Теперь от любви редко кто млеет. Все силы — на прыжок! На карьеру! Молодые девчонки у нас в курилке треплются, и если у кого-то настоящее чувство — жалеют: дура, мол, втюрилась. (*Смеется.*) Дура! Я была такая счастливая дура! Он отпускал водителя, ловил машину, и мы катались по ночному городу на каком-то пропахшем бензином «Москвиче». Без конца целовались. «Спасибо тебе, — говорил он, — ты вернула меня на сто лет назад». Флэш-эпизоды... флэш... Меня ошеломял его ритм... напор... Звонок вечером: «Утром летим в Париж» или: «Махнем на Канары. У меня есть три дня». В самолете летим первым классом, номер в самом дорогом отеле — под ногами стеклянный пол, там живые рыбы плавают. Живая акула! Но запомнилось на всю жизнь другое... Запомнился пропахший бензином «Москвич» на московской улице. И... как мы целовались... безумные... он доставал мне радугу из фонтана... Я влюбилась... (*Молчит.*) А он устраивал себе праздник жизни. Для себя... себе — да! Когда мне стукнет сорок, может быть, я его пойму... когда-нибудь пойму... Вот, например, он не любил часы, когда они шли, он любил их только тогда, когда они стояли. У него были свои отношения со временем... Во-о-от! Да-а-а... Обожаю кошек. Я люблю их за то, что они не плачут, никто не видел их слез. Если кто-то встретит меня на улице, подумает — богатая и счастливая! У меня есть все: большой дом, дорогая машина, итальянская мебель. И дочка, от которой я в восторге. У меня есть домработница, я не жарю сама котлеты и не стираю белье, могу купить все, что захочу... горы безделушек... Но я живу одна. И хочу жить одна! Мне ни с кем так не бывает хорошо, как с собой, я люблю говорить сама с собой... в первую очередь о себе... Отличная компания! Что я думаю... чувствую... Как вчера на это смотрела и как сегодня? То мне нравился синий цвет, а теперь лиловый... В каждом из нас столько всего происходит. В себе. С собой. Там, внутри, целый космос. Но мы на него почти не обращаем внимания. Все заняты внешним, наружным... (*Смеется.*) Одиночество — это свобода... Я каждый день теперь радуюсь, что я свободна: позвонит — не позвонит, придет — не придет? Бросит — не бросит? — увольте! Не мои проблемы! Ну нет... не боюсь я одиночества... Я боюсь... кого я боюсь? Стоматолога я боюсь... (*Неожиданно срывается.*) Люди всегда врут, когда говорят о любви... и о деньгах... врут всегда и по-разному. Мне врать неохота... Ну неохота! (*Успокаивается.*) Извините... Ну извините... Я давно не вспоминала...

Сюжет? Вечный сюжет... Я хотела от него ребенка, я забеременела... Может, он испугался? Мужчины — они трусы! Бомж или олигарх — нет никакой разницы. На войну пойдут, революцию сделают, а в любви предадут. Женщина сильнее: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». И по законам жанра... «А кони все скачут и скачут. А избы горят и горят»... «Мужчина не бывает старше четырнадцати лет», — впервые дала мне разумный совет моя мама. Помню, что... было так... Преподнесла

эту новость ему перед своей командировкой, меня послали на Донбасс. А я любила командировки, любила запах вокзалов и аэропортов. Было интересно, когда возвращалась, рассказать ему, вместе обсудить. Я сейчас понимаю, что он не только открывал мне мир, удивлял и водил по умопомрачительным бутикам, одаривал, он еще учил меня думать. Не то чтобы у него была такая задача, это само собой получалось. Смотрела на него, слушала. Даже когда я думала о том, что мы будем вместе, я не собиралась навсегда поселиться за чьей-то широкой спиной и там беспечно гламурить. Балдеть! У меня имелся свой план жизни. Любила свою работу, быстро делала карьеру. Много ездила... И в тот раз... Я летела в шахтерский поселок — история страшная, но можно сказать, типичная для того времени: передовых шахтеров наградили к празднику магнитофонами, и ночью одну семью всю вырезали. Ничего не взяли — только магнитофон. Пластмассовый «панасоник»! Коробку! В Москве — шикарные машины, супермаркеты, а за Садовым кольцом — магнитофон был чудом. Местные «капиталисты», о которых мечтал мой редактор, ходили по улицам в окружении свиты автоматчиков. В туалет — с охранником. Но тут казино, и здесь казино, и еще раз казино. И уже какой-то частный ресторанчик. Все те же девяностые годы... Они — да... они... Три дня я была в командировке. Вернулась, и мы встретились. Сначала он обрадовался — у нас будет... скоро у нас будет ребенок! У него двое мальчиков, хотел девочку. Но слова... слова... они ничего не значат, за слова прячутся, ими защищаются. Глаза! Его глаза... В глазах появился страх: надо же что-то решать, менять свою жизнь. Тут... тут — заминка... Сбой. Ах-х-х! Есть мужчины, которые уходят сразу, они уходят с чемоданами, куда уложены еще сырые носки и рубашки... А есть такие, как он... Муси-пуси, трали-вали... «Что ты хочешь? Скажи, что я должен сделать? — спрашивал он меня. — Одно твое слово — и я разведусь. Ты только скажи». Я смотрела на него...

Я смотрела на него, и у меня холодели кончики пальцев, уже начала понимать, что счастливой с ним не буду. Маленькая и глупая... Сейчас я бы зафлажковала его, как волка на охоте, я умею быть хищницей и пантерой. Стальной нитью! Тогда я только страдала. Страдание — это танец, в нем и жест, и плач, и смирение. Как в балете... Но есть один секрет, простой секрет — неприятно быть несчастливой... унижительно... В очередной раз я лежала в больнице на сохранении. Звоню ему утром, что меня надо забрать, к обеду выпишут, а он сонным голосом: «Не могу. Сегодня не могу». И не перезвонил. В этот день он улетел с сыновьями в Италию, кататься на лыжах. Тридцать первое декабря... Завтра — Новый год. Вызвала такси... Город завалило снегом, я шла через сугробы, держась за пузо. Шла одна. Неправда! Вдвоем, мы уже были вдвоем. С моей дочкой... дочуркой... Моей! Обожаемой! Я уже любила ее больше всех на свете! Любила ли я его? Как в той сказке: жили они долго и счастливо и умерли в один день. Страдала, но не умирала: «Я не могу без него жить. Я без него умру». Я, наверное, еще не встретила такого мужчину... для таких слов... Таки да! Да-да-да! Но я научилась проигрывать, я не боюсь проигрывать... (*Смотрит в окно.*) У меня с тех пор нет больших историй... Были романчики... Я легко вхожу в секс, но это не то, это другое. Мне не нравится запах мужчин, не запах любви, а запах мужчин. В ванной комнате я всегда слышу, что здесь был мужчина... пусть у него самый дорогой парфюм, дорогие сигареты... Меня охватывает ужас, когда я подумаю, сколько надо трудиться, чтобы возле тебя был другой человек. Как в камелломне! Забыть о себе, отказаться от себя, освободиться от себя. В любви нет свободы. Даже если вы найдете свой идеал, у него будут не те духи, он будет любить жареное мясо и смеяться над вашими салатиками, не там оставлять носки и брюки. И всегда надо страдать. Страдать?! Из-за любви... из-за этой композиции... Я не хочу больше делать эту работу, мне легче надеяться на себя. С мужчинами лучше дружить, иметь деловые отношения. Мне даже кокетничать редко охота, лень надевать эту маску, вступать в игру. Спа-салон, френч-маникюр, итальянское наращивание.

Макияж. Боевой раскрас... Боже мой! Боже мой! Девочки из Тьмутараканска... Со всей России — в Москву! В Москву! Там ждут их богатые принцы! Они мечтают, что из золушек их превратят в принцесс. Ожидание сказки! Чуда! Я через это... уже проехала... Понимаю Золушек, но мне их жалко. Рай без ада не бывает. Чтобы один рай... так не бывает... Но они еще этого не знают... в неведении...

Прошло семь лет, как мы расстались... Он мне звонит, звонит всегда почему-то ночью. У него все плохо, потерял много денег... говорит, что несчастлив... Была одна молодая девочка, сейчас другая. Предлагает: давай встретимся... Зачем? *(Молчит.)* Мне долго его не хватало, я выключала свет и часами сидела в темноте. Терялась во времени... *(Молчит.)* Потом... потом были только романчики... Но я... Я никогда не смогу влюбиться в мужчину без денег, из спального района. Из панельного гетто, из Гарлема. Я ненавижу тех, кто рос в нищете, с «нищенским» менталитетом, деньги значат для них так много, что им нельзя доверять. Не люблю бедных, униженных и оскорбленных. Всех этих башмачкиных и опискиных... героев великой русской литературы... Не доверяю им! Что? Что-то со мной не так... не вписываюсь в формат? Подождите... Никто не знает, как устроен этот мир... Мужчина мне нравится не за деньги, не только за деньги. Мне нравится весь образ успешного мужчины: как он ходит, как он водит машину, как говорит, как ухаживает — все у него другое. Все! Я таких выбираю... За это... *(Молчит.)* Он звонит... он не счастлив... Чего же он такого не видел и не может купить? Он... и его друзья... Деньги уже заработаны. Большие деньги. Сумасшедшие! Но за все свои деньги они не могут купить себе счастье, эту самую любовь. Любовь-морковь. У бедного студента она есть, а у них нет. Вот такая несправедливость! А им кажется, что они могут все: на личных самолетах летают в любую страну на футбольный матч, в Нью-Йорк — на премьеру мюзикла. Все — по карману! Затащить в постель самую красивую модель, привезти их в Куршевель — целый самолет! Все мы Горького в школе проходили, знаем, что такое купеческий загул — бить зеркала, лежать мордой в черной икре... купать девиц в шампанском... Но все надоело — скучно им. Московские турагентства предлагают таким клиентам особые развлечения. Например, два дня в тюрьме. В рекламе так и написано: «Хотите побыть два дня Ходорковским?» В милицейской машине с решетками их везут в город Владимир в самую страшную тюрьму — Владимирский централ, там переодевают в арестантскую робу, гоняют по двору с собаками и бьют резиновыми дубинками. Настоящими! Напихивают, как селедку, в грязную вонючую камеру с парашей. И они — счастливы. Новые ощущения! За три-пять тысяч долларов можно еще поиграть в «бомжей»: желающих переодевают, гримируют и разводят по московским улицам, они попрошайничают. Правда, рядом за углом дежурят охранники — собственные и от турфирмы. Есть предложения и покруче, для всей семьи: жена — проститутка, муж — сутенер. Знаю историю... Однажды больше всех за вечер сняла клиентов скромная, с советской внешностью жена богатейшего московского кондитера. И муж был счастлив! Есть развлечения, о которых нет сообщений в туристских рекламах... Совершенно секретно... Можно устроить ночью охоту на живого человека. Несчастному бомжу дают тысячу баксов: вот они, «зеленые» — твои! Он сроду таких денег не видал! А за это — поработай зверем! Спасешься — значит, судьба, пристрелят — не взыщи. Все по-честному! Можно взять девочку на ночь... Дать волю фантазиям, низу живота, да так, что маркизу де Саду не снилось! Кровь, слезы и сперма!! Это называется — счастьем... Счастье по-русски — попасть в тюрьму на два дня, чтобы потом выйти оттуда и понять, как у тебя все хорошо. Прекрасно! Купить не только машину, дом, яхту, депутатское кресло... но и человеческую жизнь... Побывать если не богом, то божком... сверхчеловеком! Ну да... И все!! Все рожденные в СССР, еще все оттуда. С этим диагнозом. А такой... Такой наивный был мир... мечтали хорошего человека сделать... Обещали: «железной рукой загоним человечество в счастье...». В земной рай.

У меня был разговор с моей мамой... Она хочет уйти из школы: «Устроюсь гардеробщицей. Или сторожем». Вот она рассказывает детям о книгах Солженицына... о героях и праведниках... У нее горят глаза, а у детей — нет. А мама привыкла, что у детей раньше горели глаза от ее слов, а сегодняшние дети ей отвечают: «Нам даже интересно, как вы жили, но мы так жить не хотим. Мы не мечтаем о подвигах, мы хотим жить нормально». Проходят они «Мертвые души» Гоголя. Историю подлеца... Так нас в школе учили... А сегодня сидят в классе другие дети: «Почему это он подлец? Чичиков, как Мавроди, построил пирамиду из ничего. Это классная бизнес-идея!» Чичиков для них положительный герой... *(Молчит.)* Мою дочь мама воспитывать не будет... Я не дам. Если ее послушать, то ребенок должен смотреть только советские мультки, потому что они «человеческие». Но выключаешь мультки — и выходишь на улицу. В совершенно другой мир. «Как хорошо, что я уже старая, — призналась мама. — Могу дома сидеть. В своей крепости». А раньше она всегда хотела быть молодой: маска из сока помидоров, волосы ополаскиваем ромашкой...

По молодости я любила менять судьбу, дразнить ее. Сейчас нет, хватит. У меня растет дочь, я думаю о ее будущем. А это — деньги! Я хочу заработать их сама. Не хочу просить, ни у кого не хочу брать. Не хочу! Ушла из газеты в рекламное агентство — там платят больше. Хорошие деньги. Люди хотят жить красиво — это главное, что сегодня с нами происходит. И это волнует всех. Включите телевизор: на митинги собираются... ну пусть несколько десятков тысяч человек, а красивую итальянскую сантехнику покупают миллионы. Кого ни спросишь, все перестраивают, ремонтируют свои квартиры и дома. Путешествуют. Никогда так в России не было. Мы рекламируем не только товары, но и потребности. Производим новые потребности — как жить красиво! Управляем временем... Реклама — зеркало русской революции... Моя жизнь забита до отказа. Замуж не собираюсь... Есть друзья, все они богатые люди. Один «растолстел» на нефти, второй — на минеральных удобрениях... Встречаемся, чтобы поговорить. Всегда в дорогом ресторане: мраморный холл, старинная мебель, дорогие картины на стенах... швейцары с осанкой русских помещиков... Я люблю находиться в красивых декорациях. Мой близкий друг тоже живет один и не хочет жениться, ему нравится быть одному в своем трехэтажном особняке: «Ночью спать вдвоем, а жить одному». Днем у него голова пухнет от котировок цветных металлов на Лондонской бирже. Медь, свинец, никель... В руках три мобильных телефона, трезвонят каждые тридцать секунд. Работает он по тринадцать-пятнадцать часов в сутки. Без выходных и отпусков. Счастье? Что такое счастье? Мир изменился... Сейчас одинокие — это успешные, счастливые люди, а не слабые или неудачники. У них есть все: деньги, карьера. Одиночество — это выбор. Я хочу находиться в пути. Я — охотница, а не смиренная дичь. Я сама выбираю. Одиночество очень похоже на счастье... Звучит, как откровение... Да? *(Молчит.)* Я даже не вам, а себе хотела все это рассказать...

*О желании их всех убить,
а потом о страхе, что тебе этого хотелось*

Ксения Золотова — студентка, 22 года

На первую нашу встречу пришла ее мама. Призналась: «А Ксюша не захотела со мной пойти. Отговаривала и меня: "Мама, кому мы нужны? Им нужны только наши чувства, наши слова, а сами мы им не нужны, потому что они этого не пережили"». Она очень волновалась — то поднималась, чтобы уйти: «Я стараюсь не думать об этом. Больно повторять», то начинала рассказывать, и ее нельзя было остановить, но больше молчала. Чем я могла ее утешить? С одной стороны, прошу: «Не волнуйтесь. Успокойтесь», а с другой — хочу, чтобы она вспомнила тот страшный день: 6 февраля

2004 года — теракт в Москве на Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». В результате взрыва погибло 39 человек и 122 были госпитализированы.

Хожу и хожу по кругам боли. Не могу вырваться. В боли есть все — и мрак, и торжество, иногда я верю, что боль — мост между людьми, скрытая связь, а в другой раз в отчаянии думаю, что это — пропасть.

От той двухчасовой встречи в блокноте осталось несколько абзацев:

«...быть жертвой — это настолько унижительно... Просто стыдно. Я вообще не хочу с кем-либо об этом разговаривать, я хочу быть как все, а получается — одна и одна. Могу заплакать везде. Бывает, иду по городу и плачу. Мне один незнакомый мужчина сказал: "Что ты плачешь? Такая красивая — и плачешь". Во-первых, красота никогда мне в жизни не помогала, а во-вторых, я чувствую эту красоту как предательство, она не соответствует тому, что у меня внутри...

...у нас две дочери — Ксюша и Даша. Мы жили скромно, но много ходили в музеи, в театры, много читали. Когда девочки были маленькие, папа им сказки сочинял. Мы хотели спасти их от грубой жизни. Я думала, что искусство спасает. А оно не спасло...

...в нашем доме живет одинокая старушка, ходит в церковь. Однажды она остановила меня, я решила — посочувствует, а она мне по-злому: "Задумайтесь, почему это с вами случилось? С вашими детьми?" Зачем... за что мне эти слова? Она покаялась, я думаю, она потом покаялась... Я никого не обманула, я никого не предала. У меня было только два аборта, это два моих греха... Я знаю... На улице часто подаю милостыню, пусть немного, сколько могу. Птиц зимой кормлю...»

В следующий раз они уже пришли вдвоем — мама и дочь.

Мать:

— Может, для кого-то они герои? У них есть идея, они чувствуют себя счастливыми, умирая, они думают, что попадут в рай. И не боятся смерти. Я ничего про них не знаю: «Составлен фоторобот предполагаемого террориста...» — и все. А для них мы мишени, им никто не объяснил, что моя девочка не мишень, у нее есть мама, которая без нее жить не может, есть мальчик, который в нее влюблен. Разве можно убивать человека, которого любят? По-моему, это двойное преступление. Идите на войну, в горы, стреляйте там друг в друга, но почему в меня? В мою дочь? Нас убивают среди мирной жизни... (Молчит.) Я теперь боюсь сама себя, своих мыслей. Иногда хочется их всех убить, а потом страшно, что тебе этого хотелось.

Когда-то я любила московское метро. Самое красивое в мире! Это — музей! (Молчит.) После взрыва... Я видела, как люди заходили в метро, взявшись за руки. Страх долго не притуплялся... Страшно было в город выйти, у меня сразу давление поднималось. Ездили и высматривали подозрительных пассажиров. На работе только об этом и говорили. Что с нами творится, а, Господи? Стою на платформе, и рядом со мной молодая женщина с детской коляской, у нее черные волосы, черные глаза — не русская. Не знаю, какой она национальности — чеченка, осетинка? Кто? Я не выдержала и заглянула в коляску: а ребенок ли там? Не лежит ли там что-нибудь другое? У меня испортилось настроение из-за того, что мы сейчас будем ехать в одном вагоне: «Нет, — думаю, — пускай она едет, а я подожду следующий поезд». Ко мне подходит мужчина: «Почему вы заглянули в коляску?» — Я сказала ему правду. — «Значит, и вы тоже».

...Вижу свернувшуюся в комочек несчастную девочку. Это моя Ксюша. Почему она здесь одна? Без нас? Нет, это невозможно, это не может быть правдой. Кровь на подушке... «Ксюша! Ксюшенька!» — она меня не слышит. Натянула на голову какую-то шапочку, чтобы я ничего не увидела, не испугалась. Моя девочка! Она мечтала стать детским врачом, а теперь у нее нет слуха, она была самая красивая девочка

в классе... А теперь... ее личико... За что? Что-то вязкое, тягучее обволакивает меня, сознание просто раскалывается на мелкие кусочки. Мои ноги не хотят двигаться, ватные, меня выводят из палаты. Врач ругает: «Возьмите себя в руки, иначе больше к ней не пустим». Я беру себя в руки... Возвращаюсь в палату... Смотрит не на меня, а куда-то мимо, как будто меня не узнает. Есть выражение глаз страдающего животного, этот взгляд нельзя вынести. Дальше жить почти нельзя. Теперь она куда-то спрятала этот взгляд, надела на себя панцирь, но она где-то держит это все. Это все в нее впечаталось. Все время она там, где нас не было...

Целое отделение таких девочек... как ехали в вагоне, так и лежали... Много студентов, школьников. Я думала, что все матери выйдут на улицу. Все матери со своими детьми. Нас будут тысячи. Теперь я знаю, что моя девочка нужна только мне, только дома, только нам. Слушают... сочувствуют... но без боли! Без боли!

Возвращалась из больницы домой и лежала без всяких чувств. Дашенька была рядом, она взяла отпуск. Гладила меня по голове, как маленькую. Папа не кричал, не паниковал — и инфаркт. Мы оказались в аду... Опять — за что? Я всю жизнь своим девочкам подсовывала хорошие книжки, убеждала их, что добро сильнее зла, добро всегда побеждает. Но жизнь — это не книжки. Молитва матери со дня моря достанет? Неправда! Я предательница, я не смогла защитить их, как в детстве, а они надеялись на меня. Если бы моя любовь защищала, они были бы недостижимы ни для какой беды, ни для каких разочарований.

Одна операция... вторая... Три! Вот Ксюша стала слышать на одно ухо... пальчики уже у нас работают... Жили на границе между жизнью и смертью, между верой в чудо и несправедливостью, и, хотя я медсестра, я поняла, что крайне мало знаю о смерти. Много раз ее видела, она проходила рядом. Поставить капельницу, послушать пульс... Все думают, что медики знают о смерти больше остальных, — ничего подобного. Был у нас один патологоанатом, он уже уходил на пенсию. «Что такое смерть?» — спросил он меня. *(Молчит.)* Прежняя жизнь превратилась в белое пятно... Вспоминалась одна Ксюша... Все до нюансов — как маленькая, смелая, забавная, она не боялась больших собак и хотела, чтобы всегда было лето. Как сияли ее глаза, когда она пришла домой и объявила нам, что поступила в мединститут. Без взяток, без репетиторов. Платить мы не могли, для нашей семьи это было непосильно. Как за день или два до теракта она берет старую газету и читает: если вы попали в какую-то экстремальную ситуацию в метро, надо делать то... то... Что именно, я уже забыла, но это была инструкция. И когда все случилось, пока не потеряла сознание, Ксюша эту статью вспоминала. А в то утро было так... Она как раз забрала свои сапожки из ремонта, надела уже пальто и стала их натягивать, а они не налезали... «Мама, я твои сапоги надену?» — «Бери». У нас с ней размер одинаковый. Мое материнское сердце ничего мне не подсказало... Я же могла ее удержать... В снах перед этим я видела большие звезды, какое-то созвездие. Никакой тревоги не появилось... Это моя вина, я раздавлена этой виной...

Если бы разрешили, то ночевала бы в больнице, была бы мамой для всех. Кто-то рыдает на лестнице... Кого-то обнять надо, с кем-то посидеть. Девочка из Перми плакала — мама далеко. У другой ножку раздавило... Ножка — это дороже всего! Всего дороже ножка твоего ребенка! Кто меня за это упрекнет?

Первые дни о теракте много писали в газетах, показывали репортажи по телевизору. Когда Ксюша увидела свою напечатанную фотографию, она выбросила эту газету...

Дочь:

...я многое не помню... Не держу в памяти! Не хочу! *(Мать обнимает ее. Успокаивает.)*

...под землей все страшнее. Теперь я всегда ношу с собой фонарик в сумочке...

...не было слышно ни плача, ни крика. Стояла тишина. Все лежали в общей куче... нет, не страшно... Потом стали шевелиться. В какой-то момент до меня дошло, что надо уходить отсюда, там же все химическое, и оно горит. Я еще искала свой рюкзак, где лежали мои конспекты, кошелек... Шок... шок был... боли не чувствовала...

...женский голос звал: «Сережа! Сережа!» Сережа не отзывался... Несколько человек остались сидеть в вагоне в неестественных позах. Один мужчина висел на стойке, как червяк. Я боялась смотреть в ту сторону...

...шла, и меня качало... Отовсюду слышалось: «Помогите! Помогите!» Кто-то передо мною двигался как сомнамбула, то медленно вперед пройдет, то назад. Нас с ним все обгоняли.

...наверху ко мне подбежали две девушки, какую-то тряпочку прилепили на лоб. Мне было почему-то ужасно холодно. Дали стульчик, я села. Видела, как они просили у пассажиров ремни и галстуки, и перетягивали ими раны. Дежурная станции кому-то кричала в телефон: «Что вы хотите? Люди выходят из тоннеля и тут же умирают, поднимаются на платформу и умирают...» (*Молчит.*) Зачем вы нас мучаете? Мне маму жалко. (*Молчит.*) Все уже к этому привыкли. Включат телевизор, послушают, и пошли пить кофе...

Мать:

— Я выросла в глубоко советское время. Самое-самое. Родом из СССР. А новая Россия... я еще ее не понимаю. Не могу сказать, что хуже — то, что сейчас, или история КПСС? У меня в голове советский образ, та матрица, я половину жизни провела при социализме. Застряло это во мне. Не выбить. И хочу ли я с этим расстаться — не знаю. В то время жить было плохо, а теперь страшно. Утром разбегаемся: мы на работу, девочки на учебу, и целый день трезвоним друг другу: «Что там у тебя? Во сколько едешь домой? Каким транспортом?» Собираемся все дома вечером, и только тогда у меня наступает облегчение или, по крайней мере, передышка. Я всего боюсь. Дрожу. Девочки ругают: все ты, мама, преувеличиваешь... Я нормальная, но мне нужна эта защита, эта оболочка — мой дом. У меня папы рано не стало, может, поэтому я такая ранимая, тем более, что папа меня сильно любил. (*Молчит.*) Наш папочка был на войне, два раза горел в танке... По войне прошагал — уцелел. Пришел домой — убили. В подворотне.

Училась я по советским книгам, совершенно другому нас учили. Просто вам для сравнения... В этих книгах о первых русских террористах писали, что они герои. Мученики. Софья Перовская, Кибальчич... Погибали они за народ, за святое дело. Бросили бомбу в царя. Эти молодые люди часто были из дворян, из хороших семей... Почему мы удивлены, что такие люди сегодня есть? (*Молчит.*) На уроках истории, когда проходили Великую Отечественную войну, учитель нам рассказывал о подвиге белорусской партизанки Елены Мазаник, которая убила гауляйтера Белоруссии Кубе, прикрепив бомбу к кровати, где он спал с беременной женой. А в соседней комнате, за стенкой, находились их маленькие дети... Сталин лично наградил ее Звездой Героя. До конца жизни она ходила в школы и на уроках мужества вспоминала о своем подвиге. Ни учитель... никто... Никто не говорил нам, что за стенкой спали дети... Мазаник была няней этих детей... (*Молчит.*) После войны совестливым людям стыдно вспоминать о том, что им приходилось делать на войне. Папа наш страдал...

На «Автозаводской» взорвался мальчик-смертник. Чеченский мальчик. От родителей узнали о нем, что он много читал. Любил Толстого. Он вырос на войне: бомбежки, артобстрелы.... видел, как погибли его двоюродные братья — и в четырнадцать лет сбежал в горы к Хаттабу. Хотел отомстить. Наверное, это был чистый мальчик, с горячим сердцем... Над ним смеялись: ха-ха... дурак малолетний... А он научился

стрелять лучше всех и бросать гранаты. Мама его нашла и притащила обратно в село, она хотела, чтобы он окончил школу и стал плиточником. Но через год он снова исчез в горах. Его научили взрывать, и он приехал в Москву... *(Молчит.)* Если бы он убивал за деньги, было бы все понятно, но он убивал не за деньги. Этот мальчик мог броситься под танк и взорвать роддом...

Кто я? Мы из толпы... всегда в толпе... Наша жизнь будничная, незаметная, хотя мы стараемся жить. Любим, страдаем. Только никому это не интересно, книг про нас не пишут. Толпа... масса. Меня никто не расспрашивал о моей жизни, поэтому я с вами так разговорилась. «Мама, прячь душу», — это мои девочки. Все время учат меня. Молодые живут в более жестком мире, чем был советский мир... *(Молчит.)* Такое ощущение, что жизнь как будто уже не для нас, не для таких, как мы, она где-то там. Где-то... Что-то происходит, но не с нами... Я не хожу в дорогие магазины, стесняюсь: там стоят охранники, они смотрят на меня с презрением, потому что одеваюсь я на рынке. В китайский ширпотреб. Езжу в метро, смертельно боюсь, но езжу. Те, кто побогаче, в метро не катаются. Метро для бедных, а не для всех, опять у нас появились князья и бояре и тягловый народ. Забыла уже, когда в кафе сидела, оно мне давно не по карману. И театр уже роскошь, а когда-то я не пропускала ни одной премьеры. Обидно... очень обидно... Какая-то серость из-за того, что мы не допущены в этот новый мир. Муж приносит книги из библиотеки сумками, это единственное, что нам по-прежнему доступно. Можем еще побродить по старой Москве, по нашим любимым местам — Якиманка, Китай-город, Варварка. Это наш панцирь, теперь каждый наращивает себе панцирь. *(Молчит.)* Нас учили... У Маркса написано: «Капитал — это кража». И я с ним согласна.

Я знала любовь... Всегда чувствую: любил человек или нет, с тем, кто любил, у меня интуитивная связь. Без слов. Вспомнила сейчас первого мужа... Любила? — Да. — Сильно? — Безумно. Мне было двадцать лет. В голове одни мечты. Жили с его красивой старой мамой, она меня ревновала: «Ты такая же красивая, как я в молодости». Цветы, которые он дарил мне, она забирала в свою комнату. Я ее потом поняла, может, только сейчас я ее поняла, когда знаю, как люблю своих девочек, какая может быть тесная связь с ребенком. Меня психолог хочет убедить: «У вас гипертрофированная любовь к детям. Так нельзя любить». Да нормальная у меня любовь... Любовь! Моя жизнь... вот моя-моя... Никто не знает рецепта... *(Молчит.)* Муж меня любил, но у него была философия: невозможно прожить жизнь с одной женщиной, надо познать других. Я много думала... плакала... Смогла и отпустила. Осталась с маленькой Ксюшей одна. Второй муж... Был он мне как брат, а я всегда мечтала о старшем брате. Растерялась. Не знала, как мы будем с ним жить, когда он сделал мне предложение. Чтобы рожать детей, в доме должно пахнуть любовью. Перевез он нас с Ксюшей к себе: «Давай попробуем. Не понравится, я отвезу вас обратно». И как-то у нас с ним наладилось. Любовь бывает разная: бывает сумасшедшая, а бывает похожа на дружбу. На дружеский союз. Мне нравится так думать, потому что мой муж очень хороший человек. Пусть я не жила в шелках...

Родила Дашеньку... Мы никогда не расставались с нашими детьми, вместе ездили летом в деревню к бабушке в Калужскую область. Там была речка. Луг и лес. Бабушка пекла пироги с вишнями, которые дети и сейчас вспоминают. Никогда мы не ездили к морю, это была наша мечта. Как известно, честным трудом больших денег не заработаешь: я — медсестра, муж — научный сотрудник в институте радиологической техники. Но девочки знали, что мы их любим.

Многие боготворят перестройку... Все на что-то надеялись. Мне любить Горбачева не за что. Помню разговоры у нас в ординаторской: «Закончится социализм, а что будет после него?» — «Закончится плохой социализм, и будет хороший социализм». Ждали... читали газеты... Скоро муж потерял работу, их институт закрыли. Безработных — море, все с высшим образованием. Появились киоски, затем супер-

маркеты, в которых было все, как в сказке, а купить не на что. Зайду — выйду. Покупала два яблока и один апельсин, когда дети болели. Как с этим смириться? Согласиться с тем, что так оно теперь и будет — как? Стою в очереди в кассу, передо мной мужчина с тележкой, там у него и ананасы, и бананы... Так бьет по самолюбию. От этого люди сегодня какие-то все усталые. Не дай бог родиться в СССР, а жить в России. *(Молчит.)* Ни одна моя мечта в жизни не исполнилась...

Когда дочь вышла в другую комнату, говорит мне полупшепотом:

— Сколько лет? Три года уже прошло после теракта... нет, больше... Моя тайна... Представить себе не могу, что лягу с мужем в постель, и мужская рука до меня дотронется. У нас с мужем никаких отношений все эти годы, я жена и не жена, он меня уговаривает: «Тебе станет легче». Подруга, которая все знает, она тоже меня не понимает: «Ты обалденная, ты сексуальная. Посмотри на себя в зеркало, какая ты красивая. Какие волосы...» У меня такие волосы от рождения, я про красоту свою забыла. Когда человек тонет, он весь пропитывается водой, так я вся пропитана болью. Как будто я отторгла свое тело, и осталась одна душа...

Дочь:

...лежали убитые, у них в карманах без конца звонили мобильники... Никто не решался подойти и ответить.

...сидела на полу окровавленная девушка, какой-то парень предлагал ей шоколадку...

...куртка моя не сгорела, но она вся была оплавленная. Врач осмотрела меня и сразу сказала: «Ложитесь на носилки». Я еще сопротивлялась: «Сама поднимусь и дойду до "скорой"», она даже прикрикнула на меня: «Ложитесь!» В машине я потеряла сознание, пришла в себя в реанимации...

...почему я молчу? Я дружила с одним парнем, мы даже... он мне колечко подарил... И я ему рассказала, что со мной было... Может, это абсолютно не связано, но мы расстались. У меня это отложилось, я поняла, что не надо никаких откровений. Тебя взорвали, ты выжил, ты стал еще более уязвимым и хрупким. На тебе клеймо пострадавшего, я не хочу, чтобы на мне было видно это клеймо...

...наша мама любит театры, иногда ей удается поймать дешевый билетик: «Ксюша, мы идем в театр». Я отказываюсь, они идут вдвоем с папой. На меня театр уже не действует...

Мать:

— Человек не знает, почему это именно с ним случилось, поэтому хочется быть как все. Спрятаться. Это все сразу не отключается...

Этот мальчик-смертник... и другие... Они спустились с гор и пришли к нам: «Как нас убивают, вы не видите. Попробуем это сделать у вас». *(Молчит.)*

Я думаю... Хочу вспомнить — когда я была счастливой? Надо вспомнить... Я была счастлива только один раз в жизни, когда дети были маленькие...

Звонок в дверь — Ксюшины друзья... Посадила их на кухне. У меня от мамы: первое — это накормить гостей. Одно время молодые перестали говорить о политике, а сейчас снова говорят. Стали спорить о Путине... «Путин — это клон Сталина...», «Это надолго...», «Это — газ, это — нефть...» Вопрос: кто Сталина сделал Сталиным? Проблема вины...

Судить надо только тех, кто расстреливал, пытал или:

и того, кто написал донос...

кто забрал у родственников ребенка «врага народа» и сдал его в детдом...

шофера, перевозившего арестованных...

уборщицу, замывавшую полы после пыток...

начальника железной дороги, направлявшего товарняки с политзаключенными на Север...

портных, кроивших полушубки, в которых ходили лагерные охранники. Врачей, чинивших им зубы, снимавших кардиограмму, чтобы они лучше несли свою службу...

тех, кто молчал, когда другие на собраниях кричали: «Собакам — собачья смерть!»

Со Сталина перешли на Чечню... И опять все то же самое: кто убивает, взрывает — да, виноват, а тот, кто делает бомбы, снаряды на заводах, шьет военную форму, учит солдат стрелять... представляет к наградам... Разве они виноваты? *(Молчит.)* Мне хотелось закрыть собой Ксюшу, куда-нибудь увести ее от этих разговоров. Она сидела с большими от ужаса глазами. Смотрела на меня... *(Поворачивается к дочери.)* Ксюшенька, я не виновата, и наш папа не виноват, он сейчас преподает математику. Я — медсестра. К нам в больницу привозили раненых наших офицеров из Чечни. Мы их лечили, потом, конечно, они уезжали назад. На войну. Среди них мало кто хотел возвращаться, многие открыто признавались: «Не хотим воевать». Я — медсестра, я всех спасаю...

Есть таблетки от зубной боли, от головной, а от моей нет. Психолог схему мне нарисовал: утром натошак полстакана зверобоя, двадцать капель настойки боярышника, тридцать — пиона... Весь день расписан. Пила я все это. И к какому-то китайцу ходила... Не помогло... *(Молчит.)* Отвлекают ежедневные дела, поэтому не сходишь с ума. Рутинка лечит: постирать, погладить, зашить...

Во дворе нашего дома стоит старая липа... Я иду — это, наверное, через пару лет было — и чувствую: липа цветет. Запах... А до того все как-то не остро было... не так... Краски погашены, звуки... *(Молчит.)*

Подружилась в больнице с одной женщиной, она ехала не во втором вагоне, как Ксюша, а в третьем. Ходила уже на работу, и казалось, все пережила. И что-то случилось — хотела выброситься с балкона, прыгала из окна. Родители заковали дом в решетки, жили как в клетке. Травилась газом... Муж от нее ушел... Не знаю, где она сейчас? Кто-то один раз видел ее на станции «Автозаводская». Ходила по перрону и кричала: «Берем правой рукой три горсти земли и бросаем на гроб. Берем... бросаем». Кричала, пока санитары за ней не приехали...

Думала, что это Ксюша мне рассказала... Возле нее стоял мужчина и так близко, что она даже хотела сделать ему замечание. Не успела. Потом получилось так, что он закрыл ее, много Ксюшиных осколков попало в него. Неизвестно, остался ли он жив? Я о нем часто вспоминаю... ну просто перед глазами он у меня стоит... А Ксюша не помнит... Откуда я это взяла? Наверное, я придумала его себе сама. Но кто-то же мне ее спас...

Я знаю лекарство... Ксюше надо быть счастливой. Ее можно вылечить только счастьем. Нужно что-то такое... Были мы на концерте Аллы Пугачевой, которую всей семьей любим. Я хотела к ней подойти или записочку послать: «Спойте для моей девочки. Скажите, что это только для нее одной». Чтобы она почувствовала себя королевой... поднять ее высоко-высоко... Она увидела ад и должна увидеть рай. Чтобы опять мир для нее пришел в равновесие. Мои иллюзии... мечты... *(Молчит.)* Я ничего не смогла своей любовью сделать. Кому мне написать письмо? Кого попросить? Вы заработали на чеченской нефти, на русских кредитах, дайте мне куда-нибудь ее увезти. Пусть она посидит под пальмой, на черепахе посмотрит, чтобы забыла ад. У нее в глазах все время ад. Света нет, света я в них не вижу.

Стала ходить в церковь... Верю ли я? Не знаю. Но хочется с кем-то поговорить. Один раз батюшка проповедь читал, что в большом страдании человек или приближается к Богу, или удаляется, и если он отдаляется от Бога, нельзя его корить, это от негодования, от боли. Все про меня.

Смотрю на людей со стороны, я не чувствую с ними родственной связи... Я смотрю так, как будто я уже не человек... Вы писательница, вы меня поймете: слово мало имеет общего с тем, что происходит внутри, раньше я редко общалась с тем,

что у меня внутри. Сейчас как на рудниках живу... Переживаю, думаю... все время что-то в себе ворошу... «Мама, прячь душу!» Нет, дорогие девочки, я не хочу, чтобы мои чувства, мои слезы просто так исчезли. Без следа, без знака. Меня это больше всего беспокоит. Все, что я пережила — это не то, что хочется только детям оставить. Я хочу это передать и другому человеку, чтобы оно где-то лежало, и каждый мог взять.

3 сентября — День памяти жертв терроризма. Москва в трауре. На улицах много инвалидов, молодые женщины в черных платках. Горят поминальные свечи: на Солянке, на площади перед Театральным центром на Дубровке, возле метро «Парк культуры», «Лубянка», «Автозаводская», «Рижская»...

Я тоже в этой толпе. Спрашиваю — слушаю. Как мы с этим живем?

Теракты в столице были в 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011 годах.

— Ехала на работу, вагон, как всегда, был переполнен. Взрыва не слышала, но почему-то все вдруг стало в оранжевом цвете, и тело онемело, хотела пошевелить рукой — не смогла. Подумала, что со мной случился инсульт, и тут же потеряла сознание... А когда пришла в себя, вижу — по мне ходят какие-то люди, ходят бесстрашно, как будто я мертвая. Испугалась, что раздавят, и подняла руки. Меня кто-то поднял. Кровь и мясо — такая была картина...

— Сыну четыре года. Ну как ему сказать, что папа погиб? Он ведь не понимает, что такое смерть! Боюсь, чтобы не подумал — папа нас бросил. Пока папа у нас в командировке...

— Часто вспоминаю... Возле больницы стояли целые очереди желающих сдать кровь, с сетками апельсинов. Умоляли замученных нянечек: «Возьмите у меня фрукты и передайте любому человеку. Скажите, что еще им надо?»

— Ко мне приезжали девчонки с работы, начальник машину им давал. А никого видеть не хотелось...

— Война нужна, может, люди появятся. Мой дед говорил, что людей он встречал только в войну. Сейчас доброты мало.

— Две незнакомые женщины обнимались и плакали возле эскалатора, лица в крови, до меня не доходило, что это кровь, я думала: краска от слез размазалась. Вечером все это еще раз увидела по телевизору, и вот тогда до меня дошло. Там, на месте, не понимала, смотрела на кровь и не верила.

— Сначала думаешь, что ты можешь спуститься в метро, заходишь в вагон смело, но проезжаешь одну-две остановки и выскакиваешь в холодном поту. Особенно страшно, когда поезд остановится на несколько минут в тоннеле. Каждая минута растягивается, сердце начинает болтаться на одной ниточке...

— В каждом кавказце мерещится террорист...

— Как вы думаете: русские солдаты в Чечне не совершали преступлений? У меня брат там служил... Такое рассказывал про славную русскую армию... Держали чеченских мужчин в ямах, как зверей, требовали у родственников выкуп. Пытали... мародерствовали... Теперь парень спивается.

— Госдепу проданся? Провокатор! Кто превратил Чечню в гетто для русских? Русских выгоняли с работы, отбирали квартиры, машины. Не отдашь — зарежут. Русских девушек насиловали только за то, что они русские.

— Ненавижу чеченов! Если бы не мы, русские, они бы до сих пор сидели в горах, в пещерах. Журналистов, которые за чеченов — тоже ненавижу! Либерасты! (*Взгляд, полный ненависти, в мою сторону — я записываю разговор.*)

— Разве судили русских солдат за убийство немецких солдат во время Отечественной войны? А убивали по-всякому. Партизаны на кусочки пленных полицейев резали... Послушайте ветеранов...

— Во время первой чеченской войны, это при Ельцине, по телевизору все честно показывали. Мы видели, как плакали чеченские женщины. Как русские матери ходили по селам и искали пропавших без вести своих мальчиков. Их никто не трогал. Такой ненависти, как сейчас, еще ни у кого не было — ни у них, ни у нас.

— То пылала одна Чечня, теперь весь северный Кавказ. Везде строят мечети.

— Геополитика пришла к нам в дом. Россия распадается... Скоро от империи останется одно Московское княжество...

— Ненавижу!!!

— Кого?

— Всех!

— Мой сын был еще семь часов живой, его запихнули в целлофановый мешок и положили в автобус с трупами... Привезли нам казенный гроб, два венка. Гроб из каких-то опилок, как картонный, его подняли — он развалился. Венки бедные, жалкие. Все покупали сами. Государству на нас, смертных, наплевать, пусть и оно примет мой плевок — хочу уехать из этой ё-ной страны. Подали с мужем документы на иммиграцию в Канаду.

— Раньше Сталин убивал, а теперь бандиты. Свобода?

— У меня черные волосы, черные глаза... Я — русская, православная. Зашли с подругой в метро. Нас остановила милиция, меня отвели в сторону: «Снимите верхнюю одежду. Предъявите документы». На подругу — ноль внимания, она блондинка. Мама говорит: «Покрась волосы». А мне стыдно.

— Русский человек крепок на трех сваях — «авось», «небось» и «как-нибудь». Первое время все тряслись от страха, а через месяц я обнаружила в метро под скамейкой подозрительный сверток и еле заставила дежурную позвонить в милицию.

— В аэропорту «Домодедово» таксисты-суки после теракта взвинтили цены. Заоблачно. На всем бабло делают. Б...дь, вытаскивать из машин — и мордой о капот!

— Одни валялись в лужах крови, а другие их снимали на мобилы. Щелкали. Тут же вывесили фото в ЖЖ. Офисному планктону перчика не хватает.

— Сегодня — они, завтра — мы. И все молчат, все с этим согласились.

— Постараемся, сколько можно, помогать усопшим нашими молитвами. Просить милости Божией...

Тут же на импровизированной сцене школьники дают концерт. Их привезли автобусами. Подхожу ближе.

— Мне Бен Ладен интересен... Аль-Каида — глобальный проект...

— Я за индивидуальный террор. Точечный. Например, против полицейских, чиновников...

— Террор — это плохо или хорошо?

— Это теперь добро.

— Надоело, блин, стоять. Когда нас отпустят?

— Анекдотец прикольный... Террористы осматривают достопримечательности в Италии. Дошли до Пизанской башни. Смеются: «Дилетанты!»

— Террор — это бизнес...

жертвоприношение, как в древние времена...

мейнстрим...

разминка перед революцией...

что-то личное...

О старухе с косой и красивой девушке

Александр Ласкович — солдат, предприниматель, эмигрант — с 21 до 30 лет

Смерть похожа на любовь

— В детстве у меня во дворе было дерево... Старый клен... Я с ним разговаривал, это был мой друг. Умер дедушка, я долго плакал. Проревел весь день. Мне было пять лет, и я понял, что умру, и все умрут. Меня охватил ужас: все умрут раньше, чем я, и я останусь один. Дикое одиночество. Мама меня жалела, а папа подошел и сказал: «Вытри слезы. Ты — мужчина. А мужчины не плачут». А я не знал еще — кто я? Мне никогда не нравилось быть мальчиком, я не любил играть «в войну». Но меня никто не спрашивал... все выбрали без меня... Мама мечтала о девочке, папа, как всегда, хотел аборт.

Первый раз я хотел повеситься в семь лет... Из-за китайского тазика... Мама сварила варенье в китайском тазике и поставила на табуретку, а мы с братом ловили нашу кошку. Муська тенью пролетела над тазиком, а мы нет... Мама молодая, папа на военных учениях. На полу лужа варенья... Мама проклинает судьбу офицерской жены и то, что жить приходится у черта на куличках... на Сахалине... где зимой снега насыпает до десяти метров, а летом — лопухи одного роста с ней. Она хватает отцовский ремень и выгоняет нас на улицу. «Мама, на дворе дождь, а в сарае муравьи кусаются». — «Пошли! Пошли! Вон!!» Брат побежал к соседям, а я совершенно серьезно решил повеситься. Залез в сарай, нашел в корзине веревку. Придут утром, а я вишу: вот, суки, вам! Тут в дверь втискивается Муська... Мяу-мяу... Милая Муська! Ты пришла меня пожалеть. Я обнял ее, прижался, и так мы с ней просидели до утра.

Папа... Что такое был папа? Он читал газеты и курил. Замполит авиаполка. Мы перемещались из одного военного городка в другой, жили в общежитиях. Длинные кирпичные бараки, везде одинаковые. Все они пахли гуталином и дешевым одеколоном «Шипр». Так всегда пахло и от папы. Мне — восемь лет, брату — девять, папа возвращается со службы. Скрипит портупея, скрипят хромовые сапоги. В эту минуту нам с братом превратиться бы в невидимок, исчезнуть с его глаз! Папа берет с этажерки «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, в нашем доме — это «Отче наш». «Что было дальше?» — начинает он с брата. — «Ну самолет упал. А Алексей Мересьев пополз... Раненый. Съел ежа... завалился в канаву...» — «В какую еще канаву?» — «В воронку от пятитонной бомбы», — подсказываю я. «Что? Это было вчера. — Мы оба вздрагиваем от командирского голоса папы. — Сегодня, значит, не читали?» Картинка: бегаем вокруг стола, как три клоуна — один большой, два маленьких, мы со спущенными штанами, папа — с ремнем. (Пауза.) Все-таки у нас у всех киношное воспитание, да? Мир в картинках... Не из книг, а из фильмов мы выросли. И из музыки... Книжки, которые приносил в дом папа, у меня до сих пор вызывают аллергию. У меня температура поднимается, когда я вижу у кого-нибудь на полке «Повесть о настоящем человеке» или «Молодую гвардию». О! Папа мечтал бросить нас под танк... Он хотел, чтобы мы скорее стали взрослыми и попросились добровольцами на войну. Мир без войны папа не представлял. Нужны герои! Героями становятся только на войне, и если бы там кому-то из нас отсекло ноги, как Алексею Мересьеву, он был бы счастлив. Его жизнь не зря... Все отлично! Жизнь удалась! И он... я думаю, что он сам бы привел приговор в исполнение, своей рукой, если бы я нарушил присягу, если бы дрогнул в бою. Тарас Бульба! «Я тебя породил, я тебя и убью». Папа принадлежал идее, он не человек. Родину положено любить безоговорочно. Безоговорочно! Я это слышал все детство. Жизнь дана только для того, чтобы Родину защищать... Но меня никак не удавалось запрограммировать на войну, на щенячью готовность заткнуть собой дырку в плотине или лечь пузом на мину. Я не

любил смерть... Я давил божьих коровок, на Сахалине летом божьих коровок — как песка. Давил их, как все. Пока однажды не испугался: чего это я столько маленьких красных трупиков наделал? Муська родила недоношенных котят... Я их поил, выхаживал. Появилась мама: «Они что — мертвые?» И они умерли после ее слов. Никаких слез! «Мужчины не плачут». Папа дарил нам военные фуражки, по выходным ставил пластинки с военными песнями. Мы с братом сидели и слушали, а по щеке у папы сползала «скупая мужская слеза». Когда он был пьяный, он всегда рассказывал нам одну и ту же историю: как «героя» окружили враги, и он отстреливался до последнего патрона, а последний патрон выпустил в свое сердце... В этом месте отец всегда киношному падал и всегда задевал ногой табуретку, и она тоже падала. Тут было смешно. Отец трезвел и обижался: «Ничего нет смешного, когда герой умирает».

Я не хотел умирать... В детстве очень страшно думать о смерти... «Мужчина должен быть готов», «священный долг перед Родиной»... «Что? Ты не будешь знать, как разобрать и собрать автомат Калашникова?» — нет, для папы это было невозможно. Позор! О, как я хотел молочными зубами вгрызться в папины хромовые сапоги, биться и кусаться. За что он меня — по голой заднице перед соседским Витькой?! И еще «девчонкой» обзывает... А я не рожден для танца смерти. У меня классический ахилл... я хотел танцевать в балете... Папа служил великой идее. Как будто трепанация черепа у всех была, гордились тем, что жили без штанов, но с винтовкой... (Пауза.) Мы выросли... мы давно выросли... Бедный папа! Жизнь за это время сменила жанр... Там, где играли оптимистическую трагедию, сейчас разыграют комедию и боевик. Ползет-ползет, шишки грызет... Угадайте, кто это? — Алексей Мересьев. Любимый папин герой... «Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник Потапов...» Это все, что осталось от папиной идеи... А сам папа? Это уже старый человек, совсем не готовый к старости. Ему бы радоваться каждой минуте, на небо смотреть, на деревья. Пусть бы в шахматы играл или марки собирал... спичечные коробки... Сидит у телевизора: заседание парламента — левые, правые, митинги, демонстрации с красными флагами. Папа — там! Он — за коммунистов. Соберемся за ужином... «У нас была великая эпоха!» — наносит он мне первый удар и ждет ответа. Папе нужна борьба, иначе жизнь утрачивает смысл. Только — на баррикады и со знаменем! Вот мы смотрим с ним телевизор: японский робот достает из песка ржавые мины... одну... вторую... Торжество науки и техники! Человеческого разума! Правда, папе за державу обидно, что это не наша техника. Но тут... Неожиданно к концу репортажа у нас на глазах робот делает ошибку и подрывается. Как говорится, увидел бегущего сапера — беги за ним. У робота такой программы нет. Папа в недоумении: «Гробить импортную технику? У нас что, личного состава не хватает?» У него свои отношения со смертью. Папа жил для того, чтобы выполнить любое задание партии и правительства. Жизнь стоила меньше железки.

На Сахалине... Мы жили возле кладбища. Почти каждый день я слышал похоронную музыку: желтый гроб — умер кто-то в поселке, обитый красным кумачом — летчик погиб. Красных гробов было больше. После каждого красного гроба папа приносил в дом магнитофонную кассету... Приходили летчики... На столе дымились пожеванные папиросные «бычки», блестели запотевшие стаканы с водкой. Крутилась кассета: «Я — борт такой-то... Движок стал...» — «Идите на втором». — «И этот отказал». — «Попытайтесь запустить левый двигатель». — «Не запускается...» — «Правый...» — «Правый тоже...» — «Катапультируйтесь!» — «Фонарь кабины не сбрасывается... Твою мать! Э-э-э... ы-ы-ы...» Я долго представлял смерть как падение с немыслимой высоты: э-э-э... ы-ы-ы... Кто-то из молодых летчиков однажды спросил у меня: «Что ты, малыш, знаешь о смерти?» Я удивился. Мне казалось, что я это знал всегда. Хоронили мальчика из нашего класса... разжег костер и набросал туда патронов... Так рвануло! Вот он... лежит в гробу и как будто притворяется, все смотрят на него, а он недоступен никому... Я не мог отвести глаз... как будто я это знал

всегда, родился уже с этим знанием. Может, я уже когда-то умирал? Или мама, когда я еще жил в ней, сидела у окна и смотрела, как везли на кладбище: красный гроб, желтый гроб... Я был загипнотизирован смертью, в течение дня я думал о ней десятки раз. Много раз думал. Смерть пахла папиросными «бычками», недоеденными шпротами и водкой. Это не обязательно беззубая старуха с косой, а может, это красивая девушка? И я ее увижу.

Восемнадцать лет... Всего хочется: женщин, вина, путешествовать... Загадок, тайн. Я придумывал себе разную жизнь, представлял. И в этот момент тебя подлавливают... Ё-моё! Мне до сих пор хочется раствориться в воздухе, исчезнуть, чтобы нигде меня не нашли. Не оставить никаких следов. Уйти куда-нибудь лесником, беспаспортным бомжем. Постоянно наваливается один и тот же сон: меня опять забирают в армию — перепутали документы, и снова надо идти служить. Кричу, отбиваюсь: «Я уже служил, скоты! Отпустите меня!» Схожу с ума! Жуткий сон... (Пауза.) Я не хотел быть мальчиком... Не хотел быть солдатом, война мне была неинтересна. Папа сказал: «Ты должен, наконец, стать мужчиной. А то девочки подумают, что ты импотент. Армия — школа жизни». Надо идти учиться убивать... У меня, в моем воображении это выглядело так: барабанный бой, боевые ряды, хорошо сделанные орудия убийства, свист горячего свинца и... разбитые головы, вышибленные глаза, оторванные конечности... вой и стоны раненых... И крики победителей... тех, кто умеет убивать лучше... Убить! Убить! Стрелой, пулей, снарядом или ядерной бомбой, но все равно убить... убить другого человека... Я не хотел. И я знал, что в армии из меня будут делать мужчину другие мужчины. Или меня убьют, или я кого-то убью. Брат ушел с розовой ватой в голове, романтиком, а вернулся после службы испуганным человеком. Каждое утро его били ногой в лицо. Он лежал на нижних нарах, старослужащий — наверху. Целый год тебе пяткой в морду! Попробуй остаться тем, кем ты был. А если раздеть человека догола — сколько можно всего придумать? Много чего... Например, сосать собственный член, а все будут смеяться. Кто не будет смеяться, сам будет сосать... А зубной щеткой или лезвием для бритья драить солдатский туалет? «Должно блестеть, как у кота яйца». Ё-моё! Есть тип людей, которые не могут быть мясом, а есть другой тип, готовый быть только мясом. Человеческие лепешки. Я понял, что должен собрать всю свою страсть, чтобы выжить. Записался в спортивную секцию — хатха-йога, каратэ. Учился бить — в лицо, между ног. Как позвоночник переломить... Зажигал спичку, клал ее на ладонь и дожидался, пока она догорит. Конечно, я не выдерживал... Плакал. Я помню... помню... (Пауза.) Гуляет по лесу дракон. Встретил медведя.: «Медведь, — говорит дракон, — у меня в восемь часов ужин. Приходи — я тебя съем». Идет дальше. Бежит лиса. «Лиса, — говорит дракон, — у меня в семь утра завтрак. Приходи — я тебя съем». Идет дальше. Скачет заяц. «Стой, заяц, — говорит дракон, — у меня в два часа обед. Приходи — я тебя съем». — «У меня вопрос», — поднял заяц лапу. — «Давай». — «Можно не приходить?» — «Можно. Я тебя вычеркиваю из списка». Но мало кто способен задать такой вопрос... Бляааа!

Проводы... Два дня дома жарили, варили, тушили, лепили, пекли. Купили два ящика водки. Собрались все родственники. «Не посрами, сынок!» — поднял первую рюмку отец. И пошло... Ё-моё! Знакомый текст: «пройти испытания»... «с честью выдержать»... «проявить мужество»... Утром возле военкомата — гармонь, песни и водка в пластмассовых стаканчиках. А я не пью... «Больной, что ли?» Перед отправкой на станцию — осмотр личных вещей. Заставили все выложить из сумок, ножи, вилки и еду забрали. Дома дали немного денег... Мы их запихивали поглубже в носки и трусы. Ё-моё! Будущие защитники Родины... Посадили в автобусы. Девчонки машут, мамы плачут. Поехали! Полный вагон мужиков. Ни одного лица не запомнил. Всех подстригли «под ноль», переодели в какое-то рванье. На зёков были похожи. Голоса: «Сорок таблеток... Попытка суицида... Белый билет. Надо быть дураком,

чтобы остаться умным...» — «Бей меня! Бей! Ну и пусть я говно, мне наплевать. Зато я — дома, трахаюсь с девчонками, а ты — с винтовкой пошел играть в войну». — «Эх, парни, сменим кроссовки на сапоги и будем Родину защищать» — «У кого "бабки" в кармане, тот в армию не ходит». Ехали трое суток. Всю дорогу пили. А я не пью... «Бедолага! Что ты будешь в армии делать?» Из постельного белья — носки и одежда, что на нас. Сняли ночью обувь... Ё-моё! Запах! Сто мужиков сняли ботинки... Носки не меняли кто двое, а кто трое суток... Хотелось повеситься или расстреляться. В туалет ходили с офицерами — три раза в день. Хочешь больше — терпи. Туалет закрыт. А мало чего... только из дому... Один все равно ночью удавился...

Человека можно запрограммировать... Он сам этого хочет. Ать-два! Ать-два! В ногу! В армии положено много ходить и много бегать. Бегать быстро и далеко, не можешь бежать — ползи! Сотня молодых мужчин вместе? Зверье! Стая молодых волков! В тюрьме и в армии живут по одним законам. Беспредел. Заповедь первая: никогда не помогай слабому. Слабого — бей! Слабый выбраковывается сходу... Второе: друзей нет, каждый сам за себя. Ночью кто хрюкает, кто квакает, кто маму зовет, кто пердит... Но правило для всех одно: «Прогибайся или прогибай». Все просто — дважды два. И зачем я столько книжек читал? Верил Чехову... Это он писал, что надо выдавливать из себя по капле раба и в человеке все должно быть прекрасно: и душонка, и одежонка, и мыслишки. А бывает наоборот! Наоборот! Иногда человеку хочется быть рабом, ему это нравится. Из человека по капле выдавливают человека. Сержант в первый день тебе объясняет, что ты — быдло, ты — тварь. Команда: «Лечь! Встать!». Все встали, один лежит. «Лечь! Встать!» Лежит. Сержант стал желтый, затем фиолетовый: «Ты что?» — «Суета сует...» — «Ты что?» — «Господь учил: не убивай, даже не гневайся...» Сержант — к командиру роты, тот к гэбэшнику. Подняли дело: баптист. Как он в армию попал?! Его оградили от всех, потом куда-то увезли. Он фантастически опасен! Не хочет играть в войну...

Курс молодого бойца: марширование на красоту, заучивание Устава наизусть, разборка и сборка автомата Калашникова с закрытыми глазами... под водой... Бога нет! Сержант — бог, царь и воинский начальник. Сержант Валериан: «Дрессировке поддаются даже рыбы. Поняли?», «Песню в строю надо орать так, чтобы мышцы на жопе дрожали», «Чем глубже вы в землю закопаетесь, тем меньше вас убьют». Фольклор! Кошмар номер один — кирзовые сапоги... Русскую армию только недавно переобули — выдали ботинки. Я еще служил в сапогах. Для того, чтобы кирза блестела, ее надо было смазывать сапожным кремом и растирать шерстяной тряпочкой внатяг. Кросс — десять километров в кирзаках. Жара тридцать градусов... Ад! Кошмар номер два — портянки... Они были двух видов — зимние и летние. Русская армия отказалась от портянок последней... в двадцать первом веке... Я не один кровавый мозоль из-за них натер. Наматывают портянку так: от носка ноги и непременно «наружу», а не внутрь. Построились. «Рядовой... почему ковыляете? Узких сапог не бывает, есть неправильные ноги». Говорят все матом, не ругаются, а говорят, от полковника до солдата. Другой речи не слышал.

Азбука выживания: солдат — это животное, которое может все... Армия — это тюрьма, в которой срок отбывают по конституции... Мама, мне страшно! Молодой солдат — «салага», «дух», «червяк». «Эй, душара! Принеси чаю». «Эй... почисти сапоги...» Эй-эй! «А ты, б...дь, гордый». Начинаются репрессии... Ночью четверо держат, двое бьют... Отработана техника, по которой тебя бьют без синяков. Без следов. Например, мокрым полотенцем... ложками... Один раз меня отхерачили так, что я не мог два дня разговаривать. В госпитале от всех болезней одна зеленка. Надоест бить — «побреют» сухим полотенцем или зажигалкой, это надоест — накормят фекалиями, помоями. «Ручками! Ручками бери!» Скоты! Могли заставить бегать по казарме голым... танцевать... У молодого солдата никаких прав... Папа: «Советская армия — лучшая в мире...»

И... наступает такой момент... Появляется мыслишка, такая подлая мыслишка: я им трусы, портянки постираю, потом сам выбьюсь в скоты, и уже мне будут трусы стирать. Это я дома думал о себе, что я такой белый и пушистый. Меня не сломаешь и мое «я» не убьешь. Это «до»... (Пауза.) Есть хотелось всегда, особенно сладкого. В армии все воруют, вместо положенных семидесяти граммов солдату попадает тридцать. Сидели один раз неделю без каши — вагон перловки кто-то на станции спер. Снилось булочная... кексы с изюмом... Стал мастером по чистке картофеля. Виртуозом! За час могу начистить три ведра картошки. Солдатам привозят нестандарт, как на ферму. Сидишь в очистках... Бляааа! В наряде на кухне подходит сержант к солдату: «Начистить три ведра картошки». Солдат: «В космос уже давно летают, а машинку для чистки картофеля не изобрели». Сержант: «В армии, рядовой... все есть. И машинка для чистки картофеля тоже — это ты. Самая последняя модель». Солдатская столовая — поле чудес... Два года: каша, квашеная капуста и макароны, суп из мяса, которое хранили на военных складах на случай войны. Сколько оно там лежало? Пять-десять лет... Все заправлялось комбижиром, большие пятилитровые, такие оранжевые банки. На Новый год в макароны вливали сгущенку — лакомство! Сержант Валериан: «Печенье будете дома есть и угощать своих б...ей...» Ни вилки, ни чайной ложки по Уставу солдату не положено. Ложка — единственный прибор. Кому-то прислали из дома пару чайных ложечек. Боже мой! С каким удовольствием мы сидели и размешивали чай в стаканах. Гражданский кайф! Держат за свиней, и вдруг — чайная ложечка. Боже мой! Где-то же у меня есть дом... Заходит дежурный капитан... Увидел: «Что? Что такое! Кто позволил? Немедленно очистить помещение от мусорного хлама!» Какие ложечки?! Солдат — не человек. А предмет... приспособление... орудие для убийства... (Пауза.) Дембель. Нас... человек двадцать... Привезли на машине на железнодорожную станцию и выгрузили: «Ну, что — пока! Пока, ребята! Счастливо на гражданке». Мы стоим. Полчаса прошло — стоим. Час прошел... Стоим! Оглядываемся. Ждем приказа. Кто-то должен нам дать команду: «Бегом! В кассу за билетами!» Приказа нет. Не помню, сколько времени прошло, пока мы сообразили, что команды не будет. Самим надо решать. Ё-моё! За два года мозги отшибли...

Покончить с собой я хотел раз пять... А как? Повеситься? Будешь в говне своем висеть, язык вывалится... назад в глотку не затолкают... Как у того парня в поезде, когда нас в часть везли. Обматывают... свои же... Спрыгнуть с вышки — фарш получится! Взять автомат и на посту — в голову... Расколется, как арбуз. Маму все-таки жалко. Командир просил: «Только не стреляйтесь. Людей списать легче, чем патроны». Жизнь солдата дешевле табельного оружия. Письмо от девушки... Это очень много значит в армии. Руки трясутся. Письма хранить нельзя. Проверка тумбочек: «Бабы ваши, будут наши. А вам еще служить, как медным чайникам. Неси свою макулатуру в унитаз». Положен набор: бритва, авторучка и блокнот. Сидишь на «очке» и читаешь последний раз: «Люблю... Целую...» Бляааа! Защитники Родины! Письмо от отца: «Идет война в Чечне... Ты меня понимаешь!» Папа героя домой ждет... А у нас прапорщик один был в Афгане, поехал добровольцем. Война прошла по его голове сильно. Ничего не рассказывал, травил только «афганские» анекдоты. Ё-моё! Все ржали... Солдат тащит на себе тяжело раненого друга, тот истекает кровью. Умирает. Просит: «Пристрели! Больше не могу!» — «У меня патронов нет. Кончились». — «А ты купи». — «Где я их тебе куплю? Вокруг горы, ни души». — «А ты у меня купи». (Смеется.) «Товарищ офицер, почему вы попросились в Афган?» — «Хочу стать майором». — «А генералом?» — «Нет, генералом я не стану — у генерала свой сын есть». (Пауза.) В Чечню никто не просился. Ни одного добровольца не помню... Отец приходил ко мне во сне: «Ты присягу принял? Стоял под Красным знаменем: "Клянусь свято соблюдать... строго выполнять... мужественно защищать... А если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара... всеобщая ненависть и презрение..."» Во сне я убежал куда-то, он целился в меня... целился...

Стоишь на посту. В руках — оружие. И одна мысль: секунда-две — и ты свободен. Не виден никому. Уже, суки, не достанете! Никто... Никто! Если искать причину, надо начинать оттуда, когда мама хотела девочку, а папа, как всегда, аборт. Сержант сказал, что ты — мешок с говном... дырка в пространстве... *(Пауза.)* Офицеры были разные: один — спившийся интеллигент, говорил по-английски, а в основном — серые пьяницы. Напивались до глюков... Могли ночью поднять всю казарму и заставить бегать по плацу, пока солдаты не падали. Офицеров называли шакалами. Плохой шакал... хороший шакал... *(Пауза.)* Кто вам расскажет, как десять человек насилуют одного... *(Злой смех.)* Это не игрушки и не литература... *(Пауза.)* На самосвале, как скот, возили на командирскую дачу. Тягали бетонные плиты... *(Злой смех.)* Барабанщик! Играй гимн Советского Союза!

Я никогда не хотел быть героем. Я ненавижу героев! Герой должен или много убивать... или красиво умереть... Убить врага ты должен любой ценой: сначала используй боекомплект, когда патроны и гранаты закончатся — дерись ножом, прикладом, саперной лопаткой. Рви хоть зубами. Сержант Валериан: «Учись работать с ножом. Кисть руки — вещь очень хорошая, ее лучше не резать, а колоть... обратным хватом... Так... так... Контролируй руку, уход за спиной... не увлекайся сложными движениями... Отлично! Отлично! Теперь выверни нож у противника... Так... так... Ты его убил. Молодец! Убил! Кричи: "Умри, сука!" Чего ты молчишь?» *(Останавливается.)* Все время тебе долбят: оружие — это красиво... стрелять — настоящее мужское дело... Учились убивать на животных, нам специально завозили бродячих собак, котов, чтобы потом рука не дрогнула при виде человеческой крови. Мясники! Я не выдерживал... ночью плакал... *(Пауза.)* В детстве мы играли в самураев. Самурай должен был по-японски умереть, не имел права упасть лицом вниз, закричать. Я всегда кричал... Меня не любили брать в эту игру... *(Пауза.)* Сержант Валериан: «Запомните... автомат работает так: раз, два, три — и тебя нет...» А пошли вы все! Раз, два...

Смерть похожа на любовь. В последние мгновения — темнота... страшные и некрасивые судороги... Из смерти нельзя вернуться, но из любви мы возвращаемся. И можем вспомнить, как было... Вы тонули когда-нибудь? Я тонул... Чем больше сопротивляешься, тем меньше сил. Смирись — и дойди до дна. И тогда... Хочешь жить — пробивай небо воды, возвращайся. Но сначала дойди до дна.

А там? Там никакого света в конце тоннеля... И ангелов я не видел. Сидел отец у красного гроба. Гроб пустой.

А о любви мы знаем слишком мало

Через несколько лет я снова оказалась в городе N (город не называю по просьбе моего героя). Мы с ним созвонились — и встретились. Он был влюблен, он был счастлив — и говорил о любви. Я даже не сразу догадалась включить диктофон, чтобы не упустить вот этот момент перехода жизни, просто жизни — в литературу, который всегда сторожу, слушаю в любых разговорах — частных и общих, но иногда теряю бдительность, а «кусочек литературы» может блеснуть везде, иногда в самом неожиданном месте. Как и в этот раз. Хотели посидеть и выпить кофе, а жизнь предложила развитие сюжета. Вот что я успела записать...

— Я встретился с любовью... я ее понимаю... До этого я думал, что любовь — это два дурака с повышенной температурой. Что это просто бред... О любви мы знаем слишком мало. И если эту нитку вытянуть... Война и любовь — это как бы из одного костра, то есть, это одна ткань, та же материя. Человек с автоматом или тот, кто на Эльбрус взобрался, кто воевал до Победы, строил социалистический рай — все та же история, тот самый магнит и то же самое электричество. Вам понятно? Чего-то

человек не может, чего-то нельзя купить или выиграть в лотерею... А человек знает, что оно есть, и он этого хочет... И не разберется, как искать. Где?

Это почти рождение... Начинается с удара... (Пауза.) А может, и не надо эти тайны разгадывать? Вы не боитесь?

Первый день...

Прихожу к своему знакомому, у него компания, у вешалки в прихожей снимаю пальто, кто-то идет с кухни, и надо пропустить, оборачиваюсь — она! У меня произошло короткое замыкание, как будто во всем доме выключили свет. И вот — все. За словом обычно в карман не лезу, а здесь просто сел и сидел, даже ее не видел, то есть не то чтобы я на нее не смотрел, я долго-долго смотрел сквозь нее, как в фильмах Тарковского: льют из кувшина воду, и она льется мимо чашки, затем ме-е-е-дленно поворачивается вместе с этой чашкой. Рассказываю дольше, чем это произошло. Молния! В этот день что-то такое узнал, что все остальное стало неважным, даже особенно не разбирался... А собственно — зачем? Случилось — и все. И оно так прочно. Ее пошел провожать жених, у них, как я понял, скоро намечалась свадьба, но мне было все равно, я собрался домой и ехал уже не один, ехал с ней, она уже поселилась во мне. Любовь начинается... Всё вдруг другого цвета, голосов больше, звуков больше... Нет никаких шансов это понять... (Пауза.) Передаю приблизительно...

Утром проснулся с мыслью, что мне надо ее найти, а я не знаю ни имени, ни адреса, ни ее телефона, но уже это случилось, что-то главное в жизни со мной произошло. Человек прибыл. Как будто я что-то забыл... и вот вспомнил... Вам понятно, о чем я? Нет? Никакой формулы мы не выведем... все будет синтетика... Мы привыкли к мысли: будущее от нас скрыто, а то, что уже было, можно объяснить. Было или не было... для меня — вопрос... А может, ничего и не было? Просто кинолента крутится, вот она прокрутилась... Знаю такие моменты в своей жизни, которых как бы не было. А они были. Например, несколько раз я был влюблен... думал, что влюблен... Осталось много фотографий. Но все высыпалось из памяти, смылось. Есть такие вещи, которые не высыпаются, их надо взять с собой. А остальное... Все ли человек вспомнит, что с ним было?

Второй день...

Я купил розу. Денег практически не было, но поехал на рынок и купил самую большую розу, какую там нашел. И вот тоже... Как объяснить? Подошла ко мне цыганка: «Дай, милоч, погадаю. По глазам вижу...» Убежал. Зачем? Я и сам уже знаю, что тайна стоит в дверях. Тайна, таинство, покрывание... Первый раз ошибся квартирой — открыл мужик в свисающей майке и под градусом, увидел меня с розой, замер: «Бляаа!» Поднимаюсь на следующий этаж... Через цепочку выглядывает странная старушка в вязаной шляпке: «Лена, к тебе». Потом она играла нам на фортепиано, рассказывала о театре. Старая актриса. В доме жил большой черный кот, домашний тиран, который почему-то меня сразу невзлюбил, а я старался ему понравиться... Большой черный кот... Во время происхождения тайны ты как бы отсутствуешь. Вам понятно, о чем я? Не надо быть космонавтом, олигархом или героем, ты можешь быть счастливым, все испытать в обыкновенной двухкомнатной квартире — пятьдесят восемь квадратных метров, совмещенный санузел, среди старых советских вещей. Двенадцать часов ночи, два часа... Мне надо уходить, а я не понимаю, почему я должен уходить из этого дома. Больше всего это похоже на воспоминание... ищу слова... Как будто все вспомнилось, долго ничего не помнил, а теперь все вернулось. Я соединился. Что-то подобное... я так думаю... испытывает человек, который много дней провел в келье. Мир для него обнаружился в бесконечных деталях. Очертаниях. То есть тайна, она может быть доступна, как предметная вещь, как ваза, например, но чтобы что-то понять, должно быть больно. А как понять, если не болит? Надо, чтобы больно, больно...

...первый раз что-то о женщине мне объяснили в семь лет мои друзья... Им тоже было по семь лет. Запомнил их радость, что они знают, а я нет, вот мы сейчас тебе все растолкуем. И начали рисовать палочками на песке...

...что женщина что-то другое, я почувствовал в семнадцать лет, не через книжки, а через кожу, ощутил близко от себя что-то бесконечно другое, огромную какую-то разность и пережил потрясение от того, что это другое. Что-то там, внутри, в женском сосуде спрятано, мне недоступное...

...представьте солдатскую казарму... Воскресенье. Нет никаких занятий. Двести мужиков, затаив дыхание, сидят и смотрят аэробику: на экране девушки в туго обтягивающих костюмах... Мужики, как истуканы с острова Майя, сидят. Если сломался телевизор, это катастрофа, того, кто был виноват, могли убить. Вы понимаете? Это все о любви...

Третий день...

Встал утром, и не надо никуда бежать, вспоминаешь, что она есть, она нашлась. Тебя отпускает тоска... Ты уже не один... Ты обнаруживаешь вдруг свое тело... руки, губы... обнаруживаешь за окном небо и деревья, почему-то все близко-близко, до тесноты приблизилось к тебе. Так бывает только во сне... (Пауза.) По объявлению в вечерней газете мы нашли невыносимую квартиру в невыносимом районе. На краю города в новых застройках. Во дворе по выходным дням мужики с утра до вечера кроют матом, стучат в домино и играют в карты на бутылку водки. Через год у нас родилась дочь... (Пауза.) Теперь о смерти расскажу... Вчера весь город хоронил моего одноклассника — лейтенанта милиции... Гроб привезли из Чечни и даже не открыли, матери не показали. Что там привезли? Салют и все такое. Слава героям! Я был там. И отец со мной... У моего отца блестящие глаза... Вам понятно, о чем я? Человек к счастью не готов, он готов к войне, к хладу и граду. Счастливых людей, кроме моей трехмесячной дочери, я никого... никого не встречал... Русский человек к счастью не готовится. (Пауза.) Все нормальные люди увозят детей за границу. Уехало много моих друзей... звонят мне из Израиля, Канады... Раньше я не думал о том, чтобы уехать. Уехать... уехать... У меня эта мысль появилась, когда родилась дочь. Хочу защитить тех, кого люблю. Отец мне этого не простит. Я знаю.

Русский разговор в Чикаго

Еще раз мы встретились в Чикаго. Семья уже немного обжилась на новом месте. Собралась русская компания. Русский стол и русский разговор, в котором к вечным русским вопросам: «что делать» и «кто виноват» — добавился еще один — уезжать или не уезжать?

«...я уехал, потому что испугался... У нас любая революция кончается тем, что начинают грабить друг друга под шумок и бить жидам морды. В Москве шла настоящая война, каждый день кого-то взрывали, убивали. Вечером на улицу без собаки бойцовской породы нельзя было выйти. Я специально завел бультерьера...»

«...открыл Горбачев клетку — мы и ломанули. Что я там оставила? Сраную двухкомнатную хрущобу. Лучше быть горничной с хорошим окладом, чем врачом с окладом бомжа. Все мы выросли в СССР: собирали в школе металлолом и любили песню "День Победы". Нас воспитывали на великих сказках о справедливости, на советских мультиках, где все четко прописано: тут — добро, а там — зло. Некий правильный мир. Мой дед погиб под Сталинградом за советскую Родину, за коммунизм. А я хотела жить в нормальной стране. Чтобы в доме занавесочки были, чтобы подушечки были, чтобы муж пришел и халат надел. У меня как-то с русской душой слабо, у меня ее мало. Я свалила в Штаты. Зимой ем клубнику. Колбасы тут навалом, и никаким символом она не является...»

«...в девяностые все было сказочно и весело... Посмотришь в окно — на каждом

углу демонстрация. Но скоро стало не сказочно и не весело. Хотели свободный рынок — получите! Мы с мужем — инженеры, а у нас полстраны было инженеров. С нами не церемонились: "Идите на помойку". А это мы сделали перестройку, похоронили коммунизм. И никому стали не нужны. Лучше не вспоминать... Дочь маленькая просит кушать, а в доме ничего нет. По всему городу висели объявления: куплю... куплю... "Куплю килограмм еды" — не мяса, не сыра, а любой еды. Килограмму картошки были рады, на базаре жмых продавали, как в войну. У соседки мужа в подъезде застрелили. Палаточник. Полдня лежал, прикрытый газеткой. Лужа крови. Включишь телевизор: там банкира убили, там бизнесмена... Кончилось тем, что какая-то шайка воров завладела всем. Скоро народ двинется на Рублевку. С топорами...»

«...не Рублевку пойдут громить, а картонные коробки на рынках, в которых живут гастарбайтеры. Таджики, молдаван начнут убивать...»

«... а мне все по х...! Пусть все сдохнут. Я буду жить для себя...»

«...решила уехать, когда Горбачев вернулся из Фороса и сказал, что от социализма мы не отказываемся. Тогда без меня! Я не хочу жить при социализме! Это была скучная жизнь. С детства мы знали, что будем октябрятами, пионерами, комсомольцами. Первая зарплата шестьдесят рэ, а потом восемьдесят, к концу жизни — сто двадцать... (Смеется.) "Классная" в школе пугала: будете слушать радио "Свобода", никогда не станете комсомольцами. А если об этом узнают наши враги? Самое смешное, что она тоже сейчас в Израиле живет...»

«...когда-то и я горела идеей, а не была простым обывателем. Накапает слезы... ГКЧП! Танки в центре Москвы выглядели дико. Мои родители приехали с дачи, чтобы запастись продуктами на случай гражданской войны. Эта банда! Эта хунта! Они думали, что введут танки и больше ничего делать не придется. Что люди хотят только одного — чтобы появилась еда, и на все согласны. Народ вынесло на улицу... страна проснулась... Всего один момент, секунду это было... Завязь какая-то... (Смеется.) Моя мама — человек легкомысленный, ни над чем не задумывающийся. Совершенно далекий от политики, устроенный по принципу: жизнь проходит, надо все, что можно, брать сейчас. Хорошенькая молодая женщина. Даже она пошла к Белому дому с зонтиком наперевес...»

«...ха-ха-ха... Вместо свободы нам раздали ваучеры. Так поделили великую страну: нефть, газ... Не знаю, как выразиться... Кому бублик, а кому — дырка от бублика. Ваучеры надо было вкладывать в акции предприятий, но мало кто это умел. При социализме делать деньги не учили. Отец приносил в дом какие-то рекламки: "Московской недвижимости", "Нефть-Алмаз-Инвеста", "Норильского никеля"... Спорили с мамой на кухне, и кончилось это тем, что они продали все какому-то типу в метро. Купили мне модную кожаную куртку. Весь навар. В этой куртке я в Америку приехала...»

«...а у нас они до сих пор лежат. Продам лет через тридцать в какой-нибудь музей...»

«...вы себе не представляете, как я ненавижу эту страну... Ненавижу парад Победы! Меня тошнит от серых панельных домов и балконов, забитых закрученными банками с помидорами и огурцами... и старой мебелью...»

«...началась чеченская война... Сыну через год идти в армию. Голодные шахтеры пришли в Москву и стучали касками на Красной площади. Возле Кремля. Непонятно было, куда все катится. Люди там замечательные, драгоценные, а жить нельзя. Уехали ради детей, легли здесь взлетной полосой для них. А они выросли и страшно далеки от нас...»

«...э-э-э... как это по-русски? Забываю... Эмиграция — это нормально, русский человек уже может жить там, где он хочет, где ему интересно. Одни из Иркутска едут в Москву, другие из Москвы едут в Лондон. Весь мир превратился в караван-сарай...»

«...настоящий патриот может желать России только оккупации. Чтобы ее кто-то оккупировал...»

«...поработала я за границей и вернулась в Москву... Во мне боролись два чувства: хотелось жить в знакомом мире, в котором я могу, как в своей квартире, с закрытыми глазами найти любую книгу на полке, и в то же время было желание вылететь в бесконечный мир. Уезжаю или остаюсь? — никак не могла решить. Это был девяносто пятый год... Иду, как сейчас помню, по улице Горького, и впереди меня громко разговаривают две женщины... и я их не понимаю... А они по-русски говорят. Я обалдела! Только так... столбняк... Какие-то новые слова и главное — интонации. Много южного диалекта. И другое выражение лиц... Всего несколько лет я отсутствовала, а уже стала чужая. Очень быстро тогда шло время, оно мчалось. Москва была грязная, какой там столичный блеск! Везде кучи мусора. Мусор свободы: банки из-под пива, яркие обертки, шкурки от апельсинов... Все жевали бананы. Сейчас такого уже нет. Наелись. Я поняла, что города, который я раньше так любила, и где мне было хорошо и комфортно, — этого города больше нет. Настоящие москвичи в ужасе сидят по домам или уехали. Старая Москва схлынула. Заехало новое население. Мне захотелось прямо сейчас упаковать чемодан и бежать. Даже в дни августовского путча я не испытывала такого страха. Тогда я была в упоении! Вдвоем с подругой на моих стареньких "Жигулях" мы возили к Белому дому листовки, печатали их в нашем институте, у нас был ксерокс. Ездили туда и обратно мимо танков, и меня, помню, удивило, что на броне у них я увидела заплаты. Квадратные заплаты, винтами привинченные...

Все эти годы, пока меня не было, мои друзья прожили в полной эйфории: революция свершилась! Коммунизм пал! Откуда-то у всех была уверенность, что все сложится хорошо, потому что в России много образованных людей. Богатейшая страна. Но Мексика тоже богатая... За нефть и газ демократию не купишь, и ее не завезешь, как бананы или швейцарский шоколад. Президентским указом не объявишь... Нужны свободные люди, а их не было. Их и сейчас нет. В Европе двести лет ухаживают за демократией, как за газонами. Дома мама плакала: "Вот ты говоришь, что Сталин плохой, но мы с ним победили. А ты хочешь предать Родину". Пришел в гости мой старинный приятель. Пьем на кухне чай: "Что будет? Ничего хорошего не будет, пока не расстреляем всех коммуняк". Опять кровь? Через несколько дней я подала документы на выезд...

«...с мужем развелась... Подала на алименты, он не платит и не платит. Дочь поступила в коммерческий вуз, денег не хватало. У моей подруги был знакомый американец, он начал в России свой бизнес. Ему нужна была секретарша, но он хотел найти не модель с ногами от шеи, а надежного человека. Подруга порекомендовала меня. Его очень интересовала наша жизнь, он многого не понимал. "Почему у всех ваших бизнесменов лакированные туфли?", "А что такое "дать на лапу" и "у нас все схвачено и все заплачено"?" Такие вопросы. Но планы он имел большие: Россия — огромный рынок! Разорили его банально. Простым приемом. Для него очень много значило слово — ему сказали, он поверил. Потерял много денег и решил уехать домой. Пригласил меня перед отъездом в ресторан, я думала, что мы попрощаемся и все. А он поднял бокал: "Давай выпьем — знаешь за что? Денег я тут не заработал, зато нашел хорошую русскую жену". Уже семь лет вместе...»

«...раньше мы жили в Бруклине... Сплошь русская речь и русские магазины. В Америке можно родиться с русской акушеркой, учиться в русской школе, работать у русского хозяина, ходить на исповедь к русскому священнику... Колбаса в лавках: "ельцинская", "сталинская", "микояновская"... и сало в шоколаде... Старики на лавочках режутся в домино и играют в карты. Ведут бесконечные дискуссии о Горбачеве и Ельцине. Есть сталинисты и антисталинисты. Проходишь мимо и ловишь ухом: "Нужен был Сталин?" — "Да, нужен". А я маленькая уже все про Сталина знала. Пять

лет мне было... Мы стоим с мамой на автобусной остановке, как я теперь понимаю, недалеко от районного здания КГБ, я то капризничаю, то громко плачу. "Не плачь, — просит мама, — а то нас услышат плохие люди, которые забрали нашего дедушку и еще много других хороших людей". И она начинает мне рассказывать про дедушку... Маме надо с кем-то поговорить... Когда Сталин умер, в детском саду нас всех посадили плакать. Одна я не плакала. Дедушка вернулся из лагеря и встал перед бабушкой на колени, она все время за него хлопотала...

«...сейчас и в Америке появилось много молодых русских парней, которые носят футболки с портретом Сталина. На капотах своих машин рисуют серп и молот. Ненавидят черных...»

«...а мы из Харькова... Оттуда Америка нам казалась раем. Страной счастья. Первое впечатление, когда приехали: мы строили коммунизм, а построили его американцы. Знакомая девочка повела нас на распродажу, приехали — у мужа одни джинсы и у меня, надо было приодеться. Смотрю: юбочка — три доллара, джинсы — пять... Смешные цены! Запах пиццы... хорошего кофе... Вечером открыли с мужем бутылку "Мартини" и закурили "Мальборо". Мечта исполнилась! Но все пришлось начинать с нуля в сорок лет. Тут сразу спускаешься на две-три ступеньки вниз, забудь о том, что ты режиссер, актриса или окончила Московский университет... Сначала я устроилась нянечкой в больнице: горшки выносила, полы подтирала. Не выдержала. Стала выгуливать собак у двух стариков. Работала кассиром в супермаркете... Было Девятое мая, самый дорогой для меня праздник. Отец до Берлина дошел. Я вспомнила об этом... Старшая кассир говорит: "Мы победили, но вы, русские, тоже молодцы. Помогли нам". Так их в школе учат. Я чуть со стула не упала! Что они о России знают? Русские пьют водку стаканами, и у них много снега...»

«...ехали за колбасой, а колбаса оказалась не такой дешевой, как мечталось...»

«...из России уезжают мозги, а приезжают руки... Гастарбайтеры... Мама пишет, что у них дворник-таджик перевез в Москву уже всю свою родню. Теперь они на него работают, а он хозяин. Командует. Жена ходит вечно беременная. Барана на свои праздники они режут прямо во дворе. Под окнами у москвичей. И жарят шашлыки...»

«...я человек рациональный. Все эти сантименты по поводу языка дедушек и бабушек — только эмоции. Я запретил себе читать русские книги, смотреть русский интернет. Хочу выбить из себя все русское. Перестать быть русским...»

«...муж очень хотел уехать... Привезли с собой десять ящиков русских книг, чтобы дети не забывали родной язык. В Москве на таможне все ящики вскрыли, искали антиквариат, а у нас: Пушкин, Гоголь... Таможенники долго смеялись... Я и сейчас включаю радио "Маяк" и слушаю русские песни...»

«...Россия, моя Россия... Питер любимый! Как я хочу вернуться! Щас заплачу... Да здравствует коммунизм! Домой! И картошка здесь на вкус — гадость несусветная. А шоколад русский просто отличный!»

«...а трусы по талонам вам по-прежнему нравятся? Я вспоминаю, как сдавала и учила научный коммунизм...»

«...русские березки... березки потом...»

«...сын моей сестры... У него прекрасный английский. Компьютерщик. Пожил в Америке год и вернулся домой. Говорит, что в России сейчас интереснее...»

«...я тоже скажу... Многие уже и там хорошо живут: работа, дом, машина — все у них есть. Но все равно боятся и хотят уехать. Бизнес могут отобрать, в тюрьму ни за что посадить... искалечить вечером в подъезде... По закону никто не живет — ни наверху, ни внизу...»

«...Россия с Абрамовичем и Дерипаской... с Лужком... Разве это Россия? Этот корабль тонет...»

«...ребята, жить надо в Гоа... А деньги зарабатывать в России...»

Выхожу на балкон. Тут курят и продолжают тот же разговор: умные сегодня

уезжают из России или глупые? Не сразу поверила, когда услышала, как за столом кто-то запел «Подмосковные вечера», нашу любимую советскую песню: «Не слышны в саду даже шорохи, всё здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера...» Возвращаюсь в комнату — уже все поют. И я тоже.

О чужом горе, которое Бог положил на порог вашего дома

Равшан... — гастарбайтер, 27 лет

Рассказывает Гавхар ДЖУРАЕВА — руководитель центра «Миграция и закон» при фонде «Таджикистан»

«...человек без Родины — соловей без своего сада»

— О смерти я много знаю. Я когда-нибудь сойду с ума от всего, что я знаю...

Тело — чаша для духа. Его дом. По мусульманским обычаям тело надо похоронить как можно быстрее — желательно в тот же день, как только Аллах забрал душу. В доме умершего вешают на гвоздь кусочек белой материи, он висит сорок дней. Душа прилетает ночью и садится на этот лоскуток. Слушает родные голоса. Радует-ся. И улетает обратно.

Равшан... я его хорошо помню... Обычная история... Им полгода не выдавали зарплату, а у него четверо детей остались на Памире, тяжело заболел отец. Он пришел в строительную контору, просил аванс, и ему отказали. Последняя капля. Вышел на крыльцо и полоснул себя ножом по горлу. Мне позвонили... Я приехала в морг... Вот это потрясающе красивое лицо... Невозможно забыть. Его лицо... Собрали деньги. Для меня до сих пор загадка, как срабатывает этот внутренний механизм: копейки ни у кого нет, но если человек умер, моментально соберут нужную сумму, отдадут последнее, чтобы он был похоронен дома, в своей земле лежал. Не остался на чужбине. Единственная сторублевка в кармане — и ее отдадут. Скажешь, что домой надо ехать — не дадут, ребенок больной — не дадут, а на смерть — на, возьми. Принесли и положили мне на стол целлофановый пакет этих смятых сторублевок. И я пошла с ними в кассу Аэрофлота. К начальнику. Душа сама улетит домой, а гроб отправить самолетом очень дорого.

Берет со стола бумаги. Читает.

...полицейские вошли в квартиру, где жили гастарбайтеры — беременная женщина и ее муж, на глазах жены его стали избивать за то, что у них нет регистрации. У нее началось кровотечение — умерла она, и умер ее нерожденный ребенок...

...в Подмосковье пропали три человека — два брата и сестра... К нам обратились за помощью приехавшие из Таджикистана их родственники. Мы позвонили в пекарню, где они до этого работали. Первый раз нам ответили: «Таких не знаем». Второй раз к телефону подошел сам хозяин: «Да, работали у меня таджики. Я им заплатил за три месяца, и они в тот же день ушли. Не могу знать — куда». Тогда мы обратились в полицию. Всех троих нашли убитыми лопатой и закопанными в лесу. Хозяин пекарни стал звонить в фонд и угрожать: «У меня везде свои люди. Я и вас зарюю».

...двоих молодых таджиков со стройки увезли на «скорой помощи» в больницу... Всю ночь они пролежали в холодном приемном покое, к ним никто не подошел. Врачи не скрывали своих чувств: «И чего вы, черножопые, сюда понаехали?»

...омоновцы вывели ночью из подвала пятнадцать дворников-таджиков, положили на снег и стали бить. Бегать по ним в кованых ботинках. Один пятнадцатилетний мальчик умер...

...получила мать мертвого сына из России. Без внутренних органов... На москов-

ском черном рынке можно купить все, что есть у человека: почки, легкие, печень, зрачки, сердечные клапаны, кожу...

Это — мои братья и сестры... Я тоже родилась на Памире. Горянка. Земля у нас на вес золота, пшеницу меряют не мешками, а тюбетейками. Всюду — гигантские горы, рядом с которыми любое чудо, которое сотворил человек, кажется детским. Игрушечным. Живешь там — ноги на земле, а голова в облаках. Ты так высоко, что будто ты уже не в этом мире. Море — это совсем другое, море манит к себе, а горы дают ощущение защиты, они тебя охраняют. Вторые стены дома. Таджики не воины, когда на их землю приходил враг, они поднимались в горы... (*Молчит.*) Моя любимая таджикская песня — это песня-плач о покинутой родной земле. Всегда рыдаю, когда ее слушаю... Самое страшное для таджика — покинуть свою Родину. Жить вдали от нее. Человек без Родины — соловей без своего сада. Много лет я уже живу в Москве, но я все время окружаю себя тем, что было у меня дома: увижу в журнале горы, обязательно эту фотографию вырежу и повешу на стенку, и ту, где цветущий абрикос, и белый хлопок. Я во сне часто собираю хлопок... Открываю коробочку, края очень острые у этой коробочки, а внутри лежит белый комочек, как вата, веса почти не имеет, надо так его вытащить, чтобы не поцарапать руки. Утром просыпаюсь усталая... На московских базарах я ищу таджикские яблоки, они у нас самые сладкие, таджикский виноград, он слаще рафинада. А в детстве я мечтала, что увижу когда-нибудь русский лес, грибы... Поеду и увижу этих людей. Это вторая часть моей души: изба, печь, пирожки. (*Молчит.*) Я про нашу жизнь рассказываю... И про своих братьев... Для вас они все на одно лицо: черноволосые, немые, враждебные. Из непонятного мира. Чужое горе, которое Бог положил на порог вашего дома. А у них нет ощущения, что они приехали к чужим людям, потому что их родители жили в СССР и Москва была столицей для всех. И теперь им тут дали работу и кров. На Востоке говорят: не плюй в колодец, из которого берешь воду. В школе все таджикские мальчики мечтают поехать на заработки в Россию... Чтобы купить билет, занимают деньги у всего кишлака. Русские таможенники у них спрашивают на границе: «К кому едешь?» — Они отвечают: «К Нине»... Все русские женщины для них Нины... Русский язык в школе уже не учат. Каждый везет с собой коврик для молитвы...

Мы разговариваем в фонде. Тут всего несколько маленьких комнат. Не умолкают телефоны.

Вот вчера я девочку спасла... Она умудрилась позвонить мне прямо из машины, когда полицейские везли ее в лес, звонит и шепчет: «Схватили на улице, везут за город. Все пьяные». Номер машины назвала... По пьяни они забыли ее обыскать и забрать мобильник. Девочка только приехала из Душанбе... красивая девочка... Я — восточная женщина, я еще маленькая была, а бабушка и мама уже учили меня, как надо с мужчинами разговаривать. «Огонь не победишь огнем, а только мудростью», — говорила бабушка. Звоню в полицейский участок: «Слушай, мой дорогой, что-то странное происходит: ваши ребята куда-то не туда повезли нашу девочку, и они выпившие. Позвоните им, чтобы до греха не дошло. Номер машины нам известен». На том конце провода — сплошной поток ругательств: эти «чурки»... эти «черные обезьяны», которые только вчера с дерева слезли, мол, какого черта вы тратите на них время. «Мой дорогой, ты послушай меня, я такая же "черная обезьяна"... Я — твоя мама...» Молчание! Там же тоже человек... Всегда на это надеюсь... Слово за слово, и мы стали разговаривать. Через пятнадцать минут машина развернулась... Привезли девочку назад... Могли изнасиловать, убить. Не один раз... я в лесу этих девочек по кусочкам собирала... Знаете, кто я? Я работаю алхимиком... У нас общественный фонд — денег нет, власти нет, есть только хорошие люди. Наши помощники. Помогаем, спасаем беззащитных. Желаемый результат получается из ничего: из нервов, из

интуиции, из восточной лести, из русской жалости, из таких простых слов, как «мой дорогой», «мой ты хороший», «я знала, что ты настоящий мужчина, ты обязательно поможешь женщине». Ребята — говорю я садистам в погонах — я в вас верю. Верю, что вы люди. С одним полицейским генералом долго вела беседу... Это был не идиот, не солдафон, а интеллигентного вида мужчина. «Вы знаете, — сказала я ему, — у вас работает настоящий гестаповец. Мастер пыток, его все боятся. Из бомжей и гастарбайтеров, которые попадают к нему, он делает инвалидов». Я думала, что он ужаснется или испугается, будет защищать честь мундира. А он посмотрел на меня с улыбкой: «Дайте-ка мне его фамилию. Какой молодец! Мы его повысим, наградим. Такие кадры беречь надо. Я ему премию выпишу». Я онемела. А он продолжал: «Честно вам признаюсь... Мы специально создаем для вас такие невыносимые условия, чтобы вы скорее уехали. В Москве два миллиона гастарбайтеров, город не может переварить такое количество людей, внезапно свалившихся нам на голову. Вас слишком много». (Молчит.)

Москва красивая... Мы шли с вами по Москве, и вы все время восхищались: «Какая Москва стала красивая! Это уже европейская столица!» А я этой красоты не чувствую. Я иду, смотрю на новые здания и вспоминаю: тут двое таджиков погибли, упали с лесов... а тут одного утопили в цементе... Помню, за какие копейки они тут вкалывали. На них наживаются все: чиновники, полицейские, коммунальщики... Дворник-таджик расписывается в ведомости, что получает тридцать тысяч, а на руки ему выдают семь. Остальное забирают, делят между собой разные начальники... начальники начальников... Законы не работают, вместо законов правят бабло и сила. Маленький человек — самый незащищенный, зверь в лесу — и тот лучше защищен, чем он. Зверя у вас лес защищает, а у нас горы... (Молчит.) Я большую часть жизни прожила при социализме, сейчас вспоминаю, как мы идеализировали человека, я о человеке в то время хорошо думала. В Душанбе я работала в Академии наук. Занималась историей искусства. Я думала, что книги... то, что человек написал о себе, это правда... Нет, это ничтожная доля правды... Я давно уже не идеалистка, я слишком много теперь знаю... Ко мне часто приходит одна девушка, она больна... Известная наша скрипачка. От чего она сошла с ума? Может, от того, что ей говорили: «Вы играете на скрипке — а зачем это вам? Знаете два языка — зачем? Ваша работа — убирать, подметать. Вы тут — рабы». Эта девушка уже не играет на скрипке. Все забыла.

Еще у меня был молодой парень... Полицейские поймали его где-то в Подмоскowie, отобрали деньги, но денег было мало. Разозлились. Вывезли в лес. Избили. Зима. Мороз. Они его раздели до трусов... Ха-ха-ха... Порвали все его документы... И он мне все это рассказывает. Спрашиваю: «Как же ты спасся?» — «Я думал, что я умру, я бежал босиком по снегу. И вдруг, как в сказке, вижу избушку. Постучал в окошко, выходит старик. И этот старик дал мне кожух, чтобы я согрелся, налил чаю и дал варенья. Дал одежду. На завтра отвел в большое село и нашел грузовик, который довез меня до Москвы».

Этот старик... это тоже Россия...

Из соседней комнаты позвали: «Гавхар Кандиловна, к вам пришли». Я жду, когда она вернется. У меня есть время — и я вспоминаю о том, что слышала в московских квартирах.

В московских квартирах

— Понаехали тут... Добрая русская душа...

— Русский народ вовсе не добр. Это глубокое заблуждение. Жалостлив, сентиментален, но не добр. Зарезали дворняжку — и сняли на видео. Весь интернет под-

нялся. Суд Линча готовы были устроить. А сгорели на рынке семнадцать гастарбайтеров — их хозяин закрывал на ночь в металлическом вагончике на ключ, вместе с товаром — за них заступились только правозащитники. Те, кому по роду деятельности положено всех защищать. Общее же настроение было такое: эти погибли — другие приедут. Безликие, безъязыкие... чужие...

— Это рабы. Современные рабы. Все их имущество — х... и кеды. У них на родине еще хуже, чем в самом гнилом московском подвале.

— Попал медведь в Москву и перезимовал. Питался гастарбайтерами. Кто их считает... Ха-ха-ха...

— До распада СССР в единой семье жили... так нас учили на политзанятиях... Тогда они были «гости столицы», а сейчас «чурки», «хачи». Мне дед рассказывал, как он вместе с узбеками под Сталинградом воевал. Верили: братья навек!

— Вы меня удивляете... Они сами отделились. Свободы захотели. Забыли? Вспомните, как в девяностые они резали русских. Грабили, насиловали. Гнали отовсюду. Среди ночи стук в дверь... Врываються — кто с ножом, кто с автоматом: «Убирайся с нашей земли, русская тварь!» Пять минут на сборы... И бесплатная доставка до ближайшей станции. Люди выскакивали из квартир в тапочках... Вот как оно было...

— Мы помним унижение наших братьев и сестер! Смерть чуркам! Русского Мишку трудно разбудить, но если он поднимется, кровищи пустит много.

— Кавказу дали в рыло русским прикладом. Теперь — кто следующий?

— Ненавижу бритоголовых! Они способны только на одно — бейсбольными битами или молотками забить насмерть дворника-таджика, который им ничего не сделал. На демонстрациях орут: «Россия — для русских, Москва — для москвичей». Моя мама — украинка, отец — молдаванин, бабушка по материнской линии — русская. А кто я? По какому принципу собираются «чистить» Россию от нерусских?

— Три таджика заменяют самосвал. Ха-ха-ха...

— А я скучаю по Душанбе. Я там выросла. Учила фарси. Язык поэтов.

— Слабо пройти по городу с плакатом «Люблю таджиков»? В момент морду набьют.

— У нас рядом стройка. Хачи шныряют, как крысы. Из-за них в магазин вечером страшно выйти. За дешевый мобильник могут убить...

— Ах-ах-ах! Два раза меня грабили — русские, в собственном подъезде чуть не убили — русские. Как же задолбал меня этот народ-богоносец.

— А вы бы хотели, чтобы ваша дочь вышла замуж за мигранта?

— Это мой родной город. Моя столица. А они приехали сюда со своим шариатом. На Курбан-Байрам режут у меня под окнами баранов. А что не на Красной площади? Бедные животные кричат, кровь хлещет... Выйдешь в город: там... и там... красные лужи на асфальте... Я иду с ребенком: «Мама, что это?» В этот день город «чернеет». Уже не наш город. Их сотни тысяч из подвалов вываливает... Полицейские в стены вжимаются от страха...

— Я дружу с таджиком. Его зовут Саид. Красивый — как бог! У себя дома он был врачом, здесь — на стройке работает. Влюблена в него по уши. Что делать? Когда встречаемся, гуляем с ним по паркам или уезжаем куда-нибудь за город, чтобы никого из моих знакомых не встретить. Боюсь родителей. Отец предупредил: «Увижу с черномазым, пристрелю обоих». Кто мой отец? Музыкант... окончил консерваторию...

— Если «черный» идет с девушкой... нашей! Таких кастрировать надо.

— За что их ненавидят? За карие глаза, за форму носа. Их ненавидят просто так. У нас каждый обязательно кого-то ненавидит: соседей, ментов, олигархов... глупых янки... Да кого угодно! Много ненависти в воздухе... до человека нельзя дотронуться...

«...бунт народа, который я видела, напугал меня на всю жизнь»

Время обеда. Пьем с Гавхар чай из таджикских пиал и продолжаем разговор.

— Когда-нибудь я сойду с ума от того, что помню...

Девяносто второй год... Вместо свободы, которую мы все ждали, началась гражданская война. Кулябцы убивали памирцев, а памирцы — кулябцев... Каратегинцы, гиссарцы, гармцы — все разделились. На стены домов повесили плакаты: «Русские, руки прочь от Таджикистана!», «Коммунисты — убирайтесь в свою Москву!». Это уже был не мой любимый Душанбе... По улицам города ходили толпы с арматурой и с камнями в руках... Совершенно мирные, тихие люди превратились в убийц. Еще вчера они были другие, спокойно чай пили в чайхане, а сегодня ходят и железными прутьями вспарывают животы женщинам... Громят магазины, киоски. Я пошла на базар... На акациях висели шляпы и платья, на земле лежали мертвые, все подряд: люди, животные... *(Молчит.)* Помню... Красивое утро. На какое-то время я забыла о войне. Показалось, что все будет как раньше. Вот яблоня цветет, и абрикос... Никакой войны нет. Распахнула окно и тут же увидела черную толпу. Они все шли молча. Вдруг один повернулся, и мы встретились с ним взглядом... видно — бедняк, взгляд этого парня мне говорил: вот сейчас я могу зайти в твой красивый дом и сделать все что захочу, это мой час... Вот о чем мне сказали его глаза... я ужаснулась... Отпрянула от окна, задернула шторы, одни, вторые, побежала и закрыла двери на все замки и спряталась в самой дальней комнате. В его глазах был азарт... Что-то сатанинское есть в толпе. Я боюсь это вспоминать... *(Плачет.)*

Я видела, как во дворе убивали русского мальчика. Никто не вышел, все закрыли окна, я выскочила в банном халате: «Оставьте его! Вы его уже убили!» Он лежал без движения... Ушли. Но скоро вернулись и стали его добивать, такие же пацаны, как и он. Мальчики... это были мальчики... Я позвонила в милицию — они посмотрели, кого бьют, и уехали. *(Молчит.)* Недавно, когда в Москве в одной компании я услышала: «Я люблю Душанбе. Какой интересный был город! Я скучаю по этому городу», — как я была благодарна этому русскому человеку! Ничего, кроме любви, нас не спасет. Зло молящегося Аллах не слушает. Аллах учит: не надо открывать дверь, которую потом не закроешь... *(Пауза.)* Убили одного нашего друга... Он был поэт. Таджики любят стихи, в каждом доме есть книги со стихами, хотя бы одна-две, у нас поэт — святой человек. Его трогать нельзя. Убили! Перед тем как убить, ему сломали руки... За то, что он писал... Через короткое время убили второго друга... На теле ни одного синяка, чистое тело, били в рот... За то, что он говорил... Весна. Так солнечно, так тепло, а люди убивают друг друга... Хотелось уйти в горы.

Все куда-то уезжали. Спасались. Наши друзья жили в Америке. В Сан-Франциско. Позвали к себе. Сняли там маленькую квартиру. Так красиво! Тихий океан... Куда ни пойдешь — везде он. Целыми днями я сидела на берегу и плакала, ничего делать не могла. Я приехала с войны, где человека могли убить за пакет молока... Идет вдоль берега старик, закатанные штанины, яркая футболка. Остановился возле меня: «Что у тебя случилось?» — «У меня на Родине — война. Брат убивает брата». — «Оставайся здесь». Он говорил, что океан и красота лечит... Долго меня утешал. А я плакала. На хорошие слова у меня была одна реакция — слезы лились в три ручья, от хороших слов я плакала сильнее, чем дома от выстрелов. От крови.

Но я не смогла жить в Америке. Рвалась в Душанбе, а если домой возвращаться опасно, то хочу поближе к дому. Переехали в Москву... Сажу в гостях у одной поэтессы. Слушаю бесконечное брюзжание: Горбачев — трепач... Ельцин — пьяница... народ — быдло... Сколько раз я уже это слышала? Тысячу раз! Хозяйка хочет взять и помыть мою тарелку, а я не даю — я все могу есть с одной тарелки. И рыбу, и пирожное. Я приехала с войны... У другого писателя полный холодильник сыра и колбасы — а таджики уже забыли, что это такое, — и опять весь вечер я слушаю нудное брюзжание: власть плохая, демократы похожи на коммунистов... русский капитализм людоедский... И никто ничего не делает. Все ждут, что вот-вот будет революция. Не люблю я этих разочарованных на кухне. Я не из их компании. Бунт народа, который я видела, испугал меня на всю оставшуюся жизнь, я знаю, что такое свобода в неопытных

руках. Болтовня всегда кончается кровью. Война — это волк, который может прийти и к вашему дому... (Молчит.)

Вы видели эти кадры в интернете? Меня они полностью выбили из колеи. Я неделю провалялась в постели... Вот эти кадры... Убивали и снимали. Был у них сценарий, расписали роли... Как в настоящем кино... Теперь нужен зритель. И мы смотрим... они заставили нас... Вот парень идет по улице, наш парень, таджик... Вот они его подзывают, он подходит, его сбивают с ног. Бьют бейсбольными битами, сначала он крутится на земле, а потом затихает. Его связывают и грузят в багажник. В лесу привязывают к дереву. Видно: тот, кто снимает, ищет ракурс, чтобы была хорошая картинка. Парню отрезают голову. Откуда это пришло? Отрезание головы... Это восточный ритуал. Не русский. Наверное, он из Чечни. Помню... Один год убивали просто «отвертками», потом появились трезубцы, за ними трубы и молотки... Всегда смерть наступала от удара тупым предметом. Сейчас новая мода... (Молчит.) На этот раз убийц нашли. Их будут судить. Все мальчики из хороших семей. Сегодня режут таджиков, завтра будут резать богатых или тех, кто другому Богу молится. Война — это волк... Он уже пришел...

В московских подвалах

Выбрали дом — «сталинку» в самом центре Москвы. Строились эти дома при Сталине для большевистской элиты, потому и зовут их «сталинками», они и сейчас в цене. Сталинский ампи́р: лепнина на фасадах, барельефы, колонны, высота потолков в квартирах три-четыре метра. Потомки бывших вождей обеднели, сюда переезжают «новые русские». Во дворе стоят «бентли», «феррари». На первом этаже горят огнями витрины дорогих бутиков.

Наверху — одна жизнь, под землей — другая. Вместе со знакомым журналистом спускаемся в подвал... Долго петляем между ржавых труб и заплесневелых стен, время от времени дорогу нам перегораживают железные крашенные двери, на них висят замки и стоят пломбы, но все это — фикция. Условный стук — и проходи. Подвал наполнен жизнью. Длинный освещенный коридор: по обе стороны — комнаты, стены из фанеры, вместо дверей — разноцветные шторы. Московское подземелье поделено между таджиками и узбеками. Мы попали к таджикам. В каждой комнате — семнадцать-двадцать человек. Коммуна. Кто-то узнал моего «гида» — он приходит сюда уже не в первый раз — и приглашает нас к себе. Заходим в комнату: у входа гора обуви, детские коляски. В углу — плита, газовый баллон, к ним притиснуты столы и стулья, перекочевавшие сюда с ближайших помоек. Все остальное пространство занимают двухъярусные самодельные кровати.

Время ужина. Человек десять уже сидят за столом. Знакомимся: Амир, Хуршид, Али... Те, кто постарше, учились в советской школе, по-русски говорят без акцента. Молодые языка не знают. Только улыбаются.

Гостям рады.

— Скоро мы немножко покушаем, — усаживает нас за стол Амир, в прошлом учитель, он тут за старшего. — Попробуете таджикский плов. Вкусно — мама дорогая! У таджиков так: если ты встретил человека недалеко от своего дома, ты должен позвать его к себе и дать ему пиалу с чаем.

Диктофон включить не могу — боятся. Достаю ручку. Тут мне помогает их крестьянское уважение к пишущему человеку. Одни приехали из кишлаков, другие спустились с гор. И сразу попали — в гигантский мегаполис.

— Москва — хорошо, работы — много. А жить вообще-то страшно. Я иду по улице один... Даже днем... Я молодым ребятам в глаза не смотрю — убить могут. Молиться каждый день надо...

— Ко мне подошли в электричке трое... Я с работы ехал. «Ты что тут делаешь?» —

«Домой еду». — «Где твой дом? Кто тебя сюда звал?» Начали бить. Били и кричали: «Россия — для русских! Слава России!» — «Ребята, за что? Аллах все видит» — «Твой Аллах тут тебя не видит. У нас свой Бог.» Зубы выбили... ребро сломали... Полный вагон людей, и одна только девушка заступилась: «Оставьте его! Он вас не трогал» — «Ты — чего? Хача бьем».

— Рашида убили... Тридцать раз ударили ножом. Ты мне скажи, зачем тридцать раз?

— На все воля Аллаха... Бедняка и на верблюде собака укусит.

— Мой папа учился в Москве. Сегодня он день и ночь плачет по СССР. Он мечтал, что я тоже буду учиться в Москве. А меня тут полицейский бьет, хозяин бьет... Живу в подвале, как кошка.

— Мне СССР не жалко... Дядя Коля, наш сосед... он русский был... Он на мою маму кричал, когда она отвечала ему по-таджикски: «Говори на нормальном языке. Земля ваша, власть наша». Мама плакала.

— Я сегодня сон видел: иду по нашей улице, соседи кланяются: «Салам алейкум»... «Салам алейкум»... В наших кишлаках остались только женщины, старики и дети.

— Дома моя зарплата была пять долларов в месяц... Жена, трое детей... В кишлаках годами люди не видят сахара...

— На Красной площади не был. Ленина не видел. Работа! Работа! Лопата, кирка, носилки. Весь день с меня, как с арбуза, вода течет.

— Заплатил одному майору за документы: «Пусть Аллах даст тебе здоровье. Какой хороший человек!» А документы оказались фальшивые. В «обезьянник» посадили. Били ногами, били палками.

— Нет документа — нет человека...

— Человек без Родины — бездомный пес... Каждый может обидеть. Полицейские за день десять раз остановят: «Покажи документы». Эта бумажка есть, а этой нет. Не дашь денег — бьют.

— Кто мы? Строители, грузчики, дворники, посудомойки... Менеджерами мы тут не работаем...

— Мама довольна, я деньги присылаю. Нашла мне красивую девушку, я ее еще не видел. Мама выбирала. Приеду — женюсь.

— Все лето работал у одного богатого под Москвой, а в конце они мне не заплатили: «Пошел! Пошел! Я тебя кормил».

— Когда у тебя есть сто баранов — ты прав. Ты всегда прав.

— Мой друг тоже просил у хозяина денег за работу. Полиция потом его долго искала. Откопали в лесу... Мама гроб получила из России...

— Выгонят нас... Кто Москву отстраивать будет? Дворы подметать? Русские за те деньги, что нам платят, пахать не станут.

— Закрою глаза — вижу: арык течет, хлопок цветет, он цветет нежно-розово, как сад.

— А ты знаешь, что у нас была большая война? После падения СССР сразу стали стрелять... Хорошо жил только тот, у кого был автомат. Я в школу ходил... Каждый день я видел два-три трупа. Мама в школу не пустила. Я сидел дома и читал Хайяма. У нас все читают Хайяма. А ты его знаешь? Если знаешь, то ты мне сестра.

— Убивали неверных...

— Аллах сам рассудит — кто верный, а кто неверный. Сам будет судить.

— Маленький был... Я не стрелял. Мама рассказывала, что до войны жили так: на одной свадьбе говорили по-таджикски, по-узбекски и по-русски. Кто хотел — молился, а кто не хотел — не молился. Скажи, сестра, почему люди так быстро научились убивать друг друга? Они все Хайяма в школе читали. И Пушкина.

— Народ — караван верблюдов, который гонят плеткой...

— Учү русский язык... Вот послушайте: красивый дэвушка, хлэб, дэнги... начальник плёхой...

— Уже пять лет я в Москве, и со мной ни разу никто не поздоровался. Русским нужны «черные», чтобы они могли чувствовать себя «белыми», смотреть на кого-то сверху вниз.

— Как у всякой ночи есть утро, так у всякой печали бывает конец.

— Наши девушки ярче. Не зря их сравнивают с гранатом...

— На все воля Аллаха...

Из подземелья поднимаемся наверх. Теперь я смотрю на Москву другими глазами — ее красота кажется мне холодной и тревожной. Москва, тебе все равно — любят тебя или нет?

Примечание обывателя

— Что вспомнить? Живу как все. Была перестройка... Горбачев... Почтальонша открыла калитку: «Слыхала, коммунистов уже нет?» — «Как нет?» — «Партию закрыли». Никто не стрелял, ничего. Теперь говорят, что была великая держава и все пропало. А что у меня пропало? Я как жила в домике без всяких удобств — без воды, без канализации, без газа — так и живу. Честно работала всю жизнь. Пахала, пахала, привыкла пахать. И всегда получала копейки. Как ела макароны и картошку, так и ем. Шубу донашиваю советскую. У нас тут — снега!

Самое хорошее у меня воспоминание, как я замуж выходила. Любовь была. Помню, возвращались из загса, и цвела сирень. Сирень цвела! В ней, вы поверите, пели соловьи... Я так помню... Дружно пожилы мы пару лет, девочку родили... А потом Вадик запил и сгорел от водки. Молодой мужик, сорок два года. Так и живу одна. Дочка уже выросла, вышла замуж и уехала.

Зимой нас засыпает снегом, весь поселок в снегу — и дома, и машины. Бывает, что неделями не ходят автобусы. Что там в столице? От нас до Москвы — тысяча километров. Смотрим московскую жизнь по телевизору, как кино. Путина и Аллу Пугачеву знаю... остальных — никого... Митинги, демонстрации... А мы тут — как жили, так и живем. И при социализме, и при капитализме. Нам что «белые», что «красные» — одинаково. Надо дожидаться весны. Картошку посадить... *(Долго молчит.)* Мне шестьдесят лет... Я в церковь не хожу, а поговорить с кем-нибудь надо. Поговорить о другом... О том, что стареть неохота, стареть совсем не хочется. А умирать будет жалко. Видели, какая у меня сирень? Выйду ночью — она сияет. Постою, посмотрю. Давайте я вам наломаю букет...

Владас Бразюнас

Из певучей струны домотканой

С литовского. Перевод Георгия Ефремова

* * *

уже мы осень зазываем
возвысив сноп над головой
вернётся осень из колосьев
с полей увенчанных цветами
домой придёт, к столу присядет
где мы, добры от утомленья
познаем неподъёмность рук
и нам пошлёт ветвистый вечер
(в его тени я слышал сам
нас кличут не по именам)
травой будет стол застелен
и все одни, и все едины
минуты, годы и години
и мы увидим в доброте
как нож ломти соединяет

* * *

пересмешники и малые дупляные птахи в моих
скворечнях — мои самые непобедимые
заступники а игрище у меня
наипервейшее — равновесомые
души-свечи с восковыми клюва-
ми-фитильками, краплёные ма-
хонькие павлины в жемчужных
венцах и кольцах золотых на нож-
ках — возьмут и сорвут не по
правде, умыкнут не взаправду,
а просто всё это сговорено-спето
и сказано в песне, пригрезилось
всё — ничего — было не было

Бразюнас Владас — поэт, переводчик, эссеист. Родился в 1952 г. в Литве, в г. Пасвалис. В 1997 г. окончил Вильнюсский университет. Автор 12 книг стихов, лауреат национальных литературных премий. Переводит с русского, латышского, белорусского, украинского и др. языков. Живет в Вильнюсе.

Ефремов Георгий Исаакович — поэт, переводчик, прозаик, драматург. Публикуется с 1970 г. Автор 7 книг стихов. Первый лауреат премии Ю. Балтрушайтиса (2006). Постоянный автор нашего журнала. Живет в Вильнюсе.

* * *

из певучей струны домотканой
и страны за приречной поляной
из нежнейшей суконной стерни
и чистой кромешной родни

из времён барабанного боя
приручающих пламя живое
к топкой глине ближайшего брата
кровле брата где кровь и утрата

так яснился наливался восток
серебрился растрёпанный стог
и коса бунтаря звенела
там повешенная
то и дело

* * *

поутру солнце
выпростав косы
ветками сосен
волосы чешет

о белорунные
все синецветны
о белолицы
голубооки

чтоб лён родился
длинней чем косы
и пряди солнца
сияли в торбах

шелка литые
кольца златые
труды с восхода
чуть солнце светает

* * *

Травный Спас по-иному
всем по яблоне долька
лён бинтом стекает к дому

нет конца пути льняному
кто бойцам трубит о долге
вот и встали — ствол на ствол

* * *

Такая пивная буза там
и мреютверху небеса
все пляшут в потоке пузатом
чьё имя Река Пивяса

лик Божий смеётся
и смех отдаётся в лугах
а хмель нескончаемо вьётся
на юных бычьих рогах

полям непосильны ватаги
не так уж они легки
в охапку землю хватайте
держите мир, мужики

росток протяните хилый
и песню к небу тому,
что только мреет без силы
а больше не быть ничему

* * *

три петушка запевают
в лицо человеку рассвета
кольцо расцветает в Дзукии
и утекает по Неману

в Аукштайтии среди полей
стол накрыт — льном и хлебом
клетчатый луговой платок
повязан вокруг урожая

мостовые тинных озёр
верны человеку заката
приплывает кольцо а над ним
звезда горит куршская

* * *

отечество наше, иже еси в небесах
качай под Гуостагалисом космы пресветлой сныти
свирельки твой говор просвищут а ты дай знак
только вздохни и беззвучно выйди

а за тобой слепо уйдёт любой

Леонид Медведко

Испытание катастрофами

Главы из книги

Столетняя война

Недавнее проведение Года истории в России стало данью памяти о самом кровавом в русской истории XX веке и напоминанием о том, что в будущем году исполнится сто лет с начала Первой мировой войны. Символично, что на календаре 1 августа — день, когда Россия оказалась вовлечена в эту войну, — располагается между двумя другими историческими датами: днем Победы, одержанной нашей страной в Великой Отечественной, и днями окончания Второй мировой — 2-3 сентября. Некая «метафизика истории» просматривается в триединой Великой победе, одержанной над нацизмом в Европе, над японским милитаризмом, и мировой колониальной системой.

Взаимосвязь этих событий усматривалась академиком В.И. Вернадским в его письме, отправленном Сталину незадолго до окончания Второй мировой, бывшей, по его убеждению, «продолжением незавершенной, прерванной Первой мировой войны».

Все эти и последовавшие за ними войны в метафизике истории предстают как одна «столетняя» Большая война, в которой Россия не воевала только четыре года и которая сопровождалась многими сокрушительными победами-поражениями. Сокрушительных побед оказывалось при этом больше, чем триумфальных. Для России «незавершенная» Первая мировая получила свое продолжение в еще более кровопролитной гражданской братоубийственной войне. Продолжалась она на Дальнем Востоке до 22-го года. На близком от России Востоке, в Средней Азии — на десять лет дольше. Война с басмачами шла до середины тридцатых годов. Ее завершение совпало с приходом к власти фашизма в Италии и Германии, и с началом в 1936 году войны в Испании, в которой приняли участие наши первые «бойцы-интернационалисты». Вот и получается, в «столетней» войне XX века Россия не воевала всего несколько лет. Да и «другая», так называемая Холодная война и наступивший после нее «постхолодный» мир сопровождался своими «горячими» войнами. Они и поныне напоминают о себе в Афганистане, Ираке, Ливане, Йемене, Ливии, Сирии, где уже идет региональная война глобального значения. Разрастание непотушенных и возгорание новых пожаров по соседству с Россией усиливают угрозу ее национально-государственной безопасности и международному миру.

Двадцать первый век подхватил эстафету двадцатого. «Арабская весна» продолжается уже более трех лет, вылившись в череду сокрушительных непонятных

Медведко Леонид Иванович — академик РАН, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Публикации в «Дружбе народов»: «От Эдема до Армагеддона. Сопряжение на «разломах» цивилизаций» (№ 5, 1999); «Общий дом на Святой земле. Запад и Восток в новейшее время» (№ 12, 2007); «Пылающий Восток и Русская Медитерра» (№ 6, 2012).

«революций», неведомых ранее войн и «гуманитарных интервенций». По некой «гримасе истории», начало этих событий в пространственно-временном измерении совпало с происходившими там же сто лет назад «репетициями» Первой мировой войны, у берегов Северной Африки, Средиземноморья и на Балканах (1911—1913 годы).

В то время в Соединенных Штатах уже назревал мировой экономический кризис и начиналась подготовка к Первой мировой войне. Она готовилась совместными стараниями корпораций и банков, связанных с богатейшими семействами Ротшильдов, Рокфеллеров, других финансовых воротил, которые создали в 1913 году Международную резервную систему (МРС). Позже к ней подключен был также Международный валютный фонд (МВФ). Совместными их усилиями и была подготовлена сто лет назад Великая катастрофа Европы.

Нефть с запахом крови

Русские паломники, возвращаясь домой после посещения Святой Земли, называли родные края «нашими палестинами». После Великой катастрофы Россия словно породнилась историей и судьбой со Святой Землей, включавшей тогда в себя, кроме Палестины, все страны Леванта и Египта. По меткому определению Александра Зиновьева, Россия сама распяла себя на русской Голгофе. В годы Гражданской войны она прошла потом и через свой «русский Армагеддон» с нескончаемыми битвами добра и зла. До Первой мировой войны мир ислама и Русский мир были представлены на геополитической карте двумя единственными в то время евразийскими империями — царской Россией и Османской Турцией. Оба государства сразу же оказались втянутыми в мировую войну. Разразившиеся после нее революции в России и Турции почти одновременно положили конец существованию двух империй. На их закате в 1917 году появилась на свет 8 ноября 1917 года «Декларация Бальфура», названная так по имени министра иностранных дел Великобритании, лорда, тесно связанного с семейством Ротшильдов. В декларации и была сделана заявка на создание «еврейского очага» в Палестине.

Тридцать лет спустя в бывшей Палестине появилось государство Израиль, вокруг которого сразу же завязался тугой ближневосточный конфликтный узел. Палестинские арабы восприняли рождение Израиля как национальную катастрофу и сразу же включились в «столетнюю» Большую войну XX века. Причину начавшейся новой катастрофы следовало искать не столько в «истории с географией», сколько в истории с геостратегией и... нефтью.

Задолго до того, как Ротшильд обнаружил в этих местах нефть, Наполеон Бонапарт сделал попытку пробиться в Индию через Египет и Палестину. Позже он напишет в своих воспоминаниях, что тогда представлял себя «на спине слона с тюрбаном на голове и с новым, своего сочинения, Кораном в руках». Потерпев поражение под Яфой, Наполеон отказался от глобалистского плана «покорения мира через Иерусалим» и, сменив маршрут, столь же безуспешно попытался прорваться в Индию через Россию.

По сакральному парадоксу истории последнее сражение английских войск с турецкой армией в Первой мировой войне произошло также недалеко от Яфы, на библейском «поле Армагеддона».

Во Второй мировой войне немецкие и итальянские войска под командованием фельдмаршала Роммеля рвались через Египет и Палестину к нефти Баку. Запах нефти будоражил Запад и во все последующие годы в его стремлении после распада Советского Союза установить «новый мировой порядок». Убедительно это показано в фундаментальных исследованиях французского военного историка и геополитика

генерала Пьера М. Галуа в книгах с многозначительными названиями: «Солнце Аллаха ослепляет Запад», «Нефть с запахом крови», «Стратегия в ядерный век», «Баланс террора». Пьер Галуа готовил и ряд других книг о войнах вокруг Персидского залива и Каспия, но жизнь его, к сожалению, оборвалась до воплощения в жизнь всех планов и замыслов.

Аналоги в «зазеркалье» столетия

Еще до завершения кувейтского кризиса, совпавшего в конце 1991 года с распадом Советского Союза, мне довелось в Каире встречаться с известным египетским историком и писателем Мухаммедом Хасанейном Хейкалом. Происходившие тогда события наводили на исторические аналогии. Помню, уже тогда Хейкал, задумав свою новую книгу под названием «Осень гнева», вслух рассуждал: «У вас, русских, и у нас, арабов, все потрясения с революциями и войнами почему-то происходят осенью, когда наступает пора собирать урожай. У вас была Октябрьская революция, а у нас Октябрьская «война Рамадана». У вас распад Советского Союза начался тоже осенью. И это совпало с начавшимся кувейтским кризисом и «Бурей в пустыне».

Потом я не раз вспоминал этот разговор, когда в Египте начала буйствовать «Арабская весна», переросшая вскоре в затяжную арабскую «Осень гнева».

В русском языке и на арабском два слова — «война» и «революция» были в XX веке, наверное, наиболее употребляемыми. У военных историков и политологов до сих пор ведутся споры о том, как называть объявленную после 11 сентября «Глобальную антитеррористическую войну». Называть ли ее «Третьей мировой», или «Первой глобальной», коль скоро она совпала с наступившей эпохой глобализации или очередным «джихадом» исламистов.

«Тень Люцеферова крыла» нависла над миром в виде «Каиновой печати» терроризма. В Международной Энциклопедии «Глобалистика» (Москва — Санкт-Петербург — Нью-Йорк, 2006) и вышедшей незадолго до этого книге Зигмунда Баумана «Глобализация. Последствия для человека и общества» (Москва, 2004) можно найти несколько определений самому процессу глобализации. Автор определил глобализацию как «великую войну за мир без границ». Такая война стала в себя включать в XX веке и разные виды миротворчества, часто не отличающегося от «локальных», региональных и прочих «ограниченных» войн.

Возле рек Вавилонских

Наглядным примером затянувшихся надолго «джихадов», войн и миротворчества стала начавшаяся тоже поздней осенью 1979 года по обе стороны от Персидского залива ирано-иракская война. Вслед за ней разразился кувейтский кризис, который сопровождался «стochastic» войной «Буря в пустыне».

Механизм «джихадов» исламистов был приведен в действие прогремевшими тридцать лет назад 6 октября 1981 года на Каирском стадионе выстрелами исламистских террористов в президента Египта Садата, называвшего себя «героем войны Рамадана». Убийство было совершено не столько в отместку за заключение в 1979 году «кэмп-дэвидского мира» с Израилем, сколько за «паломничество» в Иерусалим, оккупируемый «сионистским врагом». Первые свои ранения получил тогда же и стоявший рядом с Садатом на трибуне, а впоследствии свергнутый с трона «новый фараон» Египта Хосни Мубарак.

Сколько всего «джихадистов» участвовало в подготовке и совершении показательного расстрела египетского президента — установить не удалось. Организато-

рами теракта назвались «Братья-мусульмане» и члены другой мусульманской организации «Аль-Джихад аль-джадид» («Новый джихад»). С их же участием тридцать лет спустя будет повергнут и режим Мубарака, смертный приговор которому был заменен пожизненным заключением. Запертые в железные клетки участники покушения на Садата скандировали на суде лозунги: «Мы совершили это во имя Аллаха. Ради ислама. За него мы готовы умереть. За это вели и будем вести нашу священную войну — джихад».

Съехавшиеся в Каир на похороны Садата главы правительств многих государств и сопровождавшие их члены многих делегаций по-разному объяснили мотивы и причины трагедии. Все сходились тогда на том, что его убил «кэмп-дэвидский мир» и «паломничество Садата в Иерусалим». Советскую делегацию на похоронах возглавлял премьер-министр Алексей Косыгин. Сопровождавший его генерал-лейтенант Константин Сеськин рассказывал потом мне, что на церемонию съехались все лично знавшие Садата бывшие президенты США Никсон, Форд, Картер... Не было, правда, среди них ни действующего президента Рейгана, ни нашего дорогого Леонида Ильича. Он не очень жаловал арабов, как и последний генсек КПСС и первый президент СССР Горбачев, что он не стал скрывать в своих мемуарах «Наедине с собой».

Не удостоил своим присутствием покойного Садата как «предателя арабского единства» и диктатор Ирака Саддам Хусейн. На то у него были свои веские причины. Он уже начинал втягиваться в свои «джихады с Ираном». Развязанная им «война Кадиссии» против аятоллы Хомейни длилась у «рек Вавилонских» более восьми лет и сопровождалась начавшимся летом 1982 года не менее длительным ливанским кризисом. Кризис разразился после израильской операции «возмездия» «Мир Галилеи», которая вскоре переросла в так называемую «пятую арабо-израильскую войну».

Начатый Саддамом Хусейном в конце 1990 — начале 1991 годов новый «джихад» за «освобождение Иерусалима» через аннексию соседнего эмирата Кувейт не стал «шестой» арабо-израильской войной, а вылился в акцию «возмездия» — войну «Буря в пустыне», в которой участвовали войска и нескольких арабских государств: Египта, Сирии, Саудовской Аравии и Арабских эмиратов. Совпала она по времени, как упоминалось уже выше, с началом распада Советского Союза.

Можно усмотреть горькую иронию истории в том, что бывшая сверхдержава распалась в «лихие девяностые» годы быстрее, чем был освобожден Кувейт, самое маленькое, казалось бы, в Заливе государство. «Осень гнева» для России на этот раз затянулась дальше, чем кувейтский кризис и война «мечей Кадиссии» против «джихада» Хомейни.

У Москвы в те годы была уже своя головная боль — борьба с «джихадистами» в Афганистане. Гораздо позже до советских руководителей стала доходить взаимосвязь афганских событий с «исламской революцией» в Иране и со многими другими «джихадами» на Ближнем Востоке. Следить за ними мне пришлось с командного пункта Генерального штаба.

Слежение за миром и войнами с «пожарной вышки» ГРУ

В задачу командного пункта ГРУ входила подготовка справок, сжатых бюллетеней, обзоров прессы, докладов в ЦК КПСС. Они печатались для «самых верхов», как мы выражались, «лошадиными буквами». Прежде чем отправлять документы «наверх», начальник смены представлял их на подпись лично министру обороны и начальнику Генерального штаба. Прежде чем подписывать такие доклады не более чем на трех страницах, начальство задавало иногда нелегкие вопросы. Понятно, у начальников был на то свой резон — не провоцировать «верхи» на выяснение каких-то

моментов по поводу прочитанного и тем самым вызвать у них головную боль и главное — ненужные вопросы.

Дежурная смена, которую мне пришлось возглавить, знакомила перед этим свое высокое собственное начальство с «горячей» информацией. Начальник ГРУ генерал армии П.И. Ивашутин или один из его замов появлялись на «своей вахте» ранним утром и засиживались допоздна. Иногда они позволяли себе приходить попозже и пораньше уходить в воскресные дни. Начальник смены перед тем, как показать им срочные телеграммы, докладывал выжимку из важнейших сообщений, пришедших по закрытой и открытой связи, к этому прикладывалась краткая (как более важная) информация из ленты ТАСС. На служебном жаргоне это называлось «костылем».

В один из осенних дней 1979 года мой помощник, как мы его называли, «майор-полиглот» Володя Онищенко сочинил проект «костыля» в стихах. Зная о моем интересе к поэзии, он подколол к докладу свою препроводилку в стихах. При этом он подзадорил меня: мол, при удобном случае можете прочесть начальству. В «костыле» он довольно точно излагал обстановку за прошедшие сутки и завершал его такими строками:

В мире все утихли войны.
Значит, в мире все спокойно...

Припоминается, это было за месяц до начала афганской эпопеи.

По какому-то закону подлости, большинство «пожаров» в мире чаще всего выпадало на мое дежурство. За нашей сменой успела даже закрепиться слава «пожарной команды». Приходилось докладывать «наверх» о частых нарушениях супостатами воздушных и морских границ страны. Самым неприятным было — докладывать по ночам о начале очередной войны: то в Эритрее и Сомали, то в Бангладеш и Ливане, то на границах Ирака и Ирана. Обычно за этим следовали указания срочно подготовить справку о соотношении сил воюющих сторон. Начальство прежде всего интересовало, кто за кем стоит, ну и, конечно, сколько это безобразие может продлиться. По какому-то наитию оправдались наши прогнозы о продолжительности войны в Бангладеш — не более двух недель. Сбылось и мое предсказание, что ирано-иракская война может затянуться, скорее всего, на годы и не завершится чьей-либо победой.

После моего первого доклада о ходе афганской операции — после штурма и взятия дворца Амина в Кабуле — один из замов начальника ГРУ (П.И. Ивашутин сам в это время находился в Кабуле) задал мне сакраментальный вопрос:

— Как вы думаете, сколько это может еще продолжаться? Дней за десять управимся?

— В Афганистане, как и в Йемене, война может продолжаться годами. Не знаю сколько дней, но на лет десять она вполне может затянуться, — дернуло меня тогда сказать то, что думал.

Все находившиеся в кабинете генералы переглянулись, но промолчали. Прогноз, к сожалению, оказался слишком оптимистичным. Война в Афганистане и после ухода наших войск затянулась на несколько десятилетий...

Ни военный атташе в Афганистане генерал Крахмалов, ни посол СССР в Афганистане Фикрят Табеев, с которыми мне приходилось тогда не раз беседовать, не могли догадываться о готовившейся уже осенью 1979 года афганской операции. За десять дней до нее начальник Генерального штаба Огарков собрал у себя всех своих заместителей, чтобы выслушать их мнение, надо ли вводить войска в Афганистан. Генералу Ивашутину как начальнику военной разведки было предоставлено слово. Он предупредил, что Советский Союз может получить в Афганистане то, что сначала получили американцы во Вьетнаме, а потом египтяне — в Северном Йемене. Те и другие вынуждены были ретироваться, ничего не добившись. Все присутствовавшие

высказались против операции. Аналогичного мнения придерживался и сам Огарков. Но к их доводам тогда не прислушались ни министр обороны Устинов, ни другие члены Политбюро.

За время афганской эпопеи генерал Ивашутин побывал там более десяти раз. Вылетал он в Афганистан чаще всего по приказу маршала Устинова. В общей сложности за восемь лет афганской кампании он провел там более полутора лет.

Делясь при моих докладах своими мыслями, Петр Иванович говорил, что в Афганистане, по сути, настоящей войны нет. О какой войне можно говорить, если противник не имеет ни орудий, ни танков, ни самолетов?! Да и фронта как такового там тоже не было. Нашим войскам удалось загнать афганских «духов» в горы. Но, как и предупреждал Ивашутин, мы оказались в своем «вьетнамском болоте».

Ежегодные командировки Ивашутина (иногда по две-три за год) тоже были связаны с начавшимся тогда реформированием военной разведки. Обретенный в Афганистане боевой опыт спецназовских отрядов ГРУ был позже востребован не только в Чечне, но и в других «горячих» точках. Поэтому, надо думать, когда с началом реформ российской армии спецназ начали выводить из структуры ГРУ, спецназовцы восприняли это так же болезненно, как уход из родительского дома выросших в нем сыновей.

Остается лишь успокаивать себя — потерявши голову, по волосам не плачут.

Без победителей и побежденных

Генерал армии П.И. Ивашутин, которого называли «маршалом военной разведки», возглавлял стратегическую военную разведку дольше всех своих предшественников. При нем на основе глубокого анализа «умная служба» ГРУ первая в те годы пришла к выводу, что американцы блефуют угрозой звездных войн. Но «верхи» не поверили военной разведке, хотя она не раз докладывала, что у американцев никаких лазеров, «пронзающих баллистические ракеты», не существует. Возглавивший в 1992–1997 годах ГРУ генерал-полковник Ладыгин был тоже убежден, что операции в Афганистане, Йемене, а потом в Ливане, Ираке чреваты непредсказуемыми последствиями.

Об афганской эпопее написано было потом немало книг как у нас, так и за рубежом. В них почему-то обходится молчанием одно немаловажное временное совпадение событий в Афганистане с разразившейся по соседству в Иране «исламской революцией». Уже тогда поступавшая на командный пункт ГРУ информация не могла не настораживать.

После захвата «исламскими революционерами» работников посольства США в Тегеране и провала предпринятой Пентагоном операции «Коготь орла» по их освобождению в Вашингтоне стали готовить план широкомасштабной операции по вторжению в Иран. Если бы Москва не втянулась в войну в Афганистане, Вашингтон мог бы повторно увязнуть во втором «вьетнамском болоте» в Иране.

Наличие советских войск в Афганистане, возможно, удержало Соединенные Штаты от развязывания войны, в которую четверть века спустя они все же «вляпались» в Афганистане, а затем и в Ираке. Тогда американцев остановила угроза прямого военного столкновения с советскими войсками. Напомню, что согласно заключенному в 1920-х годах договору с Ираном, Москва вправе была ввести туда свои войска для «обеспечения безопасности» района Южного Каспия.

Как и перед Октябрьской войной 1973 года, так и после принятия решения о вводе советских войск в Афганистан, был создан на уровне высшего руководства координационный комитет. В него входили главы всех силовых ведомств, министр иностранных дел, заведующий международным отделом ЦК КПСС и начальник Генштаба. Их постоянно обеспечивали аналитическими данными команды экспертов.

С началом афганской кампании большой поток сведений поступал также из разных научно-исследовательских институтов. Информация шла и на командный пункт ГРУ. Чтобы читателю было понятнее, какого масштаба велась работа, сошлюсь на генерала армии М.А. Гареева, бывшего в ту пору военным советником в Афганистане. В своей книге «Моя последняя война» он отмечает, что самой разветвленной и наиболее эффективной службой в добывании и оперативной обработке всего потока информации обладала советская военная разведка.

Уже тогда у меня стало зарождаться предчувствие надвигающейся некой «субмировой» войны на Ближнем Востоке. Когда разразилась «Буря в пустыне», я усмотрел в ней прелюдию или начало такой войны. Бывший заместитель министра иностранных дел Г. Корниенко, курировавший в МИДе американское направление, делаясь позже со мной своими соображениями, признался, что и у него в тот период возникало сходное ощущение и, более того, — убеждение, что после окончания военных действий не окажется ни победителей, ни побежденных. Да и последняя классическая Четвертая, она же Октябрьская, война 1973 года закончилась с тем же результатом — вничью.

После распада блоковой системы не столько сами войны, сколько их последствия стали определять характер и направленность «субмировых войн». В глобальную войну «террора-антитеррора» свой вклад внесли как воинствующий исламизм, так и обе сверхдержавы. Каждая из них внесла лепту в «столетнюю» войну.

В период начавшегося в 70 — 80-х годах технического перевооружения армии и внедрения наукоемких технологий в наш военно-промышленный комплекс министерство обороны возглавил маршал Устинов, который и до этого многие годы курировал всю оборонную промышленность страны. Таким же технократом в лучшем смысле этого слова был и начальник Генерального штаба Н.В. Огарков. В отличие от Устинова он сдержанно относился к афганской тематике. Именно по его инициативе в наши справки и доклады стали включаться по одной статье о военно-технических новинках за рубежом.

Сначала у начальства были сомнения, станут ли наши старцы читать скучные статьи. Но один случай рассеял сомнения. На полях последней страницы со статьей о развитии стратегических систем управления в вооруженных силах США Брежнев адресовал Устинову вопросительную резолюцию: «Дмитрий Федорович, а как у нас обстоит с этим дело?» Дело по этой части к тому времени вообще никак не обстояло. У нас ничего подобного тогда не было. Устинов и Огарков, посоветовавшись со своим окружением, нашли для Леонида Ильича какую-то обтекаемую форму ответа. Однако окружение после этого случая подсуетилось, и кто-то в разговоре с нашим начальством посоветовал впредь не помещать подобные статьи — лучше де «умной службе ГРУ» не вызывать недоуменных вопросов у высокого начальства.

В течение всей афганской эпопеи наша «умная служба» продолжала работать без умных средств автоматизации. Наши «малотиражки», как я их называл, печатали машинистки, приходившие на работу ни свет ни заря. После того как начальство вносило какие-либо исправления, листы с правкой перепечатывались. Лишь позже появилось некое «компьютерное чудо», на котором начали набирать и редактировать сводки радиоперехвата и наши воскресно-праздничные «костыли». Приобщение к техническому прогрессу явно, однако, отставало от принятия начальством разумных решений.

В мемуарах одного из руководителей внешней разведки — моего однокурсника Вадима Кирпиченко — упоминалось мимоходом о критическом отношении некоторых наших востоковедов к афганской авантюре. Поименно он предпочел их не называть. Но мне лично были знакомы имена многих из них, хочу в частности, вспомнить глубоко уважаемого мной профессора Ганковского. Не только он один писал закрытые письма и аналитические записки о бесперспективности ввода наших войск за

Гиндукуш. Ученые выступали даже в открытой печати со статьями о том, что «мы влезли в Афганистан», не зная не только его географии с демографией, но и уклада жизни и религий его народов.

При обсуждении итогов Холодной войны говорится порой, что их нельзя оценивать в привычных категориях проигрыша или выигрыша. При этом одни утверждают, что нет никаких «оснований говорить о тотальном поражении России», другие доказывают, что ЦРУ все же «переиграло» советские спецслужбы. Не берусь судить обо всех спецслужбах, но военная разведка предупреждала об опасности ввязывания в войну в Афганистане. Но, как не раз бывало и прежде, верхи не любят прислушиваться к предостережениям. И все же Россия, угодив на десятилетие в «афганское болото», сумела извлечь из неудачи больше полезных для себя уроков, нежели американцы, надолго застрявшие, судя по всему, сначала в Афганистане, а затем после «Шока и трепета» и в Ираке, продолжая испытывать соблазн взять реванш за свои провалы в Иране.

«Джихад» против «джихада»

Проведение американцами десантной операции в Иране под кодовым названием «Коготь орла» было санкционировано лично президентом США Картером. Операция преследовала двойную цель: освободить американских заложников в Тегеране и подготовиться к возможному столкновению с советскими войсками, вышедшими тогда к афгано-иранской границе.

С победой революции в Иране образ ее вождя имама Хомейни в глазах шиитов Ирака стал связываться с долгожданным приходом «скрытого двенадцатого имама», одного из родственников пророка Мухаммеда.

Тогда же на роль «прямого потомка пророка» стал претендовать и Саддам Хусейн. Незадолго до вторжения в Иран он совершил паломничество в Мекку, а затем в Ираке посетил местные шиитские святыни — мечети Али и Хусейна в Неджефе и Кербеле.

После окончания войны с Ираном мне в составе журналистской делегации довелось побывать в этих священных для шиитов городах и посетить мечеть в Кербеле. Не без удивления я увидел выгравированное на стене мечети генеалогическое древо Саддама Хусейна, указывающее на его происхождение от пророка. Судя по изображенным на этом древе ветвям и корням, Саддам должен был предстать в глазах своих соотечественников — суннитов и шиитов — прямым потомком первого шиитского имама Али и самого пророка Мухаммеда.

Война Ирака с Ираном была выгодна обоим режимам. Как Саддаму Хусейну, так и имаму Хомейни требовалось отвлечь своих подданных от сложных внутренних проблем и сплотить народ перед угрозой внешнего врага. Каждый из них надеялся, конечно, на победу, преследуя при этом свои политические и далеко идущие цели.

Все началось с того, что в сентябре 1980 года Иран подверг артиллерийскому обстрелу приграничные иракские города, объявив реку Шатт-эль-Араб закрытой для иракского судоходства. 22 сентября 1980 года иракские войска и танки двинулись по старым и наведенным новым мостам через Шатт-эль-Араб освобождать населенный арабами иранский Хузестан, называемый в Ираке Арабистан. В тот день иракский президент громогласно заявил о своем праве возвести войну в ранг «священного джихада». Одновременно он обратился к «арабскому населению Ирана» в Хузестане с призывом подняться на новую «битву при Кадисии», напоминая о сражении в 637 году, заставившем персов принять ислам. Получалось, что Багдад объявлял «джихад» против «джихада» Тегерана. Война затянулась на восемь с лишним лет, оказалась самой кровопролитной на Ближнем Востоке после Второй мировой и не привела к победе ни одну из сторон.

Нельзя сказать, что известие о начале ирано-иракской войны стало для военной разведки каким-то сюрпризом. О ее приближении докладывала также внешняя разведка КГБ и поступали сведения по линии МИДа. Как позже мне рассказывал посол СССР в Багдаде Анатолий Барковский, он ежедневно направлял в Москву шифровки о подготовке Ирака к войне, сведения из которых должны были докладываться Политбюро ЦК КПСС.

— Создавалось впечатление, что нашим вождям было тогда не до Ирана с Ираком, — говорил Анатолий Александрович. — Все были больше озабочены Афганистаном. Помню, как меня вызвали в канцелярию президента Саддама Хусейна для согласования программы встречи советского руководства с заместителем Саддама Тариком Азизом, который должен был разъяснить иракскую позицию в конфликте с Ираном. В Москве его принимал кандидат в члены Политбюро Пономарев. Встреча состоялась 22 сентября — в тот самый день, когда иракские войска начали войну, однако наше руководство даже не было официально проинформировано об этом заранее.

Страны Запада и США открыто демонстрировали свою поддержку Багдаду, всячески подталкивая Ирак к продолжению войны. По убеждению Барковского, расчет Запада был прост — военный конфликт ослабит оба государства.

Образовавшийся в Заливе омут втягивал в себя не только соседние страны, но и государства, наблюдавшие за войной со стороны. Для защиты «свободы судоходства» в зону Залива стянуто было более 60 иностранных военных кораблей, в том числе, около 40 кораблей ВМС США. В происходивших прямых столкновениях и при «случайных инцидентах» жертвы несли как воюющие стороны, так и наблюдатели. Самая продолжительная с 1945 года региональная война на Ближнем Востоке побила все прежние рекорды. В ней было убито и ранено около двух миллионов человек, на обеих сторонах оказалась выведена из строя треть предприятий. Эта была самая дорогостоящая из всех войн, происходивших до того на Ближнем и Среднем Востоке. Цена ее составила более чем 500 миллиардов долларов.

Москва наблюдала за войной не только со стороны. За годы ирано-иракской войны общее число советских специалистов в Ираке превысило 8 тысяч человек. Непосредственного участия в боевых действиях они не принимали, но как рассказывал мне работавший в то время в Ираке полковник В.А. Яременко, бывали случаи, когда иракские командиры выдавали советским специалистам оружие и боеприпасы на случай «непредвиденных обстоятельств». Тем не менее, со стороны Багдада постоянно слышались упреки, что Москва якобы подыгрывает Тегерану. Недовольство еще более усилилось после налета израильской авиации в 1981 году на ядерный центр в пригороде Багдада. Система ПВО Ирака, созданная при участии советских военных специалистов, не сработала.

Багдад продолжал от Москвы требовать отказа от нейтралитета и более активной поддержки. Кульминацию советско-иракского сближения обозначил приезд в Москву самого Саддама в декабре 1985 года. Вместе с тем это не помешало режиму Саддама обрушивать жестокие репрессии на курдов и других своих потенциальных противников среди шиитов. И на тех, кто «слишком много знал». По обвинению «в шпионаже» был казнен английский журналист Фарзад Базофт, затем при загадочных обстоятельствах погиб в Багдаде корреспондент ТАСС в Ираке Александр Балматов.

Тем временем Вашингтон вел свою «молчаливую войну» на два фронта. Когда в мае 1987 года иракская ракета по ошибке поразила корабль ВМС США, что стоило жизни 37 американцам, инцидент постарались быстро замять.

По большому счету, ирано-иракскую войну проиграли обе стороны. По оценке иностранных военных специалистов, боевые потери с обеих сторон составили не менее 500 тысяч человек.

Весной 1989 года уже после увольнения с военной службы я вместе с тремя коллегами-журналистами по приглашению вице-президента и министра иностран-

ных дел Ирака Тарика Азиза посетил Багдад и другие районы страны. Министерство информации организовало для нас поездку по «местам прошлых боев». Представший перед нашими взорами ландшафт напоминал кадры из фильмов о конце света. На каждом шагу — воронки, груды вывороченной взрывами земли, руины домов, обгоревшие стволы пальм. Места, где находился библейский Эдем, напоминали поле после «ядерного Армагеддона». На обожженных и вывернутых из земли с корнем финиковых пальмах не оставалось ни одной ветки.

Первый наш вечер в Багдаде совпал с началом священного для мусульман «месяца Рамадана». Когда с заходом солнца раздался пушечный выстрел, возвестивший о конце дневного поста, багдадцы вздрогнули от испуга. Всего несколько месяцев назад иранские ракеты обрушивались на жилые кварталы города едва ли не каждую неделю, чаще всего тоже по вечерам.

Перед нашим отъездом Тарик Азиз попросил меня выступить перед иракскими дипломатами в Высшей дипломатической школе. В лекции я решился провести аналогию между продолжавшимся тогда ливанским кризисом и закончившейся недавно ирако-иранской войной. Напомнив слушателям о казусе в годы Первой мировой войны, когда командир американской эскадры в Заливе не знал, с кем ему воевать, я сравнил этот случай со странной ситуацией, в которой оказались наши военные корабли, эскортировавшие во время войны грузовые суда в Заливе. Пришлось напомнить и о том, что в ходе войны арабские страны неодинаково на нее реагировали. Напряженные отношения сохранялись между большинством арабских государств. Привел и примеры со ссылками на междоусобные войны в Йемене, Ливане, также между Алжиром и Марокко, Ливией и Египтом на севере Африки. Ссылаясь на общую идеологию партии Баас, которой придерживались Ирак и Сирия, выразил надежду, что они на практике постараются проводить линию арабского единства в решении ливанского кризиса и палестинской проблемы. Не преминул напомнить в духе времени и о «новом политическом мышлении» Горбачева, пожелав придерживаться его при развязке опасного ближневосточного узла не только вокруг Палестины, но и всего Залива.

Тарик Азиз, поблагодарив меня за лекцию, при прощании сказал:

— Багдаду еще предстоит выработать свое «новое мышление». — И с многозначительной улыбкой добавил: — В ближневосточном узле завязалось слишком много узлов. Свое новое мышление нам предстоит вырабатывать вместе с определением приоритетов и очередности в их развязывании.

В день отъезда Тарик Азиз передал в подарок от имени президента Ирака всем троим членам нашей делегации дорогие часы с портретом Саддама Хусейна на циферблате, сказав то ли в шутку, то ли всерьез:

— Теперь вы можете считать себя лауреатами премии мира имени нашего вождя.

«Я возвращаю вам портрет...»

Не прошло и года после этих событий, как Саддам с призывом «Аллах Акбар», начертанным на обновленном флаге Республики Ирак, внезапно развязал новую войну. На этот раз она была названа «освободительной» войной за «возвращение Иерусалима» через «освобождение» эмирата Кувейта, бывшей провинции Ирака. По пути к Иерусалиму не исключалось также и «освобождение» столицы Хашимитского королевства Иордании, Аммана, возможно также — и первых «двух святых» ислама в Саудовской Аравии и некогда «братского» Дамаска. У Саддама Хусейна был также и свой взгляд на решение палестинской проблемы, отличный от точки зрения президента Сирии Хафеза Асада: «Святая земля — это не бывшая провинция некогда великой Сирии, а часть древней могущественной империи Навуходоносора...»

Не скажу, что мне приходилось водить дружбу с авторитарными вождями араб-

ских революций. Тем не менее, со многими из них приходилось встречаться, можно выразиться, «опосредованно». Мой стаж знакомства с Саддамом Хусейном исчислялся почти сорока годами. Все эти годы в Ираке и Сирии правила с некоторыми перерывами партия Баас. Я многократно бывал в этих странах, встречался также с «отцами революции» в Египте, Тунисе, Ливии, Алжире, Йемене. Беседовал со многими их близкими соратниками и сподвижниками, брал интервью, а порой вел и горячие споры. За годы диктаторского правления Саддама не один из моих бывших собеседников бесследно исчез.

Явление знакомое. Революции часто пожирают своих детей, а случается — и самих родителей. С рядовыми членами правящих партий и с беспартийными умными людьми у меня нередко завязывались дружеские отношения. С горечью приходилось узнавать, что они вдруг пропадали из виду, а потом, как выяснялось, — уходили из жизни. Становились жертвами террора, а чаще попадали под колесо партийных «чисток» или — в жернова политических разборок и «дворцовых переворотов».

Из всех арабских стран Ирак выделялся своей тоталитарностью, политикой государственного террора и ответного ему сопротивления со стороны разных этнических и религиозных группировок. Террор обращался как против своих граждан — арабов и курдов, так и против жителей соседних государств. Прямыми и косвенными жертвами организуемого Саддамом террора становились все заподозренные в «измене и предательстве». В их число попадали также арабы из других арабских стран, если занимали не ту сторону в межпартийных распрях. Так что я никак не мог питать какой-либо симпатии ни к Саддаму Хусейну, ни к его авторитарному режиму. Но переживания человеческие, как нас всегда учили, надо уметь подчинять интересам государственным.

Когда Ирак совершил агрессию против Кувейта, я на следующий же день возвратил часы с портретом Саддама Хусейна в иракское посольство в Москве. Свой поступок объяснил примерно так: поскольку война возобновилась, «награда» не может считаться заслуженной. Возвращаясь из посольства, я по пути невольно поймал себя на том, что мурлычу под нос старую песенку: «Я возвращаю ваш портрет...»

За мою самостоятельность высшие инстанции меня несколько пожурили. Но мои коллеги по многолетней совместной деятельности в Советском комитете афро-азиатской солидарности Самандар Искандеров, Петр Власов, Мир-Паша Зейналов, долгие годы работавшие в разных арабских странах, мой поступок одобрили. Уже после «Бури в пустыне» вместе с Петром Власовым мы побывали на раскопках древнего Вавилона на родине Авраама в городе Уре и собирались добраться до низины Тартар, где наши специалисты, оказывается, тоже предполагали что-то строить. (От Петра я и узнал, что выражение «провалиться в тартарары» связано не столько с Древней Грецией, сколько с древней историей Ирака.)

В следующий раз я встретился с Петром после распада Советского Союза, и он произнес в сердцах:

— Жаль, что все наши труды ушли, тоже провалились куда-то в тартарары...

Предстояние

Как перед Россией в «лихие девяностые», так перед Палестиной (Израилем) в «сороковые роковые» годы предстал схожий трудный вопрос. В восприятии верующих людей он сводился к нелегкому выбору: жить совместно в «общем доме» или отдельно на данной Богом «святой» для одних и «обетованной» для других земле, где-то «между Эдемом и Армагеддоном»¹.

¹ См. Медведко Л. «От Эдема до Армагеддона. Сопряжение на «разломах» цивилизаций». — «Дружба народов», № 5 за 1999 г.

После пробуждения «Арабской весны» перед таким же выбором оказались другие народы, живущие на библейских землях: арабы с евреями в Палестине, христиане с мусульманами в Ливане, сунниты, алавиты, друзы с христианами в Сирии, палестинцы и иорданцы в Королевстве Иордании. Схожий выбор после падения авторитарных режимов встал также перед народами Ирака, Египта, Ливии, Йемена, Бахрейна...

Глобализация для этих стран и народов, как и для Афганистана и соседних с ним государств Южной Азии, обернулась угрозой дезинтеграции, разгулом сепаратизма и исламистского терроризма. Несмываемая печать «каинова греха», подобно «черной тени Люциферова крыла», какая виделась Блоку в «Возмездии» в начале XX века, нависла над Африкой и Европой, над Америкой и Австралией, над Россией и всей Евразией.

С расширением границ Ближнего Востока стал расширяться и круг проблем, порожденных обострением национально-религиозных и этно-конфессиональных отношений не только в Средиземноморье, но и в районах Черноморья и Каспия, являющихся его частями.

Средиземноморье называют «родиной трех мировых религий». Но это обстоятельство само по себе не уберегает его от братоубийственных войн и «каинства терроризма». Историческая память подсказывает другое. Именно здесь и на Балканах, где и поныне остается больше всего непотушенных очагов войн, начинались «репетиции» Первой и Второй мировых войн.

...Слово «предстояние» имеет в русском языке несколько смыслов. В церковном толковании оно обозначает состояние перед молитвой и исповедью. России приходится теперь сосредотачиваться в предстоянии перед многими угрозами и неожиданностями. Понятно поэтому, почему президент В.В. Путин как Верховный Главнокомандующий, пролетая над Сирией при возвращении из Южной Африки, где он участвовал в саммите глав государств БРИКС, отдал приказ поднять по тревоге войска двух Военных округов для проведения боевых учений на юге России.

Учения эти, помимо всего прочего, имели также свою геополитическую составляющую как для России, так и для Украины. Киев, хотя и не сделал окончательный геополитический выбор — быть ли с Россией или Европейским Союзом, сама обстановка в мире торопит его принять решение. В учениях была задействована большая часть военных и военно-морских баз Украины. План их проведения также был заранее согласован с руководством Украины.

Конечно, можно себя утешать анекдотами вроде того, что мне довелось услышать на юбилейном вечере по случаю восьмидесятилетия нашего политического тяжеловеса Евгения Примакова и вступления в его «библейский возраст». Анекдот вполне в библейском духе. Всевышнего спросили, чего следует ожидать арабам и евреям на Ближнем Востоке. Бог лишь тяжело вздохнул и горько расплакался... Улыбнуться такому анекдоту можно лишь сквозь слезы.

Не внушает большого оптимизма и перечень приоритетов и угроз безопасности в обнародованной Концепции внешней политики РФ. В общем перечне проблемы урегулирования на Ближнем Востоке оказались почему-то в числе последних. Между тем, ситуация на Ближнем Востоке не может не вызывать тревоги. Хотя, слава богу, плачевной пока называть преждевременно.

Ежегодные бесконечные ссылки на «зацикливание» проблем ближневосточного урегулирования не приближают их решения. Для обеспечения национальной безопасности России нужно иметь хорошо продуманную и осмысленную стратегию, которая учитывает не только возможность войны, но и миротворчество. Впрочем, лучше говорить, наверное, о стратегии и политике мирозидания, раз миротворчество, мягко говоря, пока себя не оправдывает.

Манана Думбадзе

Афганистан сквозь замочную скважину «Барона»

С грузинского. Перевод Владимира Маловичко

«Фараджа-хана нигде не видно, Мустафа закрылся в своей комнате, украшенной пластмассовыми цветами, куда-то исчез американский спецназ, ничего не происходит кроме того, что каждую ночь слышны звуки автоматных очередей, а в небе кругами летают вертолеты.

Можно сказать, что в самом неуправляемом регионе мира — тоска зеленая».

«Книготорговец из Кабула», Осне Сейерстад

Глава 1

Вот уже месяц как меня приютил «Барон» — частный гостиничный комплекс, который в свое время был построен одним из кабульских миллионеров, а сейчас сдан в аренду международной организации. «Барон» наподобие тюремной зоны отделен от внешнего мира высокой железобетонной стеной с токопроводящей проволокой поверху. Тамошняя администрация и американцы ласково называют комплекс «компаундом». А я про себя называю его «исправительно-трудовой колонией с усиленным питанием и активным отдыхом». Под «исправительно-трудовым» я, естественно, подразумеваю исправление собственного и семейного экономического положения в результате хорошо оплачиваемой трудовой и спортивно-оздоровительной деятельности внутри «Барона».

Для того, чтобы попасть в эту колонию, люди добровольно преодолевают довольно сложные конкурсные преграды. Лично мне для занятия должности, несмотря на рекомендации друзей, пришлось пройти через целый ряд телефонных интервью, в результате чего я была назначена директором по коммуникациям одного из афганских проектов Агентства международного развития США. Кстати, аббревиатура названия проекта — «ТАФА» («TAPA») — по-грузински значит «сковорода».

Манана Думбадзе — переводчик, литературовед, публицист. Родилась в Тбилиси, окончила факультет западноевропейских языков и литературы Тбилисского государственного университета. Член Союзов писателей и журналистов Грузии, координатор по международным связям СП Грузии. Переводчик англо-американской литературы на грузинский язык (Марк Твен, Уильям Сароян, Рэй Брэдбери, Эрскин Колдуэлл, Джон Апдайк, Сэмюэль Беккет). Живет в Тбилиси. Книга «Афганистан сквозь замочную скважину "Барона"» публикуется в журнальном варианте.

Короче говоря, нахожусь я в бурлящем Афганистане и хочу получить в этой разоренной и измученной стране не только материальные, но и духовные дивиденды: пытаюсь не то чтобы прорубить, подобно Петру Великому, «окно в Азию», но хотя бы приспособить замочные скважины «Барона», чтобы своими глазами увидеть сквозь них кабульскую действительность.

Так получилось, что в «Бароне» в момент моего прибытия находились два лица грузинской национальности: Диана и Тато. Согласно «приговору» (контракту), мне и Диане «присудили по одному году исправительно-трудовых работ», хотя, как мы увидим дальше, мне этот срок несколько урезали, а Диане удлиннили. Что касается Тато, он относился к краткосрочникам: через полтора месяца его там уже не было.

А пока по вечерам мы с Тато играли в спортзале в настольный теннис. Тато оказался сильным соперником и, когда мы оставались одни, учил меня разным премудростям игры. В руках такого тренера я неузнаваемо повысила свой класс вплоть до того, что не упускала ни одного момента атаковать «топкой»¹. Еще два раза в неделю я начала ходить на йогу. Так что можно сказать, что в «Бароне» моя жизнь вошла в колею активного спортивно-оздоровительного тренажа.

Чтобы мама не нервничала, я соврала ей, что уезжаю на год работать в Америку. Она обрадовалась за меня, но не забыла «подковырнуть»: когда в Грузии люди из кожи вон лезут, чтобы выжить, ее старшая дочь будет нежиться в Америке. Все остальные, знавшие, считали, что на нас непрерывно будут сыпаться бомбы и земля будет гореть под нашими ногами. А вышло вот как: я, окруженная усиленной охраной, лежу в садовом шезлонге комплекса «Барон» «и на солнышко гляжу...».

«Барон» охраняет известный на весь мир британский спецназ. В город ездим в белом бронированном лэндкрузере в сопровождении двух офицеров охраны: афганец за рулем, а рядом иностранец-шутер (по-нашему — снайпер). При каждой посадке в лэндкрузер шутер вслух повторяет инструкцию по безопасности: что надо делать, если убили водителя, на какую кнопку нажимать, если машина подорвалась на mine и т.д. Конечно же, я очень быстро выучила и начала повторять за шутером инструкцию, как молитву, что очень забавляло офицеров. Но я-то знала: случись что-нибудь нехорошее, я, конечно, не смогла бы ни на кнопку нажать, ни сирену включить и ни бежать сломя голову в укрытие. Такова особенность моего характера: наличие у меня с детства водительских прав никогда не означало, что я могу сделать разворот, не зацепив как минимум две машины.

За стенами «Барона» почти постоянно, особенно во время рамадана, гремела канонада взрывов. В большинстве случаев это самоубийцы (террористы-смертники), которые самовзрываются прямо с каким-то самоубийством. Нельзя забывать, что при этом они взрывают других. Сразу по моем приезде в Афганистан взорвали брата президента Карзая, который, по слухам, был наркобароном. Затем в течение месяца уложили целый ряд губернаторов в разных провинциях. Именно после этого «Барон» перевели на закрытый режим, что означало: наши поездки за территорию комплекса могли происходить только в исключительных случаях.

С коллегами мне повезло: вокруг меня большинство — афганцы. Я очень полюбила эту команду. Все они, мужчины и женщины, внушают доверие, скромны и улыбки. К тому же и веселы — у всех, несмотря ни на что, исключительное чувство юмора.

В моем распоряжении было четыре афганца и одна афганка. Не думайте, что я ими руководила, я училась у них. Когда они замечали, что я устаю или нервничаю, терпеливо рассказывали об особенностях местного подхода и успокаивали.

¹ От англ. top spin — «верхнее вращение». Атакующий или контратакующий удар со сверхсильным верхним вращением, основное оружие современных игроков в настольный теннис.

Женщины-афганки изящно и с достоинством двигаются в очень красивых цветастых брючных костюмах. Косынки на них тоже цветастые. Афганки с удовольствием обучают меня способам их повязывания на голове, коих огромное множество. Афганки никогда не повышают голоса (мужчины-афганцы тоже), щебечут как птички, с неизменной улыбкой на лице.

— Какие они веселые, говорю я Гюнтаи (Гюль).

— Это женщины, прошедшие войну, — отвечает она, — им надо совсем немного, чтобы стать счастливыми и веселыми.

Дома я в основном смотрю по телевизору Аль-Джазиру, что равносильно самоистязанию типа шахсей-вахсей. Несмотря на то, что такого количества актов насилия не показывает ни одно телевидение мира, мне кажется, что это один из наиболее надежных и независимых источников информации. Сейчас, например, в эфире высокопоставленный военный чиновник, полковник НАТО, заявляет, что талибы упорно продвигаются к Кабулу, но это не впервой: «Кабул мы не уступим», — обещает он.

Большое спасибо, уважаемый полковник, но вы уверены, что талибы не посмеиваются над такими самоуверенными заявлениями? Однако что делать полковнику НАТО? Наверное, советские полковники и генералы говорили то же самое, когда моджахеды приближались к Кабулу.

В «Бароне» помимо ресторана, кафе, спортивного зала, плавательного бассейна и минимаркета имеется салон красоты. Хозяйка — женщина пока еще не установленной национальности по имени Мария. Она слегка прибалтненная и говорит на таком русском языке, что невольно чувствуешь себя лицом к лицу с одесской Муркой. Сама она утверждает, что наполовину таджичка, наполовину турчанка, хорошо знает языки пушту и дари, поэтому с местными общается свободно.

Со мной она говорит громко и применяет такие блатные выкрутасы, что уши вянут. Хорошо, что афганцы из «Барона» почти не знают русского языка: они меня перестали бы уважать. С другой стороны, из-за того, что в памяти афганцев все же остались его отдельные «обломки», они то и дело заговаривают со мной на ломаном русском, игнорируя мои напоминания, что я свободно владею английским. А иногда мне хотелось сказать им: «Ребята, я грузинка, говорите со мной по-грузински! Не знаете? Я вас быстро обучу!»

Мария приходит в салон, когда ей заблагорассудится. Говорит, что в «Бароне» нет работы, разве что заказы на массаж. Она очень любит поболтать, но из-за того, что «строчит» как пулемет, собеседник быстро устает. Мне тоже было трудно, но я упорно слушала, потому что ее рассказы о национальном характере афганцев, их традициях и обычаях очень познавательны.

— Я, б..., двенадцать лет здесь живу и одеваюсь как они: черное платье, головная повязка, иногда чадра. Так я почти не привлекаю внимания. Спасает еще и то, что я говорю на их языке. Здесь у меня много близких: недавно я была в Кандагаре на свадьбе, — рассказывает Мария.

— В Кандагаре? А как ты туда попала? Вчера, по крайней мере семь раз объявляли ракетное нападение. Туда самые смелые журналисты отказываются ехать, а ты, пышная блондинка, так, между прочим, говоришь: «Вчера была в Кандагаре».

Мария смеется:

— Б..., чего ж ты удивляешься, я же сказала, что говорю на их языке, живу по их обычаям, являюсь дочерью этой страны. Никто не имеет ко мне никаких претензий. Что с меня взять? Эти же не успокоятся, пока не сделают свое. Как тебе объяснить? Они как орлы — любят свободу. Их, мать твою, войной не возьмешь! Войной привести их в порядок невозможно!

Мария говорит, что талибы — в основном пуштуны, которые составляют сорок процентов населения Афганистана, то есть представляют большинство. Они претендуют на управление страной. Все остальные, по их мнению, — быдло и изменники.

По восточному солнечно-лунному летосчислению сейчас 30-е асадия 1390-го года (6-й месяц года). Мой муж Вадик говорит: в каком веке находятся, так себя и ведут.

Э!.. Откуда Вадику знать, кто в каком веке живет и какое летосчисление ближе к истине. Факт тот, что все это происходит на нашей общей планете, под одним и тем же небом и в одно и то же время, и вместо того, чтобы жить мирно и спокойно путешествовать по Земле, люди строят дорогостоящие защитные укрепления, чтобы высовывать оттуда языки друг другу, плевать и ругаться.

Итак, я приветствую вас из Афганистана девяностых XIV века! Ну-ка вспомните, что в это время происходило в Грузии? Черт знает что...

Глава 2

Когда я летела из Дубая в Кабул, в салоне самолета ко мне подседа благообразного вида женщина средних лет по имени Мина. Она оказалась афганкой, но не современной, а тех времен, когда кабульский стиль воспитания включал в себя европейские и советские элементы, такие как обязательное хождение на музыку, английский, плавание и теннис; в тинейджерском возрасте — ношение мини-юбок, а в студенческом — обязательное обучение в ленинградских и московских вузах. Мина, как выяснилось, училась в Ленинграде и там познакомилась с будущим мужем-афганцем. Сейчас они с детьми живут и работают в Мюнхене. Мина летит в гости к брату, крупному афганскому бизнесмену, учредителю единственной в Афганистане компании по производству минеральной воды. Он имеет вес в деловых и правительственных кругах Афганистана. Между прочим, получил высшее образование в США.

Как «птенцы из одного, советского гнезда», мы с полуслова поняли друг друга и быстро сблизились. Она с восторгом говорила о России, видимо, не зная, что сегодня между Россией и моей родиной Грузией отсутствуют дипломатические отношения.

— Тогда мы жили нормально. Русские никогда не вмешивались в нашу жизнь. А сейчас, если не завернусь в национальные одежды, я не могу выйти на улицу. Действительность такова, что всех устраивает, чтобы в Афганистане был постоянный кавардак. А поскольку афганцы без войны жить не могут, война там не кончится никогда, — категорично и рассерженно заявляет Мина.

— Кабул красивый? — задаю я отвлекающий, по моему мнению, вопрос.

— Что было красивое, все сломали, превратили город в пыльные развалины: смотреть страшно! Мне очень тяжело это говорить, но я потеряла надежду, что моя страна сможет возродиться из пепла, — поставила ужасный диагноз своему много-страдальному Афганистану Мина с высоты своего европейского положения. Интересно, что, по моим наблюдениям, и наши грузинские эмигранты придерживаются такого же мнения относительно Грузии.

Фериде из «Барона» — тоже афганка, вернее, молодая афганская девушка, окончившая колледж в Калифорнии. Ее тоже тянет туда, где не обязательно покрывать голову платком и поститься во время рамадана, где можно ходить в хлопчатобумажных голубых джинсах — иными словами, туда, где обычная цивилизованная жизнь.

Фериде — единственная дочь у матери. Отец погиб, когда она была маленькой, из-за чего им с матерью пришлось жить то у одного, то у другого, то у третьего дяди. Она очень старается быть настоящей американкой: манерами и интонациями. Ей повезло: она устроилась на работу в американскую компанию. Сейчас собирается отправиться на курсы в Калифорнию, где, по ее словам, намерена во что бы то ни стало выйти замуж. Но пока, в нашем проекте, она положила начало одному хорошему делу: вместе со своими афганскими партнерами покупает на кабульском базаре овощи, красиво их упаковывает и каждую субботу устраивает в нашем компаунде

маленький базар, естественно, с небольшой наценкой. На вырученные деньги девочки помогают детским домам и приютам для престарелых улучшать питание. Эта инициатива выгодна и нам, так как на базар мы практически попасть не можем, а у овощей, купленных в маркете, как правило, привкус упаковочной пластмассы, и стоят они очень дорого.

В «Бароне» Фериде ходит, как мы, без головного платка. Вечером она возвращается домой на секонд-хендовой «тойоте». Она уже так «заражена» западной идеологической эмансипацией, что ей порядком надоело, находясь на улице, получать из афганской толпы оскорбления, которые она «заслужила» по причине любви к новаторству и движению «против течения». Женщины неафганской национальности, живущие в «Бароне», считают, что в условиях Афганистана Ферида — героиня. Американка Денис говорит, что за восемь лет своей работы в Афганистане это только третий на ее памяти случай подобного проявления мужества: на днях в деревне недалеко от Нандагара камнями забили мать и дочь, которые посмели выйти из дома без мужского сопровождения.

«Барон» представляет собой поистине вавилонское столпотворение всемирных и всеафганских сил по спасению и возрождению Афганистана. Так же, как в Грузии, здесь верят, что страна обязательно возродится. Но пути возрождения, в отличие от Грузии, выбраны излишне радикальные. Маршруты этого радикализма пролегают от Кандагара к Кабулу с погромами деревень и последующим поднятием их на воздух.

Упаси господь от такой участи наш «Барон»! Легкой паники достаточно, чтобы все, от мала до велика, вмиг забыли всеильный английский язык, и я, например, на временно отложенном в сторону родном грузинском взывала бы: «Вай, Деда!» («Пронеси, Господи!»).

Директором нашего проекта является Абдулкадер Эд Элрахал. Мы его называем просто Эд. Эд ливанец, он управляет административной и технической частью, включающей четыре отдела. Одним из отделов руководит австралиец по имени Энди. Вторым — канадка Кармел, третьим — американец Фредди, четвертым — афганка Гюнтаи (с ней читатель уже знаком). Я, директор по коммуникациям — грузинка. Приглашенные эксперты: боснийка, индусы, таджики, киргизы, филиппинцы, японцы. Базовые сотрудники, ассистенты — афганцы. Безопасность обеспечивает британо-южноафриканско-непальская бригада. Все эти люди хорошо владеют английским и общаются на нем.

Хуже всех по-английски здесь говорят британцы. Они даже друг друга понимают с трудом, потому что собраны из разных мест Британии, где наречия сильно отличаются друг от друга. Самого «речистого» зовут Пол. Его очень уважают и говорят, что он хорошо знает «королевский английский». Пол не позволяет себе говорить на каком-нибудь местном наречии. Нетрудно догадаться, что у этих отборных молодых людей, красивых и ироничных, нет проблем с поиском партнерш и любовными свиданиями. Им остается лишь проделывать селекционную работу...

Бронированный автомобиль везет меня в американское посольство на рабочую встречу. На этой дороге я впервые. Проезжаем мимо разных посольств и домов членов правительства. Все дома окружены высокими железобетонными стенами с колючей проволокой, на земле — горы мешков с песком. На зажатой между этими «стенами» серой улице довольно редко встречаются живые существа: это или нищие или совершенно неожиданный для такого пейзажа одинокий афганец-велосипедист в пыльном национальном костюме, на старом погнутом драндулете. Женщины-нищенки, как в Тбилиси, шастают в основном по середине проезжей части центральных улиц с грудными детьми за пазухой. В афганском варианте они носят голубые чадры. Дахунда сказал, что цвет чадры зависит от провинции: в Кабуле носят только голубые.

Афганские женщины называют чадру ходячей крепостью и страшно ее не любят.

В Кабуле, например, ходить в чадре не обязательно, и этой свободой пользуется очень много женщин. Но в провинции, в дальних деревнях, отказ от ношения чадры равносильен смертному приговору, который ты сама себе выносишь. Поэтому разговоры о том, что чадра — прекрасная экзотическая одежда, очень меня раздражают. На фотографиях в Фейсбуке чадры блестят и светятся от чистоты голубым светом. Это тебе не вываленные в многовековой пыли и грязи мятые и выцветшие одеяния, которыми заполнена вся афганская земля.

Уличный лабиринт наконец кончился, и мы выехали на залитое солнцем пространство. Чем ближе мы подъезжаем к американскому посольству, тем зеленее и красочнее становится окружение. Под конец мы проехали многошлагбаумную аллею, украшенную красивейшими разного рода цветами. Автомобильный контроль отнял у нас полчаса, после чего мы въехали на территорию посольства.

Само главное здание по своей архитектуре показалось мне довольно безвкусным. Оно весьма похоже на наш ИМЭЛ (бывший Институт марксизма-ленинизма на проспекте Руставели в Тбилиси). В пяти-шестиэтажных корпусах вокруг здания посольства живут штатные сотрудники. Здесь же, на территории посольства, стоит очень много окрашенных в голубой и белый цвета специальных вагонов, где живут специалисты, находящиеся в Кабуле в краткосрочных командировках. Внутри — красивая мебель и всякое домашнее оборудование, интерьер очень симпатичный. Рабочая встреча происходит как раз в одном из таких вагонов, но гораздо большего размера.

Агентство международного развития США организует такие рабочие встречи для своих специалистов по коммуникациям, где знакомит их с новыми требованиями и правилами отчетности, каждый третий месяц. Встречи похожи на международные форумы, потому что на них собирается большое количество людей самого разного происхождения, цвета кожи и вероисповедания.

Отличие этой конкретной встречи от прошедших заключается в том, что посольство из уважения к традициям проходящего рамадана предоставляет участникам только воду, да еще с просьбой не особенно увлекаться ею на глазах у мусульманских участников. Меня это раздражает не потому, что я очень люблю кофе, а потому, что никто и никогда в христианском обществе не посмеет запретить кому-либо угощаться мясом и сыром на глазах у постящегося христианина. Наоборот, постящихся строго предупреждают не создавать неудобств не постящимся, и если хозяин стола очень просит отведать мясное блюдо — сделай милость, попробуй его.

В общем, я оказалась свидетелем обычной дискриминации: во время рамадана о духовном состоянии мусульманских коллег заботится вся конференция, остальным, «безбожникам», во время перерыва, в скрытой отдаленной вагонетке продают холодный и горячий кофе по завышенным ценам.

Вот так поставлено дело у местных. Их совершенно не интересует, что о них думает «цивилизованный» мир. Они абсолютно уверены, что все на этой грешной Земле только и мечтают присвоить их природные ресурсы. «Не получите!» — громко глаголят они на каждом шагу. Это их кредо в многовековой борьбе то с внешним, то с внутренним врагом. Когда из их страны — многоцветного восточного ковра — оказывается вытряхнута вся вражеская иноземная пыль, начинается большая «стирка» ковра, чтобы отмыть его от местной «нечисти». И так без конца. Война за возрождение когда-то сильного, великолепного Афганистана не кончается.

Вы не поверите, но я заметила у многих афганцев, особенно афганок, ностальгию по временам либерального короля Дауда и советского режима (60-е — 70-е годы прошлого века); по тем прошедшим временам, когда молодые афганские женщины ходили на работу без сопровождения, в одежде, которая позволяла им безнаказанно гордиться своими красивыми ногами, заниматься спортом,

посещать бассейн и при наличии средств получать современное качественное образование...

Один мой сотрудник с улыбкой вспоминает, что социалистическое правительство платило каждой семье 5 000 афгани за каждого ребенка, который начинал ходить в школу, так что многодетные родители вполне могли не работать, что они и делали: каждый год в школу приходил следующий ребенок.

«За счет этого закона мои родители на моем посещении школы хорошенько подзаработали», — мило улыбается Хасиб. Улыбаюсь и я, но не потому, что он плохо говорит по-английски, нет, он, как и все афганские сотрудники, прекрасно владеет языком. А потому, что в этом факте есть какая-то странная, непонятная для меня философия. Не зря в гениальном советском фильме «Белое солнце пустыни» герой неоднократно произносит ставшую классической фразу: «Восток — дело тонкое!»

Талибы ведут себя точно так же, как афганские комары: в темноте они борются и кусаются, на свету — отступают (в противоположность нашим). Притаившись в темноте, они следят, когда ты споткнешься и заступишь на их территорию, что делать дальше, они прекрасно знают.

Сегодня в англоязычной «Афганистан таймс» было написано, что «...в провинции Центральный Парван полиция обнаружила ограбленные трупы двух германских туристов, пропавших две недели назад. По делу об убийствах задержаны четыре кучи (кочующие племена в Афганистане), следствие продолжается».

Глава 3

У афганцев два государственных языка: дари и пушту. Нетрудно догадаться, что пушту — язык пуштунов. Кстати, между мной и пуштунами установились очень близкие и, я бы сказала, веселые взаимоотношения. На их языке «манана» означает «спасибо», а «дейра манана» — большое спасибо. Когда они говорят: «Дейра манана», они смягчают звук «р» и получается «дейда манана», что по-грузински означает «тетя Манана». Стоило пуштунам это узнать, как они при каждой, даже мимолетной встрече издали кричали мне: «тетя Манана» и заливались смехом. Если сначала «тетя Манана», услышанное от молодого продавца в магазине, воспринималось мной как излишняя фамильярность и даже раздражало, то теперь обращение «мэм» мне уже не нравится. Получилось, что благодаря этой «тете Манане» я стала звездой «Барона»: сегодня все знают меня в лицо.

14 августа 2011 года. Фактически впервые выхожу за пределы «Барона» в животрепещущее афганское и международное общество: наш проект открыл на территории Торговой палаты торгово-сервисный центр. Об успехах этого центра я должна написать эссе и отснять видеоклип. На бронированном автомобиле в сопровождении охраны я прибыла в Торговую палату. Неудобство заключается в том, что «Барон» находится на окраине Кабула, между аэропортом и находящейся в пятнадцати минутах ходьбы от него базой НАТО.

Объекты, которые нам разрешается посещать, это пять ресторанов: «Боккаччо», «Белла Италия», «Лебанон», «Гандемарк», «Бистро», два маркета — «Чиано» и «Файнест» — и художественная галерея «Сардоза». Они находятся рядом с «Бароном», поэтому в центр города и в такие колоритные места, как «Чикен стрит» (Куриная улица), Птичий базар, «Баги занана» (Женский сад) и другие мы никоим образом не попадаем. Соответственно, мой выход в новое место можно приравнять к открытию нового континента. Сотрудники-афганцы порой предлагают мне прогуляться или зайти к ним в гости, но наша охрана смотрит на это так, как рекомендовано службой безопасности: не входить в интимные отношения (в широком смысле) с местным населением и местными сотрудниками! Малейшее нарушение инструкций службы

безопасности ведет к увольнению и, соответственно, выезде из Афганистана в 24 часа.

Если бы я не увидела своими глазами, как охрана заставила быстро собрать вещи и отправила в аэропорт сотрудника, без разрешения съездившего в аптеку за лекарством, я бы не поверила. Водитель спасся лишь потому, что был афганцем и это произошло с ним впервые: он получил строгое предупреждение. Дело в том, что заявка на автомобиль должна быть подана за 6 часов до выезда. К сожалению, правила не делают скидки на «острую зубную боль».

С другой стороны, претензий к охране быть не может, поскольку, случись что, охранник в лучшем случае теряет работу, в худшем — отправляется прямо на небеса, потому что какой-нибудь шахид — ходячая бомба — может взорвать себя в самом многолюдном месте, прихватив с собой в обещанный ему рай от пяти до двадцати человек. Короче говоря, центральная часть Кабула, за редкими исключениями, нам недоступна. А попасть на Куриную улицу, где, по рассказам, выставлены на продажу все афганские богатства, — и мечтать не приходится. В таких жестких условиях посещение Торговой палаты равносильно посещению Бамиана (исторический край Афганистана, где талибы взорвали уникальные скульптуры будд). Торговая палата размещена в помещении бывшей гостиницы с довольно зеленым окружением — остатки былой роскоши.

Как следует из исторических документов и видно по фотографиям, Кабул был довольно зеленым городом с изумрудными скверами, в которых цвели розы. Об этом свидетельствуют необыкновенно ухоженные цветущие сады вокруг министерств и посольств, аккуратно прибранные зеленые территории бывших советских поселений, огороженные дворы международных организаций и территории других охраняемых организаций.

Сегодня в Кабуле, как и на тбилисском Плехановском проспекте, не увидишь многолетних лиственных деревьев. Все они срублены или взорваны. А бутоны вновь посаженных розовых кустов покрыты толстым слоем пыли, из-за чего они быстро вянут. На таком фоне территория «Барона» радует глаз. Наш сад подобен райскому: двухэтажные корпуса окружены скверами с красными и черными королевскими розами. Изредка среди них, словно микровзрывы, возникают желтые и белые розы. На зеленом ковре двора цветет тысяча разновидностей полевых цветов. Такая же картина — во дворе Министерства женского развития и в Женском саду.

Торговая палата и торгово-информационный центр нашего проекта сегодня принял до 30 афганских женщин — работниц торговли. Они пройдут тренинг на тему: как развить собственный бизнес с помощью веб-страницы нашего информационного центра и как осуществлять электронную коммерцию (e-commerce).

На первый взгляд, трудно поверить в совместимость афганских женщин и бизнеса, тем более электронного. Но афганки, подобно грузинкам (правда, с отставанием на 30 лет), поняли: если они не «зашевелятся», их увлеченные войной мужья загубят и дела, и семьи. Поэтому в чадре или без чадры, с детишками за спиной, они берутся за выполнение женской и мужской работы в своей семье. Иногда подключают к своему бизнесу мужей. Если это удастся, их счастью нет предела.

Среди 30-ти приглашенных деловых женщин были юные, молодые и пожилые, красивые и менее красивые. Вообще, внешность афганской женщины, по-моему, особая тема, которая достойна отдельного рассмотрения. Одно я знаю точно: в этой стране полностью разрушилось мое представление о восточной женщине с округлыми бедрами, красивым ртом и кожей персикового цвета. Большинство местных женщин — тонконогие, немного выше среднего роста, бледнолицые. Красота тела и изящество движений угадывается даже под чадрой. Эти скромные и спокойные женщины, которые пока не решаются показать свое лицо в интернете, демонстрируют удивительные способности в торговле и предпринимательстве. Те знания, которые

были накоплены веками их предками, начиная с вышивания и кончая изготовлением ковров, они аккуратно собрали и вынесли на все местные и международные рынки. По инициативе женского министерства, женщин, отличившихся в успешной бизнес-деятельности, четыре раза в год бесплатно посылают на международные ярмарки и помогают им рекламировать свою продукцию.

Не успела я выложить в Фейсбуке фотографии нескольких таких женщин, как тут же один фейсбуковский «френд» спросил меня, правда ли, что они находятся в таких невыносимых условиях, как об этом говорят? Мне стало жалко, что об афганских женщинах знают только это. Весь мир видит лишь то, что они оскорбленные, забытые и забытые... Поверьте, сами афганки отнюдь не довольны имиджем несчастных жертв. Они обижены тем, что никто не замечает, какие они гордые и сильные. И правда, почему-то никто не говорит об их ясном уме, трудолюбии, их жажде к учению и, что самое очевидное, их красоте и обаянии.

Вот и сейчас, по тому же Фейсбуку, моя филиппинская коллега прислала мне выписку из афганской газеты (знает, что я собираюсь писать книгу об Афганистане), где написано, что муж некой Розии Д. на протяжении двух лет наказывал жену побоями. А когда Розию в тяжелом состоянии привезли в больницу, экспертиза показала, что пострадавшая была девственницей. Конечно же, побои — это очень нехорошо, но европейцы, американцы, русские — все мы ведь тоже не подарок. Просто мы продумываем прикрытия, одно из которых хорошо сформулировано русскими: «Бьет — значит любит!» Очень хитрая позиция. Или другое, наше, грузинское: «Женщину я признаю только на кухне».

Недавно я присутствовала на лекции Мины Шерзой на тему: «О культурно-бытовых афгано-западных различиях». Больше всего мне понравилось такое ее замечание: «Уже давно я работаю над проектами ментального развития афганских женщин, но только сейчас поняла, что в Афганистане нет женской проблемы. В Афганистане сегодня необходимо поднимать образование и развитие мужчин, чтобы они догнали в своем развитии женщин. Все несчастья войн, все нововведения ложатся на плечи женщин. Все репрессии касаются в первую очередь их. Поэтому у афганских женщин, в сравнении с мужчинами, выработалась гораздо более сильная тяга к прогрессу и самоутверждению».

Мина — из дипломатической семьи, уже два десятка лет живет в Калифорнии и работает в американских правительственных проектах в Афганистане, является квалифицированным специалистом в области сравнительного изучения американской и афганской культур. «Все выиграли от афганских войн, кроме афганцев. Коммунизм развалился, Германия объединилась, Пакистан возродился. Только мы потеряли уйму людей и оказались на развалинах», — эти горькие слова тоже принадлежат ей.

Я и Набила... Как правило, я не называю фамилий, но это потому, что в Афганистане имена имеют большее значение, чем фамилии. Там и меня называли мисс Манана, а не мисс Думбадзе. При этом на дари «думбадзе», оказывается, означает «виляние хвостом». Один «поклонник моего таланта» по-дружески посоветовал: забудь ты эту неприличную фамилию, есть у тебя нормальное имя — ну и подписывайся им.

Мы нащелкали с Набилой кучу фотографий, и я с радостью сообщила, что это — прекрасный материал для Фейсбука. Она с грустью посмотрела на меня и попросила не поступать с ней так: она от этого пострадает. Я тут же пообещала не делать этого.

— Тогда зачем тебе столько фотографий? — спросила я.

— Это — память о нашей дружбе. Сделаю альбом и назову его: «Дружба с Мананой», — ответила Набила.

Набила в нашем проекте руководитель гендерной части. Она помогает афганкам в развитии бизнеса.

Из окна бронированной машины я вижу группу афганок в чадрах. Они вместе

переходят дорогу. Видимо, это жены одного мужчины. Я с интересом провожаю их взглядом и слышу гордое заявление Набилы:

— У меня таких две. Одна здесь, а другая в деревне.

От удивления у меня отвисла челюсть: вот тебе и руководитель гендерной программы! Позднее Грейси, австралийка, которая вот уже 7 лет живет в Афганистане, сказала мне, что Набила родом из Нандагара, а там женщина еще миллион лет не сможет пройти по улице без чадры. Более того, в Нандагаре даже иностранки носят чадры. Чадра здесь надежнее любой кольчуги или бронежилета.

— Набила, грех не позволять мне выставить на Фейсбуке такую красавицу, — не унимаюсь я.

— Это ты еще меня не видела подкрашенной, когда я иду на свадьбу или еще на какое событие. Ты бы меня не узнала. У меня такой макияж, что все спрашивают меня, кто я такая.

Я решила, что она перебарщивает, но Френсис Хардин из нашего офиса подтвердила ее слова:

— Представь себе, моя ассистентка, нежная и утонченная Зухра, сегодня принесла мне фотографии своей помолвки. Я была поражена: моя малолетняя стыдливая простушка была там в таком вызывающе открытом платье и с таким вульгарным макияжем на лице, что любая куртизанка ей бы позавидовала.

— Ну и что? — ответила Френсис Грейси. — Это их карнавал, который устраивается лишь раз в жизни. Это больше похоже на шоу, клоунаду, маскарад, показ костюмов. Мне нравится такой макияж, я называю его «Кабуки». Правда, здесь обнаруживаются талантливые и бесталанные режиссеры. Мне довелось видеть как шедевры, так и китч.

Мы с Набилой усталые, но довольные вернулись из Торговой палаты: Набила установила со мной дружеские отношения, а я установила их с другими афганками. Можно сказать, что одну ячейку большого улья я заполнила сладко-горьким афганским медом. Остальные соты пока пустые, но куда-нибудь я снова просуну свой пчелиный хоботок, а он у пчел грузинской породы самый длинный.

Глава 4

«Файнест» — это маркет типа нашего «Гудвила». Их в Кабуле четыре. В двух уже самовзрывались талибы, и туда нас пускать воздерживаются. Мы ходим в менее опасный, в «Файнест», который находится рядом с «Бароном».

У афганцев к «Файнесту» приблизительно такое же отношение, как у нас к «Гудвилу»: тот, кто любит хорошо и дешево поесть, идет на базар. Дианины афганские друзья помогают нам в этом: приносят с кабульского базара свежие продукты. Например, молодых кур. В Афганистане на базаре продают только живых кур. Ты выбираешь курицу, ее тут же режут и не ощипывают, как у нас, а снимают с нее шкурку, которая считается перенасыщенной холестерином.

Когда мы посещаем «Файнест», наша служба безопасности ходит за нами по пятам между торговыми рядами и прилавками. Наиболее спокойно я чувствую себя, когда нас сопровождает Пати (Патриций). Это сухопарый ирландец среднего роста, чрезвычайно скромный, с постоянной улыбкой на устах. Он из британского спецназа. Работал везде, где только возникали «горячие точки»: Африка, Азия (Средняя и Центральная), Восток (Ближний и Дальний), Иран, Ирак. При этом у него совершенно детский взгляд. Из всего британского спецназа это единственный человек, который говорит на понятном английском языке. Пати похож на старого грузинского безработного интеллигента, одного из тех, кого жизнь «смыла в помойку». Кто бы мог подумать, что этот небольшого роста голубоглазый ирландец, необычайно скром-

ный, с большим чувством юмора, наводил ужас на талибов: в афганских горах на него была объявлена охота. Он старше других спецназовцев, ему эдак под сорок, из-за чего он, видимо, и снят «с передовой», но продолжает работать в частных компаниях.

Каждый раз, когда нам нужно ехать за покупками, мы просим, чтобы нас сопровождал Пати. Вы, наверное, представляете себе, какое «удовольствие» охранять трех женщин, бегающих по магазинам. Но профессионал — он и в магазине профессионал. Подвижный, как ртутный шарик, он бесшумно перемещается между торговыми рядами и прилавками и неизменно появляется именно в тот момент, когда возникает вопрос: где он? Это поддерживает уверенность, что он всегда рядом.

19 августа в Афганистане большой праздник — День независимости (день изгнания британских империалистов из страны). В этом году 92-я годовщина этого события, и афганцы вот уже второй день празднуют его. Я искренне разделяю радость афганских друзей, но огорчена из-за того, что нас сегодня никуда не отпускают. Служба безопасности заявила, что сегодня и завтра мы будем безвылазно сидеть дома. Надо было запастись товарами заблаговременно и нечего теперь ныть! На нет и суда нет! Единственный выход — забраться в свою нору и с горя немного выпить. Уж что-что, а это службой безопасности не запрещается и не контролируется.

Весна разбудила меня ужасной новостью: «Включи телевизор, взорвали здание Британского совета!» Шести террористам-смертникам удалось проникнуть в здание (для меня остается загадкой, каким образом им удастся проникать внутрь охраняемых помещений), взорвать себя и забрать с собой на тот свет девять полицейских — хотя не до конца пути, потому что для самоубийц врата рая, как считается, открыты, а для полицейских... не знаю.

Вслед за этими взрывами последовали взрывы в пригородах Кабула и в нескольких других афганских провинциях. Вот таким «фейерверком» отметил Афганистан 92-ю годовщину освобождения от британского господства. Надеюсь, что к 92-й годовщине освобождения от господства США я не буду нигде: ни близко, ни далеко. Скорее всего, я уже буду предана моей любимой грузинской земле. А у моего афганского друга Мустафы на этот счет ответ готов: «Ты этого знать не можешь, это — жизнь!»

«Барон» — интересная «страна», граждане которой все время должны быть в напряжении, потому что никто не знает, когда включится тревога (да, настоящая боевая тревога). Но, как любая страна, «Барон» заселен людьми, с которыми то и дело происходят курьезы. Например, в корпусе по соседству с нами у одного американца в квартире взорвался газовый баллон. Он никогда в жизни не пользовался газовой плитой и неудивительно, что однажды оставил газ открытым. По возвращении домой он сначала чуть не задохнулся, а потом печка взорвалась, и взрывная волна отбросила его довольно далеко. Надобности вызывать охрану не было: четыре бронированные машины уже были на месте. Американец-то остался жив и здоров, но в «Бароне» была объявлена широкомасштабная тревога. Начались поиски «смертников» с помощью собак и миноискателей. Тревогу отменили только тогда, когда пострадавший пришел в себя и честно во всем признался. На второй день пришел приказ о демонтаже всех газовых плит и установке электрических. На замену ушел месяц, и этот месяц мы все готовили пищу на одной маленькой электроплите.

Однажды, придя домой на перерыв, при входе в свой корпус я обнаружила весьма комичную картину. Люди моего поколения помнят гениальный грузинский фильм «Серенада», где Зозо Бакрадзе, замученный наскаками Рамаза Георгобиани и окруженный сотней унитазов, сидит, подобно Мыслителю Родена, на одном из них и строит планы выхода из создавшейся ситуации. И вот вижу: наш директор по хозяйственной части Хашим, который габаритами не уступает Зозо, сидит на одной из сотни газовых плит в такой же позе. Я приснула со смеху. Не знаю, что вспомнил Хашим (наверняка не «Серенаду»), но, увидев меня, он захохотал и сквозь смех сказал: «Это что, приходи минут через двадцать — еще не так похочешь». Через час

Хашим стоял на одной из газовых плит завернутый, как древнеримский оратор, в белый шалвар-камиз, держал в руках гроссбух и проводил аукцион.

Плиты были раскуплены обслуживающим персоналом «Барона» за копейки в один миг. Так закончилась очередная гуманитарная акция США—Афганистан — акция компенсации «психологической травмы».

Глава 5

По вечерам я полностью переключена на Фейсбук, из которого следует, что нынче вся Грузия увлечена историей снятия с работы своего выдающегося режиссера Роберта (Робико) Стуруа. Протестуют все, включая самого маэстро. А мне кажется, что наш Робико на старости лет сделал постановку шикарного спектакля и триумфально, по красному ковру, шествует туда, где его всегда ждут, где еще знают ему цену. А руставелевский театр на определенное время попадает в руки махровых провинциалов, и начнется эра ожидания возвращения маэстро Робико. Разрозненной и побитой грузинской оппозиции требовалась именно такая пощечина — кто как не Робико Стуруа со своими руставелевцами способен в такой момент сделать жест, выйти на охоту?

Не будь я заточена в эти четыре стены, я вообще не впутывалась бы в это дело. «Баронская» действительность несколько изменила мое мировоззрение. Я ушла от «высоких материй», спустилась на землю. Меня смешат все проблемы, кроме миротворческих, мои фейсбуковские друзья!

Сегодня мы с Тато, как обычно, играли в пинг-понг в спортивном зале, который, как оказалось, одновременно был бункером: без окон, с бетонными стенами, двухэтажный. Четырехзальный «подвал» с внутренним балконом полностью покрашен в белый цвет. Поэтому стены не давят на психику. Зал постоянно заполнен. Здесь я занимаюсь йогой и ежедневно, с семи до десяти вечера, принимаю участие в турнирах по настольному теннису.

Тато надоело играть с таким «фрайером», как я, и он решил серьезно заняться повышением класса моей игры. К тому же он хотел, чтобы в будущих играх, без него, я достойно поддерживала честь грузинского флага, под которым выступала. Мы оба сильно напряглись и под конец пребывания Тато в Афганистане стали абсолютными чемпионами «Барона» по пинг-понгу.

Сегодня во время разминки явилась Диана и сказала, что, по-видимому, будет объявлена тревога и надо заканчивать игру. Как она объяснила, в Кабуле, более того, в Кабульском международном аэропорту, который буквально в двух шагах от нас, ожидается нападение террористов. Впервые я оказалась лицом к лицу с реальной опасностью. Как должен вести себя человек перед лицом такой опасности? Лично я не знаю. Тато, привыкший к жизни на русско-грузинской линии фронта, не спешит волноваться. А я от страха начинаю нервно хихикать.

— Я же говорила, что взятием Кандагара они не удовлетворятся, они хотят взять Кабул, я сама слышала по телевизору! — говорю я и нервно подаю. Тато в ответ высоко поднимает мне мячик, и я бью... Получается хорошо.

— Какого черта на старости лет я устроила себе эти приключения? Мама думает, что я в Америке. Вот вернут меня в цинковом гробу домой, как я посмотрю ей в глаза? — пытаюсь я шутить.

— А я никак не могу влезть в бронежилет! — говорит Тато и лупит такую топку, что шарик, ударившись о противоположную стенку, с треском раскалывается.

— А я свой не могу сдвинуть с места, и каска на голову не лезет: маленький размер, — не уступаю я.

— Видимо, твой и мой жилеты перепутали, надо поменяться!

— Знаешь что, мой оставь себе на память, а твоего мне не надо. Все равно такую тяжесть я носить не смогу.

— Во время тревоги паспорта и другие необходимые документы надо иметь при себе! — подливает масла в огонь Диана.

Выглядываю в сад и вижу, что британский спецназ в полном составе расположился в саду и пьет пиво.

— Это что такое? — спрашиваю я Диану.

— Зато вся афганская охрана с автоматами расположилась на крышах по всей территории «Барона» и в проходах, — успокаивает она. — Если случится плохое, знай, что самое безопасное место — туалет.

— Не хочу я сидеть одна в туалете, я с ума сойду! И дома одна оставаться не буду!

— Ладно, дорогая, пойдем ко мне, — говорит Диана. — А ты, Тато?

— Я пойду спать, — говорит Тато и зевает.

Короче говоря, я оказалась самой большой трусихой.

Всю ночь я не спала в ожидании тревоги, но никакой тревоги объявлено не было, однако со стороны базы НАТО я все-таки зафиксировала звуки нескольких взрывов и сирену. Пойми теперь, было это по-настоящему или имитация? На все эти вопросы ответы я получу утром от Аль-Джазиры. От наших все равно ничего не узнаешь: стараются защитить нас от стресса. А тут еще «для снятия стресса» поступил имейл: специнформация от службы безопасности о том, как надо вести себя во время объявления тревоги, и список вещей, которые надо класть в «быструю сумочку» («грэб-бэг»): «Паспорт; удостоверения с отметками местных организаций или посольства; самые главные документы, удостоверяющие личность и их копии; водительское удостоверение и другие документы, связанные с автомобилем, и 500 долларов США наличными; кредитные карточки и необходимые личные записи; список оставленных вещей; пять смен одежды и носок; гигиенические средства; медикаменты и предметы первой помощи; кремы, защищающие от насекомых, противоожоговые и солнцезащитные кремы; туалетная бумага; питьевая вода.

В определенных местах вам может понадобиться спальный мешок, простыня или занавеска, защищающая от комаров. Что касается медикаментов, напомним, что ваша бронированная машина и охрана снабжены всеми средствами против травм и тяжелых ран. И все-таки имейте с собой: имодиум (Imodium); регидрационные порошки (Rehydration powders); разные бинты (Bandages various); медицинскую ленту (Medical tapes); антисептические средства (Antiseptic solutions/cream); глазные капли (Eye drops); ушные капли (Ear drops); антигистаминные кремы (Anti-histaminated cream Anthisan); парацетамол (Paracetamol); ибупрофен (Ibuprofen); лейкопластыри и перевязочные средства (Plasters/Band-Aids); мокрые салфетки (Wet wipes); стерильные марлевые компрессы (Sterile gauze pads); противотошнотные средства (Antinausea tablets); латексные перчатки (Latex gloves).

Надеемся, что наш указатель поможет вам в укладывании вашего grab bag. Сумку положите на самое видное место, чтобы в нужный момент не искать ее!»

Должна вам рассказать историю, связанную с бронированным лендкрузером. Мы с Набилой возвращались из «Багги занана». Был час пик, и мы попали в пробку. Во время маневров между машинами наш джип носом наехал на задрипанную старую, неизвестной фирмы и марки легковую машину. Столкновение было мягким, но нам пришлось все-таки съехать к тротуару и остановиться.

Из легковой машины, которую мы ударили, один за другим вылезали пассажиры — один, второй, третий... Их оказалось не меньше десяти. Женщина в чадре, которая вышла последней, держала грудного ребенка на руках. К счастью, ни с машиной, ни с людьми ничего не случилось. Наши водитель и шутер вызвали из «Барона» другой джип, чтобы отвезти нас домой.

Мы с Набилой вышли на тротуар. Я посмотрела на наш громадный шикарный лендкрузер со стороны, которой мы проехали по той машине, и обомлела: переднее правое крыло было почти полностью снесено, бампер сорван и отброшен, фара разбита и вмята в корпус, и еще много чего, названия чему я не знаю, было повреждено.

— Господи, но разве *такая* машина должна разваливаться при несильном столкновении? — попыталась я пошутить.

— А вы почувствовали удар? — спросил у меня шутер.

— Почти нет.

— Вот поэтому-то все наружное сломалось, чтобы вы внутри не почувствовали удара!

— Хорошо, что с этими афганцами ничего не случилось, видели маленького ребенка, с ним все в порядке? — нервно спрашивала я.

— Все в порядке, скоро наши приедут и заберут вас домой, не нервничайте.

Через несколько минут за нами пришел джип, который увез нас в «Барон». Набила всю дорогу молча молилась, а я, не в силах остановиться, несколько раз пересказала новому водителю все, что с нами стряслось.

Глава 6

В то утро Аль-Джазира ничего из ряда вон выходящего не сообщила, если не считать того, что в Кандагаре взорвали себя два смертника и это повлекло гибель двух или трех полицейских. Зато кипит и перекипает взрывами соседний Пакистан. Что касается Грузии, она нигде и никем не упоминается ни как гнездо терроризма, ни как колыбель криминала, ни как факел демократии. Как сказал бы наш брат-кавказец из кинофильма «Кавказская пленница»: «Обидно, да?»

В Грузии сейчас «застойная» тишина, мир и покой (если не считать скандала с изгнанием Робико Стуруа). Так что, как говорят в Сванской академии: «Скучаем!» Российские соседи тоже что-то кемарят — ни разу не гульнули с автоматами наперевес в нашу сторону. Только хозяева «Речных плотов» в Фейсбуке громко шумят: мол, не дадим «выплеснуть нас на помойку!»

Помню, в молодости, когда местный ЦК комсомола организовывал в Бакуриани ежегодные симпозиумы, туда наезжали как активисты, так и диссиденты. Гия Перадзе очень любил приезжать на них и ласково называл «спиртбозиумами» («бози» на грузинском «б...»; тогда, кроме основного значения, слово «бозиум» означало также женское курение). В зал заседаний изредка забегал Парна Закарая и громогласно объявлял, что тот, кто желает обматерить существующий Советский Союз, может подняться на второй этаж, в десятую комнату. Вот такой «застойный» период был у нас, у тогдашних комсомольцев. Что явилось причиной этих воспоминаний — не знаю, но вечером хочу засесть за Фрейда, может, с его помощью разберусь.

А пока правительство Грузии в полном составе «рвануло» в Батуми открывать «новое летосчисление» в развитии грузинского театрального искусства доиашивеливским спектаклем «Кето и Котэ». Премьера вызвала большое волнение в соответствующих кругах общества, но через несколько дней трагикомедия «Бассейн», поставленная президентом в нетрезвом состоянии в зоне батумской гостиницы «Интурист», явно перекрыла «волнение умов», сильно ранив физически и психологически ведущих участников спектакля: нескольких действующих министров женского пола, сотрудников президентского пресс-центра, нескольких фотографов и «звезд». Другими словами, в Грузии, если не считать редких, небольших по амплитуде стаккато, полная прострация: оппозиция протестует в допустимых пределах, руководство страны упивается своими потрясающими (как они сами считают) успехами, а на страже столь удобного для руководства баланса стоит не меньше, не больше, сам Ван Мерабиш-

вили со своими «опричниками» из МВД Грузии и патрульной полицией. Объяснять, какая это сила, я не стану.

Господи, куда же меня занесло? Где «Барон», а где гримасы Революции роз... Опять без Фрейда не обойтись... А вот и он... Наш головной офис прикомандировал к нам эксперта-психолога по вопросам «снятия стрессов» и «создания команды». Но во время первого же группового сеанса я так раскритиковала политику, стратегию, тактику и менеджмент проекта, что на второй день меня хотели отправить домой, в Грузию, однако психолог Дин Грасс представил обо мне наилучший отзыв (наверное, написал, что больше всех нуждаюсь в лечении) и на будущее включил меня в международную команду, укомплектованную представителями разных стран, что означало: после отъезда из Афганистана он будет поддерживать связь со мной и получать от меня результаты наблюдений из «стрессовой зоны». Связь должна была осуществляться по скайпу. Дни и часы сеансов мы оговорили. На телефонную связь предполагалось выходить раз в месяц.

На первый сеанс связи я не вышла, так как со своей командой играла в пинг-понг и совсем забыла про звонок. Второй сеанс также не состоялся, потому что я его проспала. А звонок раздался в момент тревоги, и я с перепугу говорила с ним так, что он поспешно попросил перенести разговор на неделю.

В течение той недели в «Бароне» дважды объявлялась тревога, и сеанс телефонной связи снова не состоялся. В конце концов мы связались, но теперь уже он был в такой депрессии, что мне пришлось снимать его стресс. Через месяц мы должны связаться снова. Посмотрим, кто из нас в каком состоянии подойдет к этой дате.

Однако вернемся к нашему «Барону» (как хочется сказать — к Кабулу или — к Афганистану, но я ведь фактически не там, я — в «Бароне»). Вчера вместе с Дианой и Френсис были в «Чиано». Это итальянский маркет здесь же, по соседству с «Бароном». Я уже с закрытыми глазами могу ходить (разумеется, в бронемашине) по этим местам. Никаких дел у меня там не было, но было большое желание хоть ненадолго покинуть территорию «Барона».

Опять вокруг — пыльные улицы окраин, грязные дома и неопрятные уличные прилавки, старики, завернутые в обесцветившиеся от пыли и выгоревшие на солнце одежды, в чалмах; черноглазые, очень красивые, неумытые дети голышом, вываленные в уличной пыли. «Все дети красивые», — скажете вы, но таких чумазных и таких красивых можно увидеть только в Афганистане. На девочках еще короткие платья, но головы уже покрыты платками. Из-под длинных черных ресниц на вас смотрят изумрудно-зеленые глаза. Детишки весело машут руками бронированному автомобилю. Я тоже машу им, да еще посылаю воздушные поцелуи, что вызывает у них смех.

Из «Чиано», если даже ничего не купишь, кроме продуктов первой необходимости, все равно выходишь без 50-ти евро. Одна маленькая банка горчицы, килограмм сахара, небольшая упаковка сосисок, 200 граммов сыра и две бутылки грейпфрутового сока обошлись мне в 62 евро. Если об этом узнает мой муж в Тбилиси, он не поверит, потому что за 20 лари (приблизительно 12 долларов) приносит домой половину Навтлугского базара.

Еще одно такое «Чиано» имеет место у нас в «Бароне» — минимаркет, в котором продается все, кроме мяса. Здесь тоже цены кусаются с той лишь разницей, что здесь торг уместен и после достижения взаимного компромисса ограбленный покупатель покидает магазин довольным.

Хозяин минимаркета и продавцы, молодые, веселые (иногда чересчур) ребята, снижают мне цены и приговаривают: «Это цена тети Мананы». На самом деле это не так, но я все равно довольна. Даже их собачка для меня хвостом виляет по-другому, а хозяин другой собаки уверяет, что она ест только из рук тети Мананы.

Хозяина собаки зовут Наджибула. Это стройный молодой брюнет в военной

форме, по специальности кинолог. Со своими двумя собаками он работает в службе безопасности «Барона». Уже несколько лет в разных провинциях Афганистана Наджибула со своими собаками воюет против талибов. Его собаки ищут и обнаруживают бомбы, мины и прочую взрывчатку. Белый с черными пятнами спаниель Бруно и его «напарник» ротвейлер — штатные сотрудники «Барона». Бруно — мое любимейшее в «Бароне» создание, и поэтому Наджибула испытывает ко мне особую симпатию, все время пытается сделать что-нибудь приятное. Однажды он показал мне вещь, которая представляла собой настоящее произведение искусства: сплетенный из бисера голубой браслет-перчатку с закрепленными на ней пятью кольцами. Между браслетом и перстнями был «выткан», тоже бисером, распустившийся розовый бутон.

— Потрясающая вещь, Наджибула, ты что, сам это делаешь? — воскликнула я и тут же начала натягивать красоту на руку. Браслет ловко сел на мою кисть, но пальцы в кольца не лезли.

— Да, я люблю этим заниматься.

— А сколько она стоит?

— Семьсот долларов, — улыбнулся он. — Эту я продам, а тебе сделаю другую и подарю.

Неожиданно Наджибулу вызвали по рации и он ушел вместе с Бруно.

Глава 7

Мы с Дахундой сидим в одной комнате. Образованный и способный молодой человек 32-х лет от роду. У него жена и двое детей. Он рассказывает мне про Афганистан. Он очень хороший рассказчик, знает, что я делаю литературные зарисовки, и хочет, чтобы я все видела правильно. Сначала, пока я все это не поняла, я задавала ему вопросы очень осторожно:

— Сколько лет тебе было, когда ты женился?

— Двадцать пять.

— Когда моему сыну было двадцать пять, он уже был женат второй раз, — приврала я.

— А у вас закон не запрещает жениться второй раз? — спрашивает Дахунда.

— Не запрещает, если ты официально разведен с первой женой. А ты можешь по закону иметь вторую жену? — спросила я, зная ответ.

— Конечно, могу; я могу иметь четыре жены. У моего отца, например, две.

— У меня тоже есть знакомый, у которого две жены, но вторая жена неофициальная, хотя семья и близкие знают о ней, но никто не возражает, — успокаиваю я Дахунду. — От одной у него двое детей, от другой — трое.

— Живут отдельно?

— Разумеется!

— А мы все живем вместе. Только мой старший брат с семьей живет отдельно, но очень близко — в соседнем доме. А младший только что женился и живет с нами. Поэтому у нас очень много теть и дядь.

— Представляю, что будет, если в Грузии две или три жены одного мужа попытаются жить вместе, что они сделают с этим мужем и друг с другом: ни у кого на голове ни одного волоса не останется.

— У нас это зависит от мужчины. Мой отец так поставил дело, что жены не смеют голос друг на друга повысить. Уважительно относятся друг к другу, вместе растят детей. Это потому, что решающее слово всегда за отцом. Он говорит: если в семье происходит что-то не то, ответственность ложится на мужчину.

— Но если одна из жен ревнует его и чувствует себя обиженной?

— О, эти дела у него отлично налажены: он никогда не унизит одну в присутствии

другой, деньги на покупки дает обоим одинаковые и всегда покупает одинаковые равноценные вещи обоим. Так он относится и к своим детям. Он военный и на работе поддерживает такой же порядок. Он — главный аудитор афганской полиции.

— А право на развод у вас есть?

— У мужчин есть, у женщин нет. У женщин есть право выбора. Перед замужеством ее спрашивают, хочет ли она, чтобы этот мужчина был ее мужем. В момент, когда она соглашается, прекращается ее право принимать какие-либо решения, и поменять что бы то ни было она уже не может, если мужчина сам того не захочет. Но развод для любой женщины ужасный стыд и трагедия. Впрочем, в вопросе расторжения брака мужчина тоже не обладает большой свободой: для этого нужны достаточно веские причины. Мелочи типа «не сошлись характером» здесь не проходят. Для мусульманина изгнание женщины из дома — большая беда. Если умирает мужчина, то жену умершего стараются не отпускать из семьи. Иногда она становится женой брата. Правда, бывает, что таким образом молодому мужчине достается жена в возрасте.

Для таких совершенных персон, как Дахунда, с хорошим образованием, с большим опытом работы в международных организациях, ясным умом и большим чувством юмора, для человека, который не вылезает из интернета, все это — обычный афганский уклад, менять который он причин не видит.

— Моя жена сказала, что хочет работать учительницей. Выяснилось, что зарабатывать она будет около 200 долларов. Я говорю: эти 200 долларов я тебе заплачу, только сиди дома и учи своих детей, — рассказывает Дахунда и, глядя на то, как у меня изменилось лицо, начинает смеяться.

Дахунда напоминает мне моего зятя Гогиту, у которого никогда не поймешь, шутит он или говорит всерьез. У Дахунды хорошее чувство юмора, и на афганские «абсурды» он смотрит с позиции «доброй сатиры». Самые ошеломляющие новости преподносит так, что от смеха можно живот надорвать. А самыми интересными из его рассказов являются рассказы из новейшей истории Афганистана. Например, выясняется, что при режиме талибов очень популярным было посещение английских и компьютерных курсов (как у нас после Революции роз и сейчас).

— Я не верю, — восклицаю я. — Везде пишут, что Талибан запретил кино, театры, музыку, книги. На кой черт тогда нужны были английский язык и компьютеры? Они ведь и университеты запретили, и школы закрыли...

— Это для женщин, а мужчины могли учиться на любых курсах. Что касается школ, то в течение двух лет все школы Афганистана объединили в несколько учебных заведений, куда мы ходили только сдавать экзамены в режиме блиц-интервью, полный абсурд.

Как известно из новейшей истории Афганистана, после падения Советского властвования установился режим моджахедов, и, как бывает во всякой уважающей себя стране, началась внутренняя война. Друг на друга «наехали» живущие в Афганистане пуштуны, хазары и таджики. Кабул в то время был, оказывается, разделен на зоны, и человек не мог свободно попасть из одного квартала в другой.

— Один из домов нашей семьи оказался тогда на территории хазаров, и я тайком ходил туда присматривать за ним. Несколько раз постовые останавливали меня и, когда выяснялось, что я таджик, давали мне в руки большую лопату и велели копать окоп. До середины дня я копал окоп на границе между пуштунами и таджиками, после чего меня отпускали, заменив на вытасненных из проходящего автобуса двух других таджиков.

— Ты мне скажи, пожалуйста, сколько еще домов у вас в разных районах?

— Семь домов и столько же магазинов.

— Выходит, вы довольно богатые?

— Не жалуемся, но откладывать деньги не удается потому, что все мои сестры

ходят в частные школы, образование братьев тоже очень дорого обходится, так что сколько входит, столько и тратится.

— А у вас разделено имущество с братьями?

— Все имущество принадлежит моему отцу. Иногда он говорит: это — этому, это — другому, но только устно. Он единоличный распорядитель имущества. Меня никто не заставляет оставаться, могу отделиться, но у меня нет такого желания. Лучше я надстрою этаж.

Глава 8

Сегодня я проснулась поздно и без обычного кофе понеслась на работу, где вот уже сороковой день нам не то что кофе, даже воды не дают. Я пожаловалась Дахунде, заметив, что мы тоже постимся, но от этого никто вокруг не страдает. Он искренне удивился, помчался докладывать начальству и скоро вернулся с сообщением, что в зале заседаний накрыт стол со сладостями и можно туда тотчас пожаловать. В углу зала действительно был сервирован стол с четырьмя разновидностями трехэтажных тортов и всякого рода пирожными. Кофе с молоком, черный кофе и чай в термосах. Большой выбор вод и соков завершал этот натюрморт.

Я осмотрелась: помимо иностранцев, которых представляли я и русский Андрей, — только афганцы. Женщины сидят отдельно. Я выбираю, что мне хочется, и направляюсь к ним. Стол ведет на афганском языке заместитель директора проекта Сафир Сафари. Из его выступления я, естественно, ничего не понимаю, но тут вступает «кари» (человек, который наизусть знает весь Коран) и нараспев произносит несколько сур из Корана. Люди опускают головы, складывают руки на груди и самозабвенно молятся. Я сижу неподвижно, и мои глаза почему-то наполняются слезами. Кари заканчивает пение, мусульмане поднимают руки к небесам и восхваляют Аллаха. Мне становится тепло, и я шепотом начинаю читать «Отче наш», чувствуя, что в этот миг Господь со мной и с теми мусульманами, которые, оказывается, молились за упокой души недавно усопшего дяди Роия.

Согласно здешним правилам, перед началом застолья обязательно произносится молитва за упокой душ недавно скончавшихся близких. Есть определенное сходство с нашими традициями, но у нас с этого не начинают и сразу после поминовения следует тост за жизнь и счастье.

Мы с Дахундой и этот вопрос обсудили. Выяснилось, что по сути между нами и ними нет разницы ни в духовности, ни в возрастных ограничениях. В доказательство был приведен пример отсутствия возрастного барьера между Зурикелой и Иларионом из книги моего отца «Я, бабушка, Илико и Иларион».

Глава 9

Набила и Гюль, сочувствуя мне из-за того, что мои выходы из «Барона» весьма и весьма ограничены, предложили ходить вместе с ними в Министерство по делам женщин и в Департамент по гендерным вопросам. Обе эти организации в центре Кабула, и я надеялась хоть немного осмотреться (разумеется, из окна все того же бронированного автомобиля). Идея мне понравилась, и я оформила командировку. Я ждала чего-то необыкновенного. Мне говорили, что интересного ничего нет, все разрушено и разбомблено, но я не верила. Не может быть, чтобы хоть что-нибудь не осталось целым. Хотя бы какая-нибудь старая крепость. Но Набила оказалась слабым гидом. Она мне ничего не рассказывала — всю дорогу разговаривала по мобильному телефону.

Набила немного полнее, чем требуют афганские женские стандарты. Из-за этого она больше похожа на азербайджанку: красивая, круглолицая, с теплой веселой улыбкой. На работе она производит впечатление сдержанной серьезной женщины, а на самом деле, по ее собственным словам, любит повеселиться.

— Это американская организация, здесь нельзя быть непосредственной хохотушкой, — говорит она. — А мне, честно признаться, немного надоела игра в мрачную серьезность.

Иногда, чтобы немного расслабиться, она заходит ко мне поболтать. Так я узнала, что Набиле 22 года и она не замужем, что по моим дилетантским представлениям не согласуется с местными обычаями.

— Наш отец умер, и в семье я одна работаю, — объясняет Набила. — У меня маленькие братья и сестры, которых я должна поставить на ноги. Если выйду замуж, кто о них позаботится?

— Ты что заканчивала?

— Я студентка третьего курса факультета бизнес-администрирования Кабульского университета. Но с момента окончания школы еще и курсы все время кончаю, то одни, то другие. Недавно получила сертификат педагога английского языка.

— У тебя, моя дорогая, такое образование, что в женихи тебе разве что сам Карзай подойдет!

— Кому и зачем нужен этот Карзай? — смеется Набила.

— Правда, и мой президент не очень популярен среди просвещенных женщин, а вот провинциальные простушки от него без ума, — понесло меня в сторону «сложностей» моей страны.

Набила ушла, рабочий день кончился, я отослала отчеты в головной офис, который наши ласково называют «родным» офисом, собрала свои манатки и двинулась напрямик в маленький райский сад «Барона». Там все так красиво цветет, такой ароматный чистый воздух и такое бирюзово-голубое небо над изумрудно-зеленой травой, что невольно в памяти всплывают слова известного грузинского гимна грузинской природе: «Мой край — бирюзовое небо, мой край — изумруда поля!»

Глава 10

О Мине Шерзои я уже рассказывала. Это, если вы помните, американская афганка. Она — ведущий координатор нашего проекта из головного офиса, необыкновенно элегантна, рождена в аристократической афганской семье. Ее отец на протяжении многих лет был послом Афганистана в странах Европы и Азии, поэтому она до сих пор вращается в дипломатических кругах самого высокого ранга. В настоящее время она «переселена» в Калифорнию и иногда приезжает в Афганистан для работы в американских проектах. В соответствии с законом и в связи с ее работой в проекте «ТАФА» ей не разрешается жить в собственном доме, так как «ТАФА» не может гарантировать в таком случае ее безопасность. Ежедневно после работы бронированный автомобиль увозит Мину домой, а в 11 часов вечера привозит обратно на ночевку. Что она может сделать кроме как подчиниться закону?

Таково же и положение австралийки Грейс Хезер Джонс. Ее муж — афганец, работает в Германии и приехал к жене в отпуск, но ночевать ему приходится у родственников. Иногда Грейс нарушает правила «Барона» и оставляет мужа на ночь у себя в комнате. С наступлением темноты они выходят погулять в сад. Все знают, что Грейс прячет в своей квартире мужа, но никто об этом не говорит. Неправда, что, кроме Грузии, везде имеются стукачи. Хотя, если честно, они имеются везде — и в Грузии и за ее пределами.

В самом лучшем положении — я, потому что мне заранее объяснили: хочешь

привезти близких — оплати из своего кармана их дорогу и проживание вне «Барона», причем за безопасность этих людей никто не отвечает. Из этого всего я поняла: если хочу работать на высокооплачиваемой работе, надо на некоторое время оторваться от семьи.

Причитая по поводу подобных неудобств, Грейс в то же время рассказывает разные ужасы. Оказывается, талибы похитили ведущую сотрудницу американского посольства и, поскольку похищенная пользовалась известностью в международных кругах, потребовали выкуп в несколько миллионов.

— Говорят, что ее продали, — вставила Весна.

— Кто продал? — спрашиваю я удивленно. — Охрана?

— К примеру, водитель, который сообщил бы кому надо, что едет туда-то с таким-то человеком, будет в таком-то месте в такое-то время, и получил бы за эту информацию большие деньги.

Все завершилось очень грустно: после долгих переговоров американцы предпочли выкупу спецоперацию. Ее провели, но женщина погибла.

Через несколько часов после этого разговора служба безопасности прислала мне конфиденциальную форму для заполнения. Просили следующие данные: имя и фамилия, описание внешности, черты характера, телефоны близких людей и так далее, чтобы можно было опознать человека, если понадобится. Некоторые графы заполнить было трудно, так как было неясно, что именно спрашивают.

— Для чего вам такие детали? — спрашиваю Нилса, начальника охраны.

— Для того, чтобы в случае похищения по этим данным вас опознали, — отвечает Нилс.

— Ну, хорошо, а данные близких зачем вам нужны? — не унимаюсь я.

— Это на тот случай, если вас убьют и мы должны будем пригласить человека, который сможет вас опознать.

Не знаю, как Грейс и Мине, но мне после такого «инструктажа» не то что из «Барона», из моего номера выходить не хочется. Одно только меня беспокоит: если я такая безвылазная, откуда взять покупки для моей мамы, которая думает, что я в Америке? Ведь в «Бароне» не продается ничего, кроме афганских ковров и сувениров.

Раньше Кабул, оказывается, утопал в зелени громадных лиственных деревьев. Из-за бесконечных войн происходило физическое уничтожение не только населения и государства, но и растительности. То, что осталось после бомбежек и взрывов мин, безжалостно вырубалось, потому что при ведении уличных боев спрятавшийся за дерево враг представляет большую опасность.

Сегодня впервые мне пришлось направиться в район города, в котором я еще не была (впрочем, была я до этого только в районе аэропорта). Про себя я назвала его горной «Нахаловкой» — по аналогии с тбилисской, а вообще этот район называется Карти Парван. Он очень похож на некоторые жилые кварталы Самарканда и Бухары: плотно стоящие дома с плоскими крышами и врезанными между ними высокоступенчатыми узкими лестницами. Ухабистые земляные дорожки, по которым в гору и с горы двигаются «караваны» коричневых и белых ишаков с водой в медных кувшинах.

Воду на ишаках возят потому, что питьевой воды здесь нет, как нет и канализации. Водитель моего бронированного автомобиля говорит, что в этом районе живут люди, которые практически голодают. Однако своей старинной красотой район подействовал на меня так, что я сказала водителю: если бы жила в Кабуле, обязательно построила бы себе дом именно здесь. Водитель усмехнулся в пыльные усы.

Нашу машину не пускают в Министерство внутренних дел, и я с удовольствием пользуюсь случаем пройти несколько шагов по живой кабульской улице, вдыхая натуральную пыль. Пыль есть и в «Бароне», но там она замешена на международных ингредиентах. Настоящую афганскую пыль в «Бароне» не вкусишь и не догадаешься, почему афганские мужчины, восседающие на кабульских улицах на деревянных ку-

шетках, по запыленности не уступают своим сине-серым молитвенным коврикам, у перемещающихся с деловым видом по кабульским улицам женщин чадры имеют невразумительный цвет, а красные, желтые и белые розы на газонах становятся одинаково серыми и вянут.

Пыль для Кабула и животворящая, и убийственная сила. Животворящая потому, что битва афганцев с ней, начатая тысячелетия назад, продолжается. Убийственная, наверное, по той же причине, по крайней мере, так они говорят. Этому чисто афганскому явлению способствует еще и то, что в промежутках между войнами Кабул интенсивно строится. Большинство улиц (кроме центральных) — не асфальтированы. Нехватки в ветре и дожде в Афганистане нет, а что еще нужно для возникновения пыли? Мне никогда не понять сакрального смысла городской пыли, но это ведь Афганистан, отличающийся от всех и вся. Афганистан со своей пылью и грязью, со своим ничтожеством и величием, закрытый для всех, расположившийся в стороне, но всем режущий глаз, притягательный и наводящий ужас. Охота на него не прекращается ни изнутри, ни снаружи.

Женщина по имени Кобра, которая убирает у меня в номере, говорит, что те, кто сегодня строят небоскребы, а завтра его взрывают, научились делать на этом деньги. Разве не так и у нас в Грузии? Дороги уложат, через две недели все перекопают, через три недели проложат трубы и закроют дорогу асфальтом, потом снова раскопают — ошиблись, мол. И так без конца и края отмывают и отмывают черную бухгалтерию.

Глава 11

Совсем недавно моя филиппинская подруга Грейс Мартинес Буенкамино окрестила наш «Барон» «лагерем рабов». Думаю, это перегиб. Почему рабы? Да, с утра, в первой половине дня, все «вкалывают» что называется не за страх, а за совесть. Но после 4-х часов никто не мешает тебе до следующего утра заниматься тем, чем тебе заблагорассудится. «Барон» — это своего рода Вавилон, здесь собрано столько народностей и представителей столько разных стран, что можно изучать географию. Слово «компаунд» по-английски означает не только структуру, комплекс, смесь, но и огороженную территорию фабрики, включающую бараки для рабочих, огороженное место для военнопленных, поселок негров-рабочих с фермы. Еще одно значение этого слова — «сложный» (например, сложное предложение, сложное слово и т.д.). А теперь соединим все эти значения и то, что получится, это и будет «Барон». То есть, «Барон» — это некая сложная субстанция (по-домашнему «аджабсанда», блюдо, в котором все перемешано), где я, Манана Думбадзе — одна молекула; по национальности — грузинка, по вероисповеданию — православная христианка, убежденная космополитка-интернационалистка: моя Родина — вся Земля. В Афганистане подобная декларация — невыигрышное дело, и в «Бароне» таких заявлений никто не делает. А я делаю! Не думайте, что это наглость. Я поняла это, когда афганский садовник и хозяин нашего минимаркета на полном серьезе сказали мне: «Вы — наш друг, вы — прекрасная женщина». По их глазам я поняла, что они не шутили, и мне захотелось задушить их в своих объятиях, но в Афганистане даже собственного ребенка нельзя публично обнимать — нельзя и все! Когда я вспоминаю эти слова, они согревают меня, будто из рук всего афганского народа я получила премию мира.

Фамилия Андрея — Моисеев. Он русско-казахско-татарско-еврейская смесь. Говорит, что православный христианин. Родной язык русский. 10 лет назад уехал в Канаду и по сей день живет в Ванкувере. Впечатление, что родился со стаканом в руке, потому что где бы я его ни встретила — в саду, в коридоре, — в руках у него стакан с водкой на дне. Его друг, Рахат — киргиз, жена у него — шведка. Живут они то в Штатах, то в Москве. Вероисповедание — атеист (дитя Советского Союза).

Дживан — чернокожий, но с европейскими чертами лица — малаец, живет в Техасе, куда переселился 30 лет назад и достиг там определенных успехов. На груди у него золотой крест в подтверждение того, что он, как и я, христианин, но неизвестной мне конфессии. А вот Саша, о котором я думала, что он с головы до ног немец, каковым он и оказался, как выяснилось во время рамадана, принял мусульманство и начал выполнять все религиозные обряды. Грэм — американский еврей, рафинированный интеллигент, напоминающий чеховских персонажей. У него мягкий, но временами разительный юмор. Диана — православная грузинская христианка, более того, она сигнахская кахетинка, породистая и свободная. Ненавидит бывшую Советскую Россию, но обожает своих зауральских русских родственников, которые достались ей в наследство от бабушки с отцовской стороны.

Недавно мы с Дианой приготовили грандиозную хинкальную дегустацию и пригласили весь вышеупомянутый «аджабсанда». Опасаясь, что хинкали на всех не хватит, мы подкрепили их другими шедеврами грузинской кухни. Хинкали вызвали всеобщий восторг, только русско-татарский Андрей счел их очень маленькими, да и на вкус они его не поразили. Гордость грузинской кухни он назвал пародией на утонувшие в горячей воде манты.

Когда битва с хинкали была закончена, Андрей заявил, что в пятницу приглашает всех на татарские манты. Мы едва дождались пятницы и ровно в семь часов стояли с Дианой у дверей комнаты Андрея, готовые к сражению за наше оскорбленное блюдо. На газовой плите в специальном котле кипели и благоухали уложенные в пять слоев на ситах манты. На каждом «этаже» парилось пять-шесть «великих предков» хинкали, размерами достойных монгольских богатырей. Всего на пятиэтажной парилке Андрея помещалось 20-25 изделий из завернутого в тесто средней толщины мелко нарубленного мяса с большим количеством лука, посыпанного красным и черным перцем и мелко нарезанной мякотью тыквы. Обязательным спутником мантов является томатная подливка с большим количеством красного перца и еще большим количеством чеснока, которую татары совершенно справедливо называют «коброй».

Что уж говорить, если даже Диана признала, что манты лучше, чем хинкали, но лишь при определенных обстоятельствах (до конца не сдалась). Так был задавлен на международном уровне наш любимый хинкали — только не говорите теперь вслед за Фрунзиком Мкртчяном, будто это потому, что «мы не умеем их готовить»!

Не думайте, что в «Бароне» не происходит ничего, кроме приготовления пищи. Просто пища и ее приготовление интересны не только с точки зрения жизненной необходимости, но и как средство общения людей, взаимного знакомства культур и обмена информацией. За столом выясняется, что на этой необъятной планете все — чьи-то деды и внуки. Мне, например, очень нравится малайская колыбельная. Думаю, если бы я пела ее в свое время сыну, он засыпал бы мгновенно. Но я убаюкивала его моцартовской колыбельной.

<...>

Глава 13

В Пакистане произошел такой случай: некто явился в британское посольство и заявил, что он представитель талибов и прислан, чтобы начать мирные переговоры с правительством Афганистана. Британское посольство на самолете НАТО перекинуло этого человека из Пакистана в Кабул и представило его Хамиду Карзаю. Для организации работ по подготовке и проведению мирных переговоров афганское правительство передало этому человеку миллион долларов. Долго ждал Хамид Карзай начала обещанных переговоров, но человек с миллионом исчез, как исчезает в небе выхлопной дым пролетевшего самолета. Служба международной безопасности Аф-

ганистана безрезультатно искала его по всей территории страны и за ее пределами, наконец афериста обнаружили в Пакистане. Он оказался хозяином небольшого афганского магазина. Разразился грандиозный международный скандал: Карзай обвинял британцев в том, что они всучили ему этого якобы талибского лидера, а британцы обвиняли афганцев в недостатке бдительности. НАТО устроило разнос обеим сторонам: куда девался добровольно отданный неизвестной личности миллион долларов? А талибы между тем продолжали убивать виновных и невиновных.

Конечно же, ситуация здесь очень сложная, требующая высочайшей бдительности, вчера, например, какой-то кандагарский талиб с вмонтированной в чалму маленькой бомбой явился в гости к бывшему президенту Рабани. Они обнялись, и гость в этот самый момент привел в действие взрывное устройство... Оказывается, несчастного Рабани специально для встречи с этим человеком привезли из Дубая. Карзай каждый день звонил ему из Ирана, где находился с визитом, и просил встретиться с этим человеком, потому что тот был прислан талибами для начала мирных переговоров.

Как же это получается, что какого-то афганского духанщика в самолете НАТО, естественно, в сопровождении целого ряда джеймсов бондов, ввозят из Пакистана в Кабул с пустыми карманами, а обратно он уезжает с миллионом, украденным из-под носа спецслужб? Правда, кто может гарантировать, что это не сказка? Но если это правда, то значит всех, и друзей и врагов, вполне устраивает эта нескончаемая афганская «эпопея».

* * *

Ну-ка догадайтесь, где в Кабуле держат свиней? — задает вопрос на засыпку Диана. Я, конечно, не знаю и недоуменно пожимаю плечами. — В кабульском зоопарке была только одна свинья. И когда по всему миру прокатилась эпидемия свиного гриппа, афганцы устроили несчастной карательную операцию: публично ее расстреляли. Это рассказала мне моя сотрудница афганка.

* * *

В прохладный сентябрьский вечер в саду «Барона» посиделки: все рассказывает интересные истории из своего опыта. Одни тянут коктейль, другие курят табак, третьи — шишу, или кайлун, который якобы очищает легкие, желудочно-кишечный тракт, мозговые клетки и т.д. и т.п.

— Очень красивое слово «кайлунннннн», — это сочетание звуков протяжно выплывает из моих легких вместе с серой смесью дыма и персикового аромата, сквозь который просвечивает полная луна. Я снимаю с кайлуна свой мундштук и передаю зеленый змеевидный шланг филиппинке Грейси, которая насаживает на шланг свой мундштук, делает несколько глубоких затяжек и, как я, передает шланг следующему. Так происходит хождение по кругу «трубки мира», пока не кончится курево и не иссякнет разговорная тематика.

Кайлун и впрямь, оказывается, — эффективное миротворческое средство, позволяющее достичь хотя бы временного перемирия. И почему европейцы, переселившиеся в Америку, научились снимать скальпы, перерезать горла, но не научились курить «трубку мира»?

Глава 14

Пятого октября у меня первый отпуск, и я на две недели возвращаюсь домой. Мне взяли билет, посадили рядом с шутером в лендкрузер и запустили прямым ходом в аэропорт, до которого всего 15 минут ходьбы. На площади, не доезжая до

аэропорта, нас остановили и велели поставить машину на обочине. Остальной путь нам было предложено пройти пешком. Откровенно говоря, мне это не понравилось, потому что путь был довольно длинный, а район — небезопасный.

— Что происходит, почему нас не пускают? — спрашиваю водителя.

— Карзай прилетает из Индии, мэм, и мы должны добираться до аэропорта пешком.

— Это я понимаю, но как я должна попасть туда, не зная дороги, одна и с таким огромным чемоданом?

— Не одна, мэм, охрана будет с вами, они донесут ваши чемоданы. А я останусь здесь.

Было боязно, но что я могла поделать? Назад дороги нет. Впереди — родина, куда надо добраться живой. Вылезаю из машины. Шутер вытаскивает из багажника мой чемодан на колесиках, и мы идем в сторону аэропорта. Площадь полна народа. В сердцах на всех известных мне языках ругаю всех на свете президентов и себя за то, что попала в такую ситуацию.

Шелковая косынка уже который раз сползает у меня с головы. Поправляю ее. Снова падает, теперь уже в дорожную пыль. Поднимаю, нервно комкаю ее и сую в карман чемодана. Продолжаю движение без косынки, с опущенной головой. По дороге надо пройти несколько полицейских постов. Ходить с непокрытой головой в Афганистане — дурной тон, но не напялю же я на голову вываленную в грязи косынку. Вынимаю ее из чемоданного кармана и держу в руках, чтобы было видно, что она у меня есть, — будто это чему-нибудь поможет. Но, к моему удивлению, никто не бросает в мой адрес оскорбительных замечаний, никто не смотрит на меня с упреком.

Сколько это продолжалось, я не помню, но мы наконец добрались до одного из пропускных пунктов, где стояла очень большая очередь. Мой шутер показал одному из полицейских мой билет и попросил, чтобы меня пропустили вне очереди, так как я могу опоздать на самолет. Тот внимательно осмотрел мой билет, потом меня, потом мой чемодан, потом кого-то позвал и дал ему какие-то указания, забрав у меня чемодан. Я не понимала, что происходит, но поскольку спрашивать смысла не имело, молча ждала развития событий. Полицейский попросил шутера отойти в сторону, а мне велел отойти в другую. Я не сдвинулась с места: ждала, что скажет моя охрана.

— Мэм, дальше сопровождать вас мы не имеем права. Этот человек проводит вас до автобуса, а дальше вы сами должны разобраться что к чему.

Я ужасно разволновалась, поблагодарила шутера и, безмолвно, словно ягненок на заклятие, последовала за афганцем, который тащил мой чемодан и что-то быстро-быстро говорил, думаю, просил деньги за обслуживание.

Автобус был такой пыльный и грязный, что я не смогла определить его цвет. Мы взобрались в него, мой спутник указал мне на свободные сидячие места в конце автобуса, а сам с моим чемоданом встал рядом с водителем. На местах в последнем ряду уже сидело несколько женщин в косынках. Мужчины садились на передние места. Потом, когда автобус уже почти заполнился, они начали заполнять и задние. Дошло до того, что один мужчина в национальной одежде знаком показал, чтобы я подвинулась, и сел рядом спиной ко мне. Я с комплексом ягненка бессмысленно крутила головой в разные стороны, пытаюсь предугадать, что будет дальше. Представила себе, как мою бабушку Анико Бахтадзе, в 37-м увозили этапом в ссылку, в Казахстан. Вспомнила и срочно достала телефон. Звоню Диане.

— Диана, запомни: говорю из аэропортового автобуса, я одна, охрану сюда не пустили, говорят, что отвезут на место. Не знаю, будет ли у меня возможность позвонить еще раз.

Диана залилась смехом:

— Не бойся, через две минуты тебя подвезут к центральному входу в аэропорт,

там прицепись к женщинам и везде пройдешь без очереди. Как доберешься до зала ожидания, еще раз позвони мне.

Вот с этого момента и начался настоящий Афганистан, у которого ничего общего нет с бывшим Советским Союзом, но я все равно вспомнила наши старые, полуразвалившиеся, грязные аэропортовские автобусы, на которых я очень редко, но ездила, и если это случалось, то на голове, на плечах, в ногах у меня обязательно оказывались тюки, мафраши, чемоданы, коробки, авоськи и другие дорожные прелести.

Прежде, чем добраться до главного терминала, автобус по просьбе пассажиров несколько раз останавливался для высадки. Потом, пару раз свернув в сторону и развернувшись обратно, уже чуть ли не пустой подкатил к месту назначения. Странно, но люди, которые сходили с автобуса по дороге, встретились мне у паспортного контроля. Подозреваю, что они, пройдя пешком напрямик, надеялись оказаться в первых рядах огромной очереди. Вот тут-то и выявились достоинства плохого состояния гендерного вопроса в Афганистане, потому что женщин и мужчин ставили в разные очереди. Отсюда отсутствие давки, спокойная процедура проверки паспортов и облегченный выход на таможенный контроль.

От паспортного до таможенного контроля началось то, что происходило в наших аэропортах, в особенности на местных рейсах: чехарда, передача вещей вперед по очереди, работа локтями, ворчание и крик. И здесь, несмотря на то, что я была иностранкой, никто мне дорогу уже не уступал. Один мужчина с женой и детьми занял пол-очереди и в конце своего «семейного хвоста» положил на стул целлофановый пакет. Я аккуратно переложила пакет на пол и присела на этот стул. Жена, не сдерживая негодования, вскочив с места, начала что-то гневно выговаривать мужу. Тот осмотрел меня с головы до ног, оценил все за и против и весьма убедительным тоном дал жене какой-то серьезный совет, после чего та успокоилась, и я больше не слышала ее голоса.

Таким манером я захватила сидячее место в зале ожидания Кабульского аэропорта. Основательно расположившись на захваченном плацдарме, я взглядом триумфатора стала обозревать окрестности. Моему взгляду открылся очень знакомый, почти родной со времен глубокого советского «застоя» зал ожидания обыкновенного гражданского аэропорта, если не считать того, что здесь рядом с туалетом был устроен молитвенный уголок. Оттуда выходили по пояс мокрые мужчины в пластмассовых сандалиях на босу ногу. Большинство — в национальных одеждах: шальварками, а на голове «шапка Масуда», которую афганские мужчины очень любили. Мне эта шапка тоже нравится. Бублик, который прицеплен у лба, может быть раскручен, тогда он закроет все лицо, что очень удобно при афганских пыльных бурях и когда не хочешь, чтоб тебя узнали. Цвет шапки совпадает с цветами афганского ландшафта — светло или темно-коричневый, светло-розовый или черный (эти встречаются реже). А называется она «шапкой Масуда» потому, что туристы идентифицировали ее с именем легендарного моджахеда Масуда, и сувенир этот давно уже стал популярным сувениром в мировом масштабе. Эта шапка шьется из высококачественного тонкого сукна, а лучшие экземпляры — из верблюжьей шерсти. Стоит она от 5 до 10 долларов. Несколько таких шапок я раздала друзьям. Одну купила себе и ношу ее в Тбилиси — не без успеха.

Женщин в парандже в зале ожидания я не видела. В чадрах были. На иностранках были головные платки. Большинство людей стояло, так как свободных мест не оставалось. Несколько рейсов было отложено, и половина зала из стульев устроила себе спальные места. В довершение моих мытарств в тот день ни одно информационное табло не работало, и получение какой-либо визуальной информации о рейсе было исключено. Я вынуждена была ждать информацию по громкоговорителю, по которому объявления шли на трех языках: сначала на дари, затем на пушту и наконец на английском.

Мой рейс почему-то не объявляют. Тем временем публика, видимо, выспалась, и в зале поднялся такой гомон, что я вообще перестала что-либо слышать. Схватив свою каталку, я с болью в сердце покинула с трудом завоеванный плацдарм и начала метаться между выходами на посадку. И тут Господь послал мне молодого человека, который по-английски сообщил мне, что он с того же рейса и что его еще не объявляли, нас, мол, позовут.

Наконец и вправду между рядами пошла женщина, повторяя: «Дубай флай». Я влилась в людской поток на посадку. В нем оказалось много европейцев и белых и черных американцев. Все рвались к «нейтральным водам», в Дубай, откуда открыты все направления. Для афганцев — это палестинское, индийское, иранское и направление на Саудовскую Аравию. Дубай — транзитный пункт, откуда начинается мирное и беспроblemное продолжение пути. Все, у кого потеряна надежда на спасение в самой стране, присоединяются к этому каравану. Скоро Афганистан окажется без афганцев, озабоченно говорит мой учитель дари. Он с нетерпением ждет ответа из американского посольства о предоставлении политического убежища. Вся его семья уже прошла несколько процедурных этапов и скорее всего в недалеком будущем покинет Афганистан и присоединится к потоку бегущих из страны через Дубай афганцев.

Из Кабула в Дубай лететь три часа. По причине дешевизны билетов «Дубай флай» не кормит пассажиров. Это я обнаружила в середине полета, когда стюардесса с меню и калькулятором обошла салон, принимая заказы на обед. Вот когда я оценила те два вкуснейших хачапури, которые съела с подругами перед отъездом, потому что увидела, как американка, сидевшая рядом со мной, за куриный бутерброд, пакет чипсов и чашечку чая заплатила 50 долларов.

Три часа до Дубая, еще три — в аэропорту и три — от Дубая до Тбилиси. Думаю, за это время я дочитаю «Гурджи Ханум» Дато Турашвили. Если со мной еще что-нибудь приключится или я вспомню что-нибудь интересное из своего путешествия, расскажу, а нет — постараюсь заснуть, потому что в Тбилиси раньше четырех утра я не попаду.

<...>

В профиле скайпа я записала строки из стихотворения Акакия Церетели: «Страна, где небо бирюзово, где изумрудом блещет дол, мой край родной, к тебе я снова, больной и трепетный пришел!» и получила весьма категоричное письмо от Медико Гобронидзе, которая пишет: «Бросай все и сейчас же возвращайся домой!» А я и не думала, что за три месяца меня так замучает ностальгия. Видимо, это так называемый «грузинский синдром». Когда я уезжала, жители «Барона» провожали меня с радостью: «Счастливо, хорошо отдохни и успокойся, поздравляем...» Никто не обижался, что я уезжаю, наоборот, радовались, потому что знали: я еду домой. В «Бароне» всем хочется домой. И, думаю, не существует грузинской, русской или английской ностальгии. Ею болеет любой плененный человек — независимо от того, насильственно или добровольно он попал в плен, служит его пленение целям материального или духовного характера. В случае добровольного пленения, сколько бы тебе ни платили, тебя все равно грызет невыносимая грусть. Одними эта болезнь переносится легко, другими — с трудом. Говорят, известны случаи, когда человек умирал от ностальгии...

(Окончание следует)

Владимир Мощенко

Запекшаяся капелька слезы

Мне слышен треск сгорающей лозы,
И женский плач летит во все края,
И в каждой винной капле вижу я
Запекшуюся капельку слезы...

Александр Межиров
«Слово на кахетинском празднике»

Он учил меня Блоку и женщинам,
картам, бильярду, бегам...

Евгений Евтушенко
«Автор стихотворения "Коммунисты, вперед!"»

...Проходная Кремлевской больницы. «Вы к Антокольскому?» — спрашивает вышедшая навстречу медсестра. «Д-да, — отвечает Межиров, — он ждет нас». А я задаю глупейший вопрос: «Ну, как Павел Григорьевич? Лекарства помогают?» Та не ответила, и мы двинулись вослед за нею. «В-володя, — прошептал Межиров, — в-вы что? От восьмидесяти лет лекарств не бывает». И вот мы в уютной палате у тяжело хворавшего Антокольского, который в сорок седьмом, по его словам, с удовольствием и чистым сердцем помог *своему Сашеньке*, ученику-фронтовику, студенту Литинститута издать первую книжку «Дорога далека», подвергшуюся вполне объяснимым нападкам за слишком «личное» отношение к теме войны. Павел Григорьевич, обрадовавшись гостям, по-хозяйски велел медсестре приготовить чай и кофе, достал из тумбочки бутылку коньяка, яблоки, шоколад и с юношеским задором, без раскачки стал читать стихи о грешной земной любви, о горбоносом попугае, а затем заставил Александра Петровича прочесть что-нибудь из нового: «Саша, уважьте старика». Впрочем, он нисколько не сомневался, что мы горячо отвергаем это словечко — «старик» (влюбчивый подросток сохранился в нем до последнего дня). И тогда впервые прозвучали строки из «Бормотухи», еще (как я теперь понимаю) незаконченной, зато с чеканными отдельными главками: «Любой народ — народ не без уроды... Но целиком... На уровне народа... Что говорить об этом... А толпа на уровне толпы всегда жестока — готова растоптать ее стопа не только провидца и пророка...»

И Антокольский сказал: «Да, это *ваши* стихи. Вы будете всегда на слуху. Вас будут поносить и возносить». Он не ошибся. Поэзия Межирова стала бесспорной классикой.

Вот почему так невероятны, ошеломляющи его зимние портлендские строки, где подводятся в горьких раздумьях, смахивающих на душевный надлом, итоги жизни и творчества: «...Невостребованный дар. Невостребованна мысль старика в сторожке темной». Почти все — как у любимого им Евгения Баратынского, который усомнился в своем даре и рассчитывал лишь на благосклонность потомков. Но — почти. Никакой надежды на понимание. На грани отчаяния. И вырывается раз за разом: «И это все совпало с немотой...», «Встал и вышел из дома не в дверь, а в окно», «Воткнута в бабочку игла, висок почти приставлен к дулу...»

Дорога поэта была не только *далека*, но и полна драматизма, как иллюстрация к истории русской и советской литературы, к русской истории вообще, ибо она «угрюма, на себе замкнутая смутна, вся она — раскол — от Аввакума вплоть до Горбачева-Ельцина», и, значит, дорога эта не уникальна и не исключение из правил. Вот и возникает вопрос: не приспела ли пора издать книгу воспоминаний об Александре Петровиче Межирове, русском поэте и переводчике, лауреате Государственной премии СССР (1986), лауреате Государственной премии Грузинской ССР (1987), лауреате премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999); добавлю к этому награду президента США Клинтона. Представляю, с какими трудностями столкнется составитель этой давно ожидаемой книги. Страсти вокруг имени и личности Межирова не стихают до сих пор и вряд ли стихнут (так оно и положено у нас, да, наверное, не только у нас, если разговор заходит о крупном, неординарном поэте, чье творчество и чья биография никого не оставляют равнодушным).

Все написанное Межировым и в России, и в США свидетельствует: он, как всякий человек, который «у памяти в залоге», прекрасно сознавал, что перемежаются восторженная хвала и яростная хула в его адрес, что немало таких хулителей, с ходу выносящих ему «приговор жестокий, исключаящий любое алиби». Его поэзия — акт осознания своего несовершенства и покаяния перед Богом и людьми. Порой ему хотелось казаться безразличным к нападкам, и это заставляло его обращаться из-за океана к своему читателю и собеседнику: «Прими мою неправоту — не верь людскому пересуду...» Сюда можно присовокупить давнее: «Когда стихи прочтете, понятней станет вам».

Однажды в нефтяной гавани Батуми я увидел на октябрьском рассвете, когда шел в кофейню Анартироса, как на сваях пристани в беззвучном плеске колыхались, будто изумительной красоты бахромы, наросты мембранипоры. Рядом со мной остановился старый морской волк в штормовке и (разумеется!) с трубкой в зубах, заметил, чем я заинтересовался, и сказал мне как давнишнему знакомому: «А-а, это что, генацвале, это мелочь, а вот посмотрел бы ты на днище большого корабля — вот что дико обрастает такой гадостью, а случается, что попадает и внутрь судна — по трубам, когда приходится забирать забортную воду, чтобы охлаждать машины». Потом я где-то прочитал, что эти самые трубы постепенно заселяются едучей мембранипорой, от которой нелегко избавиться.

К чему это я? Вот чем-то вроде такой неистребимой липучки из смеси морских желудей, асцидий, мшанков вопреки своей воле и великие поэты обрастают сплетнями и наветами. Чем значительнее имя, тем их больше, тем они крикливей, ярче, забористей. Появляются книги, в лучшем случае, наподобие вересаевских «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни». Есть более пристрастные творения о Маяковском, Есенине, Олеше, Ахматовой (которой, между прочим, приписывали связь с Николаем II и Блоком). Даже один из самых талантливых учеников Межирова не преминул написать об *игре* поэта *со страхом* (как мере мелоса), сделав ударение на том, что этот «страх все менее "державный" и оправданный по мере ветшания империи, деградировал до конкретной боязни наказания за совершенный проступок (дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек)». Жаль, что это цитируется рядом с высказываниями злопыхателей, в том числе с письмом Межирову от бывшего приятеля, а затем — откровенного врага: «Мне жаль книг, подаренных Вам. Я ошибся, говоря о том, что Вы любите русскую поэзию. Это не любовь, скорее ревность или даже зависть. Не набивайтесь ко мне в учителя. Вы всегда в лучшем случае были лишь посредником и маркитантом, предлагающим свои услуги». На что А.М. был вынужден ответить — без проклятий и с высоты своего жизненного опыта:

Эта истина слишком стара,
С ней давно примириться пора:
Человек никогда не прощает
Причиненного кем-то добра,
Потому что добро унижает.

В мире зло велико и добро велико,
Зло, как это ни странно,
Прощают довольно легко,
Без усилий и даже заране,
В этом люди вполне христиане.
Я тебе подарил только звук,
Только собственный звук, не заемный,
Только сущность поэзии темной,
И за это, любезный мой друг,
На меня ты обрушился вдруг
С двух, в игре тренированных, рук?
В отработанной стойке погромной.

О душевном разладе и горьких разочарованиях Межирова в последние его годы в Штатах мы нередко говорили с Александром Ревичем, который искренне сострадал собрату. В статье «Воля свободного поля» о моем избранном («Дружба народов», № 5, 2012), ведя речь о сочувственном отношении А.П. ко мне, Ревич заметил: «...Межиров пишет метафорически, имея в виду художественную природу поэта, способного твердо знать, что за кирпичной мусорной грудой на "свободном поле" пустыря, в чертополохе бродит мед. И это — Межиров, махнувший на себя рукой в конце жизни и признавшийся, что перед ликом величайшей русской поэзии, которую он боготворил, он — "несостоявшийся поэт"».

А ведь еще в сорок седьмом сразу после выхода в свет сборника «Дорога далека» Сергей Наровчатов приветствовал приход в поэзию истинного таланта и предрек неугасание межировским синявинским кострам и перебоимленному рубежу! И действительно: в стихах Межирова «синявинская черная вода под снегом никогда не замерзала». Вспомним: «Он стал поэтом той войны, той приснопамятной волны, которая июньским летом вломила в души, грохоча...» Наровчатову вторил Евгений Винокуров, который не мог не заметить, что уже в ранних стихах приятеля-фронтовика «его нельзя было спутать ни с кем», что у него с явным новаторством сочетаются и трагедийность высокого полета, и державинская взволнованность — таковы, мол, отличительные черты межировской интонации.

Эту, связанную с новизной формы и содержания, интонацию, сильнее всего проявлявшуюся в стихах даже той, послевоенной, поры и в их авторском — завораживающем, колдовском — чтении, я не мог не обнаружить, когда мы познакомились с Межировым в 1959-м в Тбилиси, прекраснейшем «маленьком Париже», раскинувшимся над Курой, полном особенного, именно тифлисского тепла и таких же особенных, пряных запахов древности и юности. Притягательной магии этого города в пору «оттепели» посвящено множество великолепных поэтических и прозаических страниц. В предисловии к моему роману «Блюз для Агнешки» Василий Аксенов недаром воскликнул: «А где лучше можно было разморозиться от вечного советского страха, чем в древнем караванном городе, чье имя как раз и говорит о тепле?!» Мой герой готов был поклясться, что именно на грузинском языке впервые прозвучали слова о том, как блажен человек, которого любят Музы, — и все из-за того, что тбилисский сентябрь, утверждаясь в своих правах, распахнул перед страждущими пришлецами свои тайны, и узкие улочки, и тесные дворики, и их плывущие в безоблачном небе балкончики, резко приблизил Салалакский хребет, а солнце, не столько знойное, сколько слепящее, делало все возможное, чтобы на фоне развалин древней Нарикалы мелькали свадебные наряды невест, и возле крепости скалистые горы противоположных берегов в такие моменты едва ли не касались друг друга, и время сходилось в одной точке.

У Межирова появилось здесь новое поэтическое дыхание; любая мелочь в быте и природе вызывала восторг своей художественной необычностью, будто явилась, как не раз говорил он, с полотен Нико Пиросмани или из коллажей Сергея Параджа-

нова. «О, на какой загубленной лозе возрос коньяк, что стоит восемь гривен?!» Его поражала вечность, запечатленная в органичном слиянии древности и современности: «В чем тайна тайн архитектуры храма? Через фонарь в округлом потолке на человека небо смотрит прямо и с храмом человек накоротке. <...> Смотри, как много навалило снега. Верийский спуск. Зима, зима, зима». То была еще одна крутая, ведущая вверх, ступенька в жизни и поэзии Межирова. Тбилисские стихотворцы со стопками подстрочников буквально выстраивались в очередь к нему. Всему виной — ранняя его известность, легенды о нем (да, они всегда сопровождали «фантазера и мечтателя» с «окраин города Колпино», накопившего «много самых веселых и грустных историй» и выдумывавшего «небылицы»). Ясно было: не только война открыла имя Межирова. Звук, добытый в ней, был подтвержден Грузией. Тем не менее за пиршественными столами он воздерживался от захлебывающихся, восторженных тостов. В ответ на признание и тепло он, не падкий на словесный рахат лукум, отряхнувший «прах грозы летучей» и оставшийся «жить на всякий случай», пощаженный войной, не опускался до дежурной лести. Таков уж был его характер. Уже в семидесятых Межиров признался: «Медлительно грузинское застолье, нетороплива тостов череда. И только он один, — свихнулся, что ли, — в их ритм не попадает никогда. И только он один, не совпадая с грузинским ритмом тостов, напролет всю ночь, — безумец, голова седая, — за рюмкой рюмку превентивно пьет».

Об этой особенности А.П. мне говорил талантливый и рано покинувший нас поэт Александр Цыбулевский (между прочим, смолodu хлебнувший лиха: его выдворили из Тбилисского университета за *недonesение* о «подрывной» деятельности подпольной студенческой организации «Смерть Берии»; хуже того, «дело» Шуры в сорок восьмом рассматривал военный трибунал войск МВД, приговоривший его к десяти годам лагерей): «Мы были с Сашей и с еще несколькими поэтами в Рустави. Ну, к ночи приспело застолье — как же иначе. Дошла очередь до Саши провозглашать тост. А он — ни в какую: я, говорит, свои мысли изложу в стихах, скоро их закончу...» Несколько раз мы собирались втроем за бутылкой доброго кахетинского: Межиров с Цыбулевым и я. А.П. любил Шуру, видел в нем родственную душу, прошедшую сквозь ад, боялся за него, как за самого себя. Однажды, когда мы попрощались с Шурой, он, глядя ему вслед, прочитал наизусть (о, такой памяти, как у Межирова, не найти) его строфу из «Маргариты»: «Перед смертью утешить вас нечем, все же прав был какой-то индус: снова в обличье мы человечьем будем лихо закручивать ус...» И сказал мне угрюмо, что это, увы, самообман. Ничего не будет «снова». Ничего. И зашелся в кашле из-за проглоченного табачного дыма. А что касается предчувствий Цыбулевского, то они его удручали. Читая межировские строчки: «И каменный путь грохотал под копытом, и билось вино в бурдюке недопитом», я отчего-то был уверен, что это — о нем, о Шуре, у которого все осталось — «недо», «недо», «недо»... И все-таки Межиров ошибался. Все будет снова. И, словно бы споря с ним, я написал о Цыбулевым, пораженный его самой горькой строкой («И странно слово вдруг: *исход*»): «...Ты любил в духане пить вино. Так зачем же засиделся в келье? Там погасли свечи. Там темно. Чем тебя прельстило подземелье? Этот факел не тебе несут. Надо поскорей перекреститься. Ты у фресок — там, где "Страшный суд", где Тамара все еще царица». Услышав эти строчки, А.П. кивнул головой: «Помнить — святое дело».

Гражданская, поэтическая позиция Межирова недвусмысленно изложена в стихах «Тбилиси. 1956. Март». Если Николай Заболоцкий (в ученическом следовании за которым его упрекали иные недоброжелатели) — в знаменитом «Казбеке» (1957) — как бы *издали* всматривается в того, «кто блистал и царил», кто в «дыхании молебнов и кадил» был и чужд, и враждебен («А он, в отдаленье от пашен, в надмирной своей вышине, был только бессмысленно страшен и людям опасен вдвойне»), то Межирову уже не нужны иносказания, и он разворачивает, пружиня каждую строку, ужасающую картину:

...И непонятен и бесцелен
Поток бушующий людской.
Шли дети тех, кто был расстрелян
Его бессмертной рукой.
Нам не забыть об этих войнах,
Нам не забыть его идей,
Его последних, броневой
Карательных очередей.
Он, ни о чем не сожалея,
Под крики «Сталину — ваша¹»
Бьет наповал из мавзолея,
Не содрогаясь, не дыша.

В этом столпотворении, проклинавшем XX съезд и Хрущева, как известно, были маститые Ираклий Абашидзе и Иосиф Нонешвили, оглашавшие площадь одами в честь «великого и мудрого». Но они поостыли впоследствии и никогда не упрекали Межирова, одаряя его своим благорасположением.

Впервые я встретил его в редакции журнала «Литературная Грузия», чьи вольности потрясали воображение читательской аудитории: тут, к примеру, публиковались большие подборки из архива Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой. С Межировым, попивая кофе, вел неспешный разговор литературовед и критик Гия Маргвелашвили, человек необыкновенного обаяния, ведущий рубрики «Свидетельствует вещий знак». Меня удивило, что А.П. ничто в беседе не заставляло врасплох, его эрудиция поражала, он без запинки читал Тициана Табидзе в пастернаковском переводе. При этом он не улыбался, не шутил, будто пытаюсь внешне соответствовать автопортрету 1956 года: «...Прости меня за леность непройденных дорог, за жалкую нетленность полупонятных строк, за эту непрямую направленность пути, за музыку немую прости меня, прости...» Познакомил меня с Межировым там же, в «Литературной Грузии», Эммануил Фейгин, автор популярного романа «Мальчик пляшет под дождем», фронтовик, почти что мой сослуживец, потому что он постоянно сотрудничал в нашей окружной газете, охотно выезжал в майорском обмундировании на учения в Ахалкалаки, на Пушкинский перевал, в район Ленкорани. (Замечу, что в этой газете в тридцатых годах работал знаменитый Рюрик Ивнев, выпускник Тифлисского кадетского корпуса, эгофутурист и имажинист, а после моего отъезда в Венгрию здесь отбывал краткосрочную «воинскую повинность» Евгений Евтушенко.) Мы заявили домой к Фейгину; его жена, Сима, ушла в оперный театр; ему самому пришлось готовить ужин. Он предложил нам сразиться в шахматы. А.П. согласился: «Хорошо. Давайте по рубчику за партию». Фейгин стал его отговаривать: «Ты что? Володя — кандидат в мастера». Ответ был кратким: «В-все равно». Он вставил в мундштук сигарету и сделал ход... b3. Играл он на уровне пятого или четвертого разряда. Я давал ему фигуру вперед — он отказывался, азарт брал верх. Не верил, что теорию надо знать. Сели ужинать, и он сказал: «Приезжайте в Москву, за мной — реванш, будем играть по трешке».

Вернулась из театра Сима, вся сияющая, и возвышенно произнесла: мол, какая музыка была! А вскоре появилось гениальное межировское стихотворение «Музыка», ставшее одним из самых цитируемых: «...Солдатам голову кружа, трехрядка под накатом бревен была нужней для блиндажа, чем для Германии Бетховен. <...> Стенали яростно, навзрыд, одной единой страсти ради на полустанке — инвалид и Шостакович — в Ленинграде». Это один из примеров того, как был прав Евгений Винокуров в давней оценке Межирова: «Сдержанная экспрессия, точная подробность, "жесткость" формы и в то же время лирический "захлеб"» — вот что составляет межировскую манеру.

¹ Да здравствует (груз.).

В те дни я записал в дневнике: «Мне в редакцию от Фейгиных позвонил Межиров. Спрашивает: не хочу ли я съездить с ним в Чиатуру; приглашает Григол Абашидзе: это его родные края. И — с подвохом: не смущает ли меня, что Г.А. — лауреат Сталинской премии? Ехали часа три. У Г.А. собственный шофер. Молчаливый, погруженный в себя. Вдруг перед нами распахнулось ущелье; посередине его — речка Квирила (убежавшая Квирила о Риони говорила). Скалы с двух сторон. От речки в гору поднимается Чиатура. Очень живописно, все просится в какой-нибудь экзотический фильм. Повсюду — воздушно-канатные дороги и чумазные шахтеры. И, конечно, традиционные угощения с морем имеретинского вина. Г.А. здесь почитают, гордятся им. Все это походило на праздник. Нам показали в селении Кацхи купольный храм Мацховари X—XI века (А.П. был в восторге от сохранившейся кое-где росписи), средневековую крепость и пещеры Джарбели. На обратном пути А.П. поинтересовался: доволен ли я. Он много курил, шурился из-за дыма, благодарил Абашидзе...» Каково же было мое потрясение, когда я услышал от него «Бессонницу», полную драматизма, но не ощущения праздника: «Хоронили меня, хоронили в Чиатурах, в горняцком краю...»

Он жил, если так можно сказать, на пределе, хотя это далеко не каждому бросалось в глаза. Драматичным был чуть ли не каждый его миг. Однажды, спустя очень много лет, я приехал к нему в Переделкино (он тогда обретался там в двухэтажном жэковском доме в тесноватой коммуналке); у него — Владимир Высоцкий, который очень высоко ставил Межирова. А.П. как-то говорил мне о нем: «Володя, как все великие люди, по сути, одинок». Уж он-то, автор строк: «Одиночество гонит меня от порога к порогу...», понимал, что это такое. И продолжал в том смысле, что это состояние пугает Высоцкого, не дает ему покоя, заставляет одолевать свой главный, неотступный недуг, что-то корежит его, не дает уснуть, держит в постоянном напряжении, и он звонит даже среди ночи: «Можно приехать?» «К-конечно!» — отвечал ему Межиров, и тот ловил такси, ехал через всю Москву и Подмоскovie, врвался с потоком свежего воздуха, наотрез отказывался от спиртного («С этим я завязал»), беспрестанно пил чай и пел под гитару свои новые песни, которых было не счесть. В ту ночь Высоцкий сказал мне, когда А.П. вышел в кухню помыть посуду: «Он хочет спасти меня, а сам неприкаянный — не меньше, чем я. Может, и больше». Под конец Высоцкий по просьбе Межирова спел «В Тбилиси — там все ясно, там тепло...» и, поставив гитару к ногам, уговорил А.П. прочитать нам «Бессонницу»; не удержался, снова взял гитару и подыграл ему. Жаль, что это не было записано на пленку!

Межиров знал Грузию сокровенно, глубинно — потому, скорее всего, что был любим ею и любил ее, сопереживал ей. «Прошедший сквозь великую войну, я знаю цену этому вину не как историк, а как винодел, который прожил в Грузии века, на Тамерлана с яростью глядел, а в этот день помолодел слегка». Пожалуй, тогда, в те благословенные дни, общаясь с ним, я понял, как должна поэтическая строка выискивать на шумном Авлабаре в вечернем блеске трамвайной дуги кристаллик соли на спине битюга, быть с теми, кто «на склон из ассирийского района выносят гроб с водителем такси», слышать, как, сопровождая процессию, «сирены воют. (Господи, спаси!) И горестно поют, и разъяренно». Через его поэзию у меня в пятидесятых-шестидесятых годах произошло второе, более интимное открытие Тбилиси, настолько органично впитала она в себя «военный госпиталь в Навтлуге, трамвайных рельс крутые дуги», «подъем Чавчавадзе сквозь крики: бади-буди, мацони, тута...», набитый битком автобус, который «в нос шибает и дышит в затылок чахохбили, чачой, чесноком», «луны бутылочное дно над городом Галактиона», «горы около зари», падающий вниз, к Куре, Театральный переулок, «Верийский спуск в снегу», кафе «Метро», заставляющее признать, что «свет фонаря в любом убогом храме куда светлей, чем свет из этих стен», то, как над Курой — «перезвон и перезвяк»: «первый лист упал с чинары». Сколько раз я проходил мимо вот этой старинной церкви, но и подумать не мог, что она перестанет быть безымянной после встречи с Межировым — и откроется самым потрясающим образом: «Когда над храмом с грохотом теснится и зажигает молнии гроза, я вижу не иконы, а бойницы и амбразуры, а не образа». Эти строки

меня чем-то смущали, но я тогда не понимал — чем. А поняв — не перестал ими восхищаться.

Я специально брал командировку и ехал (уже один) в Чиатуру, чтобы отыскать то место, где рядом с шахтерским поселком, по словам А.П., «молния с неба упала, черный тополь спалила дотла и под черной землей перевала глубоко свой огонь погребла». Я не испытывал никакой грусти, наоборот — ликовал, потому что верил стихам: «Я сказал: это место на взгорье отыщу и, припомнив грозу, эту молнию вырою вскоре и в подарок тебе привезу». А спустя десятилетия все это прорвалось у меня в «Трех сонетах». Вот первый из них:

Тепло из дома ветер выдувал.
Была Солянка за полночь метельной.
Спросили Вы: «Погреемся в котельной?»
Я спать хотел, но мы пошли в подвал.
Ведь я в командировке двухнедельной
Был в Чиатурах, лез на перевал,
Который в недрах молнию скрывал
Из Вашей строчки. Ну а здесь в нательной
Рубахе местный встретил нас Сократ.
Тряс Вашу руку. Был безмерно рад
И «оджалеши» и «киндзмараули».
Вы были с ним, ей-Богу, наравне —
И под конец не наливали мне,
А может, на меня рукой махнули.

Не скрою, меня трогало дружеское, искреннее участие Межирова в моей судьбе. Как-то раз Иосиф Нонешвили сказал по телефону: «Саша посвятил тебе стихотворение». — «Да?!» — «Клянусь, кацо. И оно напечатано сегодня в "Советском спорте". — «При чем здесь "Советский спорт"?!» Потом я догадался, что это была хитрость, маневр, рассчитанный на то, чтобы ввести в заблуждение цензоров, — поэтому стихотворение и называлось «Шахматист». И речь там не столько обо мне и о шахматах, сколько о самом главном для А.П. — о свободе.

А у Мощенко шахматный ум —
Он свободные видит поля,
А не те, на которых фигуры.
Он слегка угловат и немного угрюм, —
Вот идет он, тбилисским асфальтом пыля,
Высоченный, застенчивый, хмурый.
Видит наш созерцающий взгляд
В суматохе житейской и спешке
Лишь поля, на которых стоят
Короли, королевы и пешки.
Ну а Мощенко видит поля
И с полей на поля переходы,
Абсолютно пригодные для
Одинокой и гордой свободы.
Он исходит из этих полей,
Оккупации не претерпевших,
Ибо нету на них королей,
Королев и подопытных пешек.
Исходить из иного — нельзя!
Через вилки и через дреколья
Он идет — не по зову ферзя,
А по воле свободного поля.
Он идет, исходя из того,
Что свобода — превыше всего, —
И, победно звеня стремениами,
Сам не ведает, что у него
Преимущество есть перед нами.

В первой редакции предпоследняя строфа была иной: «Он, из этих полей исходя, через вилки и через дреколья в бой идет не по зову вождя, а по воле свободного поля».

А.П. сразу же сразил меня своим иконописным (да-да) ликом. (Правда, тут нужно вспомнить о «поправке» Марка Соболя: ему было угодно увидеть у него «глаза павшего ангела».) Потряс он меня и неистребимым ужасом в глазах, который тщетно пытался скрыть за вежливой улыбкой. Может быть, он продолжал «подрывать на пехотной мине», как тот «русский пехотинец-рядовой»? Вызывают сомнение строки: «...И впервые за четыре года (курсив мой. — А.М.) почему-то стало страшно мне». Нет, это чувство не удалось вытравить ему в себе, оно подспудно сопровождало его едва ли не всю жизнь. Он знал, что происходит в стране Сталина, он был историком в полном смысле слова. «...Но минул срок синявинских болот, остались только гильзы от патронов. Теперь мы спорим ночи напролет, вагон вопросов с места трудно стро- нув. <...> Мы спорим, загораясь, как огонь, опасности таятся в наших спорах, как будто мы с ладони на ладонь вблизи огня пересыпаем порох».

Однако это был не тот страх, о котором шла речь в бесшабашной статье в «Литературной России» (№ 49, 07.12.2007) под заголовком «Испуг на всю жизнь»: дескать, Межиров «мог бы стать просто потрясающим поэтом. Но он так и не пробился в первый ряд. Наверное, потому, что еще в молодости больше чем поэзию любил самого себя. Как поэта его сгубила фальшь и трусость <...>. В 1948 году Межиров еще бы смог преодолеть страх. Нужна была только сила воли. Но тогда не хватило духа...» И откуда такое вот лихачество? С чего бы это? Тем более, что дальше в статье приводятся воспоминания Межирова: «Уже была зима... Я перешел в составе маршевой роты Ладожское озеро. Навстречу гнали детей — словами это выразить невозможно. Я увидел мертвый Ленинград. И впервые увидел, что дворники не работают. Город был вмерзший в лед совершенно. Штабелями лежали трупы. И я попал в 1-й батальон 864-го полка 189-й дивизии 42-й армии. Все это я помню абсолютно ясно. Меня назначили пулеметчиком, вторым номером. Это значит — надо таскать тяжелый станок. А так как я не богатырского склада — я об этом никому никогда не рассказывал, потому что был убежден, что мне просто никто не поверит... Я попал в пехоту — в глухую оборону, предельно сближенную с немцем: 60 метров, 100 метров, 200 метров, 300 метров... Это был февраль 1942 года. Перед нами стояли эсэсовские батальоны». Далее в статье, как ни странно, — цитата из Наровчатова о межировских синявинских кострах и шалашах и его уверенность, что «за ними не встанут, как у других, стены и башни европейских столиц, неудержимый размах освободительного похода, война замкнется на себе самой в его стихах. Трагедия найдет свою первую и постоянную опору». А что противостоит этому в литроссовской публикации? А вот что — бездоказательное мнение: поэт «показывает человека, *безмерно испуганного войной* (! — В.М.), но бодрящегося в каждом заключительном катрене».

Тем не менее замеченный мною ужас в глазах еще довольно молодого А. П. был именно тот, что исследуется датчанином Сереном Кьеркегором¹ и связан с постоянным осознанием неординарной, лично своей — не чьей-то, *своей* — вины, когда **Я** неизбежно «рассыпается в песок мгновений» (поскольку, по мнению философа, это осознание оказывается предпосылкой духовности и необходимости обращения к Богу). Так как же можно утверждать, что Межиров любил самого себя «больше, чем поэзию»? Я уж не толкую о том, что он якобы не стал поэтом первого ряда (это вообще чушь несусветная, недостойная того, чтобы стать основой для дискуссии).

Я чувствовал уже тогда, в Тбилиси: что-то все время не давало покоя Межирову. Тут было и вечное, характерное для большого художника-мыслителя, осознание своего несовершенства, ведь не зря он часто повторял слова Баратынского из «Недодоска»: «Как мне быть? Я мал и плох; знаю: рай за их волнами, и ношусь, крылатый вздох, меж землей и небесами». Характерно, что этому стихотворению А.П. целиком

¹ См. хотя бы книги Серена Кьеркегора «Страх и трепет», «Понятие страха».

посвятил занятие в своем семинаре на ВЛК¹ (он пригласил меня принять в нем участие). Откровенность стихов Межирова — довольно редкая вещь в нашей поэзии. Он нисколько не лукавил, когда говорил: «Я построил дом, но не из бревен, а из карт, крапленных поперек». У него легко прослеживается *навязчивый мотив* — вот такой, например: «За мной земной неправый путь, судья Всевышний надо мною». Слабая личность не станет корить себя за грехи истинные и мнимые. Слабый поэт не в состоянии находиться в силовом поле такой рискованной метафоры. Да и согласимся, что весьма рискованное занятие для поэта — охотиться за звуком «собственным, незаемным». Того и гляди сорвешься на мотоцикле (если бы мотоцикле метафоры!) с цирковой стены. Межировский ужас заражал и меня, когда я слушал слова, полные откровения: «Он стар, наш номер цирковой, его давно придумал кто-то, — но это все-таки работа, хотя и книзу головой». Отсюда — и мотив покаяния. «Был больше всех греховен и порочен и перед всеми виноват кругом...»

...Дневниковая запись: «Звонил Межирову в Штаты. Спрашиваю: как вы там? Т-там, с заметной иронией отреагировал он, вложив в это словцо свое толкование, там, как вы говорите, все по-прежнему, если не считать, что старость захватывает все большее пространство внутри меня; Орегон с Портлендом на месте, вижу реку Уилламет, и горы вижу — Маунт-Худ и Сент-Хеленс, и даже вулкан Адамс иногда можно разглядеть. Потом — какие-то пустяки в разговоре. И вдруг — "Снился мне сегодня ваш Сало Флор, он мне поставил мат в четыре хода, и во сне его матч с Алехиным будто бы состоялся, будто бы войны не было... Вам повезло, что вы так долго дружили с ним. Да, великий был человек, этот Флор. Сколько его уже нет? Он был женат, кажется, на племяннице Есенина?" — Пауза. И — со вздохом: "А что если стихи прочитаю, не накладно ли это будет для вас?" Тогда-то я и услышал: "Кто я такой? Секрета в этом нет. И уж теперь тем более не тайна, что я — несостоявшийся поэт, поэт, не состоявшийся случайно..." У меня сердце сжалось, дыхание перехватило. Ведь он, как любят выражаться краснословы, — поэт Божьей милостью. Жаль, что мы не рядом! Захотелось и выругаться, и обнять его. Не он ли с завидной самоиронией написал: "...И думает: Ослаб. Совсем не те удары. Винты совсем не те. Усталым стал и грузным, как будто в темноте шар на столе безлузном"». Такая вот запись.

Заокеанское отсутствие Межирова угнетало меня. Я привык к его советам (нередко наивным — при всей его житейской мудрости и энциклопедичности), к его обманчиво-бесхитростному взгляду, к тому, что он где-то рядом, что он по пятницам часто забирает меня с собой в Переделкино и мы заходим в шикарный по тем скудным временам (70-е? 80-е!) гастроном на Арбате с тыла «Праги», отовариваемся в нем, прихватывая три-четыре бутылки водки, которая будет разливаться им строго поровну — ни капель меньше, ни капель больше — и выпиваться из керамических стакашек до самого доньшка (тут он необычайно строг — «война приучила»); привык я и к тому, что минут через двадцать, после пары рюмок, он отключается — и то ли уходит в себя, то ли ненадолго засыпает, а утром ест свою замоченную с вечера овсянку («ок-к-копный нефрит»). В этих коротких его отключениях, спасительном броске в дрему я вижу некое братское доверие. Очнувшись, он произносит: «О-о, В-в-володя...» Он уверен, что никакого удивления с моей стороны не будет. И тут же — вопрос, вроде такого: «В-вы "Избяные песни" Клюева прочитали?» Редчайший сборник он мне давал «на пару деньков». «Я всю книгу переписал, — отвечаю. — Пишущая машинка испортилась». — «О-о, вашей рукой водила рука гения». Наверное, доволен, что моя «Опима» *вовремя* вышла из строя. И читает, будто не был только что в отключке и словно это он сам сочинил, клюевские строки. Читает с такой потрясенностью, с такой влюбленностью в каждое слово — заслушаешься. Лицо у него становится едва ли не детским. И подумаешь вдруг совсем о другом: да ведь передо мною — мальчик, тот самый, живший на окраине города Колпина, заслуживший прозвище лгунишки и накопивший множество самых веселых и грустных историй. И

¹ Высшие литературные курсы (при Литинституте им. Горького).

действительно, я не раз был свидетелем того, как *мальчика*, которому довелось пройти всю войну, обвиняли в тяге к фантазиям. Мгновенные, колпинско-мальчишеского окраса житейские сценарии Межирова — то, что он хотел бы поправить в своей жизни, подредактировать; зато его поэзия безгрешна во всех отношениях. Позже, в двухтысячном, он задал вопрос с напрашивающимся ответом: «Что истине родней — перебеленный текст или черновик в столе корявый и случайный?» Примерно в тот же период он написал великолепные, чуть ли не прощальные, стихи, где обратился к своим судьям (друзьям и недругам) как поэт: «Над ним одним дыханье ада и веющая благодать. Обожествовать его не надо. Необходимо оправдать». Именно как Поэт (с большой буквы) обратился. У него были сложные отношения с Беллой Ахмадулиной, но он часто повторял ее строчки из «Тоски по Лермонтову»: «...Стой на горе! Я по твоим следам найду тебя под солнцем возле Мцхета. Возьму себе всем зреньем, не отдам, и ты спасен уже, и вечно это. Стой на горе! Но чем к тебе добрей чужой земли таинственная новость, тем яростней соблазн земли твоей, нужней ее сладчайшая суровость». Ему неизвестно было, что на черной полосе его жизни отпечатаются, словно о нем сказанные, слова Беллы: «...Меж тем, как человек великий, как мальчик, попадал в беду».

Я частенько по-свойски, чуть ли не по-родственному заходил к Межирову на дачу. (Не забуду, как ему выделили участок для строительства — по правде говоря, чутко узковатый, что приводило его в замешательство. Для «ревизии» и окончательного решения он пригласил на «военный совет» меня и маму Евгения Евтушенко — Зинаиду Ермолаевну, мудрую и очаровательную женщину, перед которой с непередаваемой «старорежимной» интеллигентностью преклонялся Межиров и которая и вынесла окончательный вердикт: «Оставьте свои сомнения, Саша. Участок для вас вполне нормальный: вы же сад разбивать не будете, и огородом не станете заниматься. И до нас вам — всего-навсего сто метров; ходить будем в гости друг к другу, чай будем гонять».) Мы с А.П. поднимались на второй этаж (пристроенный им впоследствии по собственной инициативе, на свои деньги), где расположился шикарный бильярдный стол. Межиров гордился им («шесть луз, резина и сукно, три аспидных доски»): «На нем играли мастера Митасов и Ашот, Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох и мал, название одно, но дух Березина слетал на старое сукно».

То и дело Межиров расспрашивал о гроссмейстере Флоре: «Как там он? В карты по-прежнему режется? Да, это *игрок!*» Не могу здесь не припомнить строки Достоевского из письма Н.Н. Страхову (1863 года из Рима) по поводу своего «Игрока»: «Я беру натуру непосредственную, человека однако же многообразного, но во всем недоконченного, *изверившегося и не смеющего не верить*, восстающего на авторитеты и боящегося их. (...) Главная же штука в том, что все его жизненные соки, силы, буйство, смелость пошли на *рулетку*. Он — игрок, и не простой игрок, так же как скупой рыцарь Пушкина не просто скупец. (...) Он поэт в своем роде...» Межиров и сам был типичным игроком — и был уверен, что без этого качества художник теряет многое, едва ли не все: «Вскоре сделался он игроком настоящим, а это многократно усиленный образ поэта...»

Он боготворил *игрока*, который «идет не по воле ферзя», ставил на первое место свободу выбора — и свободу вообще, славил мастеров — «особую поросль» («мы такое видели, поняли, прошли, — пусть молчат любители, выжиги, вральи»). «Вы правы: война *загнала* Флора к нам, — писал мне Межиров, когда я служил в Будапеште, — иначе и не скажешь. Спасаясь от гетто, он все равно претерпел оккупацию — только иного рода, но все равно для него гибельную, и его превратили в подопытную пешку. Хорошая квартира? В самом центре Москвы? Это, конечно, здорово, но для Флора без большого шахматного мира это, по-моему, крайне мало. Когда-то, в Тбилиси, мне пришли в голову строчки: "В квадрате черном жизнь кипит чужая. Ад городит. Взыскует благодать..." Выделите курсивом "чужую жизнь" — и это будет относиться и к Флору».

Игроцкую ипостась А.П. отметил и Евгений Евтушенко, в юности прошедший «межировские уроки» и посвятивший ему в знак благодарности свои «Свадьбы», где «слова неоткровенные о том, что не убьют». Он признал: «Да, у Межирова и у других поэтов-фронтовиков бывали нервозно ревностные моменты по отношению не только ко мне, но и ко всему нашему поколению». Что было, то было. Из песни слова не выкинешь: Межирова задевали за живое иные мастера-стихотворцы, располагавшие для выступлений перед массами дворцами культуры и дворцами спорта, придумавшие, «не жалея времени и сил», «множество затейливых игрушек — Буратин, Матрешек и Петрушек», да к тому же вдунувшие души в их «бунтующую плоть», ведь не зря они, идолы и кумиры на час, «выщербили пошлостью свой нож», и у них не было болельщиков, поскольку у них не было боли. Иное дело, говорил Межиров, — подлинный игрок: «Когда мне ломали шею, о ребрах не говоря, мне больно — ему больнее, о, как я его жалею, сочувствую я ему, великому Хемингуэю, болельщику моему».

Но вот Евтушенко — чему я неоднократный свидетель — он выделял, верил в его высокое призвание уже с пятидесятих годов, охотно читал наизусть его стихи, был благодарен ему за поддержку. Когда переделкинец Александр Жаров, сосед Межирова по даче, в роскошном китайском халате подходил к забору и предлагал заработать «большие деньги» за тексточки к агитплакатам, выходившим миллионными тиражами в Политиздате, А.П., заикаясь больше обыкновенного, самым интеллигентным манером ссылаясь на занятость и отказывался. Он жил другой жизнью. С другими, в основном молодыми, людьми. Он звонил мне и с тревогой сообщал: «А знаете, у Жени в Тбилиси случился инфаркт глаза!» Ну и т.д., о чем не стоит здесь упоминать, но что свидетельствует о крепнущей взаимной симпатии. Между тем в цитированной уже литроссовской статье рассказывается о «сумасшествии» Межирова, «свихнувшегося на зависти и ненависти к Евтушенко». Что за бред! Вернемся хотя бы в пятидесятые, когда были написаны строки: «...Нас комбаты утешить хотят, говорят, что нас Родина любит. По своим артиллерия лупит. Лес не рубят, а щепки летят», из-за чего в идеологических верхах разгорелся сыр-бор: как так, что за клевета, что за подрыв основ! В антологии «Десять веков русской поэзии» Евтушенко вспоминает: «Меня несколько раз исключали из Литературного института. В 1956 году — за поддержку первого антибюрократического романа "Не хлебом единым" Владимира Дудинцева на его публичном шельмовании в Центральном Доме литераторов. Там я прочитал новое, еще никому не известное стихотворение Александра Межирова "Артиллерия бьет по своим". А чтобы не навредить автору, сказал, что оно было найдено на поле боя в документах убитого юноши. Межиров слушал вместе со всеми, а наедине заметил: "Ну что ж, в этом есть правда... Все мы убиты на этой войне"».

Именно Евтушенко Межиров попросил написать предисловие к своему «Избранному» (самому первому, в 1972-м). Предисловие той поры, войдя в новое «Избранное», дополнилось в 2008-м заключительным абзацем: «Без благодарности к фронтовой плеяде в России не может быть новых великих поэтов. Но Межиров оказался не только поэтом этой плеяды и не только Двадцатого Века. Он давно предугадал многое, уже случившееся в Двадцать Первом Веке, и предупредил о многом, что нас еще ждет. Это редкая, по нынешним временам самоуверенно расхлябанного стиха, книга-учебник поэтического мастерства и выверенной неслучайности Слова». И добавлю: вот редчайшая по нынешним временам преданность подлинной поэзии и подлинной мужской дружбе.

Я счастлив, что мы с Межировым были друзьями, но мы с ним никак не могли перейти на «ты». Что-то мешало. Он настаивал, я отказывался. Кто виноват — не знаю. Потом он пояснил: «Все просто. Вы держите в голове, что я старше вас на Отечественную войну». Кстати, чуть позже это стало стихотворением. Не одному мне не удавалось быть с ним на более короткой ноге. Многие другие тоже терпели фиаско. Ревич, его ровесник, так и остался с ним на «вы».

Сколько раз доказывалось, что межировская поэзия, понюхавшая на войне пороху, но однажды позвавшая «коммунистов вперед», лишена религиозного чувства,

не дышит истинной верой. Если б так, откуда бы у него взялись горькие мотивы покаяния, столь характерные для него: «А дальше... Боже! Стыд и срам...», «Страшного мне не избежать Суда, — и прегрешений моих вереница вытянется беспредельно, когда время прервется, пространство продлится». Самоцели здесь нет и быть не может никакой. «Неужели Божья воля — то, чему названья нет!» Это — «как одна молитва чудная». Впрочем, художник и тут остается художником: «Вопрос пробуждения совести заслуживает романа. Но я ни романа, ни повести об этом не напишу». Совесть — как «рыжее пламя во ржи», которое «за конницей гонится». Межиров, по его признанию, благодарил судьбу за то, что ему выпало переводить с грузинского (а именно Ираклия Абашидзе) стихи с голосом Руставели, голосом, раздающимся то у стен Крестовского монастыря, то в самом этом монастыре, то в оливковом иерусалимском саду, то у колокольни, то в белой келье, то у Катамона, то в глухой пустыне. И не мог отказать себе в праве включать этот плач как свой собственный в последние книги. Раскаяние далось нелегко, но оно неизбежно для Межирова и очевидно наподобие «меча, воткнутого в скалу по рукоять». Это раскаяние хлынуло мощнее родниковой струи: «Зачем богоотступничество мне в вину вменяют и грозят расплатой, когда на свете о моей вине Ты ведаешь один, мой Бог распятый?» Оппоненты Межирова высокомерны и шовинистичны в оценке русского поэта, нашедшего покаянные строки, кои им и не снились: «Я пришел к Тебе с мольбой всех времен и поколений. Пантократор! Пред Тобой опускаюсь на колени». Как-то, еще в молодости, Межиров в запале воскликнул: «О, какими были б мы счастливыми, если б нас убило на войне». Слава Богу, что война пощадила поэта и он дал нам возможность увидеть увиденное им самим. А это, честное слово, не так уж мало. Многого в нашей поэзии не появилось бы, если б не межировская лирика шестидесятых и семидесятых, если б не его «Календарь». С ним будем мы «умирать от воспоминаний». Вот, дорогие мои, «какая музыка была, какая музыка играла»!

Эта музыка, разумеется, несколько не волнует признающих лишь одну стойку — ну да, «погромную», забывающих, что два народа-изгоя, «единые и в святости, и в свинстве, не могут друг без друга там и тут и в непреодолимом двуединстве друг друга прославляют и клянут». Межиров не боится, что его упрекнут за строки, пришедшие к нам из-за океана, из Штатов, где он был вынужден жить: «Не вечно Достоевским бесам пророчествовать и пылать. Хвала и слава мракобесам, охотно-рядцам исполать. Все на места свои поставлю, перед законом повинюсь, черту оседлости прославлю, процентной норме поклонюсь. В них основание и основа существования и труда. Под их защитой Зускин снова убит не будет никогда». Но чтобы все это было яснее и не вызывало кривотолков, необходима строфа из знаменитого стихотворения «Москва. Мороз. Россия...»: «Был русским плоть от плоти по мыслям, по словам, — когда стихи прочтете, понятней станет вам».

Одним из самых горьких моих дней стал день прощания с прахом Межирова, привезенный в Москву из Америки дочерью Александра Петровича — Зоей, которую он безумно любил и которая оправдывает его любовь и его надежду. Для большого поэта время прервалось и пространство продлилось... К переделкинскому кладбищу съехалось очень много людей, состоялась поминальная служба в пятипрестольном храме Преображения. Из головы и из сердца не выходило: «Паровозов хриплый хохот, стальных рельс двойная нить. Заворачиваюсь в холод, уезжаю хоронить». Когда мы бросили последнюю горсть земли в могилку неподалеку от входных ворот, разразился страшный ливень, небо стало аспидно-черным. Это произошло мгновенно. Мистика. Просто мистика.

Межиров ежедневен и ежечасен в русской словесности. «Снова будут грозы, будет снег, снова будут слезы, будет смех всюду — от Десны и до Десны, вечно — от весны и до весны». Дай-то Бог, дай-то Бог.

Нэлли Абашина-Мельц

«Таллинн»: миссия выполняема

Тридцать пять лет назад (в 1978 году) основан «Таллинн» — старейший русский журнал Эстонии. Все, чем может гордиться русская литературная жизнь Эстонии сейчас, начиналось на страницах «Таллинна»: переводы с эстонского, оригинальные произведения местных русских авторов, театральные рецензии, искусствоведческие статьи, обзоры музыкальной жизни, архивные разыскания, воспоминания, литературоведческие эссе и критические заметки, творческие портреты деятелей культуры, — эти материалы заполняли страницы журнала. «Таллинн» тесно сотрудничал с редакцией художественной литературы на русском языке крупнейшего издательства «Ээсти Раамат», отрывки из будущих книг печатались в журнале (Борис Крячко, Т.П. Милютин, Б.М. Бернштейн, Яан Кросс, Арво Валтон, Энн Ветемаа, Теэт Каллас).

В Эстонии сохранилась отличная школа перевода, что позволяет сохранять и совершенствовать современный русский язык. Многие из тех, кто составляет ныне гордость переводческой школы, начинали в нашем журнале: Светлана Семененко, Татьяна Верхоустинская, Татьяна Теппе, Эльвира Михайлова, Борис Тух, Марина Тервонен, Наталия Калаус. Здесь печатались и корифеи перевода с эстонского Елена Позднякова, Ольга Наэль, Алексей Соколов, Вера Рубер, Ромуальд Мина. Журнал продолжает поддерживать школу перевода на русский язык — кроме всего прочего это весьма полезная практика для сохранения и развития потенциала родного языка.

Вот уже 18 лет журнал выходит к читателю в новой ситуации, когда мы оказались за пределами России. Обосновывая для себя необходимость продолжения этого периодического издания, мы исходили из мысли, что нам нужно культурное пространство, где мы можем говорить на языке, который понятен очень широкому кругу читателей¹. Группа подвижников (в основном были выпускники Тартуского университета) принялась восстанавливать разорванные связи, искать авторов в Эстонии и за ее пределами, приглашать к сотрудничеству переводчиков, договариваться с типографиями, добывать оргтехнику и добиваться финансовой поддержки. Журнал выходит на общественной основе, у нас нет ни одного штатного работника, получающего зарплату. И главный редактор, и ведущие рубрик, сколь бы пафосно это не звучало, осознают свою работу как миссию.

Исследовательские статьи и документальные произведения, увидевшие свет на страницах «Таллинна», послужили основой для многих книг, опубликованных в Эсто-

Абашина-Мельц Нэлли родилась на Урале, в 1964 году вернулась на родину, в Эстонию. Окончила ф-т русской филологии Тартуского университета. Работала в газете переводчиком, редактором в издательстве «Ээсти раамат», отв. редактором Эстонско-русского академического словаря в 5-и томах. С 1990 г. возглавляет издательство «Александра». С 1995 г. является главным редактором журнала «Таллинн». Член Союза журналистов с 1982 г. Переводила с эстонского Яака Йыэрююта, Рейна Пыдера, Матса Траата, Андруса Кивиряхка.

¹ В октябре 1994 года, когда первый номер возобновляемого «Таллинна» еще только готовился к печати, Нэлли Абашина-Мельц так сформулировала в беседе с зав. отделом критики «Дружбы народов» Натальей Игруновой кредо журнала: «Думаю, в Эстонии пока еще не отдают себе отчета в том, что ни на одном языке эстонская литература все равно не получит такого широкого распространения, какое она имела на русском. "Таллинн" видится нам журналом "пересечения культур". Но взаимодействие культур должно происходить... как это говорил ваш Лев Аннинский?... в сфере духовной реальности. Культура, и в том числе литература, всегда контактировала на уровне своих высших достижений. Необходимо осмотреться, что из прошлого отринуть, что оставить, и начать сближаться — на новом, каком-то ином уровне» (прим. ред.).

нии на русском языке за последние два десятилетия. Эти издания известны литературоведам и искусствоведам всего мира. Наши авторы вводят в научный оборот малоизвестные, а порой и вовсе неизвестные факты, изучают и реставрируют художественные ценности наших музеев и храмов, что зачастую приводит к переоценке устоявшихся мнений, датировок, общепринятых в научной среде фактов. Среди этих исследований в особом ряду — посвященные Пушкину и его кругу.

Мы систематически публикуем прозу русских авторов, освещаем театральную и музыкальную жизнь республики на фоне театральных фестивалей в Москве и Петербурге. В каждом номере журнала представлено и творчество русских художников Эстонии.

По инициативе журнала «Таллинн» (совместно с выпускающими книги на русском языке издательствами «КПД» и «Александра» (Aleksandra) — все годы после восстановления издания журнала в 1994 году он выходит при поддержке и на базе этого издательства) четыре раза в год проводятся «Книжные сезоны». Мы встречаемся с людьми, которые следят за публикациями в журнале «Таллинн», интересуются книгами наших издательств и кому вообще хочется поговорить о литературе, обменяться мнениями. Каждый раз это происходит в каком-то новом интересном месте, где люди давно или вовсе не бывали: художественная галерея Art Gallery, Институт эстонского языка, Дом Ганнибала на Вышгороде, Дом учителя на Ратушной площади, Городской театр в Старом городе. Очередная встреча из этого цикла — «Лето-2013» — прошла 1 августа в конференц-зале таллиннской Девичьей башни, недавно открытой после реставрации, и была посвящена выпуску нового номера журнала и книжным новинкам на русском: «Старые сказки для взрослых» Андруса Кивиряхка в переводе Веры Прохоровой — это очень яркий и яростный постмодернизм (представьте сказки про Буратино или Снежную королеву, но с другим социальным наполнением — злым, обличительным) и «Острова чудес» Карла Ристикиви в переводе Николая Караева — один из лучших романов эстонского писателя-эмигранта, выход его на русском языке можно рассматривать как большое культурное событие.

Во всех публичных акциях журнала участвует широкий круг читателей, представляющих, прежде всего, русскую интеллигенцию: учителя русских школ, писатели, художники, переводчики, библиотекари, журналисты, критики.

«Таллинн» ежегодно представляет Эстонию на международных книжных форумах: Международном Петербургском «Книжном салоне» (апрель), Международной Московской книжной ярмарке (сентябрь) и Международной выставке интеллектуальной литературы Non-fiction (Москва, ноябрь–декабрь). Журнал представляет русское слово Эстонии и на Всероссийской книжной выставке «Книги России» (Москва, март).

С 1996 года в издательстве Aleksandra выходит «Библиотека журнала «Таллинн», в ней, в частности, изданы книги «Вавилонская башня» Александра Гениса, «Прибалтика и Кремль» Елены Зубковой, «Зубы дракона» Карла Ристикиви, «Ласнамяэский мессия» Мари Саат, «Из последних стихов» Давида Самойлова, «Со всеми, кем любим, кого люблю» Светлана Семененко, «Роман с театром» Бориса Туха, сборник «Новая эстонская новелла» (выпущено 24 книги).

Журнал ежегодно участвует в благотворительной акции «Рождественские призы». В юбилейном году мы — гл. редактор Нэлли Абашина-Мельц, художник Игорь Балашов, ведущие рубрик Этэри Кекелидзе и Галина Балашова, литературный редактор Людмила Еланская, технический редактор Нелли Котова — дарим всем русским школам республики комплекты журнала вместе с книгами из нашей «Библиотеки» (нам особенно приятно, что в этот комплект входит и «эстонский номер» нашего журнала: «Дружба народов», 2009 №4. — *прим. ред.*).

«Таллинн» развивается, ищет новые формы диалога эстонской и русской культур — вскоре в журнале состоится премьера рубрики «Столичная перекличка», где будут встречаться деятели культуры России и Эстонии, связанные общей творческой судьбой.

Третья точка

Рубрику ведет Лев Аннинский

Ex Occidente Lex, ex Oriente Lux¹

Две точки налицо.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с места они не сойдут, пока не предстанут Небо с Землей на страшный Господень Суд...» Вопрос лишь в том, когда Суд: немедленно или с откладыванием? Люди, любящие стихи Киплинга, могут продолжить цитату: «Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?»

Племя, родина, род для меня — отнюдь не «что попало»; да и сильный с сильным, покалечив друг друга, обыкновенно зовут на помощь тех, кого высокомерно задвигали в слабые. Не Киплинга я собираюсь здесь комментировать — мне интересны воззрения теперешних российских философов, востоковедов и европоведов, заново осмысляющих место России меж традиционных точек, когда с Запада подступает к нам Закон, а с Востока брезжит свет.

Где мы?

С Запада — закон

Известно: знание есть сила! —
Для тела, что и для ума.
А джахилия суть могила.
Да здравствует — в ком знаний тьма!

Вадим Розов

Вадим Розов — молодой поэт, известный более по Интернету и Самиздату, чем по книгам; живет в Кузнецке, просит не путать его с однофамильцами, тоже пишущими стихи.

Джахилия — в исламе — обозначение первобытной грубости и невежества, предшествующих принятию мусульманской веры. В широком смысле — это «естественное состояние»: беззаконие и жестокость. Этой могиле наш поэт противопоставляет неумирающее *знание* — *силу* для тела и ума.

Стихотворение процитировано в альманахе «Триединство», выпущенном недавно к 80-летию одного из самых именитых и осведомленных востоковедов России — Леонида Медведко.

Полностью, с подзаголовком, название пятисотстраничного тома звучит так:

«Россия перед близким Востоком и недалеким Западом».

¹ С Запада — Закон, с Востока — Свет (*лат.*).

Это уже хочется откомментировать. Близкий — законное детище таких определений Востока, как Дальний и Ближний. С Западом дело хитрее: «недалекий» читается не столько как «близкий», сколько — по законам русской стилистической подначки — как «недальновидный», а то и как «близорукий».

Однако это не мешает мне воспринимать «Триединство» как серьезную попытку равнодостоинного сопоставления двух противоположных сил, между которыми второе тысячелетие ищет (и находит себя) Россия.

С Запада — Закон, с Востока — Свет. «И мы — посередине». В третьей точке. Есть смысл для начала разобраться в двух первых.

Западный образ жизни. Западный образ мыслей. Западная цивилизация. Вызов хаосу и бессмыслице. «Фаустовский дух», в котором нынешние наши геополитики и историософы чувствуют «что-то почти бесовское». Этот опыт уходит теперь в прошлое. Так, во всяком случае, думает большинство экспертов «Триединства».

Западные народы (проще говоря, европейцы, которые вселились и в белых американцев) уступают свои позиции, оттесняются на вторые роли всемирной истории и понемногу отходят в небытие. То есть вымирают.

Их сила, исторически воплощенная в *знании*, теряется во тьме. «Тьма знаний» в розовском стихе — поэтический ответ тому Разуму, который отступает перед «хаосом и кошмаром» мироздания, а мир вступает в период (сейчас я процитирую диагноз Медведко), когда все будет определять «цепная реакция будущих неклассических войн неведомого поколения» (я бы сказал: «поколений»), которые попадают в ситуацию наступающей катастрофы.

Как бы нам выкрутиться из этой безнадёги?

Да вот: послушать короля Иордании Хусейна, к которому в 1963 году попали первыми из советских людей молодые разведчики, его ровесники. Король показался им «обаятельным мальчишкой», а то, что он сказал — ковбойской шуткой: «монархия — несовременная форма правления».

А еще его величество сказал вот что:

— На Ближнем Востоке, где ни копни, всюду нефть! Я — потомок Пророка, земля эта священна, выделена нам Богом, не может быть, чтобы в Иордании не было нефти!

Интересный прогноз: значит, чтобы организовать законное сожительство будущих государств, достаточно, чтобы у каждого (даже у маленькой Иордании) нашлась своя скважина?

А вдруг так оно и должно быть?

Увы. Не следует думать, что проблема сама собой решится, если в XXI веке земной шар опояшут нефтепроводами, не бурить же скважину у ворот каждого дворца. Нефть — такая штука, что возгорается при любом рисунке скважин. Между прочим, существует так называемая «нефтегазовая версия» столпотворения, произошедшего «в далекие библейские времена»: нефть — это еще и битум, который издревле использовался как крепящий материал при строительстве дворцов и храмов. Не хватило битума — рухнула тогдашняя рекордсменка высотного строительства — Вавилонская башня, и пошла катавасия...

Найдется ли скрепляющий материал в нынешней реальности, думающей, как и куда рухнуть?

Александр Неклесса, один из самых последовательных авторов «Триединства», следующим образом видит *закономерное* развитие событий в современной истории. Она новая, а у нас, полагает он, нет языка для обозначения новых реалий.

«Мы читаем тексты, исполненные на прежнем языке. Реалии о пришествии новой земли и нового неба творятся при помощи однообразных приставок: "пост",

"нео", "анти", "транс", "квази", "мета", старательно фиксирующих факт новизны, но неспособных сообщить нечто существенное о ее сути».

Попробуем выразить суть.

«Время, в котором мы обитаем, — лишь порог нового эона, зыбкое трансграничье, мост над беспокойными водами, объединивший погружающийся в Лету континент Модернити с возникающей из вод истории зыбкой и неведомой Атлантидой. Хроники переходного периода противоречивы и алогичны, они корректируют привычную систему исторической записи... Качество фиксации реальности, характерное для уходящей эпохи, — ясность, логичность, выверенность оценок — в новой редакции бытия становятся не слишком востребованным инструментарием, который в конечном счете рискует оказаться на свалке...»

Свалка истории — привычный советский термин, помогающий продраться сквозь волапюк нового эона. Но Неклесса мыслит ясно даже тогда, когда пользуется приставкой «пост»:

«Дискуссии о ПОСТсовременной цивилизации или менее обязывающие рассуждения о модернизационной реформации — вполне могут быть данью скучному ритуалу, но они же имеют шанс стать взрывчатой, революционной темой. И, кстати, совсем не риторический вопрос: что, собственно говоря, понимать под "постсовременной цивилизацией"? Если это очередная социально-культурная метаморфоза христианского эона, то подобные процессы не раз, не два происходили на протяжении двух последних тысячелетий. Если же в данном понятии заключена мысль о призраке принципиально иной социальной конструкции, то мы, конечно, присутствуем при революционном и драматичном событии».

«Революционное» тоже улыбается нам из отлетевших эпох, но что за конструкция проступает из-под привычных слов?

Например, как теперь понимать «капитализм»?

«Капитализм обретает универсальную власть не через административные, национальные структуры, но главным образом посредством интернациональных хозяйственных механизмов. Такая власть по своей природе не ограничена государственной границей и распространяется далеко за ее пределы, рассматривая всю доступную Ойкумену как пространство, открытое для деятельности».

Ну, вот. Ойкумена — на месте прежних «фаз» капитализма, с его суммой национальных экономик... Сейчас последует излюбленная всеми авторами «Триединства» триада; Неклесса видит *«контур третьей (после торгово-финансовой и промышленной) фазы капиталистической мир-экономики — геоэкономической»*. То есть гео-глобальной, при которой *все будут говорить на некоем едином языке финансовых операций, обретающих смысл и жесткость естественных законов бытия*.

Не уйти от законов!

Но логика — сохраняется ли в этом «сложном, глобализированном сообществе»?

Обязательно. Надо только знать законы ее оборота.

«В сложном, глобализированном сообществе возникает эффект бабочки: нелинейные трансляции изменений. Незначительное событие в одном месте способно привести к лавинообразным следствиям в другом. К примеру, в общественном сознании или в сфере финансово-экономических операций, уязвимой для системных воздействий...»

А количественным измерениям эти неуязвимости поддаются?

А как же! Запад есть Запад...

«В круговороте совсем не призрачной жизни цифр и канторовских множеств ("актуальной бесконечности") — трансфинитной среды виртуальных операций, тща-

тельно взвешенных устремлений и просчитанных порывов — финансовые ресурсы, заменив харизму, определяют статус индивида, положение в обществе и положение самого общества, диапазон легальных возможностей в Новом мире, претендуя стать творческими энергиями, источником как созидания, так и уничтожения».

Так созидание или уничтожение?

Что ожидает мир в ходе демодернизации, неоархаизации и деконструкции цивилизации, или (понятнее говоря) «когда империи рухнут и армии разбегутся? Станет ли *Ordo Novo* всеобщим благом — мирным соседством льва и лани, согласно провидению (Апокалипсису) Исайи? Или этот порядок окажется прологом совершенно иного по духу эона? Возвращением к жизни упрятанных в тайники подсознания смутных сюжетов, объединенных гротескной топижкой и восполняющих неполноту черновиков вселенского кошмара?»

Еще одно родное слово: кошмар.

«Новая "культура смерти" обретает глобальную геометрию. Это не только "война сильных против бессильных" или "слабых против сильных", но в перспективе — "всех против всех". На планете разворачивается пространство операций по контролю и распределению успешно котирующегося на мировом рынке товара — ресурса смерти».

Вот так и живешь меж крыльев бабочки, отсчитываешь канторовское время («бесконечные множества»). Ждешь *погибели всех* от метафизической свободы всех.

И думаешь: что же обрекает на гибель великую цивилизацию Запада? Неужели Восток?

С Востока — свет

Я видел Нил и Сфинкса-исполина,
Я видел пирамиды: ты сильнее,
Прекрасней, допотопная руина!

Иван Бунин

Прав автор «Храма Солнца»: обойдемся пока без таких гигантов Востока, как Индия, Китай, Япония, — не им посвящены драматичные страницы «Триединства», а тому ослепительному пожару, что охватил теперь мусульманский арабский Восток...

...Тунис, Египет, Алжир, Йемен, Марокко, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Саудовская Аравия, Оман, Ирак, Ливия, Сирия...

Что общего? Нищета соседствует с видимым процветанием, законность демократически избранных властей — с харизмой эмигрантского муллы или с наследием Пророка (чтобы не влезать в дела Ирана, вспомним мечту о нефтяной скважине иорданца Хусейна)... Принципы американского изготовления перемежаются советскими лозунгами, застрявшими с прошлой эпохи... В Ливии строят Социалистическую Республику, в Саудовской Аравии миллиардеры имеют по полсотни сыновей...

И все это летит теперь в общий пожар, без всякого учета границ и традиций — страны ложатся навзничь по принципу падающего домино, испепеляясь в общем безумии «арабской весны, которая потрясла мир» (формулировка, родившаяся от Джона Рида в нынешнем окружении Леонида Медведко: хроника «весны» составлена выпускником университета Дмитрием Медведко, по праву наследующим фамилию своего именитого родственника).

С чего же оно пылает? Что запалило «весну», оставляющую пепелища?

С чего все началось?

В Тунисе уличный торговец Мохаммед Буазизи, оказавшийся без работы, совершил самосожжение. Разгневанная толпа атаковала штаб правящей партии, сожгла три автомобиля... Египет-то тут причем? Тысячи и тысячи бунтарей, сменяясь, днюют и ночуют на площади Тахрир — и все для того, чтобы Мохаммед Буазизи в Тунисе преуспел как уличный торговец?

Да никакой он не уличный торговец! Он — выпускник университета, подавшийся в торговцы не от безработицы вообще (хотя и она реальна), а от оскорбленности, что не мог найти престижную, интеллектуально признанную работу. Да еще и угадай поди, какая именно деятельность окажется в почете после того, как все нынешнее сгорит.

Да хоть все сто миллионов новых рабочих мест создай в регионе (подсчитали уже!), и каждый венценосный благодетель получи нефть из дворцовой скважины, — смута не кончится. Потому что главные застрельщики ее — не традиционные безработные и не торговцы на улице. Не обнищавшие вдовы (хотя все они тоже). Не бегущие из тюрем зэки (хотя зэки бегут из тюрем на площади). И не пираты Сомалийского побережья (лишившиеся прежних рыбных уловов). И не кочующие шахида (хотя их готовность пожертвовать собой в любом очередном теракте — неслыханная в прошлом психологическая эпидемия).

Бунт — вот что фатально. Не взрыв, а сеть. Сеть бунта. Главные застрельщики — молодые интеллектуалы, сидящие за компьютерами и следящие за событиями по сигналам «Фейсбука», «Твиттера» и прочих достижений Интернета. Так в чем же, наконец, причина?

«В Египте, Тунисе, Ливии застрельщиками, авангардом революции выступили молодые представители непредпринимательской части среднего класса, то есть вчерашние студенты, учителя, врачи, адвокаты, клерки. "Люди Тахрира", "поколение модерн", молодая интеллигенция, борцы за свободу... Они действительно выражали настроения передовой, образованной части общества, которой до смерти надоел этот явно изживший себя, тусклый, застывший в склерозе режим лжи, коррупции, фальсификации выборов, произвола и полицейских расправ. Если бы надо было найти ключевые слова для описания мотивации этих людей, они могли бы быть такими: "Надоело! Не верим! Не боимся!"»

У грузин это звучало так: хватит! Надоело!

Причина возгорания — во тьме. Но возгорание фатально. Поэтому главное — не бояться.

К Египту, Тунису и Ливии можно присоединить «Афганский тупик», интересный не только столкновением советских и американских интересов, но и замечательным казусом Бен Ладена, усыновленного американцами наследника Саудовских миллиардеров, который против американцев же и повернулся, заявив, когда рухнули в Нью-Йорке башни Торгового Центра, — что это его рук дело. Впрямь ли он готовил теракт или только схватился за пламенеющее знамя — знамя тут еще и поважнее реальности.

А реальные причины афганского пекла — все те же:

«Некомпетентность власти, ее неспособность обеспечить безопасность населения, растущая безработица, произвол со стороны местных властей, тотальная коррупция, поголовная нищета большей части населения, низкий уровень жизни, нерешенность проблем беженцев...»

Я бы только вычеркнул «коррупцию», присутствующую во всех списках. Она ведь не только арабам Востока мозолит глаза, она и в перечне язв Америки непременно присутствует, а уж в нынешней России это вообще монстр номер один. Зачислим же «коррупцию» в родимые пятна человечества независимо от «зоны» и «региона» и попробуем все-таки понять, что именно бросает в огонь молодых арабских интеллек-

туалов, энергией которых питается и уличная митинговщина, и уличные бои, и громкие лозунги, и тихая находчивость «жирных котов», оберегающих свои прибыли...

Одна только причина кажется общей, покрывающей это поле боя независимо от того, кто ею захвачен и прикрыт. Ислам.

Сейчас это слово чаще звучит как угроза, чем как приветствие. Великая мировая религия оцеплена воинственными защитниками, агрессивными адептами исламизма, так что изначальная истина перекрыта «джихадом». Из этого затмения одна умная страданица вышла с обжигающим убеждением:

«Исламисты — это клинок кинжала, занесенного над исламом».

Но разве другие великие религии не переживали таких ситуаций, когда надо было ошетиливаться кинжалами (или жечь оппонентов на кострах)?

Суть ислама все-таки не в этой воинственной непримиримости, а в том, что ей исторически предшествовало и под огнем сохраняется во всей своей замечательной привлекательности. Суть — приверженность естеству.

Антитеза ислама — первобытная грубость и первозданное невежество. *Джахилия*. Это доисламское естество должна преодолевать культура. Преодолевать естественно.

Суть ислама — его простота и широта.

«Ислам — это не только религия, но и основа целой цивилизации, а в мусульманском идеале — и образ жизни, и образ мыслей. Похоже, что ислам сейчас является самой сильной религией в мире, если брать в качестве критерия степень приверженности людей к своей вере и ощущение солидарности с единоверцами» — свидетельство Г. Мирского.

Разумеется, и в исламе всегда накапливались внутренние противоречия, хватало споров и интриг. И все-таки противостояние суннитов и шиитов не привело ведь к такому расколу, который располосовал в схизму католиков и православных.

Не было и нет той линии, которая бы фатально разделяла тех, кто уже готов или еще не готов принять два условия веры. Всего только два: признать Мохаммеда Пророком и признать добро главной ценностью жизни.

«И вот что еще примечательно — отсутствие какой-либо определенной идеологической парадигмы. (Я опять цитирую Георгия Мирского, историка, который все эти парадигмы знает наперечет.) Наблюдатели с удивлением отмечали, что ни на площади Тахрир, ни на тунисских или бахрейнских площадях не было разделения на суннитов, шиитов, христиан, не звучали ни националистические, ни исламистские, ни социалистические лозунги, не проклинали Америку и не жгли израильские флаги. Люди были как бы выше всего этого — привычного, рутинного, конъюнктурного. В этом смысле арабскую революцию можно назвать трансидеологической и трансконфессиональной».

Так что ж тогда раскаляет ближневосточную ойкумену? Почему арабский Восток снедаем пламенем ненависти, тогда как другие великаны Востока — Индия и Китай — не только пребывают в относительной стабильности, но и признаны — в случае Китая уж точно — точками будущей стабильности Евразийского сверхконтинента, а значит, во многом и всего мира?

Правда, главные точки грядущего равновесия — Америка и Китай — намечаются без России. Но и без такой горячей точки, как арабский Восток.

Так с чего все-таки он-то загорелся и почему пылает?

Или таится в человечестве — и от природы, и от трагической истории — какая-то неведомая агрессивная психическая энергия, которая может излиться и в ту, и в эту сторону? Она не злая и не добрая, она — изначальная, запредельная, допредельная. Она — джахилия. Может обрушиться в ту или другую точку земли, вывернуть

ситуацию в кошмар и хаос, может пройти стороной. А поджигает и сжигает она то, что горит: то, что по стечению непредвидимых обстоятельств оказывается в то историческое мгновение горючим.

И Россия, логикой тысячелетнего опыта поставленная в точке пересечения этих горючих, горячих, горьких, горячительных и горестных начал, должна быть готова ко всему.

То есть покрепче держаться своей точки в пространстве...

Не хочу ставить точку

Есть нечто третье, основа духа и материи, — это Энергия, устремленная к Духу.

Татьяна Григорьева. Синэргетика и Восток

Спокойная и вдумчивая работа Татьяны Григорьевой не только объясняет, почему Восток (не агрессивно-халифатский, а дзэн-буддийский) и Льва Толстого манил к диалогу, и в теперешних русских душах может оказаться еще одной точкой опоры.

«На буддийско-даосском Востоке этот подход называют Срединным Путем, что значит: следовать Пути мирового ритма. Истина в Центре. Всяческие крайности, односторонность ведут к гибели...

Мудрость — видение всеобщих связей...

Запад и Восток есть в каждой вещи...»

Точка встречи — в каждом народе, в каждом человеке? В любой точке мироздания? Что такое вообще точка в нашей скользкой интеллигентности?

«Точка — мгновенное проявление Единого... Каждая точка — центр Бытия. Сколько точек, столько и сущностей, не сцепленных линией, свободных, способных проявить себя неожиданным образом... "Неожиданным", случайным, если смотреть снизу, где незаметна жизнь Целого... Каждая из них свободно соединяется с Абсолютом, что и позволяет этим точкам не распадаться...»

Мир — бескрайняя сеть... украшенная драгоценными камнями, которые блещут при восходе солнца так, что каждая драгоценность отражает все остальные...

Стяжение в точку характерно для дзэнской поэзии; семнадцать слогов хокку могут вызвать озарение... просветленность ума...

То-то мы во младости моей, собирая целый мир в родню, замороженно подсчитывали количество слогов в японских трехстишиях, думали, что это всего лишь мастерство... А цель? «Пить в грядущем все соки земли, как чашу мир запрокидывая...» Что при этом в чаше остается? Пустота? Ноль? Ничто?

Если Ничто, то оно внушает ужас, как страшный конец, исчезновение, бездна... «Бездна — восторг...» Откуда наш восторг? Потому что есть инертная материя, ждущая нашего руководства...

«На Востоке же Небытие — это потенция Света и Покоя, отрада просветленного ума... Это как бы до-бытие, а не после-бытие...»

А когда лучше познавать законы бытия: до или после?

«В Индии "Ноль" принципиально отличается от понимания нуля, как и точки в западной науке, которая следует заветам Аристотеля: "Нелепо при этом считать пустотой точку: она должна быть местом, в котором имеется протяжение осязаемого тела" (Аристотель, Физика, 4, 7). Для Аристотеля точка — "начало линии", а не сжатая Вселенная. Неудивительно, что на Западе, имеющем такую точку отсчета, возобладало линейное мышление, которому, однако, предназначено было перейти к "голографическому" своим путем — через освоение науки и техники...»

Потрясающее место. Значит, закономерное освоение мира в Западной цивилизации — не тупик и не заблуждение, а стадия, которую с неотвратимостью надо пройти!

«Раздвоение на каком-то этапе было необходимо. Иначе не появилась бы Наука, которая имеет дело с объектами, не развилась бы динамичная цивилизация, предоставившая в распоряжение людей технику. Лишь бы цель и средство не поменялись местами: вели бы к цивилизованной жизни, а не к "цивилизованному варварству"». На это и надеялся тот же Гераклит: «Не понимают, как расходящееся с самим собой приходит в согласие, самовосстанавливающую гармонию лука и лиры».

Митрополит Иларион, заглядывая в души свежекрещенных славян, тоже надеялся на согласие двух разведенных качеств: Закона и Благодати.

Законы мы постигаем, властно овладевая ими, упрямо борясь с ними, умело обходя их. Тысячу лет! И всю эту тысячу лет разгадываем Благодать, остающуюся для неугомонного русского духа в загадочной таинственности.

Где точка соединения этих начал, точка встречи?

Ответ автора «Триединства», приверженного к новейшей «Синэргетике»:

«...Происходит встреча энергий... В соединении деятельным началом является энергия... лишь она действует. Но она может действовать лишь в человеке, может выражать, выявлять себя в наличном бытии лишь его действиями... Дело энергии человека — самоустраниться: стать открытым, "прозрачным" для благодати».

Для благодати!

Попробуем?

Summary

ELENA KRYUKOVA. The Mexican Tango

Of course this is a love story — a story of tremendous, romantic, incinerating, passionate love. The love that knows no boundaries — neither physical (he is a young man from Russia, she is a girl from Mexico) nor even metaphysical. The love on the verge of death and sometimes beyond it. But at the same time it is also the theater. Music. Dance — the fierce Latin-American dance in the face of which even the reality itself seems to be powerless.

SUHBAT AFLATUNI. Warm Summer in Bultihi (the plops).

Oh, life! Sometimes it plays such tricks that one has nothing to do but to fall plop into the past and revive it — maybe the way out is there? The title of this long-short story is meaningful. Just so the protagonist of it falls plop into the past. Plop! — and...

ALEXANDER MEZIROV and his Daughter ZOYA.

Celebrating the 90-th anniversary of Alexander Mezirov — poet and translator whose works including the war lyrics to a large extent built up «the men and women of the sixties» — we present the essay by VLADIMIR MOSCHENKO «Parched Drop of Tear» and the selection of new poems by Zoya Mezirova, the poet's daughter who has prepared the publications of still never published poems by her father from the family's New-York and Portland archives (see «DN», 5, 2011; «DN», 5, 2012).

LEONID MEDVEDKO

The World War I and the wars that followed it in the metaphysics of History appear as one «centennial» Great war in which Russia didn't fight only four years, — thinks the well-known orientalist L. Medvedko who develops this postulate in the chapters from his future book «Trial by Catastrophies» which we bring forward to the readers.

MANANA DUMBADZE. Afganistan through the Keyhole of the «Baron»

One would think: is it possible to know much about the country living in the strictly guarded enclave which the employees of the international humanitarian organization are permitted to leave very rarely and only in an armoured car following some precisely defined routes? It turns out it's possible to know very much if being curious, friendly and observant. And if you in addition can interestingly, with humour tell of your impressions the readers get highly absorbing and learning story like the one the Georgian author M. Dumbadze proposes to them.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2013 году на журнал "Дружба народов" можно подписаться
во всех отделениях Почты России

подписной индекс в каталоге "ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ" —
70250

подписной индекс в зеленом каталоге "ПРЕССА РОССИИ" —
91826

Также можно оформить подписку *online* на страничках журнала
"Дружба народов" в Живом журнале и в Журнальном зале
<http://drujba-narodov.livejournal.com/>
<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой